

1

КОИЧМАНДАН

БОРПОЛЫБ



КОНСТАНТИН ВОРОБЬЕВ

**СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ
В ТРЕХ ТОМАХ**

Константин ВОРОБЬЕВ

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ
В ТРЕХ ТОМАХ

Москва
«Современник»
1991

Константин ВОРОБЬЕВ

ТОМ ПЕРВЫЙ

ПОВЕСТИ

Москва
«Современник»
1991

ББК 84Р7
В75

Составитель **В. В. Воробьева**

Автор вступительной статьи **Е. И. Носов**

Воробьев К. Д.

В75 Собрание сочинений. В 3-х т. Т. 1. Повести/Сост.
В. В. Воробьева; Авт. вступ. ст. Е. И. Носов.— М.:
Современник, 1991.— 479 с., портр.

ISBN 5—270—01211—1

ISBN 5—270—01215—4

Первый том Собрания сочинений талантливого русского писателя Константина Воробьева (1919—1975) составили повести, написанные в шестидесятые годы: «Крик», «Убиты под Москвой», «Сказание о моем ровеснике», «Друг мой Момич», «Почем в Ракитном радости», а также автобиографическое повествование «Это мы, Господи!..», которое было создано в партизанском подполье в Литве в 1943 году.

В 4702010201—087
М 106(03)—91 подписное

ББК 84Р7

ISBN 5—270—01211—1 (т.1)
ISBN 5—270—01215—4

© Составитель В. В. Воробьева, 1991
© Оформление. Издательство «Современник», 1991

ОН ЛЮБИЛ ЭТУ ЗЕМЛЮ

Перед тем как начать эти строки, я развернул карту моей курской стороны и долго вглядывался в ту ее полуденную часть, где к тонкой синей прожилке безымянного ручья прилепился похожий на рыбью икринку топографический кружок села Нижний Реутец. Из этой-то икринки и вышел в большой свет своеобразный и яркий художник Константин Дмитриевич Воробьев.

Родился он всего в одном дне хотьбы от моей деревни, и получилось, что некогда, еще мальчишками, мы видели одни и те же восходы и закаты, слышали одни и те же майские громы и поди что мокли под общими ливнями. Да и хлеб ели почти с соседних полей и жили и росли по единым обычаям, дошедшим к нам от общих наших предков-пахарей и воинов земли Северской.

Но так случилось в круговерти жизни, что не знали мы друг друга почти полвека и встретились (теперь горько сознавать это) лишь незадолго перед кончиной Константина Дмитриевича. И чувствую, догадываюсь, как нужны мы были друг другу, почти одновременно вступившие в литературу, трудно, вслепую искавшие туда дорогу, как важны были нам в ту пору взаимная поддержка и ободрение.

Открытие, что Константин Воробьев мой земляк, пришло не сразу, исподволь, через его книги.

Впервые я прочитал его более двадцати лет назад, когда он был уже зрелым мастером. Это была повесть «Убиты под Москвой». В общем потоке тогдашней литературы о войне она остановила меня, как останавливает в картинной галерее, повергает в волнующее смятение, скажем, суриковское полотно «Утро стрелецкой казни». Повесть эта, будучи воистину оптимистической трагедией, поразила меня, как и все его последующие произведения, остротой и дерзкой смелостью письма, предельно обнаженным драматизмом, от которого буквально холодело сердце, каким-то особенным крутым замесом сюжета, человеческих судеб и характеров, своеобразием самой техники раскованного энергичного мазка. Уже тогда я понял, что имею дело с писателем, обладающим недюжинной натурой и непростой личной судьбой.

Я давно заметил прямую, неразрывную связь между характером произведения и личностью ее творца. На этот счет вполне

применима емкая русская пословица: *каковы сами, таковы и сани*. Человек по складу своему рассудочно-созерцательный, склонный к размеренности собственного бытия, оберегающий свою персону от ушибов и добросовестно блюдающий веления журнала «Здоровье», способен воссоздать лишь нечто себе подобное, тоже рассудочно-созерцательное, вялое, безмускульное детище, хотя, может быть, и весьма пухлое по количеству страниц. Подобная натура предпочитает, как правило, иметь дело с уже остывшим словом — методом, так сказать, холодной обработки. Неспешно полистывает он толковые «кирпичи», высматривает и примеряет подходящее словцо, роется в загашниках записных книжек, расчетливо подтачивает и подпиливает каждую фразу, как пригоняют зубные протезы, и лишь после всего этого прочно и основательно сажает, как ему кажется, на вечный цемент. Что-что, но уж такому «умельцу» не дано написать ни «Убитых под Москвой», ни «Крика», ни «...И всему роду твоему». По крайней мере так, как это написано Константином Воробьевым.

Вот почему сквозь его взволнованные страницы еще заочно угадывается человек, наделенный личной отвагой, пламенным гражданским мужеством, взрывным зарядом темперамента и самопожертвования, чутким и ранимым сердцем, в чем я и убедился уже потом, при близком знакомстве с писателем.

Константин Воробьев принадлежит к тем не частым писателям, которых потом многократ перечитывают. Уже известно, чем начинается и чем заканчивается то или иное произведение, а вот почему-то опять тянет к книге, хочется перелистать еще и еще... И это повторное, уже неспешное, углубленное постижение художника не менее радостно, нежели изначальное его открытие.

Для меня же это постоянное перебирание воробьевских строчек, подобное тому, как пересыпают жито из ладони в ладошку, еще более приблизило ко мне писателя, поскольку то здесь, то там, как чудесные взблески, встречались в словесном зерне щемяще близкие, до трепета родные находки. И было удивительно, откуда писателю, далекому от наших мест, от нашего подстепного говора, живущего где-то в Прибалтике, доподлинно известны те редкие и уже почти забытые речения, какими пользовалась еще моя бабушка: «очутить на дубу», «воробынные кытечки», «галить» лемехом землю, «почурюкать» и т. д. Я ведь все еще не знал, что и сам он был здешним, нашенским, курским.

Страница за страницей вглядываясь в уже прочитанное, в попытках жадно проглоченное, не всегда разжеванное, я вдруг изумился от внезапного открытия: ведь не только пропрядывают отдельные слова нашего южного говора, но оказывается, что и сама образная система, сопутствующая действию полифония звуков, за-

пахов, пейзажные фоны и фенологические приметы во многих его вещах тоже наши, лесостепные, южнорусские! То встретишь упоминание о «древнем сторожевом кургане на подходе к селу», то в рассказе «старик скрутил сигарку и долго раскуривал ее, захватив двумя пальцами жаркий кизяк», то обратишь внимание, что «земляной пласт сверкал на солнце сине-черным глянцем, будто вороново крыло»... И это частое упоминание белых хат, подсолнухов, степных рос и неутомонных, разгульных летних гроз.

Но вот и более явственные следы, влекущие писателя к «отчему дому», вроде: «Глаза с лукавинкой и густо-черные, как наши южные черешни»; или: «я нагнулся к земле — в наших краях она особенная: черная как сажа и такая мягкая, пахучая, родимая». И еще: «Купе наполнилось сладковатым запахом чабреца, мяты и солнца — запахом моей родины, юга».

Но русский юг бескраен, и тогда писатель роняет окончательное, будто якорь: «День тогда выдался прямо как наш курский: теплынь, солнышко...»

Фраза в общем-то поспешная, простенькая, оброненная походя. Но, обратите внимание, сколько в ней сдержанной, невысказанной и неизбывной сыновней нежности и любви к породившей его земле, к той икринке на синей речной веточке!

Теперь мне было ясно, как всю свою жизнь тянулся он к отчему дому, как обильно сочились его книги этой неиссякаемой любовью к малой своей родине, с которой, увы, так и не пришлось воссоединиться, если бы и не пожить на ней остаток своих дней, то хотя бы лечь в нее и успокоиться навечно под «неимоверно синим и высоким небом», где «жаворонков сроду не было видно, но и с утра и до ночи они звенели и трепыхались там, крохотные и радостно живые».

Я побывал в Прибалтике, посмотрел места, приютившие моего земляка. Наверное, Константин Ворьбьев любил их не только потому, что эта земля по-своему прекрасна задумчивой величавостью озер, девственностью прохладных лесов, вечной мятежностью северного неба, но и потому еще, что в грозные годы он сражался там с оккупантами и литовские леса были в ту пор и кровом и домом его партизанскому отряду. Свята та земля, за которую пролита кровь.

Как это было, мы можем увидеть доподлинно в его автобиографической повести «Это мы, Господи!..», найденной и напечатанной через четыре десятилетия после ее написания. Повесть невозможно читать залпом: написанная сразу после фашистского плена, кажется, она кровоточит каждой своей строкой. Однако она передает не только боль и страдания безвинных жертв войны, но — высокое, неистребимое чувство достоинства советского человека,

война Советской Армии, которое врагу ничем не удастся сломить. Эта изначальная повесть Константина Воробьева дает как бы ключ к пониманию всего его творчества, его писательского кредо: ни при каких обстоятельствах не идти на компромисс с совестью, писать только обнаженную правду, какими бы последствиями это ни грозило его личной судьбе. И хотя это правило принесло ему много лишений, по-другому жить и писать он не мог.

Да, свята земля, за которую пролита кровь. И все же нет в том ничего греховного, неблагодарного и предвзятого, если его так неудержимо тянуло туда, где он впервые произнес слова «мама» и «хлеб», где сделал свои первые босоногие шаги по муравистой траве под окнами белой хаты. А став художником, вдохновлялся образами и видениями той своей родимой стороны.

Однажды я побывал в Феропонтовом монастыре, что на Вологодчине. Довелось мне там увидеть нетленные фрески средневекового живописца Дионисия. Этими фресками были расписаны внутренние стены одной из монастырских церквей, которая в зимнее время не отапливалась, и в особо лютые морозы фрески покрывались ажурным налетом инея. Весной иней растаивал, по стенам бежали струйки воды, потом церковь просыхала, и роспись вновь первоначально сияла всеми своими красками. И так вот уже шесть веков! Было удивительно, что же это за такие вечные краски, откуда, где брал их Дионисий?

И выяснилось, что вовсе не заморские они, не из благословенных италийских краев, где в ту пору очаровывали мир своим волшебством Джотто и Боттичелли. А брал их молчаливый феропонтовский схимник из окрестных холмов и овражков, толком в ступе какие-то глины и камушки и таким способом извлек из неказистой, ничем не примечательной земли аж сто сорок тонов и оттенков, и по сю пору поражающих своей незамутненной нежностью и праздничностью свечения.

Земля вокруг Реутца тоже на первый взгляд неброская: «Две сотни белых хат двумя посадами рассыпались над речкой, кишасей пескарями и пиявками. Берега речки заросли ивовой дремучестью, хаты тонут в садах, а вокруг — безбрежный океан хлеба, дрожащая синь знойного марева и никогда не потухающее солнце» — так свидетельствует сам автор.

И не чудо ли, если эти вот простенькие поля и перелески глубинной России на всю творческую жизнь снабдили художника щедрой и неувядаемой палитрой. Краски эти так же нетленны, как и сама любовь писателя к отчей земле, завещанная потомкам в его книгах.

Евгений Носов

Повести

СКАЗАНИЕ О МОЕМ РОВЕСНИКЕ

1

...Под вечер степь наполнилась задумчивостью и покоем. Ветер утихал, травы выпрямлялись, а подгоризонтные дали заволакивались багряной дымкой всегда тревожного степного заката. В полночь на ковыль оседала тяжелая роса. Тогда степь белела, как под инеем, и легкие ноги Катерины оставляли на ней темно-зеленые следы-борозды. Она уходила от стоянки своего отряда километра за три, выскивала впадинку, где ковыль был густой и рослый, и в нем купалась.

Алексей находил ее по следу. Он садился поодаль, вслушивался в шорох ковыля и приглушенно-радостно смеялся. Потом он прикивал к пахучей земле и нетерпеливо спрашивал:

— Ну, скоро ты?

Травяной шорох замирал. Алексей плотно прижимался ухом к звонкой черноземной тверди, слушал.

— Не гляди сюда! Бессовестный... А еще матрос! Отворотись, ну!

— Да я же не гляжу... а все равно вижу,— виновато оправдывался Алексей, смиренно лежал несколько мгновений, пораженный правдой своего признания, и вдруг начинал говорить, не узнавая своего голоса:— Катя, роднуля. Песня ты моя заревая!..

В ответ Катерина вскрикивала, как при тихом испуге, торопливо одевалась и, расставив руки, будто подраженная, толчками шла на голос.

— Скажи-и... еще скажи это,— протяжным шепотом просила она издали, а Алексей молча бежал к ней навстречу, придерживая на боку деревянную колодку маузера. Лицо Катерины пахло медвяной зарей, чебрецом, степью; в косах застряли пушистые ковылинки, а в немигающих глазах — большие южные звезды. Сухими, обветренными губами Алексей гасил их, но Катерина прятала лицо ему под мышку и просила:— Ты лучше скажи про то-о.

И матрос каждый раз придумывал для нее новые имена и сравнения. Он называл ее мохнатухой — за густые и длинные ресницы, капелюхой — за небольшой и ладный рост. Была она ястребихой, перепелкой и всем тем, что встречалось в степи хорошего и живого.

Однажды, когда они никак не могли дойти до отряда, Катерина вдруг сказала:

— Ты знаешь чего? Я тебя давно хочу спросить и вот про что... Отчего от твоих речей про меня всегда бывает так, будто я качусь с горы на салазках? Аж обрывается у меня в груди что-то, а хорошо как — ты даже и не поверишь!

Матрос крикнул и остановился.

— Чего ты? — тревожно спросила Катерина. — Будто это плохо.

— Нет, Катя... Это даже очень хорошо. Это в тебе происходит оттого, что ты... — он замолчал, снял бескозырку и зачем-то стал тормозить свой белесый чуб, потом рывком подобрался и приказал почти строго: — Ты вот что. Ты сбереги это мне до самого что ни на есть конца, слышишь?

Тогда Катерина долго и странно плакала — без всхлипов, без слов, не закрывая глаз. Она стояла, подняв лицо к небу, а Алексей растерянно собирал щепотью пальцев теплые слезы на ее ресницах и повторял одно и то же:

— Погоди-ка, об чем ты это, а? Ну погоди!

— Дура-ак ты, — протяжно сказала наконец Катерина. — Дура-ак, — с мягким замиранием голоса повторила она. — Мыслимое ли дело, потерять человеку то, без чего жить ему на белом свете совсем невозможно!.. Ты лучше дай руку свою. Вот, положи сюда. Не чуешь? Толкается уже, мальчик, видно. Говорят, они всегда так... в левой стороне на пятом месяце...

С полкилометра матрос нес Катерину на руках, потом остановился и попросил:

— Иди-ка мне на спину. Тяжелая ты стала.

— Не одна потому что, — сказала Катерина.

Недалеко от стоянки им повстречался конный дозор. Узнав своего ездового пулеметной тачанки и Катю-пулеметчицу, верховые круто свернули в сторону, а через минуту матрос услышал их густой придушенный хохот и ответный торжествующе-злой смех Катерины, — она даже не попыталась сойти из-под звезд на землю.

Осенью Катерина родила сына и назвала его Алексеем в честь отца.

— Это ты зря, — серьезно сказал тогда Алексей-старший, — путаться мы будем с ним после войны при твоих окликах... Хотя, с другой стороны, Алексей Алексеич — складно получается. Пушай будет!..

2

Гражданская война второй год обходила стороной Шелковку — большое и богатое село. Стоит оно на взгорье в вишневых и сливовых садах, ликом на юг, на речку Любач. За речкой — луг, потом — поле деревни Сафоновки, густой кустарниковый лес. Бешеная лощина, а за ним — села Рожновка и Липовец. Дальше этих мест шелковцы не сватались за молодаек и говорили, что там начинается не то Польша, не то Румыния.

Через шелковские земли протянулся древний шлях, по которому шелковцы ездят телегами и санями в Курск за солью и дегтем, истрачивая на поездку всего лишь два дня — от Шелковки до города шестьдесят верст.

Двор Матвея Ястребова, огороженный толстой каменной стеной, — в середине села. Хата новая, с красными наличниками, резными, в петухах, сенцами, крытая сторновкою под белую глину. Семья Ястребовых из пяти душ — самого Матвея Егоровича с Михалихой и троих детей.

Старший сын — Петр — в мать: блажной. За все свои тридцать лет ни разу не поговорил с девкой, не выругался черным словом и не выпил стакана самогонки. Петрак, как его звали домашние, не торопясь вяжет отличные рамы, тешет дуплятки для многочисленных пасек села и ладно шьет зипуны. Дочь Пелагея — близнец с Петраком и схожая с ним характером — долго жила в курском женском монастыре келейной прислужницей, но год тому назад вернулась домой, мало что умея по хозяйству.

Младший сын Алексей ни в мать и ни в отца. Форсун, книжник и гармонист, он чуждался работы и с «ливенкой» на плече частенько и под будний день уходил в Сафоновку, а домой возвращался на коровьем реву, зорями, дразня любопытностью просыпающихся баб.

«Выкрутень», — сердито окрестил Алексея Матвей Егорович, но в душе гордился последышем, читавшим книжки и возражавшим ему, отцу, «городскими» словами.

Михалиха состарилась рано — тяжеловат на руку и крут нравом был в молодости Матвей Егорович, да и остался таким до старости. В коленные суставы и поясницу Михалихи давно уже вточилась ноющая боль, а в подслеповатые грустные глаза — неизбывная покорность и жалоба.

«Блаженная гусыня!» — беззлобно сипел Матвей Егорович, переставший с сорока лет стареть, порывисто кидавший свое сухое тело по двору.

— Петрак! Бери лопату, ток разделявать — жива! Лешк, сымай сапоги, обувай лапти — закуту чистить. А завтра с утра пар поезжай метать!

И жили Ястребовы ни богато и ни бедно — больше двух лошадей, пары коров и десяти овец не держали, выше полста пудов ржи к новине у них не залеживалось.

Но в тот год, смуглыми весенними вечерами, когда Любач в белом кипении со скрежетом плавил льдины, по низовью, над разлатыми макушками раки, из Бешеной лощины повадился к Матвею Егоровичу сыч. Он падал на хату у трубы и кугыкал, стонал и смеялся, леденя кровь в жилах Михалихи. Петрак набирал в полу зипуна подтаивших кизяков и молча пулял ими на крышу хаты, отгоняя беду. Вещун перелетал на сарай и оттуда кликал смерть до полуночи.

Михалиха умерла на красную горку. Нерасторопная Пелагея запустила хату, не справлялась у печки. Матвей Егорович кряхтел, недовольный, но Алексей не думал жениться и, оставляя сестру под молитву опрокидывать в печи горшки, по-прежнему будоражил поля залиvistым страданием, уходя в Сафоновку овсяными межами.

3

По случаю троицына дня вся Шелковка сбилась к обедне, заполонила до отказа церковь, выперла на паперть.

— К на-ам! К на-ам! — властно и обещающе кликал колокол, и тем, кто не втиснулся в храм и жарился у ограды, были далеко видны на выгоне селяне, поспешающие к обедне.

В правом крыле церкви благопристойно и чинно стояли мужики и парни. Левую сторону прихода густо заполнила бабья и девичья разноцветь.

— Пре-ее-свя-тая богоро-о-одица... — с достоинством вытягивал молодой дьякон. Легко и остро пронзая дья-

коновский бас, звонисто заливался сомлевший в духоте младенец, не сразу смолкавший под приглушенное «аа-а!».

Матвей Егорович и Петрак стояли рядом, крестились и клали поклоны разом, как по команде. В поклоне у Матвея Егоровича горбилась голубая в белую полосу сатиновая рубаха, из-под нее виднелась заношенная исподница.

— Дядя Матюша, видно, специально кобеднишнюю блошницу надел... из отымалки скроил...

— Сами портные-то, гы-и,— раздался сзади смешок.

Матвей Егорович, услышав, заалел короткой шеей, резко одернул рубаху и до конца службы ни разу больше не нагнулся в поклон. От обедни он направился домой не выгоном, как все, а низом, над речкой. Петрак попробовал отговорить отца:

— Охота в жару по кручам лезть. По выгону пошли б и на погост к матери заглянули б.

— Иди один. Я в одно место забегу... А к обеду ждите.

В церковном проулке — горьковато-влажный аромат лопухов и разморенное куриное квохтанье; в желобке высохшего дождевого ручья пекутся зеленые лепешки коровьего помета и ворошится серая россыпь раскрылатившихся воробьев. Матвей Егорович сошел проулком к речке и нахоженной в береговом лозняке тропкой двинулся на край села.

В конце Шелковки — каменная лавка Кузьмы Михайловича Ходукина, брата покойницы Михалихи. Над красной крышей лавки сплели шатер ракиты, до черноты унизанные грачиными гнездами. Под навесом скургузились бочки и рундуки. Пахнет тут селедками, кисловатой сыромятиной, бубликами. «Распустил по селу запахи, матери твоей кляп!» — мысленно прокатил свата Матвей Егорович, но, ступив в прохладную полутьму лавки и не сразу различая предметы, сказал:

— Здорово живете!

По случаю праздника в лавке был сам Ходукин. Он неохотно оторвался от газеты, бережно сложил ее вчетверо и только тогда протянул через стойку смуглую цепкую руку.

— Здорово, сваток. С праздником. Не ходил к обедне?

— Отстоял, слава богу.

— А я вот у дел... Да ты присядь. Или, может, зайдешь отобедать?

— Некогда. Я на минуту... У тебя русско-горькая водится?

— Есть добро. А что, гость в хате?— прихлопнул веком левый глаз Кузьма Михайлович.

— Какой гость в жару шляться станет! Поясницу остудил. Ноет — спасу нетути! Так я думаю на зверобое настоять...

Не глядя на свата, Матвей Егорович не торопясь вынул из кармана штанов туго набитую деньгами бычьию кошонку, сосредоточенно принялся отсчитывать бумажки.

— Так-так,— протянул Ходукин,— вот и я думаю, оно как бы и не время по гостям ходить...— и, помолчав, сужая постепенно глаза, вдруг сообщил полупшепотом не то с испугом за свата, не то с сожалением:— А деньги-то у тебя не ходячие нынче, сваток!

— Ты... очумел?— не сразу и удивленно спросил Матвей Егорович, прекратив отсчет денег.— Всюду ходят, а у тебя нет. Не сам же я их наделал... Они ж с гербом, гляди!

— Да герб-то чей?— прежним тоном пытал лавочник.

— Как «чей»? Свой! Расейский!

— Расейской державе испокон веков двуглавый орел гербом служил, сват!

— Теперича ей молоток с серпом служит! Тебя что, от сиськи вчерась отняли? Не знаешь, куда орел твой делся, мать его распроезак?

Матвей Егорович на каждом слове креп голосом, а речь Ходукина становилась все проникновеннее и тверже:

— Ты же от обедни, сват, и сразу матюгом... А на счет орла — никуда он не делся. Как был, так и остался им!

— Ну вот что,— обиженно выпрямился Ястребов,— говори прямо: отпускаешь товар за мои деньги или нет?

— Нет.

— Ну и...

— В долг могу дать,— не стал слушать конца речи свата Ходукин.— Отдашь, когда разживешься настоящими...

— Николаевками, что ль?— почему-то сипло спросил Матвей Егорович.

— Ими. Государевыми.

— Тю, сдурел человек! Да их у меня на божнице сот шесть лежит. В прошлом году Петраку в Курске за мешок муки всучили, черти бы их взяли! Заместо настоящих-то!.. Давай бутылку. Миколаевки Лешкой пришлю.

— Вот и сбереги их. Вскорости примут они прежнюю власть и силу,— наставительно произнес Ходукин, наклоняясь и шаря руками под стойкой... Добыв там желтую, с изображением двух козлов бутылку, он перевалился животом через стойку.— Летит к нам орел из теплых краев, сват... Белые кони уже под Орлом, чуешь?

— Мне один кляп, что белые, что черные! — убежденно сказал Ястребов, проворно пряча бутылку в карман.— Оставайся здоров, сват...

4

Над Шелковкой в душном, белесом небе искрится раскаленный солнечный шар. Из конца в конец села в недвижимом, поджаристом воздухе плавают пряные запахи веток, украсивших ворота дворов. Улица пустынна. Сытно отобедавшие мужики поодиночке плетутся в сады под холодок слив и вишен, кучками собираются под навесы амбаров бабы «искаться». И лишь на извилах реки, где она ленива и глубока и где берега ее густо проросли лозняковой дремучью, лишь там в этот час раздаются девичий визг, раскатистый смех парней и стеклянный перезвон водяных всплесков.

С береговой дорожки Матвей Егорович свернул на свой огород, разглядывая заморенные засухой посевы, не спеша пошел в гору, к саду. У первых кустов крыжовника его настиг шум: по скотному проулку от реки неслась ватага парней и девок, вооруженных ведрами, деревянными лоханками и кадками. «Мокриду делают... Обольют, дьяволы»,— смекнул Матвей Егорович и, пригнувшись, надал ходу. Но с проулка его заметили, и через изгородь сада, шурша лопушником и крапивой, вдогон ему кинулись несколько человек. Первым из пузатой кадки широкой и плотной глыбой илистой воды хлопыстнул по спине Матвея Егоровича рослый и чудакватый Тишка Суровец. Матвей Егорович позеленел от бешенства:

— Вот я тебя, чертяка полоумный! Погоди-кась!..

— Дядя Матюша, с дождиком тебя — ухх! — и кто-то из помойного ведра окатил его спереди.

— Безотцовщина! Дурачье! Вы же не то что дождь накличете, а распужаете к чертовой матери всю святость из села! — орал Матвей Егорович, выцарапывая из бороды шелковые нити тины и брезгливо отряхивая с рубахи склизких головастик.

Петрак, Алексей и Пелагея, томясь, ждали отца к обеду. Матвей Егорович вошел в хату злой, булькая водкой в кармане обвисших штанов и соскребая чавкающими сапогами богородицыну траву, настланную на пол с вечера.

— Никак, в речку упал, тять? — спросил Петрак.

— В речку падают пьяные да дураки, вроде тебя! Или не видишь: мотня у штанов сухая, подмышки у рубахи тоже!..

— Да ведь ты мокрый весь, хоть выжми.

— Под горой облили... Мокриду правят разные оболтусы. Ну, собирайте обедать!

— Рубаху-то перемени, — посоветовала дочь.

— Много у тебя их? Обедать, говорю, подавай!

Пелагея накрыла настольник, нарезала скибки зачерствелого хлеба — лепешек не пекла — и зазвенела в чулане половником, наливая щи. Алексей, давась от смеха, глядел в окно.

— Подай чашу или стакан! — приказал ему Матвей Егорович и, вылупив из мокрого кармана бутылку, начал обивать щелчками сургуч.

Первый стакан выпил сам Матвей Егорович, сморщился, нюхая хлеб.

— Вот тут потрох, тять. Пупок, кажись, закуси, — пододвинул отцу деревянный круг с курятиной Петрак. Матвей Егорович захватил двумя пальцами серый комок, торкнул его в соляницу, но на полпути ко рту резко остановил руку, округлил глаза на Петрака:

— Какой же это, к чертовой матери, пупок! Ты видишь, что отцу родному суешь в праздник? Зоб кочетинный сварили!

Алексей в беззвучном хохоте повалился на лавку. Петрак виновато начал зачем-то разрезать зоб, брошенный на стол Матвеем Егоровичем, выковыривая из него разбухшие зерна овса, проса и комки травы.

— Печку рано топила, до обедни отделаться хотела, вот и недоглядела... А какая тут оказия? Все богом дано, тять, — кротко сказала Пелагея.

— Цыц, выкрутень! — Не в шутку подвинулся к Алек-

сею Матвей Егорович.— Плакать в пору, а не гогот разводить в хате! Подумать только: в божьем храме на смех подняли из-за немытой рубахи! Раскурдяи разные измыться начали... Дома жрать сготовить некому, огород вон пыреем зарос, у коровы сиськи лопаются — не выдоена ходит!.. Жениться или моя очередь? Так я зараз мачеху вам на двор приведу!..

Алексей вылез из-за стола, отошел к печке. Глядя поверх головы отца, предложил:

— И то дело. Водка есть, к вечеру и свадьбу справим.

Матвея Егоровича как пружиной вскинуло. Ударившись коленкой об угол лавки, он метнулся к Алексею, цапнув с окна дубовый аршин.

— Что-о? Ты как заговорил с отцом, возгряк?!

Алексей ловко перехватил одной рукой аршин, другая нечаянно оказалась у растрепанной бороды Матвея Егоровича. И то, как быстро отдернул кулак Алексей и спрятал руку в карман и как воровато отвел свои глаза от отцовских, враз смолотило Матвея Егоровича, состарило его на лишний десяток годов.

— Во-от ты ка-ак?— искренне удивился он.— Это мне-то! Родителю кулак сготовил?

Матвей Егорович выронил аршин, волоча сапоги, отступил к столу и, часто заморгав, низко поклонился в ноги Алексею.

— Спасибо, сыночек... вырастили тебя мы с покойницей... Да она, кормилица твоя, не дождалась такой чести, как я... Спасибо. Обласкал отца на старости... Приголубил...

— И с чего завелись, господи боже! — заговорила Пелагея.— Ну что такоича делают люди? Будет вам, садитесь есть, а то курятина остынет.

Матвей Егорович неловко притулился у края стола, молча и медленно задвигал бородой, беззубо жуя хлеб. В хате выткалась недобрая тишина, и было слышно, как тонкие, звонисто-тоскливые нити досуже прядут мухи под потолком за иконами. «Зря перехватил аршин... пускай бы протянул раз. А то сидит, как подраненный кулик, аж глядеть жалко»,— мучился у печки Алексей и вдруг ступил к отцу:

— Тять, и в мыслях не было насчет кулака... Ей-богу! Вгорячах я схватился за аршин, ты же им голову мог раскровянить... А по спине вдарь хоть несколько раз. Слышишь, тять?

И оба сына, и дочь заметили, как внутренне подобрался отец, поднял плечи под непросохшей рубахой, разогнал морщины со лба.

— Я говорю: жениться моя очередь пришла или чья?— берясь за бутылку, отдельно спросил Матвей Егорович, глядя на Алексея. Тот молчал, следя за снизкой белосиних монист в стакане, сразу погасших, как только отец перестал наливать водку.— Выпей.

— Не буду, жарко,— отказался Алексей.

— Выпей, говорю. У Ястребовых на дворе сроду не водились козлы!

Алексей нехотя, но упрямо выщедил дробными глотками водку, опалил рот тепловатой горечью. И пока заедал курятиной, Матвей Егорович одобрительно молчал, разглядывая просяную высыпь веснушек на тонком переносье сына.

— Ну, вот что, родимые мои,— начал он,— сами видите: дожили мы до того, что и от Игната Суровца не отличишь нас. Запаршивели до ужастей! И хоть круть-верть, хоть верть-круть, а без бабы хата не жильё. К жнитве молодайку приводи, Лешк. Невест в селе — как опенок по осени в раakitнике... Да я, по совести сказать, и выглядел хозяйку...

— Невесту я сам выберу,— глухо сказал Алексей.

— Сам с собой у нас в закуте хрюкают! Уж не в Сафоновке ли обнаружил невестку мне?

— А хоть бы и там! — в упор глянул на отца Алексей.

— Ты опять за свое? — недобро поинтересовался Матвей Егорович.— Это не бывшего ли барского кучера дочь? Лахудрино отродье? — с каждой фразой суровил он голос.— И чтобы я породнился с холуем, а его приبلудницу в хату взял? Да ты что, очумел или как? — изумился старик.

— Не кричи, тять, мы не на полях,— сдержанно попросил Алексей.

— Да пускай меня планида разразит, коли я такую страмоту в хате дозволю! — не слушал подзахмелевший старик.— Сыскал сватка, сумку побирушную, кусочника!..

— Ну, если так — женись сам! — поднялся Алексей.— Не шибко старый!..

— Куда пошел? Воротись, сукин сын! Воротись, балакать с тобой буду! — крушил кулаками стол Матвей Егорович, пока не стихли в сенцах шаги Алексея.

Провожаемый окриками отца, Алексей спрыгнул с крыльца во двор, окунулся в духоту безветрия. Хлопнув разохшейся калиткой, он перешел пыльную улицу, нырнул в сад под разлзтый куст акации. Следя за сосредоточенной возней пчел и шмелей в желтых сережках акации, вспоминал Алексей недавний разговор с отцом, думал: «Не дозволит жениться на ком мне хочется — подамся в Курск грузчиком. Как-нибудь проживу».

На рубаху к нему мягко упала пчела. Тяжело перебирая лапками, загруженными цветочной пылью, она лезла вверх, на плечо Алексея, судорожно дрыгая единственным крылом. «Вот, тут тоже скандалы происходят. Ишь, как тебя подсекли! Ну куда ты теперь годна? Лазить не захочешь, а летать без крыла не сможешь...» Алексей оторвал лоскуток лопуха, подставил его пчеле. Она доверчиво вползла, приблизилась к краю и, обрадованно заработав крылом, свалилась в траву...

По проулку букетами полевых цветов катились разряженные девчата и парни к речке, а оттуда в лес. Алексей вспомнил, что он в будничных штанах и рубахе, а праздничные лежат в сундуке в хате. «Не в этих же портках пойду я в Сафоновку?» — подумал он и решительно поднялся на ноги. Столкнувшись в калитке с Петраком, попросил его:

— Братух, вынеси мне сюртовую рубаху, плисовые штаны и сапоги.

— Возьми сам. Тятя ушел выгоном к куму Федору, — недовольно отозвался Петрак. — И что ты только дразнишь его! Женился бы — и все тут!

— А ты сам спробуй! — огрызнулся Алексей. — Ходишь тридцать лет валухом... Тебе все равно за какую держаться, в амбаре не видно!

— Тьфу, дурак головастый! — покраснел Петрак. — В божий день — и такие речи, прости меня господи!..

Солнце свалило за полдень, когда Алексей вырядился и полевыми межами, начищая носки сапог подгорающим придорожником, пошел в Сафоновку...

Спящим селом возвращался хмельной Матвей Егорович домой от кума. Хороводы давно разошлись, и лишь у амбаров и срубов шушукались пары.

По залитому лунным светом двору Матвей Егорович прошел к хате, с крыльца прикрикнул на забрежав-

шего Полкана. В ответ, почувяв голос хозяина, приглушенно заржала кобыла-трехлеток, в сонной лени замычала корова. «У кума Федора, поди, лошади не заночуют летом в закуте!»

В темных сенцах Петрак шуршал ладонями по высохшим доскам двери, нащупывая щеколду.

— Поздно ты, тять.

— А Лешка дома?— спросил в ответ Матвей Егорович.

— Может, в амбаре лег. В хате его нетути.

— То-то же, «нетути». А лошади с голодухи гогочут в закуте.

— Ниче у всех они дома. Троица же...

— Стало быть, троицей они сыты?— бубнил Матвей Егорович.— Иди обряди их, погоню в Уручье.

— Да день-то русалочный, тять. Сроду никто на троицу не водил лошадей в ночное,— придерживая портки, зевал Петрак.

— А, городи мне окоlesiцу! Выводи, говорю, пока я лапти обую.

Петрак подвел лошадей к крыльцу, аккуратно уместил на широкую спину мерина зипун. Подтянувшие животы кони доверчиво льнули к рукам, сочно хлюпали бархатными губами. Кончив обуваться, Матвей Егорович вышел на крыльцо, с трудом залез на мерина и, подобрав недоуздок, приказал Петраку:

— Подай-кась дубинку и... дудку. Она на божнице рядом с просвиркой лежит.

Петрак подал отцу то и другое, раскрыл ворота на выгон.

— Ну, поезжай с богом. Да гляди окрестись перед сном. День-то такой...

Мягко стукая в бока мерина пятками лаптей, Матвей Егорович выехал на выгон и, заложив под локоть дубинку, вытащил из-за пазухи дудку. Заскорuzлый мизинец его левой руки упрямо съезжал с дальней от мундштука дырки, дудка с минуту сипела и всхлипывала, но, уловив миг, Матвей Егорович вывел замысловатую руладу и, приспособившись, рванул плясовую:

Ту-ту-ух, ту-ту-ух, ту-ту-ух,
Тау-рау, ту-ту-ух, тюв-тюв!..

Мотив песни сопровождался в хороводах и словами:

Я на улице не хаживала,
Семерых к себе важивала...

Матвей Егорович мысленно приговаривал слова, раззадоренный собственной музыкой. Лошади, зная дорогу к пастбищу, шли спокойно и уверенно, изредка лишь всхрапывая, когда увязавшийся Полкан слишком близко проносился мимо, гоняя по выгону тушканчиков. Залитые лунным светом, тихо нежились истомленные засухой поля. С обочины выгона, из седеющих ржаных посевов, единственным живым звуком неслись подбадривающие Матвея Егоровича перепелиные напутствия: «Жить так жить! Жить так жить!»

У-у-ух! У-у-ух! У-у-ух!
Тау-рау, у-у-ух, тюх-тюх! —

вторил на дудке Ястребов.

Уручье спало. Водяные пролысины болота тускло отсвечивали красноватыми бликами месяца, курились причудливыми клубами теплого тумана. Из ольхи и осочки навстречу мягким звукам дудки эхо грянуло звонисто-раскатистым хором. Полкан, приотстав, завыл протяжно и нудно, а лошади захрапели, остановленные самим же Матвеем Егоровичем.

У-у-ух! У-у-ух! У-у-ух!
Тау-рау! У-у-ух! Тюх-тюх! —

неслось из болота под залиvistый, как показалось Матвею Егоровичу, девичий визг.

— Но-оо! — крикнул он, рванул поводья недоуздка. Огретые дубинкой, лошади рванулись по выгону. Полкан, распустив хвост, с игривым брехом кусал их за щетки. «Но-оо!» — не переставая, понукал Матвей Егорович, пригнувшись к гриве мерина. В свой проулок влетел он вихрем, не слезая с мерина, заколотил дубинкой в ворота с улицы:

— Отворя-ай!

Петрак, крестясь, трусцой спускался с крыльца.

— Кто такоича?

— Отворяй, говорю, рассусоливай!..

— Свят-свят, господь! Никак, случилось что?

— Да как же! Целым корогодом окружили... Чуть не защекотали, потаскухи!

— Кто-о?

— Кому опричь? Русалки, матерям их дышло! Ишь, и зипун, и дудку отняли... Мало им там своих, нечистый дух! А все ты, блажной, виноват. Каркал, как ворон: «Крестись да крестись!» Где ж там было крест сотворять, когда их, может, тыща наскочила!..

На заре Матвея Егоровича разбудили гулкие удары в ворота. Опередив Петрака, он выглянул в окно. Улица была запружена подводами и солдатами в невиданных остроконечных шапках с малиновыми матерчатыми звездами. «Вот он твой орел, Кузьма Михайлович! — с досадой на то, что не отправил вчера долг свату, подумал Ястребов. — Небось нынче не примешь миколаевки?..»

Калитку Матвей Егорович открывал нехотя и долго, и когда опасливо просунул голову в щель, чья-то голая рука неторопливо и ласково забрала его бороду и туго зажала ее в кулаке.

— Как фамилия? — услышал он нарочито певучий голос невидимого человека.

— Ястребов, Матвей Егоров, — неожиданно для себя, как-то чересчур поспешно ответил Матвей Егорович, глядя себе под ноги, и рука, от локтя до кисти разрисованная якорями и стрелами, прежним ласковым движением отпустила его бороду. Не переступая порога калитки, Матвей Егорович поднял голову и увидел коренастого человека, увешанного белыми бутылками бомб. Он стоял непокрытый, в одной тельняшке и широких черных штанах и непомерно синими глазами невинно и дружески глядел на Матвея Егоровича.

— Алеша! Ну что ты опять делаешь! Ей-богу, я расскажу обо всем комиссару! Вот прямо сейчас!

Голос был высокий, рвущийся, прохваченный дрожью обиды. Матвей Егорович повел взглядом и увидел на середине улицы узкую, приземистую и длинную бричку, запряженную парой разномастных коней. В передке брички стоял солдат с косами. «Баба!» — мысленно отметил Матвей Егорович.

— Пардон, супруга! — тряхнул в сторону брички белым чубом человек в тельняшке. — Произошла радостная смычка нейтрального хлебороба с красным моряком, временно ездовым пулеметной тачанки Алексеем Кишко. Только и всего! Гражданин Ястребов, попрошу открыть ворота и оказать нашему экипажу почет и уважение! По-опрошу-у!

Из всего, что с ним только что произошло, Матвей Егорович сразу постиг не много, — обида пришла к нему позже и совершенно по другой причине. Он рас-

крыл ворота, пнул босой ногой подвернувшегося Полкана и долго глядел из-за угла амбара, как ставил у стены двора бричку матрос, распрягал коней, трепля их по холкам. Кони были поджаристы, высоки и худы; Матвей Егорович сроду не верил, чтобы из тонконогой лошади мог выйти толк в хозяйстве. В задке брички, как лягушка перед прыжком, низко приник к поперечной грядке зеленый тупорылый пулемет, а посередине протянулся полукруглый навес выгоревшего добела брезента. «Ночуют там. Как цыгане! — решил Матвей Егорович. — А лошадей, видать, любит матросяка!»

Мимо раскрытых ворот, вдоль улицы продолжали ехать красноармейцы, поглядывая на окна хат. «Зараз их, чертей, набьется полный двор», — подумал Матвей Егорович, и четверо конников, будто икнулось им, на рысях, попарно тут же въехали в ворота.

— Эй, отец! Поди сюда! — позвал Матвея Егоровича усатый верховой в синих штанах с красными лампасами.

— А в чем у вас нужда? — подал от брички голос матрос.

— Приказано стать тут, — ответил усатый.

— Нельзя, братишки! Давайте полный назад!

— Это почему такое? — обиделись кавалеристы. Шурша калачником, густо покрывшим двор, матрос подошел к усатому и что-то коротко сказал ему, кивнув на бричку.

— Так бы и говорил, — смягчился тот. — Вертай, товарищи! Тут занято!..

В закуте давно и призывно ржала кобыла, ей дважды и слаженно отозвались матросовы кони. Матвей Егорович вошел в амбар разбудить Алексея, но его постель оказалась неразобранной. «Шляется выкрутень, а лошади голодные!..» Он подхватил с пола витую из соломы и лыка меру и перегнулся через борт закрома за овсом. Зачерпнутая порция показалась ему большей, чем следовало, и он стал пригоршнями отсыпать зерно обратно в заком.

За этим делом и застал его матрос.

— Эге, — сказал он, — ций гарный продукт и требуется моим соколикам! — и он плавно подставил руки под меру, но Матвей Егорович потянул ее к себе.

— Ты бы не дурил, малый. Хватит одного раза... Я тебе не ровесник! — произнес он дрогнувшим голосом. Матрос с искренним удивлением поглядел на него и, легко подхватив меру, пошел к выходу. — Стало быть, грабите? — потерянно

спросил Матвей Егорович.— А кто ж платить мне за овес будет... и чем?— решился он на последнее.

— А чем бы вы хотели получить с меня, ваше нейтральное хлеборобство?— остановился в дверях матрос.

— Соли от рождества нетути в хате! — с неожиданной злой твердостью солгал Матвей Егорович.— К тому же в сбруе ременной нуждаюсь...

— Ага! Значит, натурой! — обрадовался чему-то матрос.— Добре, сейчас расквитаемся...

Он ушел, а Матвей Егорович, не зная, верить или нет обещанному, насыпал овса в подол своей длинной холщовой рубахи, запер на замок дверь амбара и прошел в закуту к лошадям. Там на матице целовались голуби, в расставленных кошелях-гнездах кудахтали куры, и в щели соломенной крыши косо пробивались острые лучи встающего солнца.

Лошади не успели еще доесть корм, когда в дверях закуты встал матрос. В одной руке он зажимал длинный плетенный из узких ремешков кнут, а другую расслабленно покоил на отполированной кобуре маузера. Хитро сощурясь, матрос оглядел крупы лошадей, потом вдруг шагнул к мерину и умело, как курский барышник, захватил и выкрутил пальцами его верхнюю губу. Оскалясь и подрагивая, мерин стоял покорный, пока матрос разглядывал его зубы.

— Та-ак... Коник, оказывается, годен в строй! — раздумчиво, будто самому себе, сообщил матрос. У Матвея Егоровича захолодело в груди: «А ить заберет, проклятуший! Заберет!..» И, близко подступив к матросу, он с великим презрением к мерину и верой в то, что это так и есть, сказал:

— Ни к чертям лошадь. Третий год ветрогоном страдает!

— Че-ем?— спросил матрос.

— Ну, 'этим самым... дух пущает из себя без удержу! Как начнет, к примеру, в Шелкове, а закончит аж в Липовце. Страмота одна...

— Да ну?— радостно удивился матрос.— А мы такого музыканта уже полгода шукаем! Он же Красной Армии до зарезу нужен!..— И вдруг обнажил маузер: — Я тебе, старый черт, покажу сейчас ветрогон! А ну, марш до хаты! Бегом!!

Алексей вошел в калитку в тот момент, когда отец, неестественно наклонившись вперед и втянув голову в плечи, вихляюще трусил к крыльцу хаты. Покачивая в руке маузер, под собственную команду, будто на строевом учении, рядом бежал матрос.

— Ать-два, старый хрен! Ать-два, тверже ногу! Ать-два, шире шаг!

Увидав Алексея, Матвей Егорович плавно обогнул крыльцо, прибавил ходу навстречу сыну.

— Вот... целое утро по двору гоняет! Жизни хочет решить, а тебе и дела до того нетути! — тонким, испуганным голосом выкрикнул он, проворно хоронясь за спину Алексея. Матрос остановился шагах в трех от них, выжидающим, почти просящим взглядом уставился на Алексея. Он видел, как на побелевшем лице парня отчетливо проступили крапинки веснушек, как трепетно задрожали его руки, придерживавшие гармонь.

— Ослобоните отца... — осиплым шепотом проговорил Алексей и, выждав долгую паузу, сказал еще: — Ему ж шестьдесят первый...

— Вот и я ему говорил про то же самое! — выглянул из-за спины сына Матвей Егорович. — А он мало того, что мерку овса отобрал, а и мерина хотел...

И тогда матрос начал хохотать. Обхватив голову руками, в которых были зажаты маузер и кнут, он шатался, силился что-то вымолвить и коротко взглядывал невидящими от слез глазами то на Алексея, то на Матвея Егоровича.

— Иди в хату, тять! — как маленькому, приказал Алексей отцу, и тот покорно пошел, не оглядываясь. Подождав с минуту и невольно проникаясь новым чувством к происшедшему, Алексей уже спокойно поглядел на матроса. — Смалился со стариком...

— Я ж шутил, чудаки! — сквозь смех отозвался тот.

— Хороши шутки, наган в спину!

— Тюря! — враз посерьезнел матрос. — Ты его держал хоть раз в руках, «наган» этот?

— Дашь — так подержу! — угрюмо сказал Алексей.

— А ну, бери! — внезапно предложил матрос и, обернув к себе ствол, протянул рукоять маузера Алексею. Опасливо и неумело Алексей взял револьвер в левую руку, махнул им, будто топором.

— Тяжелый какой! — с ребяческим удивлением сообщил он и снова махнул рукой.

— Левша? — спросил матрос.

— Не.

— Оружие и ложку надо держать в правой руке, понял?

— Так гармошка же мешает!

Кинув кнут, матрос принял от Алексея гармонь, подбросил ее на руках и с ходу, на лету уложив пальцы на клавиши, развернул мехи.

Эх, дождь будет,
И буран будет,
А кто ж меня
Целовать будет?
Эх, да яблочко,
Краснобокое,
Эх, да девочка,
Синеокая!
Эх-ах, инда-рида,
Краснобокое,
Тали-лили,
Белых били,
Синеокая!..

Слова песни матрос не пропел, а выговорил задумчиво и искренне, как молитву. Алексей с восторгом, близким к испугу, глядел на свою гармонь, — она, оказывается, могла и такое, а не только страдание и «барыню».

— Да-а, — только и сказал он, забыв о маузере, который все еще держал в левой руке. Матрос коротко чему-то улыбнулся, осторожно прислонился щекой к подголосной части гармони, зажмурился и заиграл какую-то печально-нежную, протяжную мелодию. Звуки, как встревоженные голуби, закружили по двору, то нелегко взмывая вверх, в небо, то неудержимо-плавно устремляясь к земле, и сердцу Алексея было то тревожно-тоскливо, то облегченно-радостно. Загрустившими глазами он глядел себе под ноги, и оба они с матросом не видели, как от брочки к ним подошла женщина-солдат. На руках у нее как-то странно полулежал-полусидел ребенок, завернутый в зеленую пеленку и туго свитый широкой тесьмой. Женщина долго и недоуменно глядела на обнаженный маузер в руке Алексея, потом на гармонь и вдруг ахнула:

— Алеша!.. Сменял?

Матрос приоткрыл веки и, не переставая играть, мечтательно улыбнулся, кивнув женщине, будто подзывал ее или здоровался.

— Сменял?!

И тогда мелодии не стало сразу, словно она никогда и не жила. Движением плеча матрос сбросил ремень гармонии, рывком протянул ее Алексею и рывком отобрал у него маузер.

— Учил я его, Катя... Понимаешь, малый просится добровольцем к нам, а оружия не видел... верно?— твердо глядя в глаза Алексея, отдельно спросил матрос. Алексей растерянно глянул на женщину. Желтые зрачки ее были пронзительны и будто спрашивали: «Верно?» «Как у кошки»,— подумал Алексей и тут же понял, что матроса надо выручить в чем-то перед этой бабой, сказав ей неправду,— вечерами на улице такое тоже часто бывает между парнями и девками.

— Верно,— с торопливой охотой подтвердил он.— Вот ей-богу!

На какое-то время во дворе стало тихо, и было слышно, как на улице в бесперебойном движении мерно звякали втулки колес и кто-то хриплым басом угрожающе просил: «Осади назад дышло! Осади, говорю, в душу твою обозную!..»

— Подержи Алешку... я схожу за молоком куда-нибудь,— каким-то смятым голосом сказала Катерина и, не сходя с места, осторожно протянула к матросу руки с ребенком. Матрос поспешно принял его, привстав зачем-то на цыпочки, да так и остался стоять, пока Катерина не скрылась за воротами.

— Не поверила...— проговорил он, глядя на Алексея жалующимися глазами.— Не так тебе надо было говорить, парень. Зря ты божился.

— Да нечто мы взаправду менялись?— удивился Алексей.— Чего ж ей обижаться!

— Тут, видишь ты, такое дело: казачью шашку я как-то променял на одну вещь, ну и... жена подумала, что я опять это самое... Зря ты божился!— повторил матрос и неумело переложил руки под тельцем ребенка. Видно, от мух и света лицо его было прикрыто пожелтевшим лоскутом марли. Края ее свисали вниз, а серединка— над ртом и носом— топорщилась кверху крошечным, пронизанным солнцем шатром. «Устроили ж!»— усмехнулся Алексей, и в ту же секунду марлевый шатер

пошатнулся, мягко осел и пропал в маленькой темной воронке.

— Жрать мужик захотел. Сиську шукает,— вздохнул матрос, а ребенок сердито вытолкнул ртом мокрый комок марли и заплакал звонко и обиженно.

— Ну, поехала арба в Бахмут за солью! — сказал матрос, пряча марлю в карман.— Терпи, браток, терпи! Мать вернется не скоро...

Не показываясь на крыльце, Пелагея трижды звала Алексея завтракать, но он не шел: что-то мешало оставить матроса одного справляться с бабским делом.

— Ну, скоро ты, Лешка? Тятя ж ругается,— опасливо приоткрыв дверь, выглянул из сеней Петрак. Алексей махнул на него рукой и с непонятной самому себе обидой на что-то спросил у матроса:

— Может, молока б дать дитенку?

— Дадим, коли мать достанет...

— Так у нас же свое есть. Чего ж его доставать! — перебил Алексей, направляясь к крыльцу хаты.

— Есть? — растерянно спросил вслед ему матрос.— Ага. Ну, тогда это хорошо, если есть.

В хате было сумеречно и тихо. Прижав к груди огромную круглую ковригу, Петрак сосредоточенно резал скибки хлеба; со скорбно поджатым ртом Пелагея снимала деревянной ложкой верхки молока, наклонясь над кувшином; Матвей Егорович угрюмо сидел в святом углу, обжигая пальцы, лупил картошину.

— У нас кульеров нетути, чтоб по десять раз кликать тебя! — проговорил он в бороду и сердито полоснул ножиком оголенную картошину.

Алексей промолчал. Повесив на крюк у дверей гармонь, он подошел к столу, присел на край скамейки.

— Руки-то хоть ополосни перед едой! Шлялся черт-те где целую ночь — и прямо за стол...

Было непонятно, что подмывало старика: то ли вчерашняя неоконченная ссора с Алексеем, то ли нынешняя встреча с матросом. Выждав, когда Пелагея кончила собирать сливки, Алексей обхватил горло кувшина обеими руками, бережно понес его из хаты.

— Это куда? — оторопело спросил Матвей Егорович, переставая жевать.— Куда попер, говорю?

Алексей остановился у дверей, не оборачиваясь сказал:

— Там... матрос просит.

— Матро-ос? Приси-ит?— недобро протянул Матвей Егорович и приподнялся со скамейки.— А ну, поставь кухлик на место!

— Да я ж дитенку, а не самому ему,— объяснил Алексей, заглядывая зачем-то в кувшин.— На весь же двор кричит...

— Какому такому дитенку?— вылез из-за стола Матвей Егорович.

— Ну ихнему... с женой.

— С жено-ой?— осипло переспросил Матвей Егорович, вытягивая шею.— Это у такого обормота — и жена? Поставь на место кухлик! Каждая солдатская шлюха, значит, тут молоко просить приблудам своим!..

Во двор Алексей вышел багровый, нагнув голову, и, глядя вбок, неспорым шагом подошел к матросу.

— Отец там...— проговорил он и замолк.

— Да не нужно, браток! Что ж теперь,— смущенно сказал матрос и как-то невыразимо скорбно и трудно поглядел на Алексея.

8

Шелковка притаилась, ждала: «Что-то будет». Наступил второй день престольного праздника, а колокол не звонил. Выгон буйно зарос травой, а скотина томилась в закутах. В поставцах мутнели четвертные бутылки с самогоном, а мужики были трезвы.

Уже через час после прибытия в село командир красных велел разыскать председателя сельсовета Игната Суровца — смиренного, запуганного жизнью мужичонку, зимой и летом не снимавшего побуревшего, замызганного тулупчика. Нашли Игната дома, на краю села — забился в полуразрушенную погребницу, а от кого там спрятался — и сам не знал. Везли его к сельсовету в командирской бричке. Игнат притулился в задке на кожаном сиденье, стыдливо глядел на свои желтые босые ноги.

У сельсовета копытили сухую землю оседланные кони, поодаль на бревнах тесно сидели красноармейцы, облокотившись на перила крыльца, одиноко стоял высокий щеголеватый человек, затянутый офицерским ремнем.

— Вы и есть председатель здешнего Совета?— оглядев Игната, спросил он.

— Выбрали вроде меня,— виновато сказал Игнат.

— Я комиссар первого коммунистического продотря-

да Красной Армии. Фамилия моя Верхованцев,— сухо проговорил комиссар, вплотную подступив к Игнату.— Мне нужны пофамильные имущественные списки жителей вашего села. Есть таковые?

— Списков нетути. А таковые... имущие жители, значит, все по хатам,— часто заморгал Игнат и переступил с ноги на ногу. Полы его тулупа разошлись, и перед глазами комиссара мелькнуло нагое Игнатово тело — синяя ребристая грудь в рыжеватой поросли и матовый запалый живот.

— Что такое? Почему голый?— спросил Верхованцев, и вдруг лицо его залилось густым наплывом краски, а чистый выпуклый лоб побелел, перерезанный морщиной, как от внезапной боли.— О, черт! Идите за мной... Нет, вперед, пожалуйста! — как во сне сказал он и отступил, пропуская Игната на крыльцо сельсовета...

Всю ночь комиссар Верхованцев просидел в сельсовете с Игнатом Суровцем. Уколов острым ногтем мизинца очередную фамилию в подворном списке, он устало поднимал на председателя ввалившиеся глаза:

— Сколько этот хозяин сможет? Пуда три ржи сдаст?

— Осилит,— говорил Игнат, кутаясь в тулупе.

— А пять?

— Найдет...

— А десять?

— Вытянет...

Верхованцев аккуратно выводил цифру «8», и его мизинец переползал на следующую фамилию.

Последним в списке числился сам Игнат.

— Вы... сумеете сколько-нибудь дать?— не сразу спросил Верхованцев. Игнат долго молчал, глядя в окно на серую, предгрозовую муть рассвета, потом кивнул головой.

— Сколько?

— Две ковриги... печеным... ежели примете,— негромко сообщил Игнат, не отрывая взгляда от окна. Верхованцев отложил карандаш, осторожно вылез из-за стола и болезненно подняв плечи, вышел в сени. Вернулся он не скоро, зажимая под мышкой какой-то узел. В закопченном пузыре настольной лампы трепетно бился и дрожал желтый язычок пламени, и при его вспышках Верхованцев не сразу различил Игната. Уронив всклокоченную голову на край стола, тот спал. Верхованцев положил на табуретку узел и прикрыл ладонью отверстие пузыря. Как только огонек умер, Верхованцев перенес руку на плечо Игната и, легонько встряхнув, приказал ему сейчас же взять

из обоза продотряда два мешка гречихи, чтобы днем сдать один из них обратно.

— И переоденься, — сказал Верховланцев, указывая Игнату на странный узел.

На рассвете над Шелковкой прошел короткий грозовой ливень, а с восходом солнца на скотных проулках села, засучив портки, ребяташки обыскивали желоба сбежавших в Любач ручьев, загружали подола рубах ржавыми ухналями, патронными гильзами, старинными монетами и всякой всячиной. Вздувшаяся речка величаво и бережно уносила куда-то розовато-белые шматки пены, квелое золото соломы, изумрудные косяки ракитовых листков. Село дышало первобытной плотью земли, горьким ароматом лопухов, дыбом вставших у каждого тына, душно-сладкой сиренью, буйно расцветшей в это утро.

В солдатских штанах и гимнастерке, но босой, с красноармейской островерхой шапкой под мышкой — стеснялся надевать — Игнат Сурувец обходил село в сопровождении двух продотрядцев. Не заглядывая в хаты, он коротко прикладывался лицом к окнам, будто целовал их, и выкрикивал каким-то торжественно-осерженным голосом:

— К гамазее!

На церковной площади — месте шелковских сходок и гульбищ — стоял на высоких столбах-подпорках большой деревянный амбар, крытый зеленой жстью. Он был давным-давно построен земством для хранения казенного зерна и оттого назывался гамазеей. Огородными межами сюда приходили из села целые стаи кур. Они ладили под амбаром в прохладной пыли гнезда, купались в них и неслись. Торопливыми летними ночами у амбара дружно страдали под балалайки и «ливенки» шелковские ребята и девки. Вот за все это многие мужики и особенно бабы крепко не любили казенный амбар — поди, разбери, чья курица снеслась там и кто из соседних парней сделал твоей дочери «подгамазейника»...

А Верховланцева амбар обрадовал. Сразу же по прибытии в село он тщательно измерил его и решил: влезет пять тысяч пудов. Верную половину сдаст Шелковка — в ней триста восемнадцать дворов! Остальные пуды привезут из окрестных деревень — Сафоновки, Рожновки, Липовца и Гахова. Дня через три сто семьдесят местных подвод под охраной продотрядцев отправят хлеб в Курск. Оттуда в вагонах доставят его в Петроград...

Солнце зашло за клуни, когда, сменив кобеднишные

рубахи на будние, с оглядкой на соседа, побрели на сходку шелковские мужики. В теневой части амбара, на длинном крыльце, их ждали Верхованцев и Суровец. Подходя, мужики чинно снимали картузы, степенно желали Верхованцеву доброго здоровья и отходили в сторонку. Мальчишески звонким голосом, весь напрягшись, как в бою, Верхованцев сказал, кому и для чего нужен хлеб.

Разверстку оглашал Игнат. В узких, в обтяжку, штанах он ступил на самый край крыльца, и всем были видны зажатый у него под локтем красноармейский шлем и мелкое дрожание концов тесемок у щиколоток босых ног. Игната давил смертный стыд за свою непривычную одежду, он теребил в руках список и молчал, глядя себе под ноги.

— Ну, что же вы? Объявляйте! — шепотом сказал ему Верхованцев, и Игнат шепотом проговорил что-то о четырех пудах гречихи.

— Не слышим! — выкрикнули из задних рядов сходки.

— Сдаю, говорю, четыре пуда гречихи, — повторил Суровец.

— Это где ж ты взял ее? Кажись, не сеял... — слышались чем-то обрадованные голоса.

— Дали... Они вот, — твердо признался Игнат и всем корпусом обернулся к Верхованцеву. Тот выпрямился и посмотрел на Игната с каким-то удивленным вниманием. А Игнат ни с того ни с сего окреп в голосе. Не заглядывая в список, он наизусть называл фамилии сельчан и назначенное им к сдаче количество хлеба.

— Андриянов Федор, шесть пудов ржи!

— Ястребов Матвей, восемь!

— Ходукин Кузьма, шашнадцать...

Как только Игнат умолк, Верхованцев услышал то, чего все время ждал и что было неминуемо — кто-то в толпе мужиков негромко, но явственно сказал:

— Ну, вот и хорошо... Попервам пускай нам дадут, как Суровцу, а потом уже и мы...

— Хлеб сдать полностью-у! — протяжно и четко скомандовал внезапно Верхованцев и нарочито заметным движением руки тронул крохотную кобуру браунинга. И сейчас же, впервые за всю жизнь, Суровца кто-то назвал по имени и отчеству:

— Игнат Васильевич, а когда сдавать-то? И куда?

— Сдавать, граждане, будем нынче. Прямо вот теперь, в гамазею, — ответил Игнат и, не в силах совла-

дать со своей неожиданной смелостью, глубоко насадил на голову шлем...

Возвратясь со сходки, Матвей Егорович не заметил во дворе брички.

— Съехал этот чертяка, что ль?— спросил он Петрака, ладившего под навесом сарая клецы к новым граблям.

— Да куда ж он съедет,— миролюбиво отозвался Петрак,— поехали с Лешкой в луг отаву лошадям косить... А она с ребенком в хате у нас сидит. Катериной, кажись, зовут...

— Кого зовут?— не понял Матвей Егорович.

— Жену матросову.

— Тю, дурак! А мне-то что из того? Пущай она будет хоть сама Лизавета! Ну-ка, бросай грабли и насыпай два мешка ржи. Обложили, слава богу!..

Пока отец запрягал мерина, Петрак наполнил и выставил на каменные приступы амбара мешки с рожью. Подъехав, Матвей Егорович пощупал глазами их тугие бока, приказал:

— Отсыпай по пять картузов из каждого. Или не знаешь, сколько наш мешок тянет?

— Всегда были по четыре пуда,— сказал Петрак, но приказ отца выполнил.

Дорожка от гумна до выгона шла на изволок, и Матвей Егорович не сел на телегу, шел рядом с меринном, радуясь всходам конопли. Из увлажненной и хорошо унавоженной земли она перла густой щеткой, пахла сладко, возбуждающе. Мерин тянулся мордой то влево, в свой огород, то вправо — на соседский, и Матвей Егорович походя дергал вожжину — то сердито и резко, то так себе, для вида.

Церковная площадь была запружена подводами. На крыльце амбара у широких сотенных весов стояли матрос и Алексей. Взвешенные ими мешки ловко подхватывали продотрядовцы и уносили в темный зев амбара.

— Та-ак! — протянул Матвей Егорович, увидев сына.— А дома сбрыхал, что за отавой поехал!..

Не пристраиваясь в очередь к весам — успеется! — Матвей Егорович пересек площадь и стал у церковной ограды рядом с расписной тавричанкой Кузьмы Михайловича. Расставив ноги, Ходукин справлял под тополем нужду, зачарованно глядя на засиженный галками

церковный крест. Сваты поздоровались издали. Не выходя из длинной вечерней тени тополя, Ходукин кивнул головой в сторону амбара, проговорил с неподдельной брезгливостью и обидой:

— Хо-зя-ин, матери его в дыхало!

Сквозь ряды подвод к крыльцу амбара пробивался на своей чалой безмслачной кобыле Игнат Суroveň. Его приземистая без опалубки телега казалась неимоверно широкой и неуклюжей — из размолотых втулок колес бесстыдно-голо высовывались длинные деревянные оси, издающие заунывно-тягучий визг. Все это Матвей Егорович схватил коротким взглядом через плечо и, потрогав зачем-то грядку своей телеги (она тоже была на деревянном ходу), вступился за Игната:

— Не всякий может, сват. Что ж теперь человеку делать, по-твоему?

— А уж это кому что бог на душу положил,— убежденно сказал Кузьма Михайлович и тоже пощупал грядку своей тавричанки.— Я о другом говорю. Видишь, до чего дожила матушка Русь? Пудами зачала промышлять. С мешком за плечами побираться пошла!..

— Куда ж это она пошла?— недобро прищурился Матвей Егорович, чувствуя смутное раздражение против свата.— К чужим, что ли? Мы-то с тобой нешто ей не родня?

— Кто как,— загадочно ответил Ходукин и вдруг построжел голосом, шагнул вплотную к свату:— Твой-то младший никак тоже в куль хочет вырядиться?

— В какой такой куль?— насторожился Матвей Егорович.

— Со звездой... на манер Суroveňца! Или не видишь? Он уже, сукин сын, к краснюкам присобачился! Хлеб наш у них важит!

Матвей Егорович медленно побагровел и, пружинисто ступая на носки лаптей, двинулся на свата, сам страшась своего гнева и обиды:

— Мой сын что, на хрен соли тебе насыпал! Ты что коришь его? И пуцай важит! Я самолично приказал ему: иди, говорю, и важы! И не спущай никому даже хвунта! Чтоб все отдали, сколько кому положено, потому как Расея наша сроду не была побирущкой! И не будет! Мало ей этого хлеба — втройне дадим!..

Одним духом высказав все это несокрушимо молчавшему свату, Матвей Егорович влез на телегу и погнал мерина к крыльцу амбара, минуя очередь.

Мешки его матрос принял без веса.

— Там хвунтов двадцать не хватит,— сердито, сказал ему Матвей Егорович.— Мешки малы. Так я дома овсом отдам, если прежний не заквитаешь...

Матрос застигнуто оглянулся на продотрядцев и неестественно громко позвал:

— Кто следующий? Давай-давай...

В тот вечер Матвей Егорович нескоро попал домой — кум Федор, сдав подразверстку, заманил его к себе на запоздалую опохмелку. Полночью Матвей Егорович проехал в гулко тарахтевшей телеге опустевшей от подвод площадью. На крыльце амбара в лунной полосе света одиноко грустил часовой-продотрядец, за церковью слышались всплески девичьего визга, радостный рев знакомой гармошки, дробный и спутанный перестук каблуков. Матвей Егорович подъехал к самому хоровету и, встав на ноги в телеге, крикнул:

— Лешка-а! Слышишь, что ль? Я кому говорю!

Алексей, уняв гармошку, подошел к телеге.

— Ты что, тять?

— Вжарь камаринскую! — распорядился Матвей Егорович.— Ну, чего рот раззявил? Вжарь, говорю! — И под всеобщий хохот, не ожидая плясовой, молодо хватил ногами по разохшимся доскам телеги под собственный сказ:

Кочерга раскудахталася,
Помело разрумянилось,
Сухорукий-рукий клеть обокрал,
А безногий-ногий вслед ему погнал.
Поросеночек яичко снес.
На высокую полочку взнес.
У-ха! У-ха! У-ха-ха!
Съели куры, куры-дуры, петуха...

Совсем не попал домой в ту ночь Кузьма Михайлович. Он последним сдал свои четыре мешка ржи и незжженным церковным проулком не спеша спустился к речке в том месте, где коровы проторили к воде пологий спуск. Выбравшись на другой берег, Ходукин выпряг в лозняке жеребца, с трудом окорячил его гладкую, как печь, спину и сперва шагом, а потом наметом подался затихшими полями в сторону Орла. «Я так и скажу им,— репетировал он,— скажу: ваши благородия! Там же Шелковку грабют! Всего каких-нибудь полсотни обормотов!.. Вам на полчаса и делов-то с ними!..»

Перед зарей за Бешеной лощиной неохотно сел тускло-рдяной ущербный месяц, и на Шелковку пали плотные сумерки предрассветья — наступил тот задумчиво-кроткий час, когда в мире свершается незримое таинство перехода из ночи в утро.

Во дворе Матвея Егоровича были разлиты покой и безмолвие. В брезентовой туннельке брички копилась еще ночные потемки и тек слаженный сон бездомной матросовой семьи. Выщипав за ночь большую круговину калачника, дремали поодаль брички кони, обняв один другого шеями. Бережно уложив голову на лапы, убито лежал около подворотни Полкан. В расщелинах каменной стены амбара притихли сверчки. Во дворе пахло слеглой сторновкой крыш, уютным духом закут, испеченным вчера хлебом.

Матвей Егорович спал в розвальнях под навесом сарая, где на белой ракитовой матице зимой и летом ютились голуби — птицы святые, как уверяла дочь Пелагея. Они-то и не дали позоревать старому человеку, заведя на низких натужных нотах страстную любовную воркотню.

— Не птички, а сплошная блудня! Кажинный раз одно и то же! — сплюнул Матвей Егорович и потянул на голову зипун. Но сон пропал. Во рту было сухо и горько, и отрадой прихлась догадка: «Рассольчику б!»

Кряхтя и охая, он прошел к погребу, накрытому низеньким соломенным шалашом. Погреб был глубок и обширен; песчаные стены его Петрак обшил ракиновыми плахами и возвел высокие закрома под картошку и бураки. Спустившись вниз по лесенке, Матвей Егорович наугад прошел в темноте в угол, где стояла большая дубовая кадушка с огурцами. Их оставалась еще добрая половина, придавленных пудовым каменным гнетом, скользким и холодным, как лед. Засунув под него руку и путаясь пальцами в разбухших стеблях укропа, Матвей Егорович не скоро отыскал пустотелый огурец-семенник, осторожно достал его и, откусив верхушку, зажмурясь, выпил из него рассол. «Вот же благодать!.. А огурчиков совсем мало осталось. Полопали. Чуть-чуть хватит до новины...»

Выпитый рассол, заповеданная немота и прохлада погреба умиротворенно подействовали на Матвея Егоровича. Он присел на нижней ступеньке лесенки, повозился, выискивая удобное положение, и прикрыл глаза. Он не мог потом припомнить, сколько времени просидел так, вдыхая

грустный запах прорастающей в неволе картошки и вяло вслушиваясь в странные звуки, заглушенно проникавшие в погреб. Было похоже, что во дворе то и дело принимались слаженно молотить в десять цепов, но тут же прекращали толоку, и тогда слышались одиночные удары — редкие и отрывистые.

Смутно почувствовав что-то недоброе, Матвей Егорович полез из погреба.

На рассвете этого утра в Шелковку с двух сторон незаметно ворвался конный полк белых. Сонные продотрядцы, как разбрызганные, кинулись в огороды и сады, но никто из них не ушел из села, и матрос со своей семьей — тоже. Разбуженный выстрелами, он выпрыгнул из брички и бросился на улицу. Мимо него к перелазу в сад из соседнего, видать, двора, прошмыгнули двое безоружных продотрядцев и, крикнув: «Кутеповцы-и!» — нырнули в кусты акаций, как в воду. С обоих концов улицы, загородив ее целиком, на сближение друг другу молчаливо мчались чужие конники. Матрос прыгнул во двор и запер на засов калитку:

— Катя! Скорее пулемет!.. Давай пулемет!!

Схватившись за дышло, он рванул бричку, пытаясь развернуть ее задком на ворота, и она покатила было по кругу, но вдруг резко затормозила и встала. Упав от толчка на колени, матрос увидел в калачнике длинное ракитовое корытце под воду для кур: правое переднее колесо брички, с разгона въехав в него, ладно увязло кованым ободом в узком глубоком пазу.

Теперь бричка стояла бортом к воротам, — они тряслись и трещали под ударами с улицы. Простоволосая Катерина, повернув до отказа хобот пулемета, дала по ним недлинную очередь. Басовито-сочный рокот «максима» плотно покрыл все звуки, а на белой каменной стене внезапно проявилась желтая прошва пулевых метин, — ворота были в мертвом пространстве. В бричке истошно плакал сын, кричала что-то Катерина, показывая на пулемет, и матрос подбежал к задним колесам, почти сдвинул их с места волоком. И тогда же он увидел Алексея: в исподней замашной рубахе тот выглядывал из-за угла амбара.

— Браток! Браток! — иступленно позвал матрос. — Помоги вытащить из-под колеса вон ту хреновину... Браток!..

Алексей в два прыжка очутился у передка брички. Пулемет снова пророкотал и смолк, а со стены от угла хаты

в это время сухо треснул нестройный винтовочный залп. Пронзительно, по-заячьи, вскрикнул под бричкой Алексей, и негромко, будто оступившись, охнула Катерина, накрыв пулемет тяжко упавшими руками. Разом постигнув все, что случилось, увидав над стеной краснооколышные фуражки, матрос, безголосо что-то крича, рывком поднял на руки жену, но тут же выпустил ее и, кинувшись под брезентовый навес брички, схватил сына...

Все это вместилось в короткие секунды, и ничего этого Матвей Егорович не видел. Выглянув из погреба и услышав выстрелы, он заметил матроса. Протянув вперед руки с орущим ребенком, тот бежал к сараю, загнанно озираясь по сторонам белыми глазами и дыша запаленно, с хрипом. Знал Матвей Егорович, в какой жизненный час люди могут так бегать и отчего у них становятся такими глаза, и бессознательно, не услышав сам себя, окликнул матроса:

— Сюда давай!

В погреб по лесенке они скатились одновременно. Матвей Егорович отполз подальше от входа, сердитым шепотом посоветовал матросу:

— Ты бы укротил мальчика...

Ребенок сразу поперхнулся и смолк — видно, матрос прикрыл его рот ладонью.

И Матвей Егорович, и матрос не спускали глаз со светлого квадрата лаза, и оба одновременно увидели, как он сперва убавился, а затем померк. Может, ослабли тогда руки у матроса, а может, он лапнул на привычном месте маузер и поздно вспомнил, что оставил его в бричке, но он освободил голос сына, и погреб наполнился облегченным, пронзительным криком.

— Они тута, Акимыч! — певуче и разочарованно сказал кто-то наверху. Под шалашом послышалась возня, потом глухо и отрывисто прозвучал выстрел в погреб под тяжелые, как булыжник, слова:

— А ну, вылазь, краснопузая сволочь!..

Уловив в наступившей тишине булькающее, задушенное сопение ребенка, Матвей Егорович торопливо начал отодвигать от угла кадушку с огурцами. Но она стояла, будто пустив в песок корни. «Жрали всю зиму и не могли докончить, черти б вас взяли!» — мысленно заорал на своих домашних Матвей Егорович, — ему казалось, что именно

там, в углу за кадушкой, он и мог бы спрятаться от этой нечаянно настигнувшей его беды и страха.

Сверху дважды и молча выстрелили еще в погреб, и, выждав томительно долгую минуту, кто-то деловито-спокойным голосом попросил:

— Отчепи-ка, Митрий, свою лимонку. Я их зараз благословлю там одним махом...

Выгнув колесом спину, укрывая собой сына, матрос в непостижимом броске оказался у подножия лесенки и крикнул дико, жарко:

— Братцы-и! Тут старик и ребенок! Не губите, братцы-и!!

— Сивый кобель тебе брат! Выходи, гад!

Матвей Егорович догнал матроса на последней верхней ступеньке. Во дворе у шалаша ожидающе гуртились человек семь спешенных кутеповцев. Увидав в их руках карабины, Матвей Егорович прирос к шалашу, а матрос прошел вперед несколько шагов и остановился, широко расставив ноги, будто качалась под ним земля. Он стоял так долго; закинув за спину карабин, к нему молча двигался низкорослый пожилой кутеповец, заросший широкой рыжей бородой. Сощуриив маленькие красноватые глаза, он шел крадучись, как по бревну через речку, заваливаясь вперед и волоча правую ногу. Но ни подлого ножного удара, который нанес рыжебородый матросу, ни его медленного падения Матвей Егорович не видел; прикрыв лодочкой ладони глаза, он глядел в даль двора, где смутно и зыбко, словно во сне, виделась ему бричка, а у ее передних колес — Алексей, мертво обхвативший тонкими, белыми, как в муке, руками ракитовое корытце.

— Лешк... Лешка! — слабо позвал Матвей Егорович и качнулся вперед, навстречу рыжебородому кутеповцу.

— Снюхался, старая стерва! — с тихой злобой сказал тот и резким выпадом ноги свалил Матвея Егоровича...

Потом их выгоном повели к церковной площади. Матрос двигался почти невесомо, и, казалось, влек его вперед сын, которого он неумело держал на протянутых перед собой руках, у Матвея Егоровича до мучительного страдания напряглось лицо, и шел он неровными толчками, будто вот-вот собирался присесть на невидимую скамейку.

За церковью вставало большое оранжевое солнце, золотя верхушки клунь и деревьев. По огородам и садам

Шелковки бродили кутеповцы, изредка постреливая и ругаясь.

10

В гамазее пахло хлебной прогорклостью и мышеединой.

Сразу, как только рыжебородый захлопнул дверь, Матвей Егорович, нащупав ногами мешки, прилег на них, по-детски подтянув к лицу колени. В сердце его не было теперь ни боли, ни страха, в нем оставалось одно нераздельное чувство полынно-горькой тоски да безотчетное желание навсегда остаться в этой голубой полутьме амбара.

Матрос не скоро отыскал себе место в дальнем углу. Ребенок давно уже перестал плакать и только изредка стонал тонко и жалобно. Матрос дул ему в лицо, раскачивал на руках и с каким-то ожесточенным смятением допытывался у кого-то:

— Что с ним, а? Сыночек мой, капельный!..

Оттого ли, что русский человек по природе своей легок на непрощеное участие в непоправимом горе ближнего, или по другой причине, но Матвей Егорович вдруг снова ощутил себя живым. Он молча привстал и пополз на коленях вдоль ряда мешков, ощупывая их огузки. А минут через десять матрос услышал его голос:

— Слышишь, что ль? На-кась вот гречки, нажуй дитенку, да через рубаху али пеленку и сунь ему соску... Гречка — она пользительная. Моя покойница, бывало, наварит чугунок каши, а Лешка за день и...

Он осекся, беспомощно всхлипнул и пополз на прежнее место, а спустя минуту спросил обреченно-кротко, тихо:

— Что ж их... обоих сразу?

— Сразу, — поняв, сказал матрос.

— О господи... Баба твоя — она хоть солдатом была. Ну, а Лешку-то за какие и перед кем грехи? Скажи! Лешку-то?!

Матрос долго молчал, разжевывая острые трехгранные зерна гречихи, потом надорванно попросил:

— Полежал бы ты, отец, а?

Ребенок постепенно успокоился соской и затих. В душную тишину амбара изредка проникали невнятные звуки дня, и прошла, казалось, целая вечность, пока не наступила ночь. В середине ее Матвей Егорович неслышно подобрался к матросу:

— Не спишь? Хочу рассказать тебе что-то...— начал он каким-то просветленным голосом.— Вот слушай. Тому уже годов полста есть, а я хорошо это помню... По осени, когда выберут коноплю и складут в крестцы, воробьи о ту пору тьма-тьмущими кучами летают. И вот я — малоразумный жа был! — наберу в подол рубахи камушков и пуляю в воробьев.. Как-то подкрался я к их стаду да как брошу камень — сильно так, со свистом. Все воробьи враз зачуяли беду и — фрр! А один сидит, крылышками шебуршит, головенкой крутит — и ни с места. Будто столбняком егохватило! Ну и дождался... Пришиб его мой камень, хотя воробей тот бог знает куда мог залететь, пока к нему камень достиг... Вот я и подумал теперь: значит, не должен был он трогаться! Стало быть, в моем камне судьба его была заложена! Вот! И кажинному земному тварю своя судьба определена, и никто ее не обойдет, не обминуется...

В ответ на это утешение матрос не то кашлянул, не то охнул, но ничего не сказал; ненадолго хватило его и Матвею Егоровичу...

Утром их вывели из гамазеи. У крыльца стояли двое верховых. Матвей Егорович, узнав в одном из них рыжего, попятился было назад, но от дверей его несильно толкнул часовой прикладом:

— Иди-иди!

И он пошел, почти прислонясь к матросу, чувствуя своей безвольно опущенной рукой его тугое подрагивающее тело.

Выгон розовел зацветающим придорожником и диким клевером, тонко звенел досужей песней шмелей и пчел. От колокольни через всю площадь пролегла широкая бирюзовая тень, и в ней, у самого края дороги, Матвей Егорович первый различил высокие новые ворота. В их светлой раме, странно перекосив головы и заложив руки назад, медленно оборачивались вокруг себя, не переступая ногами, два человека.

— Это ж... виселка! — за два приема, с захоловшим сердцем проговорил Матвей Егорович и тронул матроса. Матрос шел, плавно неся в обеих руках сына: широко раскрытыми чистыми глазами ребенок изумленно смотрел в небо, и, повинувшись какой-то непреодолимой силе, Матвей Егорович тоже поглядел вверх. Прямо над ними, будто нарисованный на синем полотне, парил матерый коричневый коршун. «Наседку с писклятами, стервец, караулит!»—

привычно пронеслось в мозгу Матвея Егоровича, а матросов сын в это время засмеялся, пустив пузыри, и сказал: «Агу»...

Лишь на скотном проулке, куда их завернули от виселицы конные конвоиры, Матвей Егорович догадался, кто был один из повешенных: в память впаялось синее лицо, видневшееся из-под островерхого шлема, и обтерханные полы тулупа. «Суровец... Царство ему небесное».

— А напарник... кто ж?— всхлипывающе спросил Матвей Егорович у матроса. Тот по-прежнему плавно шагал, диковато и невидяще глядя куда-то вбок.— Напарник-то, говорю...— повторил Матвей Егорович, но от крика рыжего: «Побалакай у меня, сволочь!»— мгновенно смолк, теснее придвинулся к матросу.

Над проулком, густо обсаженным акацией, золотилась пронизанная солнцем пыль. Русло проулка было плотно усеяно пересохшими овечьими котяшками, твердыми, как орехи, и Матвей Егорович пошел по ним, ставя босые ступни с пальцев на пятку. «А ему, видать, и не больно»,— подумал он о матросе. Тот вдруг остановился и негромко и оцепенело проговорил:

— Напарник? Это наш комиссар.

— Иди, гад, в душу твою!..— осатанело крикнул рыжий конвоир, и надвинувшаяся лошадь обдала затылок Матвея Егоровича горячим травяным духом. Оглянувшись, он схватил взглядом оскаленную морду лошади, черный зигзаг взметнувшейся в воздухе плетки и услышал ее визг и всплеск удара.— Иди, говорю!!

Перегнувшись, заслоняя своим телом сына, матрос неловко побежал вперед, сведя лопатки и ожидая нового удара, а Матвей Егорович кинулся за ним, позвав утробно, испуганно:

— погоди! А я-то куда ж?!

Он настиг матроса и, протянув руку, схватил его за тельняшку:

— Не бегай... Ради Христа, не бегай!

Так они подошли к околице села. Ребенок на руках у матроса извивался в осиплом крике, и матрос самозабвенно тер и гладил то место на пеленке, где конец плетки отпечатал коричневый дегтярный след. Завидя улицу села, Матвей Егорович опалился догадкой: «Пороть ведут на народе. А после отпустят. Что ж им больше делать с нами!»

В селе пахло парным молоком и кизячным дымом. У ворот, переговариваясь шепотом, стояли бабы, а вдоль улицы, в окружении чубатых конников, покорно и торопливо двигалась куда-то толпа мужиков с лопатами. Выйдя с проулка на середину улицы, Матвей Егорович и матрос нерешительно остановились, но рыжий конвоир — Матвей Егорович узнал его голос — крикнул:

— Ходи к речке!

И в ту же минуту из-за ближнего к ним плетня вспорхнул возбужденно-радостный детский голос:

— Кузяка, глянь, деда Матюшу с матросом на расстрел гоню-ут!

Матрос ощутил, как дробно задрожала рука старика, намертво сцепившая его тельняшку, и, качнув чубом, словно сгонял с лица овода, он отыскал своими глазами блуждающие глаза Матвея Егоровича.

— Отец... крепись. Это недолго.

— Чего такоича? — шепотом закричал Матвей Егорович и отступил от матроса. — О чем это ты? С-сукин ты сын, а! Куда ты меня вверг... К-куда?

Перемещая руки под своей живой невесомой ношей, матрос не видел, как подкошенно пал на колени Матвей Егорович, обернув лицо к конвоирам. Подняв над головой руки и растопырив трясущиеся пальцы, он заговорил монотонно и страстно, будто творил молитву:

— Солдатики! Господа! Родимые мои... не виновен я ни в чем! Ослобоните, ради бога!.. Миколаевки есть, сало... Все возьмите, все! Избавьте от смертушки!..

Улицу мигом запрудила плотная толпа баб и ребятишек. Рыжий конвоир, вздыбив кобылу, дважды ударил плетью Матвея Егоровича и, отскакав к плетню, начал срывать с плеча винтовку:

— Иди!..

И Матвей Егорович снова вцепился в тельняшку матроса и тот снова, уже машинально, сказал ему, что «это будет недолго».

На спуск к реке они двигались через податливо раступившихся баб и детей, и под свой плавный широкий шаг матрос не переставал просить:

— Может, кто взял бы ребенка, а? Восьмой месяц ему... Алексеем зовут, а?

Но бабы молча сморкались в фартуки, а ребятишки

застенчиво хихикали и загораживали рты грязными ладошками...

Через речку арестованных перегнали вброд и узкой полевой дорожкой, заросшей чернобылом и пыреем, повели к Бешеной лощине. В лесу гремели соловьи, томно ныли горлинки и безмятежно и кротко сияли в росной траве безымянные шелковские «тветы». Матвей Егорович, с детства знавший тут любой куст, каждую ложбинку и тропку, вывел матроса и конвоиров, минуя заросли, на чистую полянку. Захваченный живой и мирной благодатью леса, он впервые за всю дорогу от села ободряюще взглянул на матроса. Тот с грустным и каким-то предсмертным вниманием всматривался в лицо сына, слезно дрожа подбородком, и, пронизанный внезапным горячим ужасом, Матвей Егорович почти закричал:

— Чего ты?! Они же шуткуют! Погоняют нас тут, острастку напустят и...

Он так и не понял, что было первым: обвальный грохот леса или рывок матроса в сторону. Но пробежал матрос всего лишь несколько шагов и, роняя сына, сам упал косо, сплеча. Подвернув под себя голову, он судорожно начал подгрести одной рукой, будто искал что в траве или плыл к неведомому берегу.

Почти разом с матросом упал и Матвей Егорович. На мгновение он замер, крепко зажмурил глаза, и всем своим телом почувствовал приближение к нему чего-то страшного. Не открывая глаз, он торкнулся на голос ребенка, схватил его и приподнял навстречу конвоирам, как икону.

— Люди!.. Люди!..

Ему хотелось сказать конвоирам о какой-то великой и единственной правде на земле, которую сам он только что постиг в эти секунды и смысл которой выразить словами было нельзя.

— Люди! — шептал одно это слово Матвей Егорович, крест-накрест поводя перед собой ребенком. Он видел, как рыжебородый, раззявив темную дыру рта, поспешно выравнивал над конской холкой короткий ствол карабина и как его загородил крупом своего коня второй конвоир.

— Брось, Акимыч! — произнес он певучим голосом.

— Не лезь, Митрий!..

— Брось, говорю? В кого метишь-то? Ну? Опустит дуло, а то... знаешь?

Рыжебородый злобно выругался, вздыбил кобылу

и повернул с полянки. Опуская в ножны до половины обнаженную шашку, второй конвоир постоял на месте и, не глядя на Матвея Егоровича, певуче сказал:

— Ты, дед, припрячься тут до вечера. Скоро мы уходим... Понял?

То невыразимое, о чем хотел и не смог сказать Матвей Егорович конвоирам, еще с большей полнотой и властностью охватило его, когда он остался в лесу наедине с ребенком и убитым матросом. Освобожденный от страха и уже дивясь ему, он был наполнен теперь глубокой и какой-то светлой печалью, перед которой отступили и померкли все те радости и горести, что довелись ему за всю его жизнь. Он никогда не подозревал о своих огрубевших руках той вдумчивой ласковости, с которой обнимали они теперь крохотное тельце ребенка; никогда его взгляд не был таким внимательным и пытливым, а слух так обострен и очищен... У него исчезла обычная суетливая порывистость в движениях, и на то, чтобы перевернуть под ребенком пеленку, он потратил не менее часа времени. Было удивительно то внутреннее напряжение, с которым Матвей Егорович улавливал движение окружающего мира: сердце его слышало шорох роста травинок, а мохнатый коричневый шмель, хлопотавший у его ног над бутоном клевера, наполнял, казалось, лес тугим медным гулом...

До вечера Матвей Егорович просидел с ребенком на полянке — отгонял мух от убитого: изумрудные, настырные, они все подбирались к его тусклым незрячим глазам. Когда в кустах начали копиться сумерки, Матвей Егорович отер пучком травы лоб матроса и, став на колени, прислонил к нему лицо ребенка...

Ни издали, ни вблизи Матвей Егорович не узнал Шелковки. Там все оставалось по-старому — белые посадки хат, замшелые колодезные журавли, разлатые ветлы, серые плетни. Но все это показалось ему непостижимо малым, не прежним и никому не нужным. Чужой, низенькой была и своя хата с приплюснутой набекрень соломенной крышей. На крыльце, закутанная в черный монашій платок, Матвея Егоровича встретила Пелагея:

— Тять, Лешку-то не дали... зарыли вчерась на выгоне со всеми вместе... А Петрака нынче нибилизовали... Трех ярок и кобылу свели...

Передавая ей ребенка и словно не постигая смысла ее слов, Матвей Егорович снова удивленно оглядел хату.

пустынный двор, бесцветное небо и, сгорбившись, ставший за эти дни маленьким и сухим, полез с крыльца. Задев ногу за ногу, он бездумно покружился по двору, все сторонясь ракового корытца, и вдруг как-то охотно, всем телом припал рядом с ним на калачник и зарыдал, то затихая, то переходя на крик, прижав лицо к накаленной клеклой земле...

11

Из лета в лето одной и той же несказанной травой зарастал шелковский выгон. Из года в год по весне извечно проторенными незримыми путями прилетали в Уречье дикие утки. Все оттуда же, из-за церкви, по утрам вставало над Шелковкой солнце, и все там же, за Бешеной лощиной, по ночам садился месяц. В одном и том же месте мелела в петровки Любач, и водились в ней все те же вьюны и головастики. Как и десять лет назад, горячей пылью отцвети дымились неоглядные ржаные поля, и с прежней истомой и страстью булькали там перепела. Все оставалось тут на своих исконных местах, сохраняя давние запахи и краски, и казалось, время и события не властны над Шелковкой.

Но это только казалось.

С северной, наиболее наветренной стороны крутые углы соломенных крыш шелковских сараев постепенно облепились широкими кривулинами деревянных сох — не пропадать же добру, раз в хозяйстве завелся плуг. На шляху давно уже обозначились новые, широкие колеи от телег на железном ходу. Почти рядом с осевшим, провалившимся холмиком братской могилы продотрядцев на выгоне который уже год тарахтела паровая мельница Ходукина — «пыхтелка», как называли ее шелковцы.

Удивительно слаженной жизнью души и тела жил все эти годы Кузьма Михайлович — на селе не было человека, тверже его стоявшего за Советскую власть с ее нэпом. «Догадалась под конец, что без хозяйственного мужика гибелька ей!» — решил он об этой власти и пятый год бесменно ходил в ктиторах и председателях сельсовета — выбрали, кому надо было. Обязанности по церкви и сельсовету Ходукин справлял с одинаковой неторопливой благопристойностью. Он как-то исподволь и незаметно изменился во всем. Разговор его стал степенней и загадочней, движения и жесты приобрели законченную уверенность, и даже глаза перестали щуриться — выискивать и опасаться

было нечего: все на белом свете казалось простым и почтеным — власть-то оказалась «своей»!

И лишь изредка в сердце Кузьмы Михайловича ворошилась печаль к себе и злость на бога — не дал детей. Об этом думалось почему-то всегда в церкви. «Что ж обошел-то? Кому пожалел? Тогда лета хоть продли мои. Все ведь откажу храму, все тебе оставлю!»

На этом и сошлись с хилым васильковоглазым старичком, изображенным на дымном овале церковного купола. А вот с людьми было труднее. Трижды пытался Кузьма Михайлович подыскать в Курске человека на свою мельницу — нужно же было кому-то пускать и останавливать паровик. Но там ему попадались все какие-то с виду непутевые, худотелые, не дураки, видать, выпить и украсть. И таких нанимать на полста рублей в сезон и на хозяйских харчах?

— Городская лярва! — ругался в душе Ходукин, — а как быть — не знал.

Как раз тогда неожиданно-негаданно вернулся года три пропадавший где-то Тишка Суровец. Не застав матери — побиралась в Рожновке, — Тишка оборвал веревочный запорчик на дверях своей хатенки и вволок в сенцы два грязных мешка, наполненных какими-то железками. А спустя час Тишка в круглой суконной кепочке с пуговкой на макушке, в широченных штанах из «чертовой кожи» и с парусиновой сумкой через плечо шел вдоль Шелковки и независимо, будто был чужим тут, пел:

— Ведры лата-ать, кружки пая-ать, чугунки лу-ди-ить, замки чини-ить можем!

Когда через неделю Суровчиха приплелась домой, ей некуда было положить свою побирущью сумку — вся хата оказалась загруженной прохудившимся жестяным хламом. Тишка встретил мать сурово. Собранные ею куски он выкинул во двор, оставив только самые большие — знал, видно, что щедрые люди хлеб пекут вкусный.

— Хватит тебе куковать, — сказал он матери. — Лупи теперь за все натурой...

И мать «лупила» за непривычное городское руко-месло сына полбутылкой конопляного масла, ведром картошки, совком муки — другого попросить стыдилась. Тишка же при расчете уходил из хаты, а когда мать отлучалась, выдавал работу «за так» — гордый был.

Может, из-за его штанов и кепки, а может, по другим причинам в Шелковке решили, что Тишка вожжался

все эти годы с цыганами и те научили его уму-разуму. Тишка обиделся и пригрозил как-то на улице:

— Вот погожу тут еще немножко, да и вдарюсь опять на чугунок паровозы чинить!..

Это было вечером, а на второй день утром Кузьма Михайлович принес Тишке завернутые в суровую холстину старинные часы.

— Птаха не высигивает и не кукует. Спружинка, видать, ослабла.

— Поглядим,— сказал Тишка, а сесть гостя не пригласил. Так, стоя в дверях, Кузьма Михайлович и подвел Тишку к разговору о своем паровике. Может, завел бы, если умеет?

— Дело нам знакомое,— опять сказал Тишка. И вправду, он в тот же день пустил и остановил паровик, а после, через меру испачканный мазутом, долго ходил по селу, гордился.

С тех пор, ради одной славы, Тишка и засел на ходукинском паровике «пускальщиком».

— Мучицы бы взял,— предлагал ему иногда Ходукин.

— Не нуждаемся! — дерзко заявлял Тишка.— Своей хватает!

— Да откудава ж она у тебя!

— Из тех самых ворот, откудава весь народ!

— Ай, как складно! — качал головой Кузьма Михайлович, но сильно не настаивал.

12

Без сыновей,— Петрак не вернулся с гражданской,— без себя прежнего уронил хозяйство Матвей Егорович, странно откачнулся от дел и соседей. Сначала в угоду несмышленому сироте, а когда тот подрос — и себе на потеху развел он устрашающее множество кроликов, и те глубокими извилистыми туннельками изрыли двор, огород и земляной пол хаты. В ветреные дни, когда под полом начинал дико гудеть сквозняк, Пелагея кротко пугалась:

— Тять, развалют они хату. Жить негде будет...

— В амбар переселимся. Печку сложим, и живи на здоровье! — с непонятной беззаботностью отвечал Матвей Егорович.

Как сосунок-жеребенок не отстаёт ни на шаг от своей матки, так и Алешка-матросенок ни на минуту

не отбивался от Матвея Егоровича. Оттого ли, что одевались они одинаково — зимой в дубленые шубы с кучерявыми выпушками и расшитой гарусом грудкой, а летом в белые замашные рубахи и темные картузы, но только здорово походили они друг на друга, хотя одному шел шестьдесят девятый год, а второму — седьмой.

Все, что Алешка успел открыть в видимом им мире и чем он был пленен и захвачен в нем, все это заключалось для него пока в одном деде Матюше. Он ходил, размахивая руками, разговаривал, нарочито покашливая, как его дед. Во время еды он так же держал хлеб и ложку, так же неторопливо жевал, сосредоточенно глядел в миску и ел столько, сколько и дед, — ни одним глотком меньше или больше.

Уже несколько лет они управлялись по хозяйству вдвоем, и самой радостной зимней работой для Алешки было давать корм трем овечкам, мерину и корове. Мерин — самый прожорливый и самый почему-то близкий им из всей домашней скотины — творил столько навоза, что к весне доставал спиной матицу.

— Ишь, нагноил за зиму какую прорву, матери его дышло! Тут нам с тобой и до жнитвы не вычистить, а? — сокрушался Матвей Егорович.

— Нагно-ил, матери его... — согласно вторил Алешка, а Матвей Егорович спохватывался:

— Ты, брат, того... не шибко поспевай за мной в таких словах. Я ить это сдуру, по старости, а ты по младости...

То, к чему Матвей Егорович готовился давно и старательно — к разговору с Алешкой о гибели его родителей, — произошло совсем просто: Алешка воспринял это известие почти безразлично и только спросил об отце-матросе:

— А он с ружьем был?

— Да какой там с ружьем? С тобой был! — сердито ответил Матвей Егорович, — равнодушие малого вдруг странным образом огорчило его и обидело. «Не оказался бы бесчувственным», — подумал он, но вскоре догадался, что для Алешки настанет еще время, когда он создаст свои образы отца и матери, свои картины их смерти.

Ровным, усыпляющим шепотом, не отнимая своей теплой ладони от Алешкиной макушки, Пелагея учила его по вечерам разным молитвам, волновала и печалила туманными сказаниями о житии Алексея — божьего человека. На

злых и грустных местах сказа Алешка съеживался в комок, глотая слезы, прерывисто спрашивал:

— Он был... на дедушку похож, да?

— Святой он был.

— А дедушка... нешто не святой?

— Нет, детка. Он земной,— неясно объясняла Пелагея и заводила разговор о другом.— Видишь на небушке вон ту белую полосу?— показывала она на Млечный Путь.— Это божья серебряная дорога. Ею он ходит сам, архангелы его и праведные души померших людей — воинов, мирских страдальцев, младенцев...

— А ежели мы с дедушкой... когда потом, не скоро помрем ежели?— тревожился Алешка, вглядываясь в небо через окно.

Пелагея замолкала, прислушиваясь к шаркающим шагам в чулане. Матвей Егорович белым привидением вставал у лежанки, минуту отыскивал в полумраке хаты притихших собеседников, потом начинал браниться:

— И чего ты запыляешь ему темя разной монастырской трухой! Он и без твоего Алексея сам божий! Пошли-ка, брат, на печку. Я доскажу тебе вчерашнее!

«Вчерашнее» было про белого коня генерал-фельдмаршала Гурко, про поднебесную гору Шипку и про то, как пятеро русских солдат разгромили целую турецкую роту, а то, может, и весь полк.

— И побили? Всех турков, какие там ни на есть?— впадал в восторг Алешка.

— Всех к чертям смели! — молодец голосом Матвей Егорович.

— А за что они их, дедушк?

— Лезли. Расею хотели захватить.

— Ишь, чего! А черта в нос не хотели? Правда?

— Это-то правда. А вот говорить так не надо. Ты норови всегда таким манером: к примеру, захотелось иной раз матюгом или другим темным словом хватить, а ты возьми и стерпи.

— А ежели не стерпливается?— пытал Алешка.

— Ну... тут уж гляди сам, как ладнее будет. И давай-ка спать начинать, третьи кочеты уже кричат!

Взрослый люд Шелковки по-разному относился к Матвею Егоровичу с Алешкой. Одни — помоложе и поехиднее — говорили, что старик от страха тронулся головой тогда в Бешеной лощине, потому и прижил во дворе приبلуда

и кроликов; другие — постарше и позлее — толковали: «Работника годует. Сыновей-то растерял! Хитрый, дьявол!» Желая уберечь Алешку от уличной обиды, Матвей Егорович сказал как-то ему, как взрослому:

— Ты вот что. Не дай бог сбросит кто о тебе да обо мне какую-нибудь чертовину — не верь. Ты тогда откажи назад тому раскурдю, что мы с тобой не чужие. Нас сама мать сыра-земля свела! Смерть, значит. Постиг?

Сказал — и пожалел. Видно, что-то свое постиг в его словах Алешка: он притих, насупился и взглядывал на деда исподтишка с какой-то неизреченной тревогой отчуждения. Матвей Егорович растерялся. На все его расспросы, что с ним, Алешка глухо отвечал.

— Так.

— Может, ты захворал чем, а? Может, за яблоками мочеными сходить куда, разжиться?

— Я не хочу, — сторонился Алешка. Под конец он горько разревелся, уронив голову на лавку. — Теперь знаю... Я совсем-совсем не свой!

Смысл этих Алешкиных слов не сразу дошел до сознания Матвея Егоровича. Несколько секунд он беззвучно шамкал ртом, припоминая свой прежний рассказ Алешке о его отце и матери. «А я ить не сказал ему, кем они мне доводятся! Господи, он же почитал родней меня, а я...» И не зная еще названия тому пугающе-внезапному и мучительно-радостному чувству, которое властно ворвалось в его душу, Матвей Егорович впервые заорал на Алешку:

— Ты что такоича выдумал? Это по каким резонам ты мне не свой? С каких это времен родимые унуки начинают отрекаться от своих дедов? Отцу-то твоему кто был родителем, а?

Лазурными, осиянными каким-то ликующим светом глазами глядел на деда Алешка, а дед смешно кривил вбок поседевшую бороду, как от рези, жмурил свои глаза...

13

После такого объяснения что-то новое, большое и благостное пробудилось в Матвее Егоровиче к Алешке, — уверовал сам в сказанное. От этого несколько дней жилось как-то особенно хорошо и вместе с тем беспокойно: то и дело хотелось позвать Алешку «унучиком». Тот летел на непривычный зов сломя голову, и чтобы уже

навсегда и бесповоротно жить им двоим этой правдой, Матвей Егорович до конца выполнил обряд родства: нашел предлог и небожно выпорол Алешку мокрым рушником.

— Ну вот, окрестил. Будешь теперь знать! — сам страдая и мучаясь, сообщил он внуку, но тот, не поднимая спущенные портчонки, стоял молча и пораженно глядел сухими глазами на рушник.

— Чего остолбенел? Ай не хватает до реву? Ну? Ты покричи, как все детишки делают, а не стой чучелой! — натужно прикрикнул Матвей Егорович под ворохнувшийся в сердце испуг: «Никак я опять тут обмишурился? Дернул же меня домовой!»

Алешка так и не заплакал. Видно, новизна этого события показалась ему больше обиды. А Матвей Егорович, бесцельно послонявшись по хате и побряхтев, как от зубной боли, вдруг наскоро переобулся в сапоги, — справил их еще к венцу с Михалихой и с тех пор обувал только в церковь, и приказал Пелагее подать четвертную бутылку от керосина.

— В сельсовет мне надо. А заодно и в кооперацию загляну.

— Есть же у нас керосин. Почитай, половина бутылки, — напомнила ему Пелагея.

— Перелей и не учи ученого! — посоветовал дочери Матвей Егорович и подозвал Алешку: — Ну как, отлегла обида или нет еще? Эх ты, дурачок мой несмышленный! Да нешто я это по злобе какой? Ты погоди меня, ладно? Я, может, прыничков прихвачу тебе.

— Ла-адно, — сказал Алешка и до самых ворот проводил деда.

Была на исходе последняя неделя затяжного зимнего поста. Во дворах и проулках стояли глубокие лужи янтарной воды. Опроставшиеся от снега бугры дымились парным туманом. Любач вспухала, тяжело ворочалась и устрашающе ухала. Оглядев из-под руки заречную даль пегих полей и смекнув, что по улице, изрезанной оврагами, уже не пройти, Матвей Егорович повернул на выгон. По осевшей санной дороге тут устало бродили мокрые исхудавшие грачи. В вершинах очерневших ветел звонисто тетенькали синицы, и в густом пахучем небе самозабвенно окликал весну первый жаворонок. Влажный, прослоенный белыми дурманящими струйками, дул с юга ветер. Он путался в фалдах зимней шубы Матвея Егоровича, подгоняя его, и вдруг выхватил

из открытого горлышка бутылки какой-то непутево-трубный озорной звук. От неожиданности Матвей Егорович чуть не присел на дорогу, а поняв, засмеялся тонко и заливисто, как ребенок. «И чего только нетути на белом свете! — подумал он.— И хорошего и плохого. А все ж хорошего куда-а больше, ежели нутром видеть его... И до чего ненасытная тварь человек! На восьмой десяток воротит, а я все весну чую! Вот же согрешение!..»

С этим чувством ощущения молодости он и подошел к сельсовету, который ютился все в той же каменной хате, построенной селом еще в старые времена под «съезжую». Тут же, заняв большую и лучшую половину, размещалась уже несколько лет кооперативная лавка.

В комнате сельсовета плавал голубой угарный чад, стояли некрашенный обеденный стол и приземистая ракиловая скамейка. Все здесь: давным-давно не беленные глиняные стены, радужные стекла единственного окна, до черноты засиженный мухами потолок,— все это разом и непоправимо разорило весеннее настроение Матвея Егоровича.

— Развел нищету в казенном доме! — стоя у дверей и никого не видя, помянул он в душе свата. За печкой, занявшей правый угол, что-то завозилось, и через минуту оттуда вышел Кузьма Михайлович, оглаживая ладонями бороду, как перед причастием.

Сваты виделись редко: хозяйственную мелочь Матвей Егорович покупал в кооперации, а в церковь ходил только на пасху и троицу. При встречах же Ходукин не таил в глазах иронии, оглядывая Матвея Егоровича, как дурачка,— знал о матросенке, слышал о кроликах, об упадке его хозяйства. Не здороваясь, Кузьма Михайлович и на этот раз насмешливо посмотрел на свата и, зыркнув на его бутылку, спросил с нарочитым безразличием:

— В газке нуждишка? Что ж, сходим, налью. У меня он дешевле, чем тут,— кивнул он на стенку.

— И намного?— будто и в самом деле заинтересовался Матвей Егорович.

— На копейку с черпака.

— Ай-яй сколько скостил! Да я, видишь ли, сроду не гонялся за копейками и в алтаре за них...

— Чего?— вскинул голову Кузьма Михайлович, но Матвей Егорович не стал договаривать пословицу. Сваты стояли друг против друга внутренне напрягшись, издавна и втайне ненавидя свое нечаянное родство, и бы-

ло в их позах что-то удивительно птичье: один, смуглый и плотный, смахивал на ворона, готового клюнуть, второй — на раскрылатившегося перед боем скворца.— Гляжу я на тебя и диву даюсь: до чего же ты злой! — оскорбленно проговорил Кузьма Михайлович.— За то, может, и наказал тебя бог!

— Это ты про детей моих?— пискливо спросил Матвей Егорович.— Бог наказал тебя дюжее моего. Он у меня двоих прибрал, а одного все же дал взамен! А тебе — шиш, хоть ты и ктитор! Подохнешь, и все прахом пойдет, все твои черпаки и копейки! Отказать-то некому?

— Не шибко много чего и ты кому оставишь! — утешил себя Ходукин, проходя к столу.

— Малому-то?— встрепенулся Матвей Егорович, двигаясь следом.— Хватит за глаза ему. С избытком аж. Хата, почитай, новая, сараи тоже.

— Хату-то, говорят, трусы подрыли. Завалится, поди, скоро,— деланно засмеялся Кузьма Михайлович. Матвей Егорович на какой-то миг смутился, но тут же нашелся:

— Она твою перестоит! А трусы... Это дело не хуже любой курятины. Каждый день едим, и все мало! — вдохновенно солгал он.

— Это в святой пост? Скромную падлу потребяешь?— брезгливо искривил лицо Ходукин.— С Суровцами, значит, сравнялся...

Матвей Егорович ненужно долго возился с бутылкой, устанавливая ее под столом, а когда выпрямился, лицо его пунцовело не то от натуги, не то от гнева.

— Нехристь ты, Кузьма! — с задушевной верой сказал он и вздохнул.— Без Тишки твою пыхтелку ржа давно б источила! На его хребте сидишь и его же поносишь!.. Ну да бог тебе судья. Я зашел не за тем. Скажи, ты печать круглую имеешь?

— А как же! — удивился Ходукин.

— И... она с гербом?

— С чем ей положено, с тем она и есть.

— Ага. Тогда вот что. Выдай-ка мне документ.

— Это какой?

— О рождении моего приемного унука.

— А он в церковную книгу заведен?

— Возьми и заведи,— простодушно посоветовал Матвей Егорович.— Это ж опять-таки по твоей части.

— Да ты что, бесева объелся али трусятины своей?— изумился Кузьма Михайлович.— Туда ж вписываются крещеные, а не всякий там...

— Какой всякий? А ну-ка скажи, какой?— недобро- тихо спросил Матвей Егорович, привставая на носки сапог.— Ты что такоича говоришь о советской сироте, а?

— Да ты сядь,— сам вставая, попросил Кузьма Михайлович.— Я к тому насчет книги, что нельзя супротив закона лезть!

— Его отец соблюдал главный закон в Бешеной лощине аж в девятнадцатом году, а теперича у нас двадцать шестой!— выкрикнул Матвей Егорович и яростно, вложив всю свою силу, треснул кулаком об стол.— И выше смертного закона другого на свете нетути! Пиши, и не вводи меня в грех!

Искося, раздумчиво-пытающим взглядом окинув свата, Кузьма Михайлович грузно сел на скамейку и достал из стола чернильный пузырек, ученическую ручку и тетрадь.

— Ну, что писать-то?

— погоди. Скажу,— не скоро и каким-то иссякшим голосом отозвался Матвей Егорович.— Довел ты меня... Пиши. «Свидетельство... тому, что гражданин Ястребов Алексей рожден в Красной Армии в 1919 году 19 числа июля... Теперича дальше. Отец его, Ястребов Алексей Матвеевич, и мать, Ястребова Екатерина, сгибли от белых в том же году в селе Шелковке, Обоянского уезда, Курской губернии...»

— Это как же?— выпрямился Кузьма Михайлович.— Стало быть, ты на свою фамилию их? И отчество ему свое клеишь!

— Ничего не клею. Он все свое имел. Мне-то лучше знать, как его величали? Матвей он был!

— А мне пуцай он хоть Авдеичем будет!— взорвался вдруг Хадукин и, округлив рот, утробно дыхнул на печать...

Домой Матвей Егорович возвращался прежней дорогой. Кованые каблуки его сапог вязли и оскользались в мутном снежном месиве, подол шубы намок и отяжелел. За эти несколько часов, проведенных им в сельсовете, преобразился мир: полдненное солнце растопило туманную хмарь, и небо было теперь иссиня-зеленым, как родниковая глубина. Непрерывными слепящими бликами сверкали в полях ручьи и лужи, и в текучем знойном мареве дрожал неоглядный круг горизонта.

У крутого Устиньина оврага, протянувшегося от реки до выгона, путь Матвею Егоровичу преградил сизый бурлящий поток. Прикинув его ширину и тоскующе поглядев на соломенный горб своей клуни, видневшейся издали, Матвей Егорович поплевал в свободную от бутылки руку, напружинил колени и прыгнул с непредполагаемой в себе резвостью. Он еще не коснулся ногами противоположного края потока, а уже знал, что упадет на четвереньки, и, выкинув вперед руки, не увидел бутылки с керосином. «Оборвалась, проклятая!» — падая, отметил он, но веревочное колечко на среднем и указательном пальце его левой руки было целым — оно только соскользнуло в рывке с горлышка бутылки.

Засунув руки в карманы шубы, Матвей Егорович зашагал по дороге, стараясь не думать о случившемся, и когда оглянулся назад, то над местом впадения потока в овраг изумленно увидел нарядный полукруг радуги, светившейся непорочно чисто и загадочно, словно сделали ее люди из своего несбывшегося счастья.

14

В ранние весенние дни на подсохшие проталины у завалинок хат первыми из всего живого приползали солдатики — безвредные нерасторопные козявки, разрисованные красным и черным. Они всегда появлялись откуда-то дружными кучками и, выстраиваясь в ровную шеренгу, часами неподвижно сидели под солнцем. Непостижимо и удивительно было чутье этих смешных и чем-то трогательных вестников лета: солдатики не боялись взрослых людей и по тревоге, ломая строй, разбегались, как только на проталину ступал кургузый лапоть мальчишки. Эти были их исконными невольными врагами. На таких пятачках проклюнувшейся из-под снега земли из поколения в поколение, из весны в весну шелковская детвора заводила азартно-сутолочные игры в пенки — осколки тарелок и чашек.

Этой чарующей своей незатейливостью игре — чья пенка легла вверх писаной стороной, тот должен с любого расстояния дважды попасть ею в пенку партнера и таким образом выиграть ее — постоянно предшествовал тяжелый изыскательский труд ее участников. Им приходилось излазить большие грязевые пространства в поисках фаянсовых осколков, потому что похлебку и щи дома ели из плотных

глиняных черепушек, а воду и молоко пили из латунных кружек. Откуда ж тут взяться пенкам!

И все же наперекор этим тяготам, а может, благодаря им, порожденная неистребимым упорством и стремлением русской души — сызмальства первенствовать в любых схватках, игра жила, полонила все новые и новые ребячьи души, и Алешка Ястребов не миновал всеобщей участи.

Первая его игра состоялась в тот день, когда дед ушел в лавку за керосином. Четырнадцать Алешкиных пенок, накопленных им еще с прошлого лета, кон за коном переходили в собственность противников, и неизвестно, чем закончилось бы дело, если б не подоспел Матвей Егорович. Увидав у соседских ворот Алешку, готового в расступившемся круге ровесников метнуть своей последней пенкой в чужую, он еще издали предостерег его:

— Не так! Отставляй назад правую ногу! Наклоняйся вперед! Зажмуряй левый глаз! Во! Зараз лупи!

Алешка все сделал так, как наставлял дед, и промахнулся. Кто-то из игроков запел звонко, картаво и счастливо:

— Матросьяка не попал, свою мать закопал!

Торопясь и пугаясь чего-то, Матвей Егорович рывком добыл из тайников шубы плоского пшеничного петуха в малиновых разводах и сунул его в руки Алешки.

— На-кась. Ешь его тут, при всех... Пушай поглядят!

Игроки мгновенно завистливо притихли, потом разом, преображенными голосками заканючили:

— Ле-ешк, дай капелькю-ю.

— Лизнуть хоть маненько...

— Продай полкочетка за три пенки, а?

Всем ртом вгрызаясь в сыпучего сахарного петуха, опаленный его мятным огнем и возможностью продлить игру, Алешка трепетно взглянул на деда.

— Пр-родать, дедушк?

— Не дури! — сказал Матвей Егорович. — Отдай так. У меня в запасе есть тебе...

— А пенки?

— Будут и они. Пошли домой! — и по дороге рассказал в утешение внуку, какую диковинную пенку он видел будто бы возле Устиньина оврага. — Величиной, почитай, с мою ладонь, а расписана как — не приведи господи! Что твоя рай-дуга!

— А где ж она? — поперхнулся Алешка.

— Да я, видишь, не стал подымать ее. Подумал,

что и так их у тебя целая куча... А ты не тужи. Там, опричь нас, ни один домовой не увидит ту пенку — вода бушует кругом! Как схлынет чуток, так мы с тобой и двинемся туда. Ладно?

— Ла-адно,— неуверенно согласился Алешка.— Только б холява не пронюхала.

— Это кто ж такая? — смеялся глазами Матвей Егорович.

— Кузяка с того конца. Знаешь, как он умеет сгать?

— Туда не досигнет никакая холява, будь она хоть с сажеными ногами. Как я сказал, так и будет...

В остаток дня они отводили ручьи от закут в клуни, хлопотали по хозяйству. Всю ночь хату наполнял широкий смутный шорох, доносившийся с речки. Матвей Егорович то и дело просыпался, выходил на крыльцо, вслушиваясь в весеннюю тревогу. По темному двору катались живые белые комочки и жалобно попискивали,— вода заливала кроличьи норы. «Пропадет трусиная детва! — вздыхал Матвей Егорович.— Пущай бы жили. Бураков хватит...» Непокойно спал в ту ночь и Алешка. Ему снился Устиньин овраг, и на дне его бластилась большая пенка, расписанная золотой повиликой и малиновыми кочетами.

Кто-то все делал так, чтобы наступивший день на всю жизнь запомнился Матвею Егоровичу. Под утро небо окрасилось какой-то звонкой и чистой розовостью. Звонко и чисто было на улице, на проулках и на дворах. Смиренные цепким утренником в своих тесных руслах поптычьи чилилюкали ручьи. Вчерашние непролазные дорожки были легки и хрустки, и подернутые ледяной склянью лужи манили разогнаться и проехаться по ним так, чтобы из-под ног брызнули синие искры! В такие часы молодым хорошо ходится по какому-нибудь желанному делу и покойно дремлет старикам.

Так это и случилось с Матвеем Егоровичем. Он не слышал, когда Алешка снял с себя его легонькую руку и задом сполз с печки. В чулане, рядом с укрытой тулупом квашней, молилась после сна Пелагея. На загнетке, просохшие за ночь, теснились три пары лаптей. Алешка выбрал свои, по примеру деда переменял в них солому и старательно обулся.

— Куда ты в такую рань? — обернулась к нему Пелагея.

— На двор. Сикать захотелось,— сказал Алешка, но

проделал он это не в своем дворе, а на полдороге от Устиньина оврага: ему казалось, что Кузяка уже выколупывает из подмерзшей грязи его пенку.

Село просыпалось. Сухо звякали щеколды калиток, оголтело кричали петухи, и, пронизанные заревым светом, из трубы каждой хаты неспоро росли зеленые букеты дымов, похожие на кусты перекасти-поля. Овраг еще издали обдал Алешку зябкой сыростью и нарастающим гомоном не поддавшегося морозу потока,— он бился в туманном сумраке дна оврага, заваленного крупитчатым покореженным льдом. В бурых рваных потеках оставался южный склон оврага, зато северный уже по-летнему желтел мелким песком, испещренным кружевом воробьиных следов.

С него и начал свой поиск Алешка. Может, час, а может, и два понадобилось ему на то, чтобы шаг за шагом добрести до самой речки. Ровный шум потока, ставший за это время привычной тишиной для Алешкиного слуха, постепенно растворился в мощном перекатном гуле большой воды. Любач вышла из берегов, затопила луг и низовые огороды. Теперь трудно было определить основное русло речки. Из воды повсюду торчали раздерганные гряды раakit, повсюду, но не с одинаковой скоростью плыли льдины, проносились снопы соломы и конопля — где-то в верховьях Шелковки подмыло, видать, бесхозяйственный двор.

Солнце поднялось уже дуба на два, когда Алешка увидал свою пенку. Она и вправду была с дедову ладонь и лежала на небольшой прибрежной льдине. Проритый густым рядом тонких и острых сосулек, передний край льдины приподнимался над кромкой берега, и когда Алешка ступил на льдину, сосульки хрупко осыпались, проиграв, как балалайка. С этим звоном, чем-то напомнившим Алешке летнее воскресенье, совпали и два других его открытия. На пенке — половинке чайной тарелки — вместо обещанных дедом и сном рисунков чуть-чуть проступал маленький синий орел о двух головах. Но Алешка все же взял пенку и тут же заметил, что льдина, кренясь под его лаптями, тихо уплывает от берега — до него было уже сажени три...

Дважды в месяц Пелагея пекла хлеб, и каждый раз Матвей Егорович подолгу бродил по двору с топором,

выискивая на дрова непригодную в хозяйстве ольшинку или слежку. В это утро он разобрал акациевую загородку в закуте. Белые и твердые, как кости, хворостины не поддавались топору, обрубки же со звоном отскакивали в сторону, как при игре в чижика. Матвей Егорович негромко и замысловато ругался, осерженный на запропастившегося Алешку, на Пелагею, не умеющую соломой накалить печь, на себя за эту работу,— разорял ведь то, что когда-то любовно и ревниво сам сделал.

— А какой же тут разор? — не то самого себя, не то кого-то другого неожиданно вслух спросил Матвей Егорович.— Вырастешь, наживешь лишнюю лошадь — справишь и загородку. Не велика важность!..

Захватив беремья дров, он понес их в хату, и когда взбирался на крыльцо, чья-то по-праздничному разряженная молодайка с полными ведрами на коромысле степенно остановилась в калитке.

— Идите скорееича на речку! — с поклоном сказала она.— Там матросенок ваш залился!..

Через улицу до перелаза в сад Матвей Егорович прошел прямо и медленной походкой ослепшего человека, роняя дрова себе под ноги. Отовсюду по скату горы к приречному полузатопленному колодцу бежал народ и кто-то по-пастушьи пронзительно и длинно свистел через пальцы. Не разбирая дороги, Матвей Егорович все так же незряче побрел к речке, но через несколько шагов остановился, ссыпал в грязь дрова и рядом сел сам. Он сидел и силился сообразить, кому и для чего нес свой хворост, куда и зачем бегут эти незнакомые ему люди. Он смутно помнил, что случилось что-то непостижимое разумом и противное всему, что он еще чувствовал и видел, но что именно случилось — забыл. Не сразу признал он Тишку Суровца и не скоро уразумел его просьбу дать вожжи и помочь снять с петель ворота.

— Нетути у меня, брат, ничего нетути. Сам скоро пойду побираться,— бормотал он и все норовил отодвинуться в сторонку. И лишь когда Тишка сказал, что без ворот и вожжей ему «туда» не добраться и малый утонет, Матвей Егорович схватил наконец какую-то мысль.

— Погоди! Кто такоича утонет? — выбросил он к Тишке руки, но сам уже вспомнил все: и кто такой Тишка, и то страшное, о чем его спрашивал.— Нешто он... живой?

Тишка долго наводил глаза Матвея Егоровича на невидимую ему точку в Любаче.

— Вон ту застрялую крыгу замечаешь? Прямо на супротив колодезя, меж трех раки! Там он и кукует...

Далеко внизу, в крошечке льда и среди грязно-желтых бурунов воды Матвей Егорович с трудом разглядел застрявшую в ветках раки белую и маленькую льдину, похожую на блюдце. Алешка темнел и елозил на ней, как муха.

— Тиш! — расслабленно позвал Суровца Матвей Егорович. — Ты покличь на подмогу кого-нибудь и сними ворота за ради Христа сам. И вожжи возьми. Они в сарае под поветью висят... А я посижу тут. Нельзя ж его совсем одного бросить, а?

Когда Тишка с ватагой ребят приволок к Любачу ворота, интерес собравшейся у колодца толпы переметнулся к нему, — никто толком не знал, что замыслил Суровец. А он, разгоряченный и неприступно гордый своей затеей, у всех на виду скинул пиджак и ботинки, заломил кепочку и привязал один конец вожжей к скобе ворот, а другой за свою босую ногу.

— А ить загубишься, голова садовая! — осуждающе проговорил кто-то из мужиков, но Тишка будто не слышал. Подобрал шест, он прыгнул на ворота, и они сначала осели под ним и заколыхались, а потом выровнялись и поплыли. Упираясь шестом на быстринах и отталкиваясь от коряг и льдин, Суровец все дальше и дальше продвигался от берега, но оттого, что ворота набухали и тяжелели, вода захлестывала Тишкины ноги, доходя до колен. Он раза два что-то крикнул, чего нельзя было разобрать, и тогда Матвей Егорович схлопнул ладони, обратил лицо на восток.

— Непорочная дева! — зашептал он. — Владычица наша небесная! Спаси ты нас грешных, дураков неразумных, укрой и защити! Тебе ж это ни шиша не стоит, а мы гибнем! — гневно молился он за себя, за Алешку и Тишку Суровца, страшась глянуть в его сторону. Текуч и неуловим был образ бога, к которому обращался Матвей Егорович, — он менялся в зависимости от поведения тех старых и малых шелковцев, что сбились на берегу Любача. Пока там мирно галдели, бог оставался самим собой — охочим до обрывков полузабытых Матвеем Егоровичем церковных молитв, верящим тому, что сулил он ему за помощь. Но когда от колодца доносились тревожные вскрики, бог представал перед ним непонятно враждебным, злым и несговорчивым, как сват Кузьма Михайлович. Тогда Матвей Егорович кидал в него кощунственными

словами, грозил собой, всем светом и каким-то другим, людским, богом.

Через час Суровец и Алешка прибились к берегу и сошли с ворот в километре от колодца — снесло течением. Еще издали завидев одиноко спешащего к ним деда, Алешка, мокрый по шею, потянул из кармана пенку:

— Ты эту видал, дедушк?

— Да, кажись, ее, — признал Матвей Егорович, часто моргая глазами.

— Она ж совсем неписаная! А ты говорил «райдуга»!

— Так нешто ж я... Значит, померещилось мне, будь она трижды проклята!.. — И, неумело обняв Суровца обеими руками, Матвей Егорович зачастил просящим и рыдающим голосом: — Тиш! Голубчик... Ты б заглянул к нам на великдень, а? Труса зажарим... Они, говорят, сладкие, как ку... курятина!..

16

В тот год рано наступило лето, — за неделю до пасхи схлынуло половодье, а ракиты выметнули длинные изжелта-зеленые серьги. До пасхи в дремучий лозняк на берега Любача прилетели горлинки, и, услышав их нежное рыданье, мужики потянулись в поля сеять овес. Торопко и буйно отцвели тогда сады, и никто в Шелковке не помнил, чтобы когда-нибудь еще из земли перла такая несметная сила одуванчиков, — заглушив траву, они сплошь покрыли выгон и заречный луг.

Как девичьи стеклянные монисты — яркие и звонкие — низались один к одному не по времени жаркие дни. Не по времени, рано, в вянущих зеленях полей запросили «пить» перепела. Каждый день, в обед, из Уручья с ревом врывалось в село стадо коров. Обезумевшая от жары и оводов скотина ломала тыны, вытаптывала огороды, и в поджаристом воздухе подолгу висела горячая пыль, перемешанная с куриным и одуваньим пухом.

По воскресеньям после обедни Кузьма Михайлович выносил из церкви большую икону божьей матери и, сопровождаемый толпой богомольцев, шел в поля. Рассыпавшись по руслам пересохших меж, шелковцы не в лад и заунывно-угрожающе пели молитвы, яростно кропили святой водой из бутылок каждый свой загон, вожделенно оглядывали серо-белесую пустынь неба.

По вечерам за Бешеной лощиной долго тлели опаловые

зори, и каждый раз в их недобром свете на одном и том же месте возникала сизая туча с жутковатым медным окоемом. В Шелковке наступала тогда странная вымученная тишина, начиненная воспаленными стонами ходукинской пыхтелки. Из жерла тонкой трубы паровика размеренно выпрыгивали круглые плотные дымы и, увязываясь один за другим в недвижимом воздухе, торили свой вечерний путь к прохладе реки прямо через хаты села. Каждый раз полет этих черных вонючих шаров гнетуще действовал на шелковских собак. Они вылезали на улицу, ощетинивали шерсть и, задрав морду к небу, завывали трубно, с одурелым захлебом.

Не доросла, увяла и пожухла в том году трава в заказных на покос местах, и шелковцы кинулись делить болото и Бешеную лощину в надежде хоть сколько-нибудь наскрести там сена. Ястребовскому двору в Уручье выпала пайка голой трясины, поросшей стрелолистом и редкими кустами болиголовы. И хотя Матвей Егорович не готовился залезать с косой в болото, но обдел судьбы воспринял горестно и обидно.

— Всю жизнь так, черти б ее взяли: кому пышки, а мне одни шишки! — сказал он, разглядев свой жребий, вынутый из своего же картуза.

Через неделю после этого был назначен дележ Бешеной лощины. В тот день Матвей Егорович пришел туда еще на рассветной заре. Влажные, булькающие трели яростно били соловьи в глубине леса, на опушках по-кошачьи мяукали иволги, и над всей лощиной густым пластом лежал дух росного разнотравья.

Матвей Егорович несколько лет уже не бывал здесь. В его сознании Бешеная лощина давным-давно связалась с чем-то сурово-печальным, большим и заповедным, к чему все нельзя было прикасаться и куда он втайне готовился прийти вместе с внуком. Но каждую весну — на троицу — Алешка оказывался не готовым к такому походу: он все был мал и мал, чтобы понять и осмыслить то, что ему предстояло услышать и увидеть в этом лесу...

С каким-то странным чувством изначального внимания ко всему тут живому и мертвому пришел на знакомую поляну Матвей Егорович. Он остановился у ее края рядом с кустом орешника и, наклонясь вперед, весь чутко напряженный и взволнованный, медленно оглядел строгими неморгающими глазами сначала зеленую луговину, потом голубую сумеречь окружающих ее кустов и, найдя то, что

искал, снял картуз и выпрямился. Клен, у которого был похоронен матрос, оставался по-прежнему низкорослым и разлапистым, а продолговатый холмик осел, порос богородицыной травой, маргаритками и ничем не напоминал могилу.

— Ну вот...— проговорил Матвей Егорович.— Ну вот...

Он постоял, вслушиваясь в себя, не спеша надел картуз и бессознательно тронул рукой ветку орешника. С мохнатых листьев на него посыпались прохладные капли росы. Матвей Егорович зябко втянул голову в плечи и взглянул на куст. Почти у самой его руки, которой он продолжал держать ветку, сидела ярко-желтая и маленькая, как медный наперсток, птичка. Скосив голову, она пронзительно глядела черными бусинками глаз прямо в зрачки Матвея Егоровича, и, затаясь, он хорошо рассмотрел ее оперение, тоненькие, как сенные былинки, ноги и острые, тускло светящиеся коготки пальцев, впившиеся в кору. Ни в детстве, никогда потом Матвей Егорович не видел таких удивительно крохотных птиц. Он разжал пальцы и подвинулся ближе к кусту. Ветка качнулась и зашумела, а птичка скакнула вперед на самый ее край и пискнула нестерпимо тонко, слабо и жалобно. Неотрывно и уже против воли глядя в темные точки птичьих глаз, парализованный близостью и бесстрашием этого диковинного живого комка, Матвей Егорович, похолодев, стал медленно поднимать руку к голове и пятиться от куста.

— Это ж душа его... Господи! За что ж ты нас так, а? За какие перед тобой прогрешения не принимаешь к себе невинно убиенного?! — прошептал он и перекрестился.

Опушки леса Матвей Егорович достиг почти бегом и только здесь, на виду недалекого села, понял, что испуган смертно, тяжело. «Надо разуться, скорейча тогда дойду»,— решил он, и когда присел на обочине тропинки, то долго потом не мог встать — ноги были квелые, как фитили.

Кучками и по одному к Бешеной лощине тянулись из села мужики. Матвей Егорович связал лапти, перекинул их через плечо и пошел домой не по дороге, а прямо по полю, на разминку с людьми,— не хотел, чтобы его кто-нибудь тут встретил. Он шел сгорбившись, путаясь ногами в жестких нитях повилики, заткавшей межи, и казалось, что этот человек несет не лапти, а какую-то важную ношу, с которой далеко не уйдешь.

У перелаза через речку Матвей Егорович поднял голову и поглядел на свою хату. Сидя на отлете от других

хат, покрытая соломой чуть набекрень, она давно уже приобрела какой-то лихо-несчастный вид, возбуждавший в Матвее Егоровиче сложное чувство обиды на жизнь и готовность вступить во вражду с тем, кто проявил бы к нему сочувствие или пренебрежение.

— Не ваше это дело! — резко сказал он кому-то, не сводя глаз с окон хаты. — Голова моя сыном его живым была занята, вот оттого я и забыл!..

Зайдя в сарай, он отыскал топор и почти бегом спустился в сад. В углу его, среди дикого посева глухой крапивы и чернойбыла, стоял вяз-подросток. Еще издали измерив глазами высоту дерева, Матвей Егорович с ходу опустился перед ним на колени и взмахнул топором. Он рубил плотно литый комель и время от времени поглядывал на садовую дорожку — не мелькнут ли на ней Алешкины ноги: ему не хотелось, чтобы тот застал его за этой запоздалой работой.

Алешка нашел его, когда обрубленные ветки вяза успели уже привясть и у ног Матвея Егоровича лежали очищенные от коры, пахнущие пряной прохладой два бруса — один длинный, а второй покороче.

— Чегой-то ты делаешь, дедушк? — с обидой на то, что дед без него задумал что-то, спросил Алешка.

— Крест это, — помедлив, сказал Матвей Егорович и, не поднимая глаз, зачастил взмахами топора, ладя лезвие его к бревну так, чтобы паузы между ударами были сплошь заполнены лютым звоном стали, куда Алешка не смог бы вклинить своего нового вопроса.

А тем часом жребий за ястребовский двор тянул по своей доброй воле кум Федор. Номер вышел недобрый — тринадцатый, а пайка травы пришлась на него лучшая во всей Бешеной лощине. Об этом Матвей Егорович узнал поздним вечером от самого же кума — пришел обрадовать, а может, и выпить магарыч с человека за его нечаянную удачу.

— Это внизу, где клен? — спросил Матвей Егорович.

— Как раз там, кум. Трава выше колен, и хоть бы один куст! Воза два наберешь сена...

— Что ж, значит, судьбой определена мне та чертова низина!

Больше он ничего не сказал, и недоуменный кум Федор ушел ни с чем.

Утром, чуть свет, Матвей Егорович уложил в телегу бочонок с водой, косу, лопату и тяжелый, отсвечивающий

восковой желтизной крест. Со двора он выехал украдкой, боясь разбудить Алешку, наказав Пелагее, чтобы он принес ему в лес завтрак, как только солнце поднимется на одну ракиту выше клуни.

В Бешеной лощине продолжала таиться звонкая вчерашняя тишина. Очутившись в низине, Матвей Егорович начал громко покашливать, пытаясь погасить проникавшую в сердце знакомую оторопь, и прямо по траве своей пайки подъехал к могиле матроса, остановил мерина у ее изголовья. Торопясь, то и дело покрикивая для бодрости на коня, смиренно стоявшего в оглоблях, он вырыл в холмик крест и, отойдя в сторонку, уже успокоенный и задумчиво-строгий, опять сказал вчерашнее:

— Ну вот... Ну вот!..

Трава никла под крупными росными каплями. При первых же взмахмах косы Матвей Егорович юно ощутил неповторимо-сладостный запах отворенных соков земли и, врезаясь в густой стан сверкающей зелени, жадно слушая сочный хруст подкоса и ветровой шелест падающей травы, вдруг ни с того ни с сего подумал: «А мне, наверно, и веку не будет. Долго проживу!..» До прихода в лес по-праздничному принаряженных косарей он успел пройти на своей пайке три длинных ряда и трижды прильнуть к бочонку с водой. И ни завистливые шутки мужиков насчет подмокшей мотни у его порток, ни запропастившийся куда-то мерин, которого он забыл стреножить, ни восковое свечение креста — ничто не могло омрачить его внезапной бодрости и упрямства — «проживу-у!..»

В условленное время Алешка принес завтрак — чугунок крутого молочного кулеша. Пелагея то ли забыла, то ли не догадалась положить в сумку вторую ложку, и Матвею Егоровичу пришлось черпать кулеш коркой хлеба. Они расположились под кустом недалеко от могилы. Алешка сидел боком к деду. Жуя, Матвей Егорович исподтишка взглядывал на внука и видел его лопушистое оттопыренное ухо, кончик синего глаза, устремленного на крест, и полукруглый рядок длинных немигающих ресниц.

— Чего ты там блукаешь глазами? Садись вот так и гляди на посуду! — скороговоркой приказал Матвей Егорович, и Алешка повернулся спиной к кресту и, глядя в чугунок, спросил:

— А он... хороший был?

Матвей Егорович глубоко вонзил в кулеш корку и

деловито принялся елозить ею по дну чугунок до тех пор, пока она, разопрев, не переломилась там надвое. И тогда ответил:

— Отец твой? Неимоверной красоты был!

— Как ты? — Алешка взглянул на деда восторженно и пытливо.

— Вылитый! — мотнул головой Матвей Егорович.— Только куда статнее...

Может, он и еще что-нибудь сказал бы о матросе, но в это самое время на поляну ленивой рысцей выбежал мерин. Смешно запрокидывая голову и хлюпая губами, он пытался достать языком до ноздрей, измазанных чем-то белым и, видать, клейким. Вслед за меринком из кустов вышел кум Федор, волоча длинную свежесломленную орешину.

— Ну, Егорыч! — обиженно заговорил он еще издали.— Нешто ж это по-свойски! Пущаешь одра без пута, а он, вражила, взял и все блюдо вылопал дочиста!..

— Чего такоича? — встревожился Матвей Егорович.

— Картохи на сметане. Только что принесли... И надо ж ему ухитриться настольник развязать! Не лошадь, а прямо-таки кобель, прости господи!..

— Не знаю, кум, кто его приучил к такому делу,— смущенно стал оправдываться Матвей Егорович.— Он у нас сроду не потреблял сметану. Небось прохватит поносом попервам...

— А мне-то какой прок от того выйдет? — ошеломленно спросил кум Федор.— Балакаешь черт-те что!

Он откинул орешину и пошел через поляну, по-хозяйски обходя грядку еще не кошенной травы. Проводив его озабоченным взглядом, Матвей Егорович раздумчиво сказал Алешке:

— Рассерчал мужик. Будто я нарочно велел тому домовому сметану его потрескать!..

К полудню неожиданно скопилась гроза. Сизая, в полнеба туча стремительно приползла с запада, закрыв солнце, и в лесу установилась истомно-пахучая недобрая тишина. Заслышав далекий протяжно-перекатный удар грома, Матвей Егорович проворно запряг мерина.

— Давай, давай, брат! — не без опаски поглядывая на небо, просил он.— Все тебя ждет, все тебя славит, все тебе воздает хвалу!

В поле было пустынно и тревожно. На фоне черного неба теперь с особенной явственностью проступала

белесая хилость посевов, покорно приникших к сухой, как зола, земле.

Бодрое чувство живучести, постигнутое Матвеем Егоровичем во время сенокоса в Бешеной ложине, не оставляло его ни на минуту, и постепенно к нему вернулись прежнее беспокойство и хозяйская цепкость. Покрикивая на Пелагею и Алешку, он заново возвел загородку в закуте, подновил прошлогодней сторновкой углы крыши амбара, перешил на внука Алексеевы плисовые штаны и нанковую рубаху.

— Пинжак и сумку сошью к покрову дню, перед тем как итить в школу,— сказал он Алешке.

Рожь тогда поспела загодя до петровок. В хорошие жнитвы Шелковка, бывало, выводила на своих задах несметные посадки скирдов, среди которых на недели пропадала скотина, а в этот раз снопы-недоноски уместились в клунях. И лишь один Матвей Егорович выложил на огороде одонок. Оттого что снопы с воза подавал внук, с трудом орудуя длинным деревянным навильником, дед умышленно пропустил укладку нескольких рядов на краю подачи, и одонок получился кособокий, смешной.

— Ну и кляп с ним,— оглядев работу, сказал Матвей Егорович.— Все одно виден... Пушай сват Кузьма поглядит. Углы-то клуни у нас забиты как-никак сеном!

Молотили на открытом току в три руки — для внука Матвей Егорович почти вдвое укоротил Петраков цеп. Поначалу Алешка взмахивал и опускал цепинку не в лад с остальными, то и дело задевая держак цепа Пелагеи, и ритм ударов выходил спутанный, хромой.

— Разучилась? Или не умела сроду? — корил дочь Матвей Егорович.

— Да нешто это я? — обиженно дивилась отцу Пелагея.

— Нет, то дух святой,— ехидно говорил Матвей Егорович и повышал голос: — Отступи подальше от ребенка, чего ты к нему пристыла!..

Уже в сумерках кончали работу и шли домой. Пелагея выносила из хаты широкий и толстый, как веретье, настольник и расстилала его на траве посередине двора. Матвей Егорович с Алешкой садились у его края с восточной стороны и в суровом молчании согласно ждали, когда

Пелагея подаст им миску с постной лапшой. Густое, утомившееся в большом горшке варево накрепко приставало к деревянным ложкам, склеивало бороду Матвея Егоровича.

— А молока у нас нетути, что ли? — осерженно спрашивал он.

— Говеены ж теперь, тять. Скромное есть — грех... — напоминала Пелагея.

— Грех по полю бег. А поп его сгреб и... — начинал выходить из себя старик. — Принеси-ка кухлик утрешника, а сама хоть до рождества говей...

С протяжным вздохом Пелагея уходила в полутьму двора, а Алешка подвигался к деду:

— А чего поп исделал ему, дедушк?

— Кому?

— Ну тому греху?

— Там, брат, дело темное вышло... Давай-ка поскорее вечерять да погоним мерина в Уручье, а?

И повторялось все то, что случалось теперь каждую ночь. Матвей Егорович подводил к крыльцу мерина, аккуратно укладывал на его округлую спину две шубы, потом два зипуна и увязывал все это обрывком вожжей. Мерин надувался и переставал дышать.

— Ишь, распустил пузо, старый хитрюга! — бубнил Матвей Егорович и пинал кулаком в тугий живот коня, затягивая на нем вожжи как подпругу. Поверх поклажи садился Алешка. Матвей Егорович забирал повод в руку, кликал Полкана и влек мерина со двора. На выгоне у полусгоревшего ракитового пня мерин, вздохнув, останавливался сам. Алешка подвигался к холке, а на освободившееся место взбирался Матвей Егорович и в который уже раз стращал себя и внука:

— Увидят — засмеют нас с тобой... Испокон веков тут никто не ездил верхом по двое на одной лошади!

Валким шагом мерин самостоятельно выбирался на полевую тропу. К тому времени обычно наступал тот час ночи, когда Млечный Путь пересекает небо строго с востока на запад, нависая над выгоном и дорогой в Уручье. Он кипел и переливался прохладным голубым огнем звезд и метеоров, и, неотрывно глядя на него, Алешка начинал разговаривать шепотом:

— Дедушк, а это взаправду божья дорога?

— Кто ж ее знает, унучик. Может, она самая и есть, — отвечал Матвей Егорович и вздыхал. От неудобно

поднятой головы у него немела шея, а все тело цепенело как-то отраднo и отдыхающе, и хотелось ехать так и ехать бесконечно долго, молча и неизвестно куда.

Уручье еще издали обдавало их маняще-сладким запахом болиголовы и горьковатой привялостью ольхи. В болоте отсыревшими голосами верещали коростели, гулко ухали выпи, и далеко на бугре ровно светился пронзительно малиновый глаз пастушьего костра.

— Ну, как мы с тобой, тут остановимся или подадимся к стойлу? — спрашивал Матвей Егорович.

— Подадимся к стойлу! — радостно отзывался Алешка. — Там сухих кизяков до ужастей, чтоб огонь запалить. А то нас комашки зажрут!

— Без огня непременно зажрут. Давай двигаться туда, — соглашался дед.

Стойло — лысый бугор, острым мысом врезавшийся в болото. Его отлогие берега густо поросли кустами дикой смородины, отавой и осокой. Тут же в тесном ряду зияют копаня — шириной с хату и глубиной до двух сажень искусственные бочаги, в которых шелковцы замачивают по осени конопляную тресту. Вода в копанях иссиня-зеленая — со дна, из расщелин белой глины, бьют упругие ключи, и никакая болотная живность не выносит их рьяной стужи.

У этих копаней и разбивали свой табор Ястребовы. Скинув на теплую землю зипуны и шубы, Матвей Егорович отводил мерина на отаву, треножил его и медленно брел назад. В темноте ему хорошо была видна то тут, то там мелькавшая белая рубаха Алешки, собиравшего пересохший коровий и лошадиный помет. Они оба хорошо знали, что на свете не было лучшего топлива для костра в Уручье. От серого вороха в небо протягивался прямой, плотный и желтый, как «куриная слепота», дымный столб. Он не колыхался, не вырастал и не уменьшался почти всю ночь, не подпуская к табору комаров и болотные страхи...

Так за большим и малым прошло то лето. И кто знает, как и чем обернулось бы к ястребовскому двору грядущее, не уродись тогда в их саду небывалая сила слив. Дважды с Алешкой и трижды сам один возил их Матвей Егорович в Курск на продажу, с каждым разом возвращаясь все больше колготным и скуповатым на подарки.

— Видал? — как-то не по-своему, нехорошо спрашивал

он Алешку, пряча на божницу червонцы.— То-то ж! Мне, что ли, они нужны!..

Таким же манером — в тех же ивовых кошелях, что и сливы,— отвез потом Матвей Егорович в город и кроликов. Тогда же он и узнал, как дорого ценится курскими нэпманами пенька, и диву дался своей прежней бесхозяйственности: за сараем вот уже который год у него лежала большая скирда немоченой конопляной тресты..

Осень пришла яркая, вся в звонких кочетиных переливах, опутанная белыми мотками паутины. За неделю до покрова дня Матвей Егорович повел в школу Алешку. В радужном пиджаке, сшитом из побитого молью пояркового зипуна Михалихи, с глубокой холщовой сумкой на широкой двойной тесьме Алешка казался маленьким невеселым старичком. На выгоне, заметив стайки детей, увешанных такими же сумками, годными на всякий случай жизни, Матвей Егорович вдруг накинулся на внука:

— Ты чего расквасился, будто побираться я тебя спрашиваю? А ну, валяй без меня! Учителю скажешь так: хвамилия Ястребов, звать Алексеем, по отцу Алексеевичем. Запомнил? — И когда Алешка пошел, то и дело оборачиваясь назад, Матвей Егорович рывком настиг его и прижал к себе.— Ты вот что,— с обидой и жалостью зашептал он,— ты знай: жизнь — зла, а люди... сладок будешь — расклюют, горек будешь — расплюют. Вот. А зараз иди с богом. Иди и не оглядывайся!..

Придя домой, Матвей Егорович долго сидел у конопляной скирды за сараем, не в силах отогнать от себя тягостное видение — перед глазами белела Алешкина сумка с откидным клапаном на медной пуговке с орлом. «А ить он мог и так, а? За кусками... по чужим селам. А в Липовце по три собаки в одном дворе, черти б их взяли!..»

Через час он шагал с лопатой и точильным каменным брусом в Уручье рыть копань...

Потом, когда стаял снег той зимы, Алешка ходил смотреть этот дедов копань — широкую белую яму, затопленную жуткой зеленой водой. Она не колыхалась и не дрожала под ветром, густая и тяжелая, как конопляное масло, и когда он кидал в нее камнем, то всплеск получался пугающе-двойной и приглушенный — гуль-гулы!

Копань...

Матвей Егорович рыл его пять дней посуху, а на шестой под порушенной плитой известняка проклюнулся и замурлыкал родник. Окрашенный низким осенним солнцем в какой-то непостижимо яркий травяной цвет, ключ разветвлялся и опадал тремя равномерными струйками, и Матвей Егорович торопливо прибил их комками вязкой глины,— глубину копаня нужно было увеличить еще на один штык.

— Не шебурши, успеешь! — обрадованно сказал он пропавшей водяной ветке, но через несколько минут она, плотней и выше прежней, росла уже на новом месте. Тогда Матвей Егорович выбрался из копаня и нарвал беремья отавы. Он скрутил ее в тугой пук, перевязал осокой и вернулся назад. За это время на дне копаня собралась округлая лужа воды, не изменившей своей окраски. Сразу увязнув лаптями в клейком месиве и ощутив ногами колючий холод воды, Матвей Егорович нескоро нащупал одеревенелыми руками живую, мелко и нескончаемо вибрирующую силу ключа.

— Не шебурши, успеешь! — опять сказал он ему, запихивая в неподатливую глубину набрякшую водой и грязью затычку. Налегая на нее всем телом, он все больше и больше клонился вперед, и на какое-то мгновение руки его почувствовали как бы смиренную, затухающую дрожь родника.— То-то ж! — проговорил Матвей Егорович и затем сам не понял, что произошло: то ли он нечаянно поскользнулся и упал, потянув за собой затычку, то ли ее вместе с ним легко и мягко оттолкнул прочь родник. Темным, широким и низким буруном, как дым из трубы в ветреную погоду, из родника начала выталкиваться вода.

Матвей Егорович на четвереньках рванулся из копаня, но икры ног, затянутых онучами и оборками лаптей, сжались в неподвижные тугие клубки, разрываемые слепящей глаза болью: ноги не поддавались усилиям согнуть их в коленях, и он натужился и потащил свое тело на руках, высоко поднимая голову и мысленно отгоняя проникший в душу холодок испуга: «Ничего, ничего! Это так... это судорга. Она зараз отпустит!»

Он двигался к тому месту, которым только что выбирался за отавой,— в стене копаня там была глубокая расщелина, послужившая ему тогда ступенькой. «Круто рыл. Не надо было так. Круто рыл...» — пронеслось у него в

мозгу, и сейчас же он подумал, что надо остановиться, сесть и растереть ноги. Но он не остановился и не сел, потому что вода захлестывала уже его плечи, потому что позади раздавались пыхтящие, отвратительные всхлюпы родника.

До расщелины Матвей Егорович дотянулся сначала одной рукой, потом второй и, утопив их по локоть в теплый сухой паз, повис на стене, пробуя пошевелить ногами. Тяжелые, как мешки с просом, они были скрыты в воде и по-прежнему ломили и не гнулись в коленях. «Круто рыл. Не надо было так!» — с тоской подумал Матвей Егорович и лишь тогда вспомнил о лопате, оставленной возле жерла родника.

— Господи, порожки ж надо! Порожки! — выкрикнул он и вдруг затих, пораженный иным: по острому краю расщелины беспокойно сновали густые толпы солдатиков, то устремляясь вверх, то сбегая вниз, почти к самой воде, и было страшно подумать, кто это с такой злобной бессмысленностью распорядился на земле жизнью — зачем же неразумной твари дадено до десяти ног? Ну зачем?!

Копань постепенно наполнялся сумерками, — солнце, видать, заходило за грядку болотной ольхи. К тому времени вода подобралась к расщелине, и Матвей Егорович чувствовал, как тает и расплывается в его ладонях глина и как сам он наполняется какой-то душной и сонливой усталостью, гнетущей его вниз, ко дну. И все же раскаленный обруч воды, сдавивший все тело Матвея Егоровича, так и не достиг его глаз. Размеренно и упрямо Матвей Егорович все поводил и поводил головой, до хруста в позвонках вытягивал шею, запрокидываясь назад. Теперь его глаза уже не видели серой стены, заселенной чужой ненавистной жизнью, — теперь перед ним была первобытная синева неба с опалово-черным не то коршуном, не то вороном, недвижно повисшим над копанем. «Чего это он? Чего ему тут?!» — подумал Матвей Егорович, и в этот миг руки сами, вне всякой связи с его волей, согласным рывком отпустили край расщелины и выбросились вверх, царапая гладкую стену и пустоту.

Уходя в глубину, Матвей Егорович не закрыл глаз и, ослепленный зеленой мутью воды, закричал тягучим, враз изнурившим все его существо голосом:

— Уну-у-учик!

Но этот крик метнулся лишь в его мозгу. Это было

последнее, что еще билось в нем и над чем оборвалась и погасла его память.

19

Из всего, что случилось в Уручье и что было потом дома, в церкви и на погосте, Алешка явственно запомнил лишь одно — страшную неподвижность бороды деда, высторченной как-то вверх и вбок. Он не подошел ни к лавке, на которой, обмытый и обряженный в смертные портки и рубаху, лежал Матвей Егорович, ни к гробу на столе, куда переселили его потом. Целый день и ночь он просидел на лежанке, глядя то на дедову бороду, то на Пелагею, ставшую вдруг просветленно радостной, как в годовой праздник. И оттого что он молчал и не шевелился, Кузьма Михайлович, распорядившийся похоронами свата, негромко сказал:

— Чужак чужаком и останется...

— Что ж поделывать теперича, не свой он нам,— всепрощающе отозвалась Пелагея и сама заплакала легко и благостно.

При выносе из хаты гроба кто-то не то нечаянно, не то нарочно толкнул Алешку с крыльца. Из его рук выпал картуз, но он не поднял его, и шел до погоста далеко позади всех, и не моргал, не плакал и не изменял выражения лица — изумленного, затаенно ожидающего чего-то.

Но ни в день похорон, ни спустя неделю, ничего, что ожидал Алешка, не произошло — деда не было, и его место в хате, на дворе и во всем Алешкином мире оставалось пустым. Все, что Алешка умел — с утра вставать, обуваться, есть, разговаривать, ходить, видеть и слышать,— все это он когда-то делал вместе и поровну с дедом. Теперь же ему не хотелось это делать одному. И он днями просиживал на лежанке, не умывался, не просил есть и не откликался на зов Пелагеи.

В святом углу хаты не погасал теперь тихий голубоватый свет лампы. Знойным голоском Пелагея выводила нараспев нескончаемые молитвы, а в промежутках сушила зачем-то сухари и упрятывала их в узкие, как рукава, мешочки. На покров день она привела из церкви дебелого и рослого слепца, увешанного образками и сумками. Прямо от дверей тот прошел к лежанке и, зажав

в коленях суковатый посох, воровато и больно ощупал Алешкины плечи.

— Хил! Куда ж мне такой поводыр?— вперил он в Пелагею белые глаза.

— Восьмой ему пошел, брат Антоний,— с поклоном сказала Пелагея.

Раздевался слепец медленно и копотко. Принимая от него темные дощечки иконок, Пелагея беззвучно и трепетно прикладывалась к ним губами и каждую отдельно рысцой относила в святой угол. На брате Антонии была пламенно-кумачная рубаха, перетянутая широким шленским поясом. Зряче, по-хозяйски, он прошел к столу и сел там на Алешкино с дедом место. Пелагея заметалась в хате. Она положила перед гостем чистый рушник и несколько позеленевших просвирок. Клоня то левое, то правое ухо к столу, слепец молча прислушивался к чему-то, потом протянул перед собой руки и плавно провел ими над просвирками.

— Что ж ты, а?— оставив на весу ладони, слезно спросил он Пелагею.— Тяпушку дай, бессовестная! Тяпушку-у! Она там в хлопушках сидит, в малой сумце...

И до позднего вечера слепец пламенел за столом перед широкой плоской бутылкой, завернутой в льняную куделю. После каждой рюмки он отваливался в угол и стонал там блаженно и яростно:

— А-та-та-та! Как бог в лапотках прошелся по душе! А та-та-та!..

По хате давно уже расплылся какой-то слеглый прокисший дух. Он исходил от рук слепого — Алешка ощутил это, когда тот ощупывал его плечи. За день ненависть к рукам слепого выросла у Алешки в боль: слепец ел сметану дедовой ложкой, то и дело зачем-то отбрасывая, а потом лапая ее всей пятерней. И под конец, когда все за столом могло сойти благополучно, он зажал ложку в ладони и смял ее с легким хрустом, как яичную скорлупу.

С этой минуты и началась Алешкина самостоятельная жизнь. Он привстал на колени и крикнул надорванно, не по-детски:

— Ты чего наделал, дурак косоглазый! Это ж дедушкина!

Слепец оттолкнул стол и подошел к лежанке. Алешкину голову он нашел сразу и, уложив на нее емкую, как половник, ладонь, проговорил голосом, в котором были хмель и сытость:

— Ты, чертопляс, не твякай, а готовься лучше по зорьке в Коренную!

Алешка соскользнул с лежанки и встал у окна.

— Не хочешь?— надвинулся на него слепец.— Наша кошка тоже не хотела горчицу есть. А как ей намазали ее под хвост, так всю дочиста и вылизала... А ну, ходи ко мне!

Теплыми, вонючими пальцами он захватил Алешкино ухо и короткими рывками стал вертеть его голову влево и вправо под слова:

— Знай своих! Знай своих!

Синими нитями молний по хате округло понеслись перед Алешкой два огонька — лампада и отсвет на лезвии топора, лежавшего у дверей чулана. «Дедушка положил, когда загородку делал...»— мгновенно вспомнил Алешка и, рванувшись, услышав, как хрумкнуло ухо, невольно выпущенное слепцом, кинулся к чулану. У топора была длинная, ладно изогнутая ручка, но Алешка не успел на ходу повернуть перед собой топор лезвием или обухом и удар по животу слепца пришелся плашмя. И тогда же, занеся топор для нового удара, он увидел розовые, как у кролика, глаза слепца — тот помешанно следил ими за топором, пятясь к лавке и повторяя одно и то же:

— Не дури! Не дури!

Пелагея издали что-то кричала Алешке и крестила себя обеими руками. Ошеломленный увиденным — у слепца были глаза! — Алешка смятенно отступил к лежанке, не опуская поднятого топора. Без посторонней помощи брат Антоний молча и опасливо собрал свои образки и уже на пороге, оттопырив зад в сени, коротко и зычно проклял хату.

— Иди-иди! Матери твоей кляп...— сохранив все дедовы интонации, осипло сказал Алешка, а Пелагея заголосила тоненько и упоенно...

Той ночью выпал снег, и новый день поманил Алешку в школу. Через двор, гумно и свой огород он прошел обычной дедовой походкой, но, когда показались выгон, купол церкви и неоглядная белая даль полей, он как-то сник и виновато притаился: все вокруг было молчаливо безответным, непостижимо большим и враждебным. Не своей, не прежней, оказалась и школа. Еще в коридоре учитель пасмурно оглядел его и сказал:

— Сам ни в дудочку, ни в сопелочку, а неделями не являешься!

— У нас дедушка... залился,— не сразу, шепотом сообщил ему Алешка.

— Так что же теперь?

— Ничего... Схоронили...

Кличка «сопелка» недолго жила за Алешкой, потому что встретил он ее вяло и бесчувственно. Не достигали его сознания и слова учителя на уроках — перед Алешкой неизменно возникала тогда неподвижная борода деда, и, кроме нее, ему ничего другого не виделось...

Зима затягивалась. Пелагея нечасто варила обеды — постилась, и вечерами Алешка пек себе на день картошки в грубке, докрасна накаляя лежанку соломой. В закутке дни и ночи уныло мычала корова и ржал мерин — просили корма. Исхудавший, изъярившийся Полкан охрип от бреха — в незапертые ворота шли и шли откуда-то странники и побирушки. Они вольно располагались в хате, наполняя ее притворными вздохами и все тем же горько-прокислым слепцовым духом.

Как далекие и недлинные сны о сплошных радостях вспоминал Алешка в ту зиму свои прошлые весны. В такие минуты боль о деде незаметно отодвигалась куда-то в сторону — мыслям не легко и не просто было найти в траве дорогу с берега Любача на погост. И никогда весна не была так далека от него и желанна, как в ту зиму,— что-то большое и неизреченное несла она ему, с чем опять можно будет жить по-прежнему...

Весна и взаправду была прежней — опять, как тогда, горело солнце, а через Шелковку плыли и плыли куда-то — в Курск, может,— облака, разбредшиеся, как овечки без пастуха. За Любачом опять зажглись одуванчики, и всюду была разлита мечтательно-тревожная и какая-то застенчивая весенняя истома. Все было по-прежнему, кроме одного — Алешка не мог принять весь этот сверкающий мир один, без деда. В такие дни на него накатывала необоримая его разумом тоска, и он плакал подолгу, часами, забившись под куст акации...

20

В канун нового, тридцатого, года в Шелковке появился человек, странного вида, закутанный в медвежью доху шерстью наружу. Обува и шапка на нем были не то из звериной, не то из оленьей шкуры и тоже шерстью наверх.

Без провожатого прибывший пошел по селу, высматри-

вая что-то, но Кузьма Михайлович не любил, когда заезжие барышники задарма миновали Советскую власть тут. Он еще издали окликнул в улице незнакомца, кивнул головой на сельсоветскую хату:

— А ну-ка, Колупай Сысоич, ходи со мной! Ходи-ходи!

Тот подошел к Ходукину молча, покоя на животе по-бабьи сцепленные руки. Оглядев гладкое, иссиня-желтоватое лицо его с широким тонким ртом, Кузьма Михайлович, под мысль «скопец, сукин сын», деловито и строго осведомился:

— Кого и по каким делам бог занес к нам?

Но это выяснилось лишь в сельсовете — человек в мехах, оказывается, был особоуполномоченным губкома партии и звали его Натальей Антоновной Рубакиной.

То, что под дохой на Рубакиной оказалась зеленая гимнастерка и там, где у других баб положено выпирать левой титьке, у нее висел орден, что она знала откуда-то имя-отчество Ходукина и была с ним сдержанно неприветлива,— все это возбудило в Кузьме Михайловиче невнятную тревогу. «Брешет, будто из губкома. Из ГПУ она»,— решил он, и голос у него опал и не хотелось садиться туда, где было его место. Так, стоя на середине комнаты, он и приготовился к беде, но Рубакина жадно и как-то въедливо курила, изредка лишь окидывая Кузьму Михайловича горящими, тронутыми сумасшедшинкой, тоской и усталостью глазами, и он снова подумал: «Из ГПУ. А в молодости, видать, потаскухой служила товарищам... Лахудра!»

Допрос Рубакина начала, как показалось Кузьме Михайловичу, с пустяков, поинтересовалась, кто секретарь сельсовета и где он сейчас. Кузьма Михайлович сказал, что с казенными бумагами он справляется сам. Рубакина отрывисто засмеялась и поднялась со скамейки.

— А в лавке вашей кто ж управляется?

— Свертываем это дело,— безразличным голосом ответил Ходукин.

— Кооперации мешает?

— На то она и казна.

— Конечно! Ну, а как действуют у вас члены бывшего комбеда?

— Не прижился он тут,— пасмурно сообщил Кузьма Михайлович, а Рубакина снова засмеялась и вдруг предложила:

— Вот что. Давайте-ка пройдем к вам на паровую мельницу. Она работает сейчас?

— Безветрие третий день, вот она и... — сказал Кузьма Михайлович, но продолжать не стал.

Они молча вышли на выгон. Не останавливаясь, Рубакина долго и недоуменно вглядывалась в церковь — запорошенный снегом купол ее был почти невидим, отчего темный крест казался повисшим в небе.

— Вы по-прежнему и ктитором здесь? — будто без интереса спросила Рубакина.

— Дело мирское, не мое, — неохотно отозвался Кузьма Михайлович, и тогда Рубакина задала последний и главный для него вопрос, словно разгадала его испуг и мысли:

— А где вы похоронили комиссара Верхоланцева?

Первое, что ощутил Ходукин, — это щекочущее тепло вялой старческой струи, побежавшей по левой ноге в ступню валенка. Все его тело безвольно опустилось и обмякло, и, слыша бесконечно долгое чурюканье струи, не пытаясь помочь себе, он ответил безголосо:

— Они все вместях тут... в одной яме.

Он не понял, что сказала тогда Рубакина, потому что слова ее не достигали его потрясенного сознания: она круто свернула с дороги и пошла к верхнему краю выгона, торя своими звериными сапогами прямую тропу в неглубоком снегу. И стоило ей пройти еще десяток шагов вперед, как весь этот белый зимний ужас, горячей волной захлестнувший Кузьму Михайловича, вырвался бы у него облегчающим душу криком:

— Не надо туда! Чего я там не видал!

Но этого не случилось. Рубакина так же внезапно вернулась на прежнюю дорогу, и братская могила продотрядцев осталась в стороне.

Кузьма Михайлович тяжело переставлял ноги — к промокшему валенку накрепко прилипал снег. Вслушиваясь в его отрывистое дыхание и веские хромкие шаги, Рубакина продрогло поежилась в дохе и, обернувшись, приказала:

— Идите рядом или впереди. Меня однажды зимой уже сопровождал так колчаковец!

На мельнице было завозно. В открытые двери машинного отделения на выгон выбивался чад и грохот. Измазанный копотью и мазутом у приводных маховиков с неиссякшим мальчишеским задором суетился Тишка.

— Ты кто?— с порога окликнула его Рубакина.

— А ты нешто не видишь?— с веселой обидой издали спросил Тишка.

— Вижу, что ты не очень почитаешь хозяина,— сказала Рубакина,— фамилия твоя как?

— Ну, допустим, Суровец.

— Это твоего отца расстреляли белые?

— Не. Его удушили,— уточнил Тишка.

— Дурак! — гневно сказала Рубакина, а Кузьма Михайлович взглянул на нее с неосознанной надеждой.— Кончай свое дело и к семи часам приходи в сельсовет на собрание. Понял?

В ту ночь, неожиданно для себя и для всех, Тишка и сменил Ходукина на посту председателя. Как диковинная забава малому, как двухрядная гармонь в воскресенье небогатому жениху прихлась ему сельсоветская печать. С неделю он лепил ею по два и по три густых чернильных оттиска на повестках мужикам, назначенным в суточное дежурство по сельсовету, но те являлись и по словесному наказу, и постепенно Тишка начал верить в то, что он председатель взаправду.

Тогда стояла непутевая зима. С утра тридцатиградусный мороз сменялся под вечер туманной отлыжкой и снегопадом, а утром вновь огнисто сверкала стужа. Вблизи и издали Шелковка казалась ненастоящей, не собой. Все в ней — деревья и плетни, крыши и стены, соломенные ометы и кизяковые скирды, овраги и взлобки — окуталось серебряной ризой большого инея, и село утратило свой облик и краски, свои запахи и звуки.

В один из таких дней, на зорьке, первым в селе раскулачили Кузьму Михайловича. В хату к бывшему своему хозяину по мельнице ходил один Тишка, пятеро членов ударной бригады застенчиво топтались во дворе, теснимые ярым кобелем на длинной привязи. В хате Тишка оставался недолго и вышел оттуда красный не то от стыда, не то от обиды, пряча в карман штанов завернутую в тряпочку печать. Следом за ним молчаливо и грузно шел Кузьма Михайлович. Он вывел из конюшни жеребца и, ни на кого не глядя, передавая Тишке повод уздечки, сказал одному ему:

— Запомнил, что я говорил? Брось это дело и ходи работай. С вечера и пушай паровик... Дур-рила!

У крыльца сельсовета Тишку и его бригаду встретила Рубакина. Видно, она долго оставалась на холоде: в снегу

была плотно вытоптана круговинка, звездно расходящаяся в стороны четырьмя узкими тропками. Через воротник, закрывший лицо, Рубакина недоуменно помигала на Тишку опущенными инеем ресницами и спросила удивленно, шепотом:

— Что это такое?

— Это будет жеребец, — смущенно сказал Тишка, по-своему поняв то, о чем его спрашивали. — Племенник.

— О! — вырвалось у Рубакиной, будто оступилась она, а Тишка вдруг сообщил повинно:

— Расписку Ходукин потребовал...

— Ты дал? — в тон ему спросила Рубакина.

— Дал, — сказал Тишка, и тогда Рубакина пошла к нему стремительно и невесомо, судорожно сжимая и расправляя пальцы рук. Тишка смотрел на нее удивленно-ожидаяще, и в эту минуту она впервые увидела всего его сразу — небольшой рост, по-детски тонкую шею, усыпанную пупырышками озноба, наивно припухлый рот, веселый с ямочкой подбородок. Коротенькая, задубевшая на морозе Тишкина фуфайка источала какой-то пронзительный запах железа и керосина; кепочка, с пуговкой на макушке, чудом висела на его затылке, обнажая лоб без единой морщинки и пунцовые, набухшие холодом уши. Все это Рубакина видела в нем одновременно и в то же время порознь и, остановившись в шаге от Тишки, проговорила потухшим голосом:

— Горе ты, а не председатель! Воротник-то хоть отверни...

Дораскулачивали Кузьму Михайловича вечером. Он наступил безветренный, задумчиво-кроткий и мягкий, и снег посыпался неожиданно, густой и теплый, как заячий пух. У ходукинских ворот ударную бригаду настиг оголтело-страстный петушинный запев, разом, как по команде, выметнувшийся из всех шелковских дворов. Шедший рядом с Рубакиной Тишка украдкой взглянул на нее и, поперхнувшись внезапной веселостью, сказал:

— Вот же черти!

— В чем дело? — не поняла Рубакина.

— Да кочеты... Ни в одном селе нетути таких, как у нас!

Боком, сострадательно глядя на Тишку, Рубакина первой ступила в калитку ходукинского двора, оттого и не видела молчаливо метнувшегося к ней кобеля, спущенного с цепи. В прыжке кобель ударил ее в плечо ши-

рокой, как у теленка, грудью, холостым капканом сомкнул челюсти в воздухе — не рассчитал, куда метил. Рубакина упала в сугроб женственно-неловко, навзничь. Кобель проскочил над ней, перевернулся у ног Тишки через голову, но Рубакиной не достиг,— Тишка швырнул в него своей кепочкой. Как муху в зной, кобель на лету поймал ее и брезгливо мотнул головой, но кепочка застряла в клыках, как приклеенная. С удавным клекотом кобель принялся разрывать ее, а Рубакина, сидя уже, трижды выстрелила в него неторопливо, сухо-отчетливо.

Издыхал кобель долго. Ластясь длинным бурым телом к земле, не выпуская пастью Тишкину кепочку, он пополз к крыльцу хаты, натужно и чуть слышно скуля, трудно влача толстое полено неподвижного хвоста. Белая борозда снега, проложенная им, густо метилась извилистой красной строчкой, тут же припорошиваемой снегом, будто она линяла на глазах. На середине двора кобель уложил на лапы лобастую голову и затих. Только тогда Рубакина пружинисто поднялась на ноги и проговорила со злой обидой:

— Это же собака! А сразу мне показалось...

Она не сказала, что ей показалось, и засмеялась неестественно, отрывисто. Тишка опасливо пошел к кобелю с намерением выручить свою кепочку, но Рубакина крикнула негодуяще, звонко:

— Оставь ее! Что еще за глупость? Идите ближе, все!

Не пряча маленького черного браунинга и не сводя глаз с квадратного окна хаты, где смутно различалось большое бледное лицо Кузьмы Михайловича, Рубакина на крике объяснила Тишке и его бригаде, зачем они сюда пришли:

— Все, что есть — сюда, во двор! Печеный хлеб — тоже. Свезить нынче же в его бывшую лавку. Двери и окна хаты утром заколотить! Ну? Слышали!

Видно, слышал о том и Кузьма Михайлович, потому что на протяжении трех часов, пока бригада оголяла хату, чулан, амбар и пуньку, он неподвижно просидел на лавке в святом углу, тяжело обняв тихонько всхлипывающую жену смуглой волосатой рукой. И лишь когда все было кончено и в хате остались одни иконы, он неспоро вышел во двор, догнал Тишку. Устремив застуженный взгляд на его непокрытую голову, спросил, как о милостыне:

— Тихон Игнатьевич... А мне с женой... куда ж завтра деваться, а?

Щурясь будто от соринки под веками, уводя глаза в сторону, Тишка торопливо сказал:

— Не знаю. Живите пока где-нибудь так.

21

За неполный месяц страды собраний, раскулачивания и коллективизации полсотни зажиточных дворов в Шелковке, по определению мужиков победнее, как Фома метелкой смел. Было тогда у людей, как и исстари, всего поровну — и слез, и смеха, но со стороны Шелковка выглядела празднично — никто ничего не делал по хозяйству, а ели сытно и много, валя под нож всяческую домашнюю живность. С утра и до ночи по селу крадучись растекались голубовато-сизые дымки, застенчиво выползавшие из сеней и приклетей вперемежку с веселым душком солода и хмеля. У ворот, под навесами уличных амбаров, возле стен недоделанных срубов с рассвета и до темна табунились хороводы, разнородно вызванивали балалайки, и под их певучую истому слаженным скороговором горячо «страдали» девки:

На дворе стоит туман,
Сушится пеленка.
Вся любовь твоя обман,
Окромя ребенка!

И сразу же крепнущими басами парни искренне звали подруг забыть проклятое прошлое:

Эх, давай, милка, пострадаем
На сололке д под сараем!..

Хотя и ненадолго, но веселье всегда стихало, если поблизости нечаянно появлялся Тишка, с каждым днем все больше и уверенней входивший во власть и силу. Не без помощи Рубакиной он приоделся — носил теперь зеленую фуражку со стоячим верхом и защитного цвета френч и галифе. Пуговицы на груди Тишка не застегивал, пряча зачем-то под полый френча правую руку. Все в нем оставалось прежним, тем, что было, когда он чинил ведра и подойники, — манера разговаривать, походка, жесты, выражение глаз и размет бровей, — но теперь все это стало в нем для других осанкой; коротышка имя,

звучавшее полупрозвищем, растянулось в почтительное Тихон Игнатьевич, и вся его прежняя жизнь с побирушкой матерью многим казалась уже почти загадочной и чуточку чужой, непохожей на то, чем она была на самом деле.

Было удивительным то, что и сам Тишка, ничего не потерявший и не прибавивший к тому, что имел раньше, постепенно проникался невольным и пока еще робким уважением к собственной личности. Словоохотливый и общительный, он старался теперь говорить поменьше и реже — это, оказывается, сильнее любых слов действовало на тех, перед кем он молчал.

Но все же природная честность и непоседливость Тишки не позволили ему до конца довольствоваться тем, что как бы авансом давала должность, — он хотел действовать сам. И на святой неделе, когда Рубакина отлучилась с отчетом в обком, Тишка во главе своих сельсоветчиков за одну ночь выпилил восемь звеньев церковной изгороди и установил ее вокруг братской могилы продотрядцев.

Наутро весть о разоре церковного ограждения разнеслась по селу, и на выгон потянулись бабы и старики с нетайным замыслом водворить ограду на прежнее место. В разгар бабьих споров — кому первой братья за работу — к могиле подъехал на бывших кулацких дрожках Тишка. Сняв фуражку, он медленно обошел вокруг могилы и спросил собравшихся торжественно-строгим, всех разом:

— Ну как, граждане? Здорово получилось?

Спросил и стал пристально оглядывать сельчан, немело суровя брови и не вынимая правой руки из-за пазухи. Первой не перенесла его молчания и взгляда Пелагея Ястребова, ближе всех протиснувшаяся к ограде. Смахнув ладонью с усохших губ невидимую паутину, она кротко сказала за всех:

— Да вроде ничего, Тихон Игнатьевич... Решетка, она ить железная, долго простоит...

— Погодите, завтра тут не то еще будет! — сказал Тишка, и к утру следующего дня в центре могилы возвышалась, закрепленная четырьмя проволочными разводами, огромная труба с бывшего ходукинского паровика.

Рубакина тоже потом ходила к могиле, и на тревожно-немой вопрос Тишки: «Как?» — ответила раздумчиво-загадочно:

— Что ж, вообще говоря, это символично! Растешь, значит!..

Без хозяйских рук и глаза постепенно захирел ястребовский двор. Что-то в нем появилось схожее с человеком, который не в силах уже ни крикнуть, ни позвать, ни помочь другому. Двор по-прежнему был обнесен каменной стеной, но по ее верху цепко разрослись полынь и чернобыльник — бесприютные жильцы пустырей и оврагов. Лебеда и крапива подступили к самому крыльцу хаты, и даже на ее крыше свистел под ветром чудом проросший там овсюг.

За три года после смерти Матвея Егоровича Пелагея ни разу не платила налог, запихивая обкладные листы за божницу — дескать, бог с ними. И уже после того, как она отказалась записаться в колхоз — тоже бог с ним! — за недоимку со двора свели мерина и корову. Через неделю мерин пришел домой — без обрати, весь в репьях и колючках, — пробирался, видно, откуда-то обочинами дорог да задворками.

По обочинам же дорог и троп черти надолго уносили Пелагею в дальние богомольные места. Она уже изредка теперь появлялась дома, навьюченная котомками, с ореховым посохом в руках, в растоптанных лаптях и холщовых онучах. Приходила она всегда одинаково, в сумерках, и долго отбивала поклоны у порога хаты, как чужая нищенка.

Всегда одинаково, стоя на середине хаты, встречал Пелагею Алешка.

— Пришла? — выждав, когда она полностью управится с обрядом возвращения, спрашивал он насмешливо.

— Со Христом, со господом... — блаженно бубнила Пелагея.

Неторопливо-мечтательно, как о недостижимо хорошем и ему нужном, Алешка говорил:

— Взять бы дрючок, да заголить на тебе исподницу, да как надавать, чтоб аж подплыла ты... Побирušкой исделалась! Кабы жил дедушка, он бы тебе показа-ал! Вон на загнетке картохи остались. Садись ешь.

На этом обычно и кончались их разговоры — Пелагея не любила и побаивалась Алешку за непутевые и «черные» слова, оставшиеся ему от деда. Они уже давно жили поделаясь: Пелагея в чулане, а он во всей остальной хате. И питались они тоже порознь: она «чем бог пошлет», а Алешка — что найдет сам себе.

Уже давно на вершок, а может, и больше отодвинулась от Алешкиного сердца боль утраты деда — рано или поздно, но на живом теле все равно зарубцовывается любой шрам. Эту первую метину судьбы Алешка носил тайно, и с каждым днем жизнь сурово-заботливо перетряхивала его узелок с житейским добром, накопленный с дедом, заменяя в нем прежнее невесомое все новыми и новыми нелегкими сокровищами. Он уже не умел плакать, раз поблизости не было человека, который бы заметил его слезы, и потому они сами не хотели капать. Но тогда непременно появлялось чувство неосознанной обиды на кого-то, рядом с которой чутко жили настороженность и упрямство. Раз не было деда, то он должен делать все сам, и он умел плести себе лапти и вить путы для мерина, украдкой стирать на речке портки и варить щи. Он многое узнал и запомнил без деда, и все было бы терпимо, коли б не соломенного отлива спутанно-курчавая волосня. Тут самому никак нельзя было справиться, потому что росла она с непостижимой быстротой в любое время года, нависая надо лбом и глазами, завиваясь над ушами и шеей. Каждые три-четыре недели Алешка ходил на «тот конец» села к дедову куму и просил его смущенно и невесело:

— Может, постриг бы опять, дядь Федор?

Стриглись большими овечьими ножницами под гребенку, рядами, и старик не переставал удивляться:

— Ну, малый, и виски ж у тебя! Как жесть. Видать, лютоват норовом будешь.. А вошей морить надо знаешь чем? Щелоккой от гречишной золы. Враздохнут, одни опойки остаются...

И все же никакое лихо не приживалось надолго рядом с Алешкой — тому мешала его неукротимая страсть к выдумыванию смешных и грустных, а порой и небезобидных забав и радостей, выбор которых ему никто не запрещал. Видно, тут многое шло у него от веселого характера отца-матроса: Алешке всегда хотелось вовлечь в свою ребячью затею взрослых неласковых людей. Возможно, за неуспеваемость по арифметике, а может быть, за одёжу и волосы, только учитель так и не обернулся к нему сердцем, и Алешка подстерег его как-то осенним вечером на приречной тропе и шугнул из зарослей под ноги длинной и толстой, кроваво-огненной гремющей струей. Шугнуть можно было вторично — спичка не потухла в руке, и керосин еще оставался во рту, но Василь Палыч по-молодому

ударился в бег, выкрикивая что-то тоненько и призывно. Кроме затаенного смеха на всю зиму, Алешка вынес из этой причуды и другое: он перестал бояться учителя, и дела его по арифметике пошли успешней.

Но настоящей, а не нарочно придуманной, ручной и радостной потехой для Алешки по-прежнему оставался мерин. От старости и постоянной Алешкиной ласки он ел все, что елось: сырую и печеную картошку, вчерашние и нынешние щи, пареную тыкву, пшенный кулеш. Но больше всего — в зимние месяцы — он держался на соломе: Алешка рубил застарелую сторновку топором, поливал резку теплой подсоленной водой — и ничего, сходило.

В то лето, после побега от финансовых властей, мерин не дневал и не ночевал дома, пасясь на привязи за Любачом в ольшанике и вербаче. Трижды в день Алешка украдкой приносил ему ведро воды из речки, и каждый раз, слышав шаги его, мерин настораживался и приглушенно всхрапывал — дичал, видно.

— Не пужайся, это я! — окликал его Алешка. — Про тебя там, может, давно позабыли...

Что-то новое, как бы жалостливое, появилось тогда в отношениях Пелагеи к Алешке. Уже несколько недель она не отлучалась на богомолье, была задумчиво-сосредоточена и работающа, и они вдвоем пропололи огород, побелили хату. «Остепенилась, блаженная!» — решил Алешка, но перед жнитвой Пелагея неожиданно объявила ему:

— Ну, вот что, детка. Я пойду, пока на дворе негоды нетути. Насовсем, может, теперь.

— Куда? — укоряюще и тревожно спросил Алешка.

— Пройдусь сначала в Киев, святым угодникам поклонюсь, а там куда бог позовет... Прощевай. Не яришь с людьми, гордыню свою в словах и деяниях смирай... — и заголосила, как тогда на похоронах.

Эта осень протянулась для Алешки годом. По его расчетам уже должна бы наступить зима, но из-за клуни, со стороны Курска, все вставали и вставали теплые погожие зори, и было не до маетной школы, когда дни щедро одаривали его какой-то бескорыстной и безмолвной добротой: в садах и на огородах все было спелым и доступным. Он раньше других выкопал и снес в чулан свою картошку, с колхозного поля тайком натаскал в погреб

тыкв и бураков — «прокормимся!». Почти ежедневно, в обед, он разжигал в лозняке на берегу Любача костер. Под ним в неглубокой ямке, обложенной капустными листьями, хорошо и незаметно пеклась курятина, чаще всего цыплята, забредшие из села в приречные конопляники.

Как-то сидя у костра, он услышал размеренные водяные всплески, будто кто-то нехотя пытался выбраться из реки на берег. Притишив горстью песка костер, Алешка раздвинул прутья краснотала и увидел Ходукина. В засученных портках Кузьма Михайлович грузно возился с кошель у куста рогозы, то затопляя, то опрокидывая кошель на берег. Путаясь в зеленых прядях илистой тины, он неумело и нескоро захватывал пальцами вертких пескарей и прятал их куда-то под широкую темно-гнедую бороду, клал, видно, за пазуху. Он весь был мокрый, давно, видать, не мытый и не чесанный, и в его согбенной фигуре Алешка улавливал что-то удивительно похожее на своего деда — то ли напряженный наклон головы, то ли крутой изгиб спины, то ли просто старость. Привстав от костра, он негромко позвал:

— Дед Ходукин, а дед Ходукин!

Не разгибая спины, Кузьма Михайлович обернулся и охрипшим голосом отозвался:

— Ну?

— Ходи-ка сюда,— еще тише сказал Алешка и попятился в кусты.

— Зачем? Что я тебе, ровесник?

— Иди, дед Ходукин... Тут... знаешь чего? Тут куренок зараз поспеет...

И Кузьма Михайлович пошел. Он устало опустился у костра, равнодушно отнесся к появлению из-под углей печеного цыпленка, и на вопрос Алешки, что ему больше хочется — крыло или гузку, бесстрастно ответил:

— Все одно.

Они разместились поодаль друг от друга, и Алешка снова попытался увидеть в Кузьме Михайловиче то, дедово, но оно исчезло теперь полностью: Ходукин сидел прямо, неподвижно и ел как-то невкусно, неряшливо и лениво. Он не узнал Алешку и спросил, чей он будет.

— Я... свой,— невнятной скороговоркой ответил Алешка.— А ты, дед Ходукин, зазря так гольцов ловишь. Ты сперва побольше размути воду, а потом поглубже черпай кошель. Тогда они...

— Ты, случаем, не примак ли покойного Матвея?—

перебил Кузьма Михайлович, и когда Алешка растерянно и недоуменно взглянул на него, спросил опять:— Что ж ты, один живешь? Хозяйка-то в святые места, кажись, ушла?

— Ушла,— сказал Алешка.

— Ну, а чем же ты пробиваешься? Писклят-то чужих небось жаришь? — допытывался Кузьма Михайлович.

— Тут их много,— не сразу проговорил Алешка и, зажмурясь, стал зачем-то раздувать притухающие угли костра. Убежденно и горько-раздумчиво Ходукин тогда сказал:

— Теперь это не оказия. Все на воровстве да разбое держится!.. Вот и меня... всего разорили, все разнесли такие ж вот чужаки да приبلуды! В землянке живу... Думалось ли?!

Он перестал жевать и бессмысленно уставился в су-темень дальних кустов, кинув на колени большие серые кулаки. Виновато и старательно Алешка зарыл в пепел до-чиста обглоданные цыплячьи кости, вытер рукавом липкие губы и поднялся на ноги. То, что постоянно испытывал он у своих костров — вольную радость немеркнущему дню,— сменилось теперь стыдом и тревогой, и, весь подтянувшись, он спросил полусшепотом:

— А чужак... кто бывает?

Ходукин не ответил, занятый своими думами, и, будто крапивой не в своем саду, Алешка обжегся обидой и смутным подозрением, что он взаправду, может, только матросов, а не дедов? Как с горы на салазках, когда в груди накрепко западет дыхание, он мысленно промчался через свои годы, и перед его расширенными глазами, как живой, внезапно и строго встал образ деда — в белой рубахе встал, в картузе. Отступив за раздерганный куст ивняка, смутно различая расплывчатую фигуру Ходукина, Алешка крикнул с гневом и вызовом:

— Ты, матери твоей кляп, не бреши про меня да про дедушку! Это ты сам, может, чужак! Черт!..

Кузьма Михайлович пугающе тупо поглядел на Алешку и ничего не сказал. Ушел он как-то странно: согнувшись, неся перед собой порожние руки,— кошель остался у костра.

А на второй день жизнь снова — и уже в последний раз — свела Алешку с Кузьмой Михайловичем. На зоревом коровьем реву кто-то из шелковцев, пойдя по воду, издали, с горы еще, заметил висевший на стояке колодезного журавля мешок не мешок, но что-то на то похожее. Через полчаса все село было на ногах — удавленника

нашли! Кузьма Михайлович не висел, а упирался коленями в землю, обхватив руками дубовый стояк и, видать, в рывке, как при ударе, откинув в сторону голову. От сизой, набухшей смертным холодом и мукой шеи его к стояку невидимо протягивалась тонкая ременная супонь. И не эта страшная смерть односельчанина была дивом для шелковцев, а то, отчего выбрал он для встречи с нею такое непотребное место. Стало быть, жил человек с крутой злобой к миру, раз на всем виду его пожелал срам принять...

24

Уже вечером этого дня Алешка понял, что зря ходил глядеть на Ходукина, — с подогнутыми ногами, с тем же самым ременным удавчиком на шее поселился тот в потемках святого угла хаты, и несколько ночей Алешка провел в закуте. На ощупь отыскивая в пахучей тьме теплую морду мерина, он с ходу прижимался к нему телом и лишь после этого заговаривал спокойным баском рачительного хозяина:

— Ну, как ты тут? Жив-здоров? Пришел проведать тебя... Не спится, хоть тресни. И керосину нетути, чтоб свет зажечь...

Зима тогда запаздывала, снег выпал на рождество, и перед тем как собраться в школу, Алешка пошел постричься. Со звоном отхватывая на его затылке выгоревшие завитушки волос, дедов кум безразлично спросил, что у него хорошего.

— А все, — сказал Алешка. — Мерин когда уже пришел, а тетки Пелагеи нетути пока... — и вдруг пропавшим голосом добавил: — Дрожнются вот только... чужаком, а после приبلудом.

Алешка утаил, от кого услышал эти слова. Вобрав голову в плечи, он ждал подтверждения своего ответа Ходукину у костра, и дедов кум сначала рассмеялся чему-то, а потом посоветовал:

— А ты скажи: какой бы, мол, бычок ни прыгал, а теленочек наш!

Локтем отстранив от себя ножницы, Алешка крикнул шепотом:

— Чей?!

— Как «чей»? — весело удивился старик. — Ну, свой, стало быть... Отец-то твой кто? Нешто не знаешь?

— Знаю. Матрос... дедушкин!

— Да не-е! Он у тебя сам по себе был. А у кума Матвея ты вроде примак...

Все, что до этого времени окружало в селе Алешку, что было там живым или мертвым, близким или далеким, понятным или тайным, все это виделось им с бессловесным, но чутко ревнивым чувством родства и близости, потому что в нем уже жило безотчетное сознание своей кровной связи со всем этим, им пока еще не обжитым миром. И хотя по временам ему приходилось до крика холодно в нем, но ведь после смерти деда и в их хате каждую зиму мерзла вода в кружке, а хата все не становилась оттого чужой. Она была дедушкина и его, Алешкина, а значит, своя, как и все тут в Шелковке...

От дедова кума он возвращался по-над речкой. В вечерних сумерках свежий снег был иссиня-голубым, и пахло от него капустными листьями, и хрустел он по-капустному — сочно и звонко. За всю дорогу Алешка ни раз не поднял глаз на село. В своем саду у перелаза он подождал, пока чья-то баба прошла с ведрами, и бегом пересек улицу. С радостно-просящим нытьем во дворе кинулся к нему Полкан, а из закуты мерин подал окрепший на морозе голос — есть просил.

Примак...

Не заходя в хату, Алешка прошел на огород. Припорошенная снегом крыша клуни зияла в одном месте темным косым провалом, это там, где Алешка вот уже третью зиму выбирал из крыши сторновки на топку и резку. Взобравшись на оголенные скользкие решетины, он ощутил давний сладкий дух сенной трухи, слежавшейся по углам клуни. Тогда, в последний свой раз, дедушка накосил в Бешеной лощине целых три воза сена... А мерин взял и слопал у кума Федора всю дочиста картошку на сметане...

Примак?

А зачем же дедушка говорил тогда, что матрос совсем-совсем был похож на него, только куда, сказал статнее? И крест на его могиле поставил...

Подспудные снопы крыши были сухие, туго стянутые перевяслами, и Алешка вспомнил, как сложили они когда-то с дедом кособокий одонок. Дедушка еще сказал тогда: пушай поглядит сват Кузьма! Это было незадолго до... копаня. А сколько сливросло в ихнем саду? Прорва! Дедушка пять полных возов отправил в Курск... «Мне, что ли, они нужны?» Это он сказал про деньги. Они, наверно, так и лежат за иконами...

В хате уже накопилась стылая и по-ночному звучная темнота. Не глядя в святой угол, Алешка с нарочным шумом свалил у грубки сторновку, трепетно нащупал на лежанке коробку и, с огузка запихнув сноп в топку, сразу тремя спичками поджег его курчавые, облегченно шуршащие колосья. В призрачном красновато-дымном свете он и обыскал божницу,— ему хотелось теперь же ощутить и увидеть то, что дедушка готовил и берег ему — одному только ему.

Но божница оказалась пустой. Там ничего не было, кроме пыльных мотков паутины с застрявшими в них сухими мухами, и только на средней большой иконе лежала какая-то пожелтевшая бумажка, свернутая порошковым пакетиком. «Блажная унесла! А может... да нет, он все прятал сюда. Блажная... Но все равно дедушка берег это мне!..» Он зарядил грубку новым снопом сторновки и, когда пламя охватило его, развернул пакетик — половину тетрадного листа, исписанного выцветшими большими буквами. Это было «свидетельство тому, что гражданин Ястребов Алексей рожден в Красной Армии в 1919 году 16 числа июня» и что «отец его Ястребов Алексей Матвеевич и мать Ястребова Екатерина сгибли от белых в том же году в селе Шелковке, Обоянского уезда, Курской губернии...»

Он не раздевался и не ложился спать. Трижды за ночь он ходил еще за сторновкой, а в промежутках цепенел у огня,— сердце набухало каким-то мучительно-неизъяснимым горем и обидой. Дед всю ночь стоял с ним рядом и за всю ночь не мог ответить: почему же он, Алешка, примак?..

Уже перед зарей он напек картошки, чисто подмел жарко натопленную хату и покрыл стол суровым настольником — «Может, когда-нибудь блажная явится». Потом слазил в погреб и набрал в полу пиджака несколько бураков. Мерин, видно, так и простоял всю ночь у дверей, ждал.

— Ну, как ты тут?— по привычке спросил Алешка, но не сладя с тем, что всю ночь накапливалось в его сердце, не зная своему чувству ни границ, ни имени, заплакал в голос, выронив бураки.— Вот... прощевай. А я ухожу зараз... в Курск пойду, к своей армии. Брежут тут все про нас с дедушкой... Брежут!..

Напрягаясь, дрожа и приседая, мерин пытался разгрызть бураки. «Надо б нарезать ему,— подумал Алешка,— зубы-то небось чуть живы...» Он пошел за

ножиком, но с полдороги вернулся и обратал мерина.

— Иди в колхоз лучше. С кем же ты тут останешься...

К колхозной конюшне они добрались по огородам. Было еще рано и тихо: из труб безмолвных хат кое-где лишь тянулись в рассветное небо витые столбы дымов. У конюшни Алешка привязал мерина и расправил у него между ушей подбитую проседью челку. Мерин кивал головой и хлюпал губами, зовя Алешкины руки. Видно, с голоду и потому, что в снегу тонули щиколотки ног, он казался маленьким, жалким, и только глаза его оставались прежними — круглыми, лиловыми, с дотлевающей в них тихой стариковской печалью.

— Прощевай! — шепотом сказал Алешка и быстро пошел через сугроб, чтоб поскорее достичь угла конюшни.

А на опустевшем дворе его ждал Полкан.

— Пошли вместе,— сказал Алешка и потянул его за ухо. Полкан упрямо попятился назад, покойно лег на бок, притворно смежив глаза. Тогда Алешка попробовал надеть ему на шею веревочный калачик, но кобель оскалился и зарычал.— Не хочешь, матери твоей кляп?— крикнул Алешка.— Пошли! Ну!

Но Полкан сжимался в комок, сипло кряхтел под ударами и не двигался с места.

Потом, годами позже, Алешка понял, что в жизни нельзя уйти куда-нибудь всему разом, потому что тогда не с чем будет жить памяти. Видно, поэтому позади у него остался грустный неуют двора и дряхлый бродяга мерин, заглохший сад и таинственная Бешеная лощина, горячий лепет Любача и пасмурное затишье Устиньина лога, жуткое Уручье и манящие костры стойла, лютая оскомина от украденных яблок и липовый дух скошенных лугов. Все — все это, пополам с живой памятью о деде, осталось там, где ему и положено быть, и, причудливо — тесно вместившись в Алешкино сердце, навсегда стало для него тем, что люди извечно называют любовью к Родине.

КРИК

Уже несколько дней я командовал взводом, нося по одному кубарю в петлицах. Я ходил и косил глазами на малиновые концы воротника своей шинели, и у меня не было сил отделаться от мысли, что я лейтенант. Встречая бойца из чужого взвода, я шагов за десять от него готовил правую руку для ответного приветствия, и, если он почему-либо не козырял мне, я окликал его радостно-гневным: «Вы что, товарищ боец, не видите?» Обычно красноармеец становился по команде «смирно» и отвечал чуть-чуть иронически: «Не заметил вас, товарищ лейтенант!» Никто из них не говорил при этом «младший лейтенант», и это делало меня их тайным другом.

Наш батальон направлялся тогда на фронт в район Волоколамска. Мы шли пешим порядком от Мытищ и на каждом привале рыли окопы. Сначала это были настоящие окопы,— мы думали, что тут, под самой Москвой, и останемся, но потом бесполезный труд осточертел всем, кроме командира батальона майора Калача. Он был маленький и кривоногий и, наверное, поэтому носил непомерно длинную шинель. Мой помощник старший сержант Васюков назвал его на одном из привалов «бубликом». Взводу это понравилось, а майору нет,— кто-то был у нас стукачом. После этого Калач каждый раз лично проверял качество окопа, отрытого моим взводом. У всех у нас — я тоже рыл — на ладонях вспухли кровавые мозоли: земля была мерзлой — стоял ноябрь.

На шестой день своего землеройного марша мы вступили в большое село. Было уже под вечер, и мы долго стояли на улице — Калач с командирами рот сверял местность с картой. Весь день тогда падал редкий и теплый снег. Может, оттого, что мы шли, снежинки не прилипали к нашим шинелям, и только у майора — он ехал верхом — на плечах лежали белые пушистые эполеты. Он так осторожно спешил, что было видно — ему не хотелось отряхивать с себя снег.

— Гляди-ка, товарищ лейтенант! Бублик наш подрост! Это сказал мне Васюков на ухо, и мне не удалось справиться с каким-то дурацким бездумным смехом. Майор оглянулся, посмотрел на меня и что-то сказал моему командиру роты. Я слышал, как тот ответил: «Никак нет!»

Село стояло ликом на запад, и мы начали окапываться метрах в двухстах впереди него, почти на самом берегу ручья. Воды в нем было по колено, и она казалась почему-то коричневой. Моему взводу достался глинистый пригорок на правом фланге в конце села. Дуло тут со всех сторон, и мы завидовали тем, кто окапывался в низинке слева.

— Застынем за ночь на этом чертовом пупке,— сказал Васюков.— Может, спикировать в хаты за чем-нибудь?

Я промолчал, и он побежал в село. У него была плоская стеклянная фляга с длинным узким горлом, оплетенная лыком. Он носил ее на брючном ремне, и она не выпирала из-под шинели. Васюков называл ее «писанкой».

Я ждал его часа полтора. За это время на нашем чертовом «пупке» побывали Калач и командир роты.

— Окоп отрыть в полный профиль,— распорядился Калач.— Отсюда мы уже не уйдем.

Когда они ушли, я спустился к ручью. Он озябло чурюкал в кустах краснотала. За ним ничего не виделось и не слышалось. Мне не верилось, что мы не уйдем отсюда.

Васюков ожидал меня, сидя на краю полуотрытого окопа.

— Не достал,— шепотом сообщил он.— Шинель хотят...

— За сколько? — спросил я.

— За пару литров первача... Жителей совсем мало. Ушли.

— А за что сам тяпнул? — поинтересовался я.

— Да не-е, это я пареных бураков порубал,— сказал он.

Лишних шинелей у нас еще не было. А Васюков все же выпил,— я с самых Мытищ знал, чем отдает самогон из сахарной свеклы.

— Между прочим, тут есть валяльня,— сказал он.— Полный амбар набит валенками. И никого, кроме кладовщицы... Бабец, между прочим, под твой, товарищ лейтенант, рост, а под мою...

— Давай-ка рыть,— предложил я.— Отсюда мы, между прочим, не уйдем, понял?

Становилось совсем темно, но мы продолжали работать и ругаться,— ветер дул с запада и забивал глаза землей и снегом.

— Если на самом деле тут засядем, то не худо бы первыми захватить валенки, а? — сказал Васюков. От него хорошо все-таки пахло. Закусывал он, видать, не бураками. Он был прав насчет валенок. Хотя бы несколько пар. Почему не попытаться?

— Давай сходим,— сказал я.

Село как вымерло. Нигде ни огонька, ни звука — даже собаки не брехали. Мы миновали сторонкой школу, где разместился на ночь штаб батальона, потом завернули в темный двор, и там я минут десять ждал Васюкова. Из хаты он выходил шагом балерины, но сначала я увидел белую чашку, а затем уже его протянутые руки.

— Держи,— таинственно сказал он, и, пока я пил самогона, он не дышал и вырастал на моих глазах — приподнимался на цыпочки.

После этого мы выбрались на огороды села. У приземистого деревянного амбара Васюков остановился и постучал ногой в дверь.

— Ктой-то? — песенно отозвался в амбаре чуть слышный голос.

— Мы,— сказал Васюков.

— А кто?

— Командиры,— сказал я.

Амбар и на самом деле был забит валенками. Они ворохами лежали по углам и подпрыгивали — мигала «летучая мышь», стоявшая у дверей на полу. Я приподнял фонарь и увидел у притолоки девушку в черной стеганке, в большой черной шали, в серых валенках. Она держала в руках железный засов.

В жизни своей я не видел такого дива, как она! Да разве об этом расскажешь словами? Просто она не настоящая была, а нарисованная — вот и все!..

— Ну, что я говорил? — сказал Васюков.

Я сделал вид, будто не понял, о чем он, и сказал:

— Забираем сейчас же!

— Все? — обрадованно спросила девушка, глядя на меня так же, как и я на нее.

— Пока тридцать две пары,— сказал Васюков.

Он подмигнул мне и побежал во взвод за бойцами, а

мы остались вдвоем. Мы долго молчали и почему-то уже не смотрели друг на друга, будто боялись чего-то, потом я спросил:

— Кладовщицей работаете тут?

Она ничего не сказала, вздохнула и поправила шаль, не выпуская из рук засова. Да! Ни до этого, ни после я не встречал такой живой красоты, как она. Никогда! И Васюков говорил правду — ростом она была почти с меня.

Я всегда был застенчив с девушкой, если хотел ей понравиться, и сразу же превращался в надутого индюка, как только оставался с нею наедине. Что-то у меня замыкалось внутри и каменело, я молчал и делал вид, что мне все безразлично. Это, наверно, оттого, что я боялся показаться смешным, неумным.

Все это навалилось на меня и теперь. Я щурил глаза, начальственно осматривал вороха валенок, стены и потолок амбара. Руки я держал за спиной. И покачивался с носков на каблуки сапог, как наш Калач.

— А расписку я получу? — спросила хозяйка валенок.

Я понял, что подавил ее своим величием и кубарями, и молча кивнул.

— Ну, тогда пишите, — сказала она.

Я написал расписку в получении тридцати двух пар валенок от колхоза «Путь к социализму» и подписался крупно и четко: «Командир взвода воинской части номер такой-то м. лейтенант Воронов». Я проставил число, часы и минуты совершения этой операции. Она прочла расписку и протянула ее мне назад:

— Не дурите. Мне ж правда нужен документ!

— А что там не так? — спросил я.

— Фамилия, — сказала она. — Зачем же вы мою ставите? Не дурите...

Никогда потом я не предъявлял никому своих документов с такой горячей радостью, почти счастьем, как ей! Она долго рассматривала мое удостоверение — и больше фотокарточку, чем фамилию, — потом взглянула на меня и засмеялась, а я спросил:

— Хотите сахару?

Я достал из кармана шинели два куска рафинада и сдул с них крошки махорки.

— Берите, у меня его много, — зачем-то соврал я.

Она взяла стыдливо, покраснев, как маков цвет, и в ту же минуту в амбар ввалился Васюков с четырьмя бойца-

ми. Конечно, он пришел не вовремя: мало ли что я мог теперь сказать и, может, подарить еще кладовщице. Она стояла, отведя руку назад, пряча сахар и глядя то на вошедших, то призывно на меня, и я, ликуя за эту нашу с нею тайну на двоих, встал перед нею, загородив ее, и не своим голосом распорядился отсчитывать валенки.

Через минуту она вышла на середину амбара. Руки ее были пусты.

Васюкову не хотелось нагружаться, но связывать валенки было нечем, и каждый боец мог унести лишь шесть-семь пар.

— Давай забирай остальные, — сказал я ему.

— А может, кто-нибудь из бойцов вернется за нами? — спросил он, но, взглянув на меня, взял валенки.

— Пошли, — сказал я всем и оглянулся на кладовщицу. — А вы разве остаетесь?

— Нет... Я после пойду, — сказала она. Васюков протяжно свистнул и вышел. Я догнал его за углом амбара.

— Смотри там за всем, я скоро! — сказал я.

— Да ладно! — свирепо прошептал он. — Гляди только, не подхвати чего-нибудь в тряпочку.

Я постоял, борясь с желанием идти во взвод, чтобы как-нибудь нечаянно не потерять то хорошее и праздничное чувство, которое поселилось уже в моем сердце, но потом все же повернул назад, к амбару. Внутрь я не пошел. Я заглянул в дверь и сказал:

— Я вас провожу, хорошо?

— Так я же не одна хожу, — песенно, как в первый раз, сказала кладовщица, пряча почему-то руку за спину.

— А с кем? — спросил я.

— С фонарем.

Я не хотел, чтобы она шла с фонарем. Он был третий лишний, как Васюков, и я сказал:

— С фонарем нельзя теперь. Село на военном положении.

В темноте мы долго запирали амбар, — петля запора не налезала на какую-то скобу, и мне надо было нажимать плечом на дверь. Наши руки сталкивались и разлетались, как голуби, и, поскользнувшись, я схватился за концы ее шали. Мы оказались лицом к лицу, и я смутно увидел ее глаза — испуганные, недоуменные и любопытные. В глаз и поцеловал я ее. Она отшатнулась и прикрыла этот глаз ладонью.

— Я нечаянно. Ей-богу! — искренне сказал я. — Вам очень больно?

— Да не-ет, — протянула она шепотом. — Сейчас пройдет.

— Подождите... Дайте я сам, — едва ли понимая смысл своих слов, сказал я.

— Что? — спросила она, отняв ладонь от глаза.

Тогда я обнял ее и поцеловал в раскрытые, ползущие в сторону девичьи губы. Они были прохладные, упруго безответные, и я ощутил на своих губах клейкую пудру сахара.

Странное, волнующее и какое-то обрадованно-преданное и поощряющее чувство испытывал я в тот момент от этого сахарного вкуса ее губ. Я недоумевал, когда же она успела попробовать сахар, и было радостно, что сахар этот был моим подарком, и мне хотелось сказать ей спасибо за то, что она попробовала его украдкой... Я думал об этом, насильно целуя ее и чувствуя слабеющую силу ее рук, упершихся мне в грудь. О том, что она заплакала, я догадался по вздрагивающим плечам, — лицо ее было в моей власти, но я его не видел, и испугался, и стал умолять простить меня и гладить ее голову обеими руками.

— Я хороший! — убежденно, почти зло сказал я. — У меня никогда никого не было... Вот увидишь потом сама!

Что и как могла она увидеть потом, я до сих пор не знаю и сам, но я говорил правду, и, видно, она ее услышала, потому что перестала плакать.

— Я больше не прикаснусь к тебе пальцем! — верующе сказал я.

Она подняла ко мне лицо, держа сцепленные руки на груди, и с укором сказала:

— Хоть бы узнали сначала, как меня зовут!

— Машей, — сказал я.

— Мари-инкой, — протяжно произнесла она, а я качнулся к ней и закрыл ее рот своими губами.

Я чувствовал, что вот-вот упаду, и вдруг блаженно обессилел; я куда-то падал, летел, и мне не хватало воздуха. Я разнял свои руки и прислонился к стене амбара, а Маринка кинулась прочь.

— Подожди! — крикнул я. — Подожди минуточку!

Она вернулась, издали тронула пальцем пуговицу на моей шинели и сказала:

— Ну, что это вы? А шапка где?

Она нашла ее под ногами и протянула мне.

— Мари-и-инка,— произнес я как начальное слово песни и стал целовать ее — напряженную, трепетную, прячущую лицо мне под мышку.

— Не надо... Пожалуйста! Ну разве так можно!..

— Скажи: «Ты, Сергей»,— просил я.

— Нет,— отбивалась она.— Не буду...

— Почему?

— Я боюсь...

— Чего?

— Не знаю...

— Ты мне не веришь?

— Не знаю... Я боюсь... И, пожалуйста, не нужно больше целоваться!

— Хорошо! — отрешенно и мужественно сказал я.— Больше я к тебе пальцем не прикоснусь!

До ее дома мы дошли молча. Она поспешно и опасно скрылась за калиткой палисадника и, невидимая в черных кустах, песенно сказала:

— До свидания!

— Я приду завтра! — шепотом крикнул я.

— Нет-нет. Не надо!

— Днем приду, а потом еще вечером... Хорошо?

— Я не знаю...

Через пять минут я был в окопе.

В девять утра на наш «пупок» прибыл Калач в сопровождении своего начальника штаба и нашего командира роты.

— Младший лейтена-а-ант! — не останавливаясь, идя с подсигом, как все маленькие, закричал Калач еще издали, и я враз догадался, что сейчас будет,— ему доложили о валенках. Может, еще ночью кто-то стукнул, черт бы его взял! Я побежал к нему, остановился метров за пять и так врезал каблуками, что он аж вздрогнул.

— Командир второго взвода третьей роты четыреста восемнадцатого стрелкового батальона младший лейтенант Воронов по вашему приказанию явился!

У меня получилось это хорошо, и, наверно, я правильно смотрел в глаза майору, потому что он скосил немножко голову, как это делают, когда разглядывают что-нибудь интересное, потом обернулся к командиру роты:

— Видал орла?

Капитан Мишенин пощурился на меня и вдруг подмигнул. Ему не нужно было это делать — я ведь тогда весь был захвачен широкой и бездонной радостью, поэтому не выдержал и засмеялся.

— Что-о? — рассвирепел Калач.— Тебе весело? Мародерствуешь, а потом зубы скалишь? В штрафной захотел?

— Никак нет, товарищ майор! — доложил я.

— Куда девал государственное имущество? — спросил он.

Я не совсем понял, и тогда Мишенин негромко сказал:

— Это кооперативное, товарищ майор.

— Все равно! — отрезал Калач.— Где валенки, я спрашиваю?

— У бойцов на ногах,— ответил я.

— На ногах? — опешил майор.— Сейчас же возвратит! Немедленно! Самому!

— Есть возвратить самому! — повторил я и обернулся к окопу: — Разуть валенки-и!

Я любил в эту минуту Калача. Любил за все — за его рост, за то, что он майор, за его ругань, за то, что он приказал мне самому отнести валенки в амбар... Они все, кроме двух пар, были изрядно испачканы землей и растоптаны, и бойцы начали чистить их, а Васюков, когда удалилось начальство, спросил меня:

— Может, вдвоем будем таскать?

— А ты не слыхал, что сказал майор? — ответил я.— Мне одному приказано.

— Да откуда он узнает?

— От стукача, который доложил ему!

— Это верно,— вздохнул он.

Я захватил под мышки шесть пар валенок, и побежал к амбару, и за дорогу раза три складывал валенки на землю и поправлял на себе то шапку, то ремень и портупею. Сердце у меня давало, наверно, ударов полтора в минуту, и когда я увидел запертые двери амбара, то даже обрадовался — я боялся увидеть Маринку днем, боялся показаться сам ей.

Я долго сидел на крыльце амбара — курил и глядел в поле и, когда от махры позеленело в глазах, неожиданно решил идти за Маринкой.

В селе оказалось много изб с палисадниками, и я выбрал тот, где кусты были погуще, и, ссыпав валенки

во дворе, постучал в двери сеней. Я на всю жизнь запомнил дверь эту — побеленную зачем-то известью, с засаленной веревочкой вместо ручки. Большими печатными буквами-раскоряками пониже веревочки объявлялось:

«МАРИНКА ДУРА»

Открыл мне пацаненок лет семи — это был Колька, Маринкин братишка, как узнал я потом.

— Марина Воронова тут живет? — спросил я его.

— Она сейчас не живет, — сказал Колька, — она за водой пошла.

Я сошел с крыльца и увидел Маринку, входившую с ведрами в калитку. Заметив меня, она даже подалась назад и покраснела так, что мне стало ее жалко.

— Вот принес валенки, — сказал я вместо «здравствуй».

— Не налезли? — виновато спросила Маринка. Ближнее ко мне ведро раскачивалось на коромысле, и вода плескалась на мои сапоги.

— Налезли, — сказал я, — но приказано вернуть. Все. Ясно?

— Ага, — сказала Маринка. — Сейчас выйду. Подождите...

Я подобрал валенки и пошел со двора, но меня окликнул Колька:

— А ты красноармеец или командир?

— Командир, — сказал я, и в это время из сеней вышла Маринка, и я был благодарен Кольке за его вопрос: мне казалось, что она тоже не знает, что я лейтенант, хоть и младший.

По улице села мы прошли молча — я впереди, а она сзади, и, когда на околице я оглянулся, Маринка остановилась и начала хохотать как сумасшедшая, взглядывая то на мое лицо, то на валенки. Конечно, я, наверно, был смешон до нелепости.

— Ну и что тут такого? Подумаешь! — сказал я, выронил валенки и пнул их ногой.

Обессилен от смеха, Маринка повалилась прямо на снег. Я кинулся к ней и губами отыскал ее рот.

— Увидят же... все село... бешеный, — не просила, а стонала она, да мне-то что было до этого? Хоть весь мир пускай бы смотрел!

Кое-как мы дошли до амбара, — как только она на-

чинала хохотать, я бросал валенки и целовал ее. На крыльце амбара она пожаловалась:

— У меня уже не губы, а болячки. Хоть бы не кусался...

— Больше не буду,— сказал я.

— Да-а, не будешь ты...

Разве мог я после этого сдержать свое слово?

Когда я вернулся в окоп за очередной порцией валенок, взвод мой гудел, как улей:

— Товарищ лейтенант! Давайте отнесем разом — и шабаш! Что же вы будете мотаться один до обеда?!

Знали бы они, что я согласен «мотаться» так не только до обеда, а хоть до конца своей жизни! Конечно, я не позволил бойцам помочь мне, сославшись на приказ Калача...

Подходя к амбару, я еще издали услышал музыку Маринкиного голоса. Она пела «Брось сердиться, Маша...»

То, чего я больше всего боялся и не хотел — возможного марша вперед,— в этот день не случилось: мы остались на месте. Я чуть дожил до темноты: в двадцать ноль-ноль мы договорились с Маринкой встретиться у амбара. Перед моим уходом у нас состоялся с Васюковым мужской разговор.

— Почапал, да? — мрачно спросил он.— А что сказать, ежели начальство явится?

— Скажи, что я забыл свою расписку на валенки. Скоро вернусь.

— Порядок! — сказал Васюков.— Гляди, распишись там, как положено. В случае нужды — свистни. Поддержу...

Я поманил его подальше от окопа.

— Если ты хоть один раз еще скажешь это, набью морду. Понял? — решенно пообещал я.

— Так я же думал... Я же ничего такого не сказал,— растерянно забормотал он.— Мне-то что?

На следующий день утром через ручей переправилась какая-то кавалерийская часть. Маленькие заморенные кони были одной масти — буланой — и до того злы, что кидались друг на друга. Они грудились в улице села, привязанные к плетням и изгородям, а кавалеристы шли и шли с котелками к нашим кухням. Изголодались, видать, ребята.

День был низенький, туманный и тихий, как в апреле, и все же в обед черти откуда-то принесли к нам девятку «юнкерсов». Бомбили они не окопы, а село и сбросили ровно девять бомб. Я сам считал удары. От них подпрыгивал весь наш «пупок» — до такой степени взрывы были мощны и подземно-глухи.

— Железобетонные, — сказал Васюков. — Из цемента. По тонне каждая. Я точно знаю!

— Ну и что? — спросил я.

— А ничего. Воронка с хату. Озеро потом нарождается...

Над селом клубился серый прах; истошно, не лошадиному визжали и ржали кони, кричали и стреляли куда-то кавалеристы, хотя «юнкерсы» уже скрылись.

Я схватил Васюкова за локоть. Он отвел глаза и отчужденно сказал:

— Ну, тут... сам понимаешь. Они могут сейчас вернуться и к нам. Так что решай, где ты должен находиться...

— Пять минут! — сказал я. — Только взгляну узнаю... Ну?!

Он молчал, и я отвернулся к ручью и стал закуривать.

Удивительно, какая осмысленная, почти человеческая мука может слышаться в лошадином ржании!

— Вообще-то можно и сбегать, — сказал позади меня Васюков. — Ну, сколько тут? Двести метров!

Я сунул ему незажженную сигарку и бросился в село.

На улице валялись снопы соломы, колья и слеги за бором — это сразу, а глубже, уже недалеко от Маринкиной хаты, я увидел огромную круглую воронку обложенную метровыми пластами смерзшейся земли. Рядом с нею, у раскиданного плетня, высокий смуглолицый кавалерист, одетый в бурку и похожий на Григория Мелехова, остервенело пинал сапогами в разорванный сизый пах коня, пробуя освободить седло. Конь перебирал, будто плыл, задранными вверх ногами, тихонько ржал, изгибал длинную мокрую шею заглядывая на свой живот и глаза у коня были величиной в кулак, чернильно-синие, молящие.

Через минуту я увидел — нет, не Маринкину еще — разрушенную хату. Наверно, тут было прямое попадание, потому что даже печка не сохранилась. Да там

вообще ничего не уцелело. Просто это была исковерканная куча бревен и соломы, осевшая в провал.

В тесовой крыше Маринкиной хаты, прямо над сенцами, темнела большая круглая дыра. Во дворе и на крыльце валялась пегая щепя дранки. Я решил, что крышу прободал осколок. Цементный. Но дыра была чересчур велика, и у меня похолодело во рту: «Бомба замедленного действия!» Я мысленно увидел ее почему-то никелированно-блестящей, тикающей и побежал со двора пригнувшись, как бегал в детстве с чужих огородов. Я то и дело оглядывался и видел белую дверь и веревочку, а пониже ее, там, где вчера было «Маринка дура», — бурое продолговатое пятно. «Стерла, чтобы я опять когда-нибудь не прочитал», — понял я и повернул назад.

Дверь я открыл с ходу, плечом, и в полутьме сеней, под белым столбом света, проникавшего в дыру крыши, увидел лошадь. Она лежала комком, подвернув под себя ноги и голову, и на ее мертвой спине выпячивалось и блестело медной оковкой новенькое комсоставское седло.

В хате никого не было, но на столе, в крошечке стекла, лежал хлеб, три ложки и стоял чугунок. От него шел пар, — окна на улицу были разбиты. Я заглянул в чулан и позвал:

— Есть кто-нибудь?

— Есть! — слабо донесся откуда-то Колькин голос.

— Где ты? — спросил я.

— А тут... В погребе!

Прямо у моих ног приоткрылся люк, и Колька вылез первым, за ним мать, а потом Маринка. Она была непокрытой, и я впервые увидел ее волосы — черные до синевы, в двух косах. Она смотрела на меня так, будто хотела предупредить о чем-то, боялась, видно, что я брякну ей что-нибудь лишнее тут, при матери, и я сказал:

— Лошадь там в сенцах. Убитая. Пришел посмотреть...

— Господи! — запричитала мать. — Да как же она там очутилась? Ваша, что ли?

— Нет, она чужая, — сказал я. — Вечером мы ее вытащим.

В сенцах, увидав пробитую крышу и лошадь, мать сказала, что это не к добру, и заголосила. Что я мог тогда сделать для них? Мне даже подарить им было нечего...

Васюков сказал, что я отсутствовал ровно восемнадцать минут. Я сообщил ему о лошади.

— С седлом? — спросил он.

— С седлом.

— Хорошее?

— Новое. Комсоставское.

— Порядок! — сказал он. — Пригодится.

— Для кого?

— Ну, мало ли! Может, доведемся до майоров, а тут такой случай... Они же уходят, видишь?

Конники покидали село, уходя в тыл. Некоторые шли пешком, неся уздечки и седла.

Вскоре во взвод явился связной Мишенин.

— Младший лейтенант Воронов! К капитану! — прокричал он, глядя куда-то мимо меня. Все эти связные старших были на один манер: для них мы, командиры взводов, не начальство, которое нужно приветствовать. Сволочи!

Мишенину оборудовали землянку между селом и первым взводом. Землянка получилась роскошная, с печкой и в четыре наката сухих бревен. Значит, мы не уйдем отсюда!

Капитан вызывал всех командиров взводов роты. Сопровождение было коротким и для меня как праздник — нам предстояло делать проволочные заграждения по эту сторону ручья. Коля — в селе. Проволока — в четвертом взводе. Интересно, откуда она там взялась?

Я побежал в свой взвод и еще издали не прокричал, а пропел, потому что у меня все команды теперь пелись:

— Старший сержант Васюков! Ко мне!

Он, конечно, понял, что я не с плохим вернулся, и точь-в-точь как я вчера перед Калачом врезал передо мной каблуками и доложил:

— Помощник командира второго взвода третьей роты четыреста восемнадцатого стрелкового батальона старший сержант Васюков по вашему приказанию явился!

— Пьяница ты! — шепотом сказал я ему. — Самовольщик! В штрафной захотел?

— Никак нет, товарищ лейтенант! — тоже шепотом ответил он, и мы разом почему-то оглянулись на окоп. Тридцать обветренных, знакомых и дорогих мне лиц, тридцать пар всевидящих и понимающих глаз смотрели в нашу сторону. Что-то горячее, благодарное и предан-

ное к этим людям пронизало тогда мое сердце, и я быстро отвернулся, потому что мог заплакать, а Васюков спросил: — Ты чего?

— Ничего,— сказал я.— Просто ты пьяница. Самовольщик...

Пока принесли колючку — смерклось, и мы с Васюковым отправились в село «на разведку кольев». Маринка ожидала меня во дворе. Она смущенно поздоровалась с Васюковым, а мне сказала:

— Я думала, уже не придешь...

— У нас так не бывает,— с важностью заявил Васюков.— Что сказано, то сделано. Ну-ка, показывайте, где лошак!

— Лошадь? — спросила Маринка.— Она вот там, за сараем лежит.

— Это почему там? — удивился Васюков.— А седло где?

— Казаки взяли. Которые выволакивали...

Васюков остервенело плюнул, хотел что-то сказать мне, но раздумал.

— Давай хлопочи насчет кольев,— сказал я ему.— Назначь два отделения. А я через час буду. Ладно?

Он посмотрел на свои большие кировские часы и пошел со двора. Маринка взяла меня за указательный палец и повела за угол сарая. Там, на снегу, обрывая темный извилистый след, страшной неподвижной кучкой лежала лошадь. Я стал к ней спиной, обнял Маринку и забыл, что я на земле и на войне. Она подалась ко мне и зажмурилась, а минут через пять сказала:

— Мама спрашивала, зачем ты приходил.

— А ты что сказала?

— Колька сказал...

— Что?

— Ну, что ты ко мне...

— А она что?

— Так... Ничего.

— А все же?

— Ну... чтобы это было в первый и последний раз.

Я поцеловал ее, и она, сронив мне на плечо голову, западающим шепотом сказала:

— Ох, Сережа! Пропала, видно, я...

— Почему? — с непонятной обидой к кому-то спросил я.

— Люблю я тебя... Так люблю, что... пропала я!

— Дурочка ты! — сказал я, и почему-то никакое другое слово не было мне нужнее, роднее и ближе, чем это.— Дурочка! Тебя-то уж я не потеряю!

— А я тебя!

— Куда я денусь?

— Не де-енешься! — пропела Маринка.— Я же хоро-ошая, красивая. Ты думаешь, я это не знаю?

— Дурочка ты...

Может, оттого, что я в третий раз называл ее так и сразу же целовал, Маринке нравилось это слово...

Второй день уже я не ходил, а бегал. Васюков сказал, что отсутствовал я всего лишь пятьдесят три минуты.

— Не дотянул до часа,— не удержался он.— Хотя на войне, конечно, быстрее все делается...

— Будешь болтать — и я дотянусь как-нибудь до твоей рожи. Пьяница несчастный! — сказал я.

— Вообще-то выпить не мешало бы,— мечтательно протянул он.— И какого это черта не дают нам фронтовые сто граммов! Ты не знаешь?

— А ты не знаешь, что на закуску ста граммов полагается фронт? — спросил я.

— Так мы бы занюхали тут чем-нибудь...

Бойцы носили из села колья и бревна. Где они их там брали — было неизвестно. Мы работали всю ночь — врывали стояки для колючки, а за ручьем, по заснеженному лугу, елозили батальонные минеры. Неужели в темноте можно минировать? Что за спешка?

Отделения моего взвода попеременно отдыхали в трех крайних хатах. До сих пор я был только в одной — там, где спал сам. Я пошел туда уже перед утром. До этого я лишь один раз видел хозяина хаты — маленького и щуплого, с русой бородкой и темными умными глазами. Он чему-то коротко и недобро засмеялся, когда увидел меня, и я не заметил у него зубов. Может, он засмеялся тогда не надо мной, а просто так. И все же он не понравился мне.

В хате спало третье отделение. Бойцы лежали на соломе, настланной толстым слоем на полу. Командир отделения Крылов стоял посредине хаты и курил. У дверей, прислонясь спиной к притолоке, сидел на корточках — как чужой тут — хозяин хаты. Он взглянул на меня и опять нехорошо как-то улыбнулся. Что за тип?

Я прошел в угол и с удовольствием нырнул в солому. В хате было тепло и сумрачно — на завешенном рябой попонкой окне мерцала лампа без пузыря. Интересно, чего этот беззубый хрен оскалится? Что во мне смешного? Сам-то на всех чертей похож! И дочь — тоже. Я столкнулся с нею вчера, выходя их хаты... У нее такой нос, будто она все время плачет втихую... Любопытно, как ее звать! Феклой, наверно! Я улыбнулся Маринке, обнял солому и стал засыпать. Откуда-то издали в мое затихающее сознание толкнулся голос Крылова:

— Значит, говорите, отпустили?

— Пришлось выпустить... Видно, не до нас теперь тюремщикам,— шепеляво, но со сдержанно-едкой силой ответил хозяин.

Крылов долго молчал, потом почти безразлично спросил:

— И документик имеете?

— А то как же! Дают,— в тон ему отозвался хозяин.

— А он у вас далеко?

— Не так чтоб слишком...

Я уже был на краю сна и яви, когда Крылов произнес чуть слышно:

— Предъявите мне документ.

— Можно и предъявить,— со спокойной ехидцей сказал хозяин.— Вы что же, старшой тут по таким делам?

— Может, и старшой,— ответил Крылов. Видно, он решил, что я сплю.

— Ну-ну! — поощрил хозяин, и оба они замолчали — Крылов читал документ, и в хате был слышен лишь ровный, покойный храп бойцов.

— Та-ак,— сказал наконец Крылов.— А за что отбывал?

— За что сидел? — будто не расслышал хозяин.— За испуг воробьев на казенной крыше...

Я чуть не прыснул — здорово придумал мужик, а Крылову ответ не понравился. Он сказал: «Ну все!» — и стал укладываться. Я слышал, как он сердито шуршит соломой, и слышал, как неприятно хрустят колени хозяина, проходившего в чулан...

Весь следующий день мы укрепляли свой берег ручья и снабжались боеприпасами,— мой взвод получил два ручных пулемета, одно ПТР, несколько ящиков патронов, гранат и бутылок с бензином. Калач прибыл на наш

«пупок» в полдень и сам выбрал место для пулеметов и ПТР — на правом фланге, так как соседей там у нас пока не было. Он опять накричал на меня, но уже не за кооперативное имущество, а за беспечность при распределении бойцов на отдых.

— Что за человек, у которого ты дислоцируешься? — спросил он.

— Маленький такой, — сказал я.

— А мне плевать, большой он или маленький! — покраснел Калач. — Найдите другое место! Мало вам пустых изб, что ли? Залезают черт знает куда!..

Всем остальным майор остался доволен. Он спросил Мишенина, ознакомлен ли я со схемой минного поля впереди ручья, и ушел. Интересно, за что он меня не любит? А вот капитан любит, я ведь это вижу и знаю. И я люблю его тоже.

Я рассказал Васюкову о хозяине хаты и о Крылове

— Все ясно, — сказал он. — Сознательный малый. Один на весь взвод оказался... Валенки тоже его работа. Что ж, бдительные люди нам с тобой позарез нужны.. Как ты думаешь, не закрепить ли ПТР за младшим сержантом Крыловым? Оружие это грозное, отношение к себе требует бережное. Доверим?

— Конечно, доверим, — сказал я.

В двадцать ноль-ноль я был за углом сарая, как штык Маринка уже ждала меня, и я снова стал спиной к убитой лошади и полетел над землей.

— Давай уйдем отсюда. Нехорошо как-то тут сказала Маринка.

— А куда? — спросил я.

— К амбару.

— Я на один час только...

— А мы бегом.

— Ну давай, — сказал я, и мы побежали по огородам, и она держала меня за указательный палец, как маленького.

Крыльцо амбара было припорошено снегом, и я стал разметать его шапкой, а Маринка наклонилась ко мне и изумленно-испуганно спросила на ухо:

— Что ты делаешь?

— Сядем, — сказал я. — Ты не бойся... Я же обещал

Я притянул ее к себе на колени и ощутил грудью стук ее сердца — как у голубя.

— Дурочка! Что ты во всем этом понимаешь!

- В чем? — спросила она.
- В том, какая ты у меня... В нашей с тобой любви.
- Непутевая она у нас... Если б не война!..
- Тогда бы я не встретил тебя.
- А я и без тебя встретила б!
- Кого?
- Как кого? Тебя. Ты где жил?
- В Обояни.
- Ну и приехала б!.. А там у вас одеколон делают?
- Кирпичи,— сказал я.
- Обоя-ань... Расскажи мне о себе. Все-все!

Я рассказал все-все и сам удивился тому, как это было немного. Мы жили с матерью в Медвенке. Это райцентр. Мать была там учительницей. Я закончил десятилетку, но не в Медвенке, а уже в Обояни...

Я ругнулся.

— Не ругайся,— попросила Маринка.— Ты очень любишь ругаться. Прямо как мой отец. Он тоже часто выражался...

— А где он? — спросил я.

— На фронте... Два месяца нету писем... Где это Шклов находится, не знаешь?

Я подумал о своем последнем письме маме, посланном еще из Мытищ, о крыше и выбитых окнах в Маринкиной хате, о погребке и Кольке, и что-то обидное шевельнулось во мне к самому себе. Почему-то мне вспомнилось, что самым ненавистным словом у мамы было «проходимец». Хуже такого определения человека она не знала.

— Ты чего замолчал? — спросила Маринка.

— Думал,— сказал я.

— О чем?

— О себе... И о тебе тоже... Знаешь, у нас все с тобой должно быть хорошо и правильно! Давай поженимся...

То, что я сказал — поженимся,— отозвалось во мне каким-то протяжным, изнуряюще-благостным звоном, и я повторил это слово, прислушиваясь к его звучанию и впервые постигая его пугающе громадный, сокровенный смысл. Наверно, Маринка также ощутила это, потому что вдруг прижалась ко мне и притаилась.

— Поженимся! — опять сказал я.

— Что ты выдумываешь,— произнесла наконец Маринка.— Где же мы... Война же кругом!

— Черт с нею! — сказал я. — Мы поженимся так пока, понимаешь? А после войны только будем как настоящие муж и жена. Хорошо?

— Что ты выду-умываешь!..

— Завтра поженимся, в день моего рождения...

— Господи! Что ты говоришь?! — воскликнула Маринка, и в эту минуту она была очень похожа на свою мать, когда та увидела лошадь в сенцах и сказала: «Господи!» — У меня же тоже двадцать второго ноября день рождения! Ты вправду?

— Ну да. Двадцать один стукнет. Ты думаешь, я молоденький?

— Не-ет, я и не думала... А мне тоже восемнадцать стукнет. А ты думал сколько?

— Пятьдесят шесть, — сказал я.

— Что ты! Маме и то сорок пять только!..

— Дурочка ты!..

Возвращался я бегом, и подмерзший снег не скрипел, а пел у меня под ногами, и мысленно я пел сам, и со мной пела вся та ночь — чутко-тревожная, огромная, заселенная звездами, войной и моей любовью. Я хорошо понимал, что моя радость «незаконна», — немцы ведь подходили к Москве, но все равно я не справлялся с желанием поделить свое счастье поровну со всеми людьми.

В окопе с дежурным отделением был Васюков.

— Как дела? — спросил я его.

— Все в порядке, — ответил он. — А у тебя?

Мы сошли с ним к проволочному заграждению, широкой кривулиной уходившему в лунно-дымную даль центра обороны. На кольях и колючей основе проволоки мерцали блески легкого инея, и все это безобразное нагромождение казалось теперь осмысленно-безобидным, нарядным, кружевным.

— Послушай, Коля... Понимаешь, я женюсь! Завтра женюсь, — бессвязно и благодарно сказал я Васюкову.

Он посмотрел на меня, отступил в сторону и спросил, давась хохотом:

— Только жениться? А иначе, значит, никак? Молодец девка!..

Я ударил его дважды, и в окоп мы вернулись порознь.

Никто из нас по-настоящему не нюхал еще войны. Пока что мы ощущали ее морально и только немножко физически, когда рыли окопы. Мы не встречали ни уби-

тых, ни раненых своих, не видели ни живого, ни мертвого немца. Мы видели лишь — да и то со стороны — вражеские самолеты. Они всегда пролетали большими журавлиными стаями, и рев их надолго заполнял небо и землю. Я никогда не слышал, чтобы в этот момент кто-нибудь произнес хоть слово. Тогда бойцы почему-то избегали смотреть друг на друга, торопились закурить, и лицо у каждого было таким, будто он только что получил известие о несчастье в доме. Зато надо было слышать тот по-русски щедрый, приветственно-напутственный и ласковый мат по адресу своего самолета, когда он появлялся в небе! Заслушаешься и ни за что не утратишь, чтобы не прибавить чего-нибудь и от себя...

Утро дня моего рождения выдалось крепким, ясным и звонким. Взвод занимался гречневой кашей с салом, когда над нами появился странный самолет с прямоугольным просветом на фюзеляже. Такого я еще не видел. Небо было бирюзово-розовым, и самолет казался на нем как грязная брызга. Он повис над нашим окопом, и мы отчетливо видели белые кресты на его крыльях и слышали натужно вибрирующий гул моторов.

— Разведчик ихний,— не глядя на меня, сказал Васюков.— Разрешите мне из ПТР... Может, ссажу!

Я сказал: «Действуйте» — мы были теперь на «вы», — и он бросился к Крылову за ружьем, но долго не мог прицелиться — самолет кружил прямо над нами, а длина ПТР достигала двух метров, и его не на что было приладить.

— Кладите ствол на меня! — приказал я и уперся руками в стенку окопа.

Васюков так и сделал. Ствол ружья плотно прилегал к моему левому уху, и я на всякий случай зажмурился и раскрыл рот. Выстрел я ощутил спиной и головой: наверно, так чувствуешь себя после удара колом.

— Ну, что? — крикнул я.

— Не берет сразу,— отозвался Васюков.— Станьте-ка повыше...

Я стал, а он, повозясь и побряктив сзади меня, снова ударил.

— Ну? — крикнул я.

— Не берет, гад! Станьте пониже...

— Стань сам, раз не умеешь стрелять! — сказал я, но сразу мне не удалось освободиться от ружья,— Васюков, видать, налег на приклад, заорав что-то несурзное:

— Ага-а, располуперезтак твою!..

Взвод тоже орал. Я не сразу поймал глазами самолет и закричал вместе со всеми: он кривобоко тянул на запад, пачкая небо серым, бугристым следом дыма. По нему бил теперь весь батальон, и я не знал: как же мне доказать Калачу, что разведчика подбил мой взвод? Он может и не поверить...

Я выстроил взвод позади окопа и скомандовал:

— Старший сержант Васюков! Три шага вперед!

Он вышел строевым шагом и стал «смирно».

— За проявленное мужество и находчивость при уничтожении вражеского самолета старшему сержанту Васюкову от лица службы объявляю благодарность!

И тогда с Васюковым что-то случилось. Он насупился, покраснел и ответил чуть слышно:

— Служу... служу Советскому Союзу...

С ума сошел! Разве можно отвечать таким тоном, да еще перед строем! Я повторил благодарность, а Васюков взглянул на меня плачущими глазами, махнул рукой и пошел в строй, как больной.

Очумел мужик! Я распустил строй и кивнул Васюкову, чтобы он остался на месте. Он и в самом деле плакал. Не по-настоящему, а так, одними глазами.

— Ты чего? Обиделся за вчерашнее? — спросил я. — Нашел тоже время... сводить личные счета!

— Да нет,— сказал он и высморкался в полу шинели.— Это я так... Подперло что-то под дыхало... Сам посудите: летают как дома... Почти половину России захватили, а мы...

— Да ты же подбил его, чудак! — сказал я.

— Конечно, подбил. А где? Под самой Москвой? А, как будто ты сам не понимаешь!.. Выпить бы сейчас, а?

— Ты... извини, пожалуйста, за вчерашнее,— попросил я.— Ладно?

— Ладно, за тобой останется... На свадьбу только позови,— полушутя-полусерьезно сказал он.

Я напрасно беспокоился: самолет был учтен за нашим взводом. Капитан Мишенин вынес нам с Васюковым благодарность. Мне вроде бы не за что, но старшим возражать не положено.

А день выдался как по нашему с Маринкой заказу. Впервые хорошо и глубоко проглядывалось поле впереди ручья. Оно поднималось наизволок, и почти на го-

ризонте виднелись сквозные верхушки деревьев и пегие крыши построек. Справа, где у нас не было соседей, голубел лес. Он тянулся по пригорку и чуть ли не вплотную подступал к тому, еле видимому селению. Временами оттуда прикатывались к нам невнятные орудийные выстрелы и широкие, осыпающиеся гулы. У нас это никого не тревожило — даже синиц. Они густой стайкой сидели на проволочном ограждении — и хоть бы что.

Я все время был в окопе. Васюков давно ушел на батальонную кухню. Оттуда он должен был зайти в знакомую хату насчет выпивки. Для этого я дал ему пару своего запасного фланелевого белья. Вернулся он немного выпивши — не утерпел человек.

— Полный порядок! — доложил. — Есть кусок сала и полная писанка... А на кухне достал пару банок трески в масле. Хватит, я думаю. Хлеб-то там найдется?

— Не знаю, — сказал я.

— Как же так? Зять, а положение тещи не знает! Ты хоть видел ее?

— Один раз.

— И как она к тебе?

— Так себе...

— Не понравился, выходит?

— Война. Сам понимаешь...

— То-то и оно! И не крути-ка ты, командир, девке голову. Слышишь? Она же своя. Русская... И честная, видать...

— Старший сержант Васюков! Кто тебе помог подбить самолет и первый вынес благодарность? — спросил я.

— Ну, ты.

— Не «ну, ты», а младший лейтенант Воронов! И я запрещаю тебе обсуждать его действия, потому что он малый хороший, а не какой-нибудь там пьяница, как некоторые.

— Ясно. А выпить хорошему малому не хочется?

— Хочется. Но надо подождать до вечера.

— Тогда отнеси все туда. А то у меня такой настрой, что могу не вытерпеть. Самолет все-таки подбил я.

Мы сошли к ручью, и там в кустах краснотала я забрал у Васюкова писанку, консервы и сало. «Приду, — думал я, — положу все на стол и скажу: вот бойцы, командиры и политработники нашей части прислали по-

дарок... на день рождения вашей дочери... Нет, это глупо. Скажу что-нибудь другое...»

На дворе я увидел Кольку, и он еще издали сказал:

— Хочешь поглядеть, сколько у нас крови?

— Где? — испугался я.

— В сарае. Маринка петуха зарезала. Варится уже...

У меня больно и радостно ворохнулось то знакомое чувство благодарности и преданности к Маринке, которое я испытывал тогда в амбаре, когда подарил ей сахар, и я схватил Кольку и поднял на руки. У него соскользнули на снег валенки — велики были, и, когда я присел и стал обертывать его ноги ситцевыми ветошками, на крыльцо вышла мать.

— Ну чего ты залез к чужому человеку? Маленький, что ли! — крикнула она Кольке.

— Я не залез, он сам, — ответил Колька.

Я поздоровался с матерью по команде «смирно». Она велела Кольке идти в хату и скрылась в сенцах.

— Позвать Маринку? — сочувственно посмотрел на меня Колька.

— А мать не заругается? — спросил я.

— Что ты! Она уже ругалась. За петуха...

Маринка выбежала в одном платье. Я снова будто впервые увидел ее — невообразимую, с громадными черными косами, со свадьбой в глазах. Я взглянул на них, как на солнце, и сказал:

— Принес вот кой-чего...

Я начал доставать из карманов сало и консервы, а Маринка оглянулась на хату и схватила меня за руки.

— Не надо сейчас, спрячь скорей! Лучше вечером... И не говори ничего маме... Потом я скажу ей про все сама...

— Я очень не нравлюсь ей? — спросил я.

— Она же не знает, какой ты...

Первый раз в своей жизни я поцеловал тогда руку девушке. Маринка ахнула, вырвала руку (она пахла палеными перьями) и почти гневно сказала:

— Ну зачем ты так? Что я тебе, чужая?!..

Этот день и угас ярко — солнце закатывалось чистым, малиновым, и оснеженное поле за ручьем тоже было малиновым, жарко сверкающим. На нем, прямо перед нашим окопом, колготилась большая стая ворон

и галок. Васюков сказал, что это они к морозу рассажи-ваются на ночь на земле.

— Они всегда это чувствуют,— сказал он.— А вообще ворона ни к черту птица. Несчастье вещует, яички соловьиные пьют...

Он оглядел горизонт, потом долго прислушивался, обратив на запад левое ухо, хотя там ничего не было слышно, кроме заглушенного пространством, еле различимого моторного гула.

— Ну, что ты слушаешь? Там фронт,— сказал я.

— Думаешь, фронт? — странно спросил Васюков.

— А что же?

— Черт его знает. Может, просто немцы одни...

— Не распространяй в тылу панику,— сказал я.— Лучше обернись назад.

За селом и над ним проникновенно-обещающе зеленело небо, и на нем уже высеивались желтые просинки звезд. Оттуда, с северо-востока, тянуло подвальным холодом, и редкие белесые дымки, выползавшие из труб сумеречных хат, манили к уюту, огню и разговору шепотом.

Васюков оглядел все это — небо, село, витые столбики дымов — и, повернувшись ко мне, сказал:

— Слушай, Сергей. Ты давай справляйся без меня. Ладно? Я, понимаешь, не могу так... обманывать девку на глазах у матери!..

Что можно было ему ответить?

Хату освещала знакомая мне по амбару «летучая мышь». Из окон выпячивались разноцветные узлы-затычки. Стол был подвинут к печке и застлан чем-то новым, большим и белым, простыней, наверно. Около него сидел и томился Колька, одетый в свежую рубаху. Мать стояла в проходе чулана с полотенцем в руках. В ситцевом белом платишке Маринка шла ко мне от окна, напряженно глядя перед собой и закинув назад голову. Все это в единый миг я вобрал в себя глазами и сердцем, стоя у дверей навтыжку. Я по-военному, чересчур громко поздоровался, и мать не ответила, а Колька засмеялся. Маринка сказала: «Здравствуйте»,— и попросила проходить вперед. Я шагнул к столу, положил на него консервы, сало и писанку и сказал матери:

— Извините... тут вот наши бойцы прислали вам... на день рождения.

Она усмехнулась, взглянула искоса на Маринку и сказала:

— Что ж, спасибо им... Садитесь, гостем будете.

— Раздевайтесь, пожалуйста,— предложила Маринка.

— Холодно же у нас,— сказала мать.

Но я снял шинель, и когда вешал ее у дверей, то чувствовал, как люто горит мой затылок,— наверно, от него можно было прикурить. Я долго возился с шинелью, придумывая, что бы такое еще сказать матери, когда обернусь, и вдруг вспомнил — никому не нужное тут,— и пошел к ней мимо испугавшейся Маринки.

— Извините,— сказал я,— вы случайно не знаете, за что сидел хозяин четвертой хаты с краю?.. Маленький такой?

Я спросил с таким видом, будто именно это и привело меня сюда, и мать посмотрела сперва на меня, потом на Кольку.

— Маленький? Не знаю,— оробев, ответила она.

— Это, наверно, Устиночкин Емельян,— обрадованно сказала Маринка.— Он недавно только вернулся.

— У него еще дочь некрасивая такая... Вроде она плачет все время,— напомнил я.

— Это Мотька,— засмеялась Маринка.— А отец ее сидел за Северный полюс... Помните, когда папанинцев спасали? Ну вот, тогда у нас проходило общее собрание. Уполномоченный из Волоколамска проводил. Насчет героизма. И другие про героизм да про героизм... А Емельян на взводе был... Встал да и болтнул: пусть бы в нашем колхозе перезимовали. И все. А на третий день его забрали...

Я мысленно увидел Емельяна на собрании — он, конечно, сидел с сигаркой возле дверей, маленький, в большой заячьей шапке,— вспомнил его ответ Крылову, когда тот спрашивал, за что он «отбывал», и захохотал. Глядя на меня, заливался Колька, смеялась Маринка, улыбалась, хоть и невесело, мать, и, когда я кое-как спросил, в какой шапке был на собрании Емельян и Маринка ответила: «В заячьей»,— я уже не мог стоять и повалился на скамейку...

Так злополучный Емельян и этот мой нечаянный, бездумный смех помогли мне в тот вечер: у Маринкиной матери оттаяли глаза; она взглянула на меня уже без прежней настороженной отчужденности.

— Родители-то хоть есть у вас? — спросила она.

Минут через пять мы сидели за столом. На нем стоя-

ли миска с огурцами и тарелка с петушиной. Нам с Колькой мать положила ножи. Я откупорил писанку и наполнил три стакана изжелта-сизым самогоном. Мы с Маринкой взглянули друг на друга и разом встали.

— Давайте,— начал я не своим голосом,— выпьем за...

Я не знал, что нужно сказать дальше, и взглянул на Маринку. Она неуловимо повела головой — «Не говори!» — и в это время мать сказала:

— За то, чтобы все вы живы остались...

У нее навернулись слезы, и к самогону она не приоткрылась, а мы с Маринкой выпили свой до капли. Мать удивленно посмотрела на Маринку и спросила почему-то не ее, а меня:

— С ума она сошла, что ли? Сроду не пила, а тут целый стакан выдуганила!

Я почувствовал, как хорошо, ладно и нужно улегся в мою душу этот обращенный ко мне вопрос, и, подстегнутый радостью сближения со всеми и всем тут, сказал:

— Больше она у меня не получит!

В мой сапог под столом трижды и мягко торкнулся Маринкин валенок — «Молчи, молчи, молчи», — но мне уже не хотелось молчать. Я оглядел затычки в окнах и сказал:

— Завтра вставлю стекла. Найду где-нибудь и вставлю...

Мать ничего не ответила и вдруг прикрикнула на Кольку, чтобы он не тарасился. Маринка резко толкнула мою ногу, и я запоздало понял, что о стеклах сболтнул зря.

— Мам, а он тоже Воронов,— сказала Маринка.

— Теперь, дочка, все вороны... все с крыльями. Нынче тут, а завтра нету! — назидательно ответила мать и поднялась из-за стола.

Я тоже встал, завинтил пробку на писанке и пошел за шинелью. «И пусть. Подумаешь! И не надо! И нечего меня провожать», — думал я, неведомо за что разозлясь на Маринку и прислушиваясь к ее шагам, шуршащим по полу хаты.

Я оделся, и когда обернулся для прощания, то лицом к лицу увидел Маринку в телогрейке и шали.

— Чтоб недолго! — приказала ей мать.

Во дворе Маринка приблизила ко мне свое лицо, и я увидел, что она готова заплакать. Я поцеловал ее в

глаза, и она всхлипнула и спросила растерянно, обиженно:
— Мы уже поженились? Больше ничего?

Я взял ее за руку, и мы побежали «к себе», к амбару. Мы бежали молча, и под шинелью у меня звонко булькала писанка, и с каждым шагом больно разрасталось мое сердце, набухая ожиданием чего-то неведомо, неотвратимо зовущего и почти страшного.

На промерзло-гулком крыльце амбара мы зашли в сумеречный угол, и я загородил собой Маринку от ветра и взял в ладони ее лицо. Оно было горячее и мокрое.

— Ну чего ты плачешь? Дурочка, ворониха моя...

— Я же... У меня же ключи от амбара,— напевно сказала Маринка и заревела по-детски, в голос.

Я опустил ее на корточки, обнял ее круглые, испуганно вздрагивающие колени и стал утешать и придумывать для нее слова и названия, не существовавшие в мире. И когда слова иссякли и голос мой стал чужим, толстым и хриплым, я поднял Маринку на руки и понес домой. Я часто спотыкался на огородных грядках, и каждый раз затихшая Маринка поднималась и становилась так, чтобы мне удобнее было снова взять ее на руки...

Во дворе мы молча и трудно расстались, и я побежал к себе в окоп. Западный горизонт был уже не малиновый, а чугунно-серый, остывший, и там, где днем проступали верхушки деревьев и крыши построек, в небе вдруг расцвели и падуче рассыпались две большие мертво-зеленые звезды.

В окопе дежурили два отделения. Не взглянув на меня, Васюков сказал отрывисто, зло:

— Видал ракеты? Это не наши.

Минут пять спустя я получил приказание капитана Мишенина привести взвод в боевую готовность.

Вороны так и просидели всю ночь в поле. Они начали колготиться, когда уже совсем развиднелось, но с места не снимались, и Васюков сонно и брезгливо сказал:

— Шарахнуть бы по ним залпом, что ли!

Я не успел ответить ему: воронья стая взгаркнула и разом взмыла двумя косяками, будто расчлененная ударом кнута, и через наш окоп с гнетущим воем перелетела мина. Она взорвалась недалеко от Емельяновой ха-

ты. Мы все пригнулись и тут же выпрямились, но в поле за ручьем возникли тонкие жала новых заповей, с каждым мигом нарастающих, проникавших в душу мятным холодком страха. Мины взрывались где-то в глубине дворов, но мы кланялись полету каждой. Я стоял в окопе спиной на запад — для меня все мины попадали в Маринкину хату, — и бойцы тоже обернулись лицом к селу. Только Васюков все время смотрел в сторону немцев. Не оборачиваясь, он сказал мне ворчливо, тоном старшего:

— Ну чего ты переживаешь? Она давно сидит в погребе... И вообще мина пробивает только крышу, а потолок не берет, ясно?

Я обернулся к западу, и то же самое взвод проделал как по команде. По склону поля слепяще сиял снег, — солнце взошло по-вчерашнему, и мы опять отчетливо увидели вдали фиолетовые верхушки деревьев и приплюснутые крыши построек.

— Оттуда бьют, — раздумчиво сказал Васюков. — Что, если из ПТР садануть по ним, а? Тут, пожалуй, не больше трех километров.

Он, конечно, и сам понимал, что противотанковое ружье — не гаубица, но мы же были пехота!

— Давай садани, — сказал я, и, когда он с Крыловым устанавливали ружье на бруствере окопа, оно, после вчерашнего случая с самолетом, показалось мне грознее и таинственнее, чем было на самом деле.

При выстреле приклад резко отталкивал Васюкова, и он каждый раз произносил одно и то же ругательство, а бойцы натужно кричали, не то разделяя с ним толчок, не то прибавляя этим вес крохотному снарядику ПТР. После пятого раза я махнул Васюкову рукой — хватит! Он опростал ружье от дымящейся гильзы и плюнул через бруствер, а я подумал, что гильзы нужно потом незаметно собрать и подарить Кольке.

Минный налет длился минут тридцать, затем был часовой перерыв, а потом опять обстрел и снова затишье. Ни одна мина не взорвалась вблизи наших окопов — падали в селе, и Васюков дважды еще разъяснял мне, что они не пробивают потолок хаты.

В полдень — в момент затишья — на наш «пупок» прибыл майор Калач, начальник штаба батальона старший лейтенант Лапин и капитан Мишенин. Я встретил их шагах в пяти от окопа рапортом о том, что во втором

взводе третьей роты четыреста восемнадцатого стрелкового батальона никаких происшествий нет. Калач и Лапин слушали меня «вольно», а капитан Мишенин «смирно», держа правую ладонь у каски. Он поздоровался со мной за руку, глядя на меня так, будто хотел сообщить что-то по секрету, но в это время Калач сказал:

— Младший лейтенант! Слушайте меня внимательно. Сейчас вы отправитесь в разведку боем. Ваша задача — выявить в населенном пункте Немирово силы врага, разведать и зафиксировать его огневые средства и точки... Подробную инструкцию получите у начальника штаба. Ясно?

— Так точно, товарищ майор! — ответил я и спросил: — Один пойду?

— То есть как это один? — сердито сказал Калач. — Пойдете с двумя отделениями!

— Может быть, вызвать добровольцев, как мы и думали? — вкрадчиво спросил Калача Лапин. Майор кивнул, и Лапин красиво поставленным голосом проиграл: — Внимание! Товарищи бойцы! Кто хочет добровольно пойти в разведку боем? Нужно пятнадцать человек!..

Из окопа выпрыгнул Васюков, и в наступившей тишине было слышно, как у него под шинелью звонко булькнула писанка. Он оторопело взглянул на меня, затем на Калача, и тот сразу же приказал:

— Старший сержант, останетесь здесь за командира взвода!

Васюков козырнул, четко повернулся, и невидимая на нем писанка опять вкусно булькнула, а я отвернулся, чтобы спрятать лицо.

— Есть добровольцы? — снова пропел Лапин.

Я посмотрел вдоль окопа. Бойцы занято суетились, переступая с ноги на ногу, и каждый поправлял на себе что-нибудь: ремень, противогаз или патронташ, — и у каждого был сосредоточенно-напряженный вид — вот-вот человек выпрыгнет из окопа, как только приведет на себе в порядок «вот эту штуковину». Но «штуковина» почему-то не поддавалась усилию рук, — видно, с ними боролось за что-то сердце, — и тогда Калач спросил:

— Комсомольцы есть?

Первым из окопа выкатился Васюков — на этот раз майор не остановил его, за ним готовно, разом, вышли еще двенадцать человек. Они встали рядом со мной ли-

цом на запад, и мы все увидели Крылова. Он расслабленно вылезал из окопа, волоча ПТР, и лицо его было белым как снег. Белыми, косящими к переносице глазами он смотрел куда-то сквозь нас, во что-то далекое, неведомое и страшное. Глядя на него, я ощутил, как мгновенно отмерзли у меня пальцы ног, а в груди стало пусто и горько. Я хотел посмотреть на своих добровольцев, но не мог отвести глаз от Крылова, — я как будто видел в нем все то, за чем мы должны идти сейчас туда, на запад... Он уже подходил к нам, когда я услышал голос Калача:

— Товарищ Крылов! Оставайтесь с ПТР на месте! Крылов округло повернулся и зигзагами пошел к окопу, обняв ПТР...

После инструктажа нам принесли обед, но есть не хотелось. Мы сдали парторгу роты комсомольские билеты и все «личные вещи». Каждый взял десять обойм патронов к своей винтовке, четыре противопехотные и две противотанковые гранаты. Еще нам придавался ручной пулемет. Нес его Васюков. От окопа к ручью нас провожал капитан Мишенин. Он шел рядом со мной, но смотрел куда-то вбок. Через ручей мы перешли по бревну.

— Ну, все, — негромко, хрипло сказал капитан, остановившись на берегу. — Не забыли, где минный проход? Ну, все!..

Мы пошли гуськом — впереди я, замыкающим Васюков. Справа от нас по снегу двигались наши голубые тени, и то, что они были тесно-дружные, большие, свои, действовало ободряюще, как что-то живое и нам подспорное. Минное поле кончилось в конце луга, и там, на уклоне поля, мы перестроились в развернутую цепочку. Главным своим флангом я считал левый, потому что начинался он с меня, и я укрепил его Васюковым.

— Как будем действовать, короткими перебежками или...

Он не закончил вопрос, — высоко над нами завизжали мины. Мы пригнулись все — это ведь получалось невольно, — и вот тогда я услышал Маринкин голос. Он вонзился мне в темя, как нож, и я оглянулся и в слитно мелькнувшей передо мной панораме села увидел на пригорке взрыв и в нем летящую Маринку... Я сразу же зажмурился, отвернулся и побежал вперед, на запад, и со мной рассредоточенной, наступающей цепью побежали все тринадцать человек. У меня не было ни одной стройной, отчетливой мысли, кроме желания не

оглядываться, и я тупо ощущал свое тело и не мог задержать бег — ноги работали самостоятельно. Только потом я понял, почему тогда не оглянулся: в недрах души я не верил тому, что увидел. Мало ли как может еще быть, если ты не знаешь всего до конца!.. Мы бежали долго, и, когда пошли шагом, Васюков тронул меня за локоть:

— Может, глотнешь, а?

Он совал мне писанку, а сам оглядывался назад, и я спросил:

— Ну? Что там?.. Ну, говори!

— Да там... ничего уже не видно...

— Унесли?

Ему надо было — я хотел этого — прикрикнуть на меня: «Что унесли?», или «Кого унесли?», или объяснить, что немецкие мины безвредны, но он ответил:

— Да там... все уже. Ты бы глотнул, а?

Я скомандовал «бегом», и мы бежали до тех пор, пока из-за белого гребня поля не показались верхушки деревьев.

Деревья вырастали с каждым нашим шагом, и в мое онемевшее сердце постепенно входило новое, могучее и незнакомое мне чувство, сдвигая и руша все то, что там шлаком спеклось и застыло, как уже пережитое. Нет, это не был только страх перед возможной смертью. Смерть что! Я ведь втайне «поспел» для нее в ту самую минуту, когда услышал Маринкин голос и увидел ее парящей в сизом кусте взрыва. Тут было что-то другое, более значительное и важное — и не только мое, личное. Когда показались крыши построек, я взглянул на свой «фронт» и увидел всех бойцов сразу и каждого в отдельности: каждый шел, чуть наклонясь вперед, выставив винтовку и замороженно глядя в какую-то точку перед собой.

Немирово открылось неожиданно, — мы вышли на самый гребень поля, и сразу же над нами прекратился шелест пролетающих мин. Наступила какая-то невероятная тишина — даже снег не скрипел под ногами: мы все замедляли и замедляли шаги, и я заметил, что сам иду как по бревну через ручей, ставя ногу на носок. Наша цепочка сузилась — мы сошлись поплотнее и двигались в створе широкого каменного здания, обращенного

к нам глухой стеной. Вдоль нее суетились, готовясь к чему-то, маленькие серые люди.

— Ну, как будем? Перебежками или так? — не спросил, а прокричал Васюков.

И тогда я оглянулся назад. Я искал не Маринку. Я хотел только знать, видят ли нас свои, не идут ли они следом, — нельзя же нам больше оставаться тут одним!.. Но я увидел лишь свои следы на снегу — четырнадцать длинных и прямых пунктирных линий. Два из них — левофланговые — почти соприкасались и кое-где перебивались: это мы так шли с Васюковым.

— Как будем, говорю? — снова прокричал он мне в ухо.

Чудак, разве я знал, как нам быть? Вот если б я увидел кого-нибудь позади себя или шел сюда не в первый, а во второй раз... Если бы до Немирова оставалось немного подальше... Если бы это было ночью, а не днем... Если бы они хоть начали скорей стрелять!..

— Бег-гом! — скомандовал я, и мы побежали, но не споро, почти на месте, и каждый высоко подбрасывал ноги и ставил их крепко и сильно, зарывая в снег, и я знал, для чего это делалось: чтобы быть пониже.

Мы бежали, а немцы не стреляли. Они накапливались вдоль стены каменного здания, возле деревьев и в поле. Их было много. Они размахивали руками, смеялись и что-то кричали нам. Я различал уже лица, не виданные до того автоматы, широкие раструбы чужестранных сапог. Я хорошо видел трех офицеров, стоящих впереди остальных: они рассматривали нас в бинокли. Я бежал и коротко взглядывал раз влево, раз вправо, — на своих, раз вперед — на немцев. У моего левого локтя топотал и булькал писанкой Васюков. Пулемет он нес, как кол. Справа с запасными дисками к РПД утиной перевалкой бежал красноармеец Перемот, уралец-старовер с маленькими черными глазами ворожуна. Еще в Мытищах Крылов доложил мне, что Перемот верующий, — крестик носит латунный. Я сказал тогда, что приму к нему меры, но так и не принял...

Немцы не стреляли и не кричали, упокоив руки на автоматах. Может, по моей команде, а может, и без нее мы изменили тогда направление, забрав правее каменного здания, туда, где немцев было поменьше. Мы бежали молча, тесной кучей, и эта живая, с о я теснота была единственной нашей защитой и поддержкой.

— Сереж! Не надо дальше... Перебьют же! Хватит! Я и так все вижу... Все дочиста! Сереж!..

Это кричал мне Перемот, заноса поперед моих ног пулеметные диски и заглядывая мне в лицо не черными, а белесо-льдыстыми глазами. Эти чужие у него глаза, диски у меня под ногами, заклиняющий шепотный крик, произнесенное имя мое, а не чин; эта наша братская сутолочь и предказневая тишина у немцев заставили меня скомандовать: «Ложись». Мы рухнули, как бежали,— кучей. Перемот протянул руку в сторону Немирова и бредово заговорил:

— Вот тут, за сараем, ихние минометы... Восемь штук. Четыре, значит, больших и четыре маленьких...

— Полковые и батальонные,— раскосо глядя мне в лоб, сказал Васюков.

— Во-во! — подхватил Перемот.— А вон там, под ракетами, танки... Кажись, девять.

— Семь,— торопливо сказал Васюков.

— Пушек вроде не видно,— самозабвенно, на одной ноте твердил Перемот,— стало быть, это пехота. Числом тыщи полторы, а может, чуть побольше...

— Полк,— сказал я Васюкову, и он кивнул.

Это заняло у нас не больше тридцати секунд времени,— мы разговаривали на крике, и у нас было полное взаимодоверие. Я уже знал, как нам быть и что делать. Мы сейчас рванемся назад, но не так, как бежали сюда, а по-другому — как убегают от смерти двадцатилетние, а пока немцы одумаются и поймут, зачем мы сюда приходили, мы достигнем гребня поля. Там мы откроем по ним огонь. Они тоже начнут тогда стрелять, и у них будет убито человек девять, а у нас никого!.. Нет, у нас должны быть раненые, но совсем легко и не много — трое. Больше я не хотел для капитана Мишенина, а меньше для майора Калача — иначе он ничему не поверит...

Мы с Васюковым поднялись одновременно, и я приказал отход, но в это время немцы загалдели и двинулись к нам толпой, будто шли поглазеть на что-то диковинное и несуразное. Трудно сказать, кто первый лег снова лицом к ним — я или Васюков, но думаю, что он, потому что я не услышал своих пистолетных выстрелов: их заглушил васюковский пулемет. Я стрелял не целясь, так как мне приходилось то и дело оглядываться и кричать своим, чтобы они скорей уходили. Последняя моя команда совпала с разрывом небольшой мины метрах в пяти

позади нас с Васюковым. Я увидел приземистый буро-огненный кустик разрыва, заслонивший убежавшего Перемота. И тут же я увидел над собой рот Васюкова, раскрытый в беззвучном крике...

Я лежал на левом боку. Зрячим у меня был только левый глаз — на правый сбилась шапка, и левым глазом из-под низу я видел солому и опрокинутые веялки. Они не могли оказаться возле меня даром, и я не мог зазря очутиться тут с ними, и о том, как это произошло, лучше было не думать. Я помнил все — от парящей Маринки до убегающего Перемота, а дальше мне ни о чем не хотелось вспоминать. Я лежал и боялся узнать, отчего мне трудно дышать и чем забит мой рот. Я попытался сплюнуть, но что-то застряло в гортани, и тогда я потянулся рукой ко рту и вытащил темно-розовый длинный шматок. Я зажмурился и второй рукой сунулся в рот. Язык был цел. После этого я откинул от себя то, что достал изо рта, и оно шлепнулось на солому где-то рядом. Я подождал и ощупал петлицы. Кубари были на месте. Оба. Тогда я перевалился на спину, и мне открылось и явилось все сразу — боль в спине и где-то внутри, отсутствие ремня и пистолета, пологие заиндевелые стропила, опирающиеся на плотные каменные стены, мысль, что я в плену и лежу в немировском сарае...

Прямо надо мной в крыше сарая светились пять продолговатых, узких щелей. Края серой дранки в этих местах были желтые, свежие. Это, наверное, Васюков просадил тогда из противотанкового ружья. Высоко брал!.. Я заплакал, и ртом пошла кровь. В щели осыпалась снежная пыль. Я раскрыл рот, высунул язык, и кровь прекратилась. А Васюков все же высоко брал. Надо б ниже...

Мне нельзя было ни о чем думать — тогда начинала идти кровь, но щели все время были перед глазами, и Васюков с Маринкой тоже, и капитан Мишенин, и мой взвод, и Колька, и я сам...

Под вечер я увидел Васюкова. Он сидел у меня в ногах, спиной ко мне, и раскачивался взад и вперед, будто молился. Я лежал и не шевелился: даже если это и не на самом деле Васюков — все равно пусть сидит. Потом, может, увижу еще кого-нибудь...

А Васюков все раскачивался и раскачивался. Я бы мог тронуть его носком сапога — рядом сидит. У него на

шинели не было почему-то хлястика, и горб смешно топорщился и ломался. Интересно, пропадет Васюков, если взглянуть на щели в крыше сарая? Я посмотрел на них — они посинели и померкли, — перевел взгляд и опять увидел Васюкова. Как и до этого. Он сидел и что-то грыз. Раскачивался и хряпал.

— Коль, — позвал я.

Васюков дернулся и оглянулся, и я увидел в его руке бурак. Он выронил его в солому и на коленях полез ко мне. На его шапке не было звездочки, а в петлицах треугольников. Нос у него был большой, не его, и сидел на боку. Васюков! Живой Васюков... Он примостился слева от меня и молча поправил на мне шапку.

— Всех? — спросил я.

— Лежи, — сказал Васюков. — Кроме нас да Перемота — никого. Сволочи, бросили...

— А где Перемот?

— Остался там. Да он и не пикнул.

Я подумал, что все вышло так, как я хотел: троих. Троих вполне хватит для майора Калача. А куда же попало Васюкову? По носу только? Нос у него совсем сидел на боку, а серый пух вздыбился на щеках и даже завился колечками. Отрос за время разведки боем, что ли?

— Куда тебе попало? — спросил я.

Васюков полуотвернулся от меня и назвал место, какого у него не было. Он сидел и раскачивался взад и вперед. Я положил свою руку на его колено и спросил:

— Меня в спину?

— Наискось... А под мышкой выскочил.

— Осколок?

— А то хрен, что ли!

— Большой?

— Фатает! — сказал Васюков и выругался в прахриста. — Ну что будем делать, а? Если б ты мог бечь! Кура пошла, фрицы все по хатам сидят...

— Давай сматывайся один, — сказал я. — Мне все равно хана.

Васюков наклонился ко мне и проговорил в глаз:

— Да там и рана-то с гулькин нос. Дня через три присохнет — и все!

Это Васюков врал. Зачем же он говорил об осколке, что его хватает? Для чего хватает? А запекшаяся кровь, которую я вытащил изо рта? Про рану он врал, но это было то, что я всем телом хотел от него услышать. Ко-

нечно ж, она с гилькин нос и через три дня присохнет. Присохнет — и все!..

...От края и до края земля засеяна красным маком. Махровые цветы растрепаны и повернуты головками в одну сторону — к маленькому багровому солнцу, встающему над горизонтом. Стебли мака не стоят на месте. Они несутся к солнечной точке, в беге сливаются в сплошной поток чего-то густого и липкого, которое вот-вот смоеет с ног, и тогда я закрывал глаза. Красный поток застывал, медленно превращался в маковый засев, но стебли опять бежали, и я знал, что теперь надо открыть веки. Так продолжалось, пока я снова не увидел Васюкова. Он наплыл на меня лохматым пятном, спросил: «Может, пить охота?» — и пропал в темноте сарая за веялками. Через некоторое время он вернулся и дал мне большой серый комок снега. Снег вонял махорочным дымом и ружейным маслом, и в нем то и дело попадались остья ржаных колосьев. Как только я съел его, Васюков сказал:

— Главное — ночь протянуть. Если теперь очухаешься, значит — все! Ты не расслаживайся.

Я не расслаживался. Я не чувствовал никакой боли и только мерз. Васюков захватил беремья соломы, навалил ее на меня и сам подлез ко мне с правого бока. Он отыскал мою руку и притих — пульс щупал. Я понимал, что он только Васюков, старший сержант и больше ничего, но под шапкой у меня начали выпрямляться волосы, — я ждал, что он скажет — останусь жив или... Он не дышал, не отпускал мою руку и молчал, и я отодвинулся от него и спросил как в то утро, когда он бил с моего плеча по самолету:

— Ну?!

— Как молоток, — сказал Васюков, и мне сразу стало жарко и хорошо.

В соломе возились и попискивали мыши, и от этого тоже было хорошо. Я подумал о маме, о Мытищах и обо всем, что потом было.

— Ты видел их? Вблизи? — спросил я Васюкова про немцев.

— Полк, — сказал он. — Все точно. Девять танков, шестнадцать минометов. Вот тут, за сараем стоят... Надо было драпать тогда, и все. А теперь вот...

Он снова ругнулся в прахриста и замолчал. Мне хотелось знать про немцев, про то, что они сделают с нами, я попытался опять:

— Ты видел их? Какие они?

Васюков не ответил и через некоторое время спросил сам:

— Не знаешь, что по-ихнему петролеум означает?

— Кажется, керосин,— сказал я.— А что?

— Писанку, понимаешь, отобрали... Допрашивали, что в ей такое...

— А ты что?

— Самодельная водка, мол.

— Ну?

— Да ничего. Пить заставили... А после один там хрен моржовый закричал: «Петролеум!» — и ударил пустой писанкой... Да мне и не больно было,— сказал Васюков.

Он, видно, догадался, что я хотел пододвинуться к нему поближе, и посунулся ко мне сам. Мы немного полежали молчком, потом Васюков сожалеюще сказал:

— Зря валенки тогда не оставили. Крылов, курва, стукнул... Между прочим, тут бураки есть. Цельная куча.

Бураки были сахарные, и мы съели по одному небольшому.

Васюков почти лежал на мне и дышал в мое ухо протяжно и глубоко — не то меня согревал, не то сам грелся. Пахло от него бураком и чуть-чуть самогонкой, и среди ночи я опять спросил, какие немцы. Он зачем-то перестал дышать — соображал, наверно, потом сказал:

— Да на вид они как мы. Одежа только не наша... Зараз бы валенки пригодились. Крылов, курва, испортил все...

Когда ты не знаешь, о чем надо думать,— заживет ли рана и через сколько дней, кто такие немцы и что они с тобой сделают, погибла ли Маринка или только ранена в спину навывлет, пришлют ли в твой взвод какого-нибудь младшего лейтенанта или Калач назначит взводным курву Крылова, кто напишет про тебя матери — Лапин или капитан Мишенин,— лучше б Мишенин, потому что письмо у него получится длинней и мать не сразу начнет плакать,— когда ты не знаешь, об этом или о многом-многом другом надо думать, тогда твое тело, если ты ранен, становится тяжелым, опасным и

заостренным, а воздух и земля гудят и вибрируют, и тебе кажется, что тобой выстрелили, и ты летишь под самыми звездами и вот-вот ринешься вниз и взорвешься миной.

— Ты не спишь? — хриплым полусшепотом спросил Васюков. — В наступление, наверно, пошли. Чуешь?

За стенами сарая ревели немецкие танки.

— Может, забудут про нас, а?

Васюков просто сказал вслух то, о чем я думал, и мы одновременно, разом, начали углубляться-вдавливаться в солому. В ней внизу непуганно и занято шуршали и попискивали мыши. Пока танки стояли и ревели на месте, гул накатывался на нас сверху, и мы лежали тесно и тихо, как под пролетающими самолетами, — может, не заметят. Но как только танки двинулись и гул сместился и проник в глубину, нас вместе с землей начало трясти мелко и зябко. Мы лежали ногами на запад — это я определил еще раньше по исходу щелей в крыше сарая, просаженных Васюковым из ПТР, и грохот танков постепенно иссяк впереди нас, на востоке. Васюков спросил меня, не хочу ли я по-маленькому, и лег животом вниз. В эту минуту немцы и начали искать нас в сарае. Мы их не видели, а только слышали: они — вдвоем, видать, — лазили в стороне по соломе и раскидывали ее ногами.

— Русен, во зайд ир? Ауфштеен! Шнель!

Говорил один, а второй чему-то смеялся — негромко и нестрашно, как русский. Я знал, что означало слово «ауфштеен», и раскрыл рот, чтобы дышалось тише. Васюков тоже не шевелился, но он, наверно, не мог сразу перестать чурюкать — ровно и напорно, как из спринцовки, и немцы притихли, а потом засмеялись, как смеются люди, и пошли в нашу сторону. Они дважды и слаженно прокричали над нами: «Ауфштеен!» — и мы с Васюковым не стали ждать, потому что конец чему-нибудь чаще всего наступает на третьем разе. Мы с ним одновременно полезли из соломы — я головой вперед, а Васюков задом, и прямо у своего лица, в мутно-сизом квадрате распахнутых ворот, я увидел две пары широко и победно расставленных сапог. Голенища у них были плотные, короткие и широкие. Я не стал поднимать голову, чтоб не встретиться с немцами одному, без Васюкова, а он запутался в распушенных полах шинели и никак не мог выбраться из соломенной дыры. Немцы стояли и смеялись. Я сидел на соломе, глядел на их странные

сапоги и ждал Васюкова. Он выпростался и сел не рядом со мной, а чуть впереди, почти касаясь коленями сапог немцев. Немцы перестали смеяться и молчали. Васюков взглянул на них из-под локтя и тут же обернулся и обыскал меня коротким, тревожным взглядом. Тогда я поднял глаза на немцев. Они оба были в летних зеленовато-мышастых френчах, и автоматы у них свисали на животы, и оба они смотрели на петлицы. Я машинально поднял руку к кубарям и ощупал их — сначала один, а потом второй. Я подумал тогда сразу о многом — о том, что эти два немца совсем похожи на нас, на людей; что они, наверно, наши с Васюковым ровесники, но что я выше их ростом; что они пришли в сарай так, зачем-нибудь, потому что смеялись; что нас с Васюковым не за что и нельзя расстреливать!.. Я думал обо всем этом, гладил свои кубари и смотрел на немцев. Один из них был в очках. Зеленая пилотка сидела на его голове глубоко и прямо, прикрывая лоб и уши, и на кончике его тонкого, зябкого носа висела на отрыве прозрачно-сизая капля. Мне вспомнилось, как в тридцать третьем, голодно-морозом у нас на Курщине, году мама сказала, что люди в беде должны опасаться тех, кому хорошо, и я стал глядеть на очкастого, а не на второго, потому что тот был коренастый, в пилотке набекрень и с оголенными руками на автомате. Он стоял в прежней позе, расставив ноги, а очкастый шагнул ко мне и, полуклонясь, коснулся дулом автомата моего подбородка. Он что-то сказал мне отрывисто и приказательно, и дуло автомата дернулось и замерло у моего лба. Тогда я взглянул на коренастого. Он засмеялся, поднес руку к воротнику своего френча и покрутил пальцами, будто отвертывал шуруп. Я понял и стал свинчивать кубарь. Гаечка заржавела и плотно утонула в сукне воротника, — еще в Мытищах я прикрутил кубари так, чтоб держались насмерть. Я ощущал горько-железную вонь автомата, боль в косо сведенных на него глазах, а гайка не ухватывалась, потому что пальцы свивались и подламывались. Я попытался вырвать кубарь с «мясом», но очкастый крикнул «Найн!» — и я позвал Васюкова. Он легко справился с кубарем и протянул его на ладони очкастому немцу. Тот выпрямился и достал из кармана френча черный лакированный бумажник. Васюков оглянулся на меня и что-то сказал, но немец в это время взял с его ладони кубарь и раскрыл бумажник. Одна половина его внутренней стороны была густо унизана золотыми, эмалевыми и серебряными знаками

отличий не известных нам с Васюковым армий, а на второй кровенилась одна наша шпала, один ромб и сержантский треугольник. Мой кубарь немец поместил правильно — между шпалой и треугольником, и горел он ярче всех остальных, потому что носил я его недолго...

Когда очкастый спрятал бумажник и качнул на себе автомат, я снова взглянул на коренастого. Он отрицательно повел рукой, проговорил: «Найн» — и пошел ко мне мимо очкастого и Васюкова.

— Вильст раухен?

Смысла его фразы я не понял, но кивнул головой, потому что тон голоса был участливый, и я решил, что немец спрашивает о моей ране. Он сказал: «Битте» — и протянул маленькую, на пять сигарет, голубую коробку с серебряным исподом. Там были две сигареты, и я ухватил одну, и в моих пальцах она превратилась в три, и было три голубых коробки и три чужих руки, — глаза заплакали сами, без меня. Васюков почти вплотную притянул голову к руке немца — разглядывал коробку, и немец дал ему сигарету вместе с коробкой. Я знал, что мне нельзя закуривать, но коренастый держал передо мной горящую зажигалку, и, когда я потянулся к ней, Васюков сказал: «Не дури!» — и забрал у меня сигарету. Он сунул ее под шапку, за ухо, а свою прикурил под непонятный окрик очкастого: тот перехилился к нему и кивал у своего носа длинным красным пальцем, будто подзывал. Васюков вопрошающе глянул на меня, блаженно дымя из обеих ноздрей.

— Он, наверно, требует мою сигарету, — сказал я. — Отдай скорей!

— Вот же ж падла! — тихо и искренне проговорил Васюков и достал сигарету. Он нехотя протянул руку вперед, зажав сигарету всей пятерней.

Очкастый склонился еще ниже, выскивая, как ее выбрать, и вдруг, как кот лапой, брезгливо махнул рукой на васюковский набрякший кулак и сказал: «Шайзе». Коренастый немец стоял и смеялся, глядя на Васюкова удивленно и ожидающе...

Они ушли и заперли ворота на засов.

Мы остались вдвоем.

На мне оставались еще три кубаря в петлицах и четыре серебряных галуна на рукавах шинели и гимнастерки — по одному галуну на каждом рукаве...

Мы опять легли на свое прежнее место в соломе, но неглубоко, потому что это не имело уже смысла. Васюков

прикурил от своего окурка «мою» сигарету и прикончил ее за три остервенелых и длинных затяжки.

— Как вата,— сказал он и цыкнул через зубы куда-то вверх.

Я промолчал.

— Тебе ж все равно нельзя было,— проговорил он.

— Ладно,— сказал я. Ни с востока, ни с запада к нам не доносилось ни гула, ни грохота. В Немирове тоже было тихо.

— Могут и не перейти,— немного сгодя сказал Васюков.— Она ж как-никак обрывистая. И вода там как-никак есть...

Он говорил про канаву-ручей впереди наших окопов, и я напомнил о минном поле, о ПТР и о проволочном заграждении. Как-никак кольца стоят. Они ж теперь вмерзли и... мало ли!

— Понятно, что вмерзли! — сказал Васюков.

Он опять цыкнул куда-то вверх, и я зажмурился, но плевок опустился на солону далеко от нас, описав, видно, крутую траекторию. Мы полежали молча, и вдруг Васюков привстал и приблизился ко мне почти вплотную.

— Слушай, Сергей,— заговорил он и оглянулся на веялки.— Я вот чего не пойму... Скажи, а куда ж делись наши танки?! И самолеты? А? Или их не было? Понимаешь, ить с одними ПТР да с пол-литрами... Ну ты же сам все знаешь!

Я поправил на себе шапку, чтобы она пониже сползла на лоб, и спросил Васюкова:

— Про что это я знаю?

Он молчал, и я посоветовал ему не трепаться.

— Да я ж одному тебе только! — напомнил Васюков и опять оглянулся на веялки.— Что ж тут такого...

— Вот и помалкивай! — сказал я.

Там, у себя на воле, Васюков не спросил бы про это. Ни у меня не спросил бы, ни у себя, ни у кого другого. И я тоже не спросил бы, потому что на воле такие разговоры считались вражескими, а мы не были врагами ни родине, ни себе. Вот и все. Я подумал, что и тут, в плену, мы с Васюковым не должны разговаривать ни про «чужую территорию» и ни про наши трудности, ни про майора Калача и ни про разведку боем, ни про бутылки с бензином и ни про что-нибудь другое,— мало ли о чем тут захочется поговорить! Если мы тут ни о чем т а к о м не будем говорить друг с другом, то наши ответы будут спо-

койными, а глаза смелыми... и вообще тогда все будет с нами быстрее и лучше. Не надо только разговаривать тут про плохое — и все!

Васюков зарылся с головой в солому и оттуда не сказал, а выкрикнул:

— Махал я их! Слышишь? Махал!

— Кого это? — спросил я.

— Ты знаешь. Особистов твоих!.. Вот теперь взять нас... Ну скажи, за каким хреном нас послали, а? Что мы могли разведать? Как?

— Боем. Огневые точки врага, — сказал я.

— Ты не прикидывайся дурачком, — сказал Васюков. — Пускай бы он своей задницей разведал эти точки, а потом доложил нам — кисло было или как?

Это он говорил о майоре Калаче, и я приказал ему прекратить болтать.

— Не подымай фост! — ответил Васюков. — Что, с самолета нельзя разведать, да?

— А если его нету? — спросил я.

— Куда ж он делся?

— А его и не было!

— Да мы ж с тобой всю жизнь летали выше и дальше всех! Ну? — фальцетом выкрикнул Васюков.

Я вспомнил про свой землеройный марш на фронт, про убитую лошадь в сенях Маринкиной хаты, про Перемота, про свою рану и плен и с мстительной обидой к себе, будто я один да еще он, Васюков, виноваты во всем, сказал в солому:

— Трепались мы с тобой, понял? А теперь вот все гибнет!

— Ну это ты не свисти! — угрожающе и уже басом проговорил Васюков и вылез из соломы, а я лег вниз лицом и заревел похоронно-трудно. Я ревел в голос, с верующим причетом о гибели, а Васюков сидел поодаль и твердил одно и то же: — Кляп им в горло, чтоб голова не шаталась! Ясно? Кляп им в горло!

Он так и не придвинулся ко мне и, когда у меня не осталось ни слез, ни слов, сказал:

— Из ПТР тоже можно затокарить будь здоров! Ссадил же я «раму»? Ссадил или нет? Чего молчишь?

— Ну, ссадил, — сказал я. — Ты же с моего плеча бил.

— Конечно, с твоего!.. Капитан обещал к ордену представить.

— Потом получишь,— примирительно сказал я

— Вместе получим,— заявил Васюков. И носить будем поровну, неделю я, а неделю ты.

— Ладно,— сказал я, и он пошел за веялки и вернулся с двумя небольшими бураками.

В полдень в сарай явился немецкий солдат в каске и с винтовкой. Он встал в проеме ворот, пощурился на веялки и дважды проговорил: «Раус». Немец не видел нас, и когда мы зашевелились, он стащил с плеча винтовку и отступил за ворота.

— Раус! Лос!

Я сидел и что-то искал в соломе. Я не знал ни имени ему, ни размера — что-то доступное только сердцу и без чего нельзя было встать и идти, и немец должен был знать про это. Васюков тоже пошарил вокруг себя и захватил горсть соломы.

— Чего он, Сереж? А?

Щеки у Васюкова были серые, и пух на них стоял дыбом.

— Это он так, Коль! Так зачем-нибудь! — сказал я и Васюков поспешно кивнул.

Пока мы вставали на ноги, он несколько раз зачем то назвал меня по имени и я его тоже. Мы пошли к воротам, то и дело приостанавливаясь, чтобы почистить и оправить шинели друг на друге, и немец трижды и не злобно проворчал: «Лос!» На нем низались две шинели и нижняя была длинней верхней. Он отступил в сторону зайдя нам в тыл, и скомандовал: «Форвертс». Мы пошли вдоль стены сарая к гряде не то ракиит, не то вязов. Там виднелись большие крытые машины и немцы. Слева от нас неясно проглядывалось поле, где должен был лежать Перемот, а справа в седой дымке кучились постройки Немирова,— снег падал густой, липкой моросью. Васюков почти нес меня, хотя я мог идти сам. Он нарочно мешал мне переступить и раза два больно задел локтем мою спину

— Ты б поохал! — шепнул он, клонясь подо мной и я тихонько охнул раз и второй.

— Погромче не можешь? — изнуренно спросил Васюков, и я захохотал громче, а он еще ниже склонился и понес меня вихляючись, как мешок с солью.

В кузове крытой машины, куда нас стволом винтовки подсадил конвоир, лежали порожние железные бочки. За нами захлопнули дверку, и мы не стали садиться и взялись за руки...

— Надо было туда! Туда! Надо было туда!..

Мы стояли, вцепившись друг в друга, а бочки раскатывались и гремели, и Васюков кричал это и торкался головой мне в грудь, потому что был ниже меня ростом. Я тоже кричал, но не Васюкову, а себе, и не одно и то же, как он, а разное, потому что машину трясло и подбрасывало — «нас везут п о л е м!» — и мысли тоже прыгали и уносились в глубину незапамятного детства, где тебя нельзя было найти войне, разведке боем, немцам и самому себе!.. Машину кидало и подбрасывало, и, когда она замедляла ход, мы приседали к полу и почти наваливались друг на друга. Тогда Васюков замолкал, и в темноте я видел, как блестят и ходят из стороны в сторону его глаза. На таких полуостановках я тряс Васюкова за плечи, и мы стукались лбами, но то, что мне нужно было ему сказать, не поддавалось слову, потому что оно не хотело быть сказанным и стать явью. Это было длинно — «надо упасть кверху лицом, а не вниз и не на бок, и надо, чтобы шапки откатились в сторону, потому что тогда будут на виду наши русые с завивом волосы, и руки надо разбросать, а не скрючить, и ноги тоже раскинуть, чтобы носки сапог стояли прямо...». Это получалось длинно, и оно не вмещалось в наше время на полуостановках машины, а того единственного слова, которое бы разом и полностью выразило последний смысл последнего в нашей жизни, я не находил. Я только тряс Васюкова и видел в темноте, как углисто блестят его глаза. Мы одновременно почуяли конец тряски, но не присели, а только подались назад, к дверке, потому что машина резко набрала скорость. Бочки тоже откатились к заднему борту и запели ровным звонистым гулом. Мы стояли и держались друг за друга. Машина все ускоряла и ускоряла ход, и Васюков расслабил на мне свои руки и приподнялся на носках сапог.

— На сашу́ выехали, Сереж! Чуешь? На сашу́! — сказал он так, будто мы были там, у себя.

— Ага, Коль! По саше́ едем! По саше́! — сказал я и подумал, что по-другому нельзя называть дорогу, — так было ближе к своим.

Мы с полчаса еще ехали стоя, потом, не сговариваясь, сели и уперлись ногами в бочки. У меня больно и свербяще ныла спина. Там будто сидела крыса и вгрызалась в меня под толчки сердца все глубже и глубже. Мне хотелось, чтобы Васюков спросил про рану, — может, полегчало бы, но он молчал, и тогда я пожаловался ему сам.

— Это рубаха отлипла,— сказал он.— Давай обопрись на меня.

Мы прислонились спиной друг к другу, и мне стало еще больней — у Васюкова, как молоток, стучало сердце прямо в мою рану. Наверно, он догадался про это, потому что подложил под лопатки мне свою шапку, а сам перегнулся так, что я почти улегся на нем горизонтально. Он опять напомнил про сашу, и я повторил за ним его фразу...

Когда часа через три машина остановилась, дверку кузова открыл уже знакомый нам с Васюковым немец в каске. На нем низались две шинели, и верхняя была короче нижней. Он тем же «немировским» приемом держал винтовку и таким же «сарайным» голосом сказал: «Раус». Васюков полез из машины первым. Он пятился задом вперед, обратив на меня лицо, и за ним мне виделся немец в каске, падающий снег и бесконечная, какая-то прозрачно-кружевная, белая стена. Васюков сполз на землю и протянул ко мне руки.

— Сереж! Уже все! Иди скорей!

Он наполовину всунулся в кузов и схватил меня за ноги. Я догадался, о чем он подумал: раненого оставят в машине, а здорового поведут одного,— и толкнул его сапогом в грудь.

— Чего ты?! Иди скорей! Ну? — позвал Васюков, не опуская рук. На меня он глядел умоляюще и ненавистно — все вместе. Я пополз на четвереньках, и на краю кузова Васюков подхватил меня и поставил на землю.— Все теперь! Уже все! — сказал он клетотно.

Он стоял лицом ко мне и к машине. Шапка сидела на нем задом наперед, и поверх нее я видел — совсем рядом — обындевевшую проволочную стену и зыбуче-миражные — потому что шел снег — сторожевые вышки. За ними, в далекой глубине, неясно различались какие-то приземистые постройки, похожие на наши обоянские клуни. От их приплюснутых желтовато-талых крыш всходил и метался под ветром густой, радужный пар, а вокруг построек, по замкнутому кругу, текла и водопадно шумела серая, плотно сбитая толпа на ших — я увидел и узнал их сразу, издали, одновременно с вышками и с проволочной стеной. Васюков тогда тоже оглянулся и увидел все сам, но я опередил его и крикнул:

— Коль! Наши! Видишь?

Он обернулся и зачем-то прикрыл мне рот ладонью. Немец пнул в нас стволом винтовки и озябло сказал: «Форвертс». За машиной у проволочной стены стояла невидимая нами до этого будка. Она тоже была белой от инея, и на часовом низались две шинели, одна короче другой. Он распахнул перед нами белые проволочные ворота, и мы с Васюковым побежали к постройкам — он впереди, а я сзади, и мне все время хотелось оглянуться назад, на немцев, — тут, на виду у своих, казалось, что я вижу их в последний раз...

— Братцы! Может, скажете, где мы находимся, а? Как называется это место, а?

Васюков спрашивал это на бегу, и наши что-то ответили перебойными голосами, и он обернулся ко мне и прокричал:

— Это Ржев, товарищ лейтенант! Ржев!..

В колонне наших не было пяди свободного пространства, потому что люди двигались, навалиясь на плечи и спины друг другу, и мы с Васюковым пристроились сбоку. Мне далеко виднелся валообразный полукруг своего фланга, и на какую-то кроху секунды я забыл про разведку боем, про рану и немцев: тут был не один и не два стрелковых батальона, и я оказался, как и положено при моих серебряных галунах, на отлете от строя. Я видел одновременно сотни людей, похожих друг на друга, потому что каждый одинаково ник и горбился под шинелью без хлястика, сцепив руки под грудью, и у всех поверх сапог и ботинок были намотаны обрывки какой-то ветоши. Колонна двигалась медленно. Она больше семенила на месте, рождая топотом ног какой-то ссыпно-обвальный гул. Неизвестно зачем я пошел вперед вдоль строя, и при каждом шаге у меня в спине ударами взрывалась боль.

— Товарищ лейтенант!

Я оглянулся. Васюков тоже держал опущенные по швам руки, и шапка на нем сидела правильно.

— Не надо, товарищ лейтенант!

У него были белые и пустые глаза, а губы выпячивались трубочкой и дрожали. Я не понял, о чем он просил меня, а узнавать не имело смысла. Мы приблизились к колонне и пошли рядом. Впереди, над широкими крышами четырех построек, похожих на клуни, как ковыль в засуху, метался не то пар, не то дым. Постройки стояли попарно, метрах в тридцати одна пара против другой, и колонна терялась в их проходе. Мы топтались на месте. Пологие крыши

«клубень» вызывали почти отрадное воспоминание о немировском сарае, и я спросил у Васюкова на ухо, что там такое. Он взглянул на меня пустыми глазами и поднял воротник моей шинели. Уцелевший в петлице кубарь сразу прилип к щеке, и я сместил его к губам, чтоб он оттаял. Васюков подступил к крайнефланговому пленному и спросил про постройки. У пленного свисала с плеча обледенелая и запаскуженная чем-то каска, подвязанная обмоткой. Васюков спросил его хорошо, как знакомого, и дотронулся до каски. Пленный диковато зыркнул на него и обеими руками схватился за плечи впереди идущего.

— Братики! Не давайте ему! Заступитесь, братики! — непутево заголосил он и лягнул Васюкова ногой, запеленутой в брезентовый лоскут.

В колонне заругались озлобленно и бессильно. Васюков раскосо взглянул на меня, а я отвернул воротник, чтобы виднелся кубарь, но в нашу сторону никто уже не смотрел, потому что мы отошли на свое прежнее место. В моем теле возились и ярились крысы — много крыс, и я ощущал не боль, а какую-то липкую и лютую мразь их живой тяжести. Мне хотелось прилечь прямо тут, где мы топтались, и я сказал о том Васюкову. Он поднял мой воротник, обхватил меня пониже раны, и мы пошли вдоль колонны к постройкам. Наверно, Васюков и сам мечтал о соломе, потому что не вынес неизвестности и вторично спросил, теперь уже у всех, кто мог слышать:

— Граждане, не знаете, что там такое, а?

Ему никто не ответил — не знали, может, о чем он, и Васюков пожаловался всем сразу:

— У меня командира ранило!

В колонне поинтересовались, куда мне угодило, и Васюков сказал. Его спросили, когда и где нас взяли, и он зачем-то назвал Волоколамск, а не Немирово, и что мы попали только вчера вечером. Кто-то отточенно-тонким голосом попытал, куда переехали из Кремля партия и правительство — в Самару или в Куйбышев, но Васюков этого не знал. Он, наверно, с умыслом толкнул меня локтем пониже раны, но мне хотелось лечь, а не охать, и я подогнул колени.

— В гроб мать! В сараях, говорю, что? — на крике спросил Васюков толпу, и ему сразу ответили:

— А то не сараи. То склады «Заготзерно».

— А теперь что там?

— Раненые да тифозники... Там, брат, жи-изня! Там

крыша и нары небось! — распевно и завистливо сказал кто-то.

Васюков не поднимал меня. Я лежал на спине и видел его одного. Мне было хорошо и отраднo лежать и высоко над собой видеть одного Васюкова. Нос у него сидел на боку, и щетина на лице топырилась щеткой и была белой, как у святого на картине, — обындевела. Он подождал, чтобы я полежал немного, потом присел передо мной на корточки.

— Все. Там, вишь, нары. Ты не рассолаживайся.

— Да я не рассолаживаюсь, — сказал я. — Полежу тут, и все пройдет. Ладно?

— В складе лучше пройдет. Там нары и крыша... Давай руки! — приказал Васюков, и в голосе его была растерянность и тревога.

Он понес меня на закорках, и мне хорошо виднелась желтая потечная крыша ближнего склада, курившаяся не то дымом, не то паром, черная, обшитая просмоленными досками стена, а под ней навалено-раздерганная поленница, отсвечивающая иссиня-белесым и матовым. Сразу я подумал про осиновые дрова — от них всегда не то дым, не то пар, но это были не дрова. Я толкнул Васюкова коленями и сказал, чтобы он поворачивал назад, к колонне. Он крикнул, чтобы я не рассолаживался, и выругался в бога. Он семенил, склоняясь почти до самой земли, оттого и не видел того, что различал я.

— Там мертвецы лежат! Голые! — сказал я под свои пинки ему в зад, и Васюков побежал зигзагами, то и дело выкрикивая:

— Сиди! Сиди!

У поленницы он споткнулся и выпустил мои руки.

Я съехал на землю, лег на спину и стал глядеть в небо. Минут через пять на нем обозначилось белое лицо Васюкова с большими белыми глазами, и он прокричал большим белым ртом:

— Это они от тифа, понял? Раненых тут ни одного нету!

Справа, метрах в тридцати, топотала и гудела, минуя нас, колонна пленных, и мне хотелось туда. Я сказал об этом Васюкову, но сам себя не услышал — голоса не было, он запал куда-то внутрь, в нарывную боль под лопаткой. Васюков решил, что мне надо пососать снег, и возле самой поленницы мертвецов зачерпнул его ладонью.

— Смочи горло! — крикнул он. — Слышишь?

Я перевалился на живот и спрятал лицо. Васюков разговаривал со мной, как с глухим, на крике в ухо но я слышал все — темный безъязыкий гул в колонне какой-то неумолчно-ровный шум в складе, будто там, как в спичечной коробке, сидел и возился обессилевший шмель слышал и ощущал удары своего сердца — «как молоток!» — слышал шепотную, про себя, на меня, матерщину Васюкова. Он приподнял и посадил меня, а сам присел на корточки спиной ко мне. Я обхватил его шею руками, и мы пошли, но не к колонне, а вдоль поленницы, в конец склада. Во всю его ширину там оказались двери-ворота, обросшие желтой, бугристой наледью. Через пазы створок наружу высывались обрывки шинелей, гимнастерок, нательного белья, и пробивались вялые струи не то дыма, не то пара. Не ссаживая меня, Васюков постучал кулаком в ворота. В складе возился шмель. Васюков подождал и постучал снова. Я висел на нем и глядел в сторону колонны. Сбито-плотная и серая, она колыхалась и гудела в каких-нибудь тридцати метрах от нас. Васюков толкнул ворота ногой и не удержался. Мы упали плашмя, и я остался лежать, а он поднялся, разогнался и плечом ударился в ворота. Потом еще и еще. То правым плечом, то левым.

— Откройте! Мать вашу в гроб! В причастие!

Я лежал и глядел в небо. Оно все сдвигалось и сдвигалось куда-то вбок, потом понеслось на меня и оказалось нашей Обоянью, только вместо тюрьмы на площади был амбар, и Маринка взяла меня за указательный палец, и мы побежали к нему...

Это мое видение пропало, когда от колонны подошел к нам коренастый, черноликий пленный в полуобгоревшем танкистском шлеме и грязной кавалерийской венгерке. Он сказал Васюкову, что без Тимохи двери не откроются, а меня спросил:

— Второй не успел сорвать, да?

Он спросил злобно, оскалив зубы, и я догадался, чем он — о моем оставшемся кубаре.

— Сволочи! Как чуть что — амуницию в канаву и под ополченца!

— Дура еловая! Не видишь, что человек ранен? мирно сказал ему Васюков. — Давай подмогни стучать!

— Тимоха так тебя стукнет, что костей не себе решь! — мстительно проговорил пленный и пошел к колонне.

Мне тоже хотелось туда, но говорить об этом Васюкову было незачем. Он несколько раз еще разгонялся и ударялся плечом о ворота. Там за ними возился и гудел шмель. Снег падал косо и стремительно, и я не мог уловить его ртом — тут была неветренная сторона.

— Давай руки,— сказал Васюков. Щетина на его лице еще больше побелела и вздыбилась.

Я повис на нем, и мы двинулись к колонне, как мне хотелось. Мы опять пристроились сбоку, и кто-то невидимый мне сказал одышным, дрожащим голосом — пожилой, видно, был:

— Вы бы, ребята, поменьше пили, а побольше закусывали. А то вишь оно как получается...

Васюков ругнулся и поглядел на меня длинно и мечтательно,— наверно, вспомнил про самогон и консервы в день моей свадьбы. Он спросил у всех ближних к нам, кто такой Тимоха и кем он тут служит. В колонне молчали, как молчат о чем-нибудь тайном или опасном.

— Говорю, Тимоха кем тут у вас, а?

Мне тогда снова захотелось полежать лицом в небо, и я не услышал, что ответили пленные Васюкову...

Я сидел у подветренной стены склада, рядом с тем штабелем. Наушники моей шапки были опущены, а тесемки завязаны мертвым узлом. Рот мне закрывал поднятый воротник шинели, и на кубаре намерзла большая круглая ледышка. Прямо передо мной, метрах в тридцати, топотала колонна. По узлу на тесемках шапки, по тому, как были укрыты полами шинели мои колени и как я полусидел-полулежал совсем рядом с поленницей, я догадался, что Васюков меня бросил, а сам, может, убежал уже! Мои руки были засунуты в карманы шинели — Васюков, конечно, засунул, навсегда, перед своим уходом, и я потянул их, чтобы пощупать пульс,— сам же говорил, что он у меня как молоток, а рана с гулькин нос! Я никак не мог стянуть свои шерстяные командирские перчатки — на кисти их туго зажимали застегнутые манжеты гимнастерки,— это тоже он, сволочь, зачем-то заправил, а сам...

Пульс бился. На обоих запястьях. Мне было жарко и хотелось пить, но снег не падал: ветер улегся, и небо расчистилось, и над кружевом проволочного забора рдело закатное солнце с двумя радужными столбами по бокам. Снега не было нигде, кроме запретных зон у сторожевых

вышек и еще рядом со мной, у пленницы. Тут он целел плотным настом, и лишь в нескольких местах в нем были протоптаны проходы-коридоры, и виделся наш с Васюковым зигзагообразный след. Из пленницы — и все почему-то вверх, в небо, — торчали синие скрюченные руки, а припавшие в одну сторону, к колонне, стриженные обледенелые головы светились медно, и мне казалось, что они звучат...

Пленный был в пилотке, натянутой чулком на лицо, и мою шапку тащил за макушку, отчего тесемки врезались мне в горло. Я боднулся, и пленный побежал к колонне. Были стылые, прозрачные сумерки: над предворотной будкой в небе обозначился ущербный месяц. Может, я первый из всех увидел тогда, как от ворот в глубь лагеря заковыляла на трех ногах белая лошадь. Она понуждалась к складу, у которого я сидел, но недалеко от пленницы попятилась назад, споткнулась и заржала — трудно и длинно, и к ней тогда половодно хлынула колонна пленных...

Это продолжалось долго — смятенная поваль, крики и стоны, — а потом появился Васюков. Полы его шинели были темными, и в руках он держал какой-то блестящий розовый пласт. Он окликнул меня, как вдогон, издали, и я приподнял руку.

— Тимоху искал, — рыдающе сказал он. — А после вот лошадиную легкую достал. Она совсем... теплая.

Когда я снова увидел Васюкова, месяца над предворотной будкой уже не было и колонна пленных почти не различалась. Васюков топал сапогами у моих ног, бил себя руками по бокам и кричал:

Ува-ува-ува-ва!
Ува-ва! Ува-ва!

Мне было жарко и хотелось пить.

От пленницы неслся колокольный звон.

Потом я увидел, как Перемот бежал впереди, а мы с Васюковым сзади, плечо к плечу, и у него влажно и сладко булькала под шинелью писанка, но я знал, что в ней ничего нету. Мы бежали по немировскому полю — красному от мака, а стояки с колючкой перед моим взводом были кружевно-белыми, и сторожевые вышки над ними тоже. Впереди ручья — там же минное поле! — стоял

и ждал нас по команде «смирно» капитан Мишенин, и я врезал перед ним сапогами и каким-то единственным, большим, круглым словом доложил ему обо всем сразу — о числе вражеских солдат, танков и минометов в Немирове, о медном кресте Перемота, о бумажнике немца с ромбом, шпалой и моим кубарем, о растерзанной пленными трехногой белой лошади и поленнице...

1961

УБИТЫ ПОД МОСКВОЙ

...Нам свои боевые
Не носить ордена,
Вам все это, живые,
Нам — отрада одна:
Что недаром боролись
Мы за Родину-мать.
Пусть не слышен наш голос,—
Вы должны его знать,
Вы должны были, братья,
Устоять, как стена,
Ибо мертвых проклятье —
Эта кара страшна.

А. Твардовский

1

Учебная рота кремлевских курсантов шла на фронт. В ту пору с утра и до ночи с подмосковных полей не рассеивалась голубовато-призрачная мгла, будто тут сроду не было восходов солнца, будто оно навсегда застряло на закате, откуда и наплывало это пахучее сумеречное лихо — гарь от сгибших там «населенных пунктов». Натужно воя, невысоко и кучно над колонной то и дело появлялись «юнкеры». Тогда рота согласно приникала к раздетой ноябрем земле, и все падали лицом вниз, но все же кто-то непременно видел, что смерть пролетела мимо, и извещалось об этом каждый раз по-мальчишески звонко и почти радостно. Рота рассыпалась и падала по команде капитана — четкой и торжественно напряженной, как на параде. Сам капитан оставался стоять на месте лицом к полегшим, и с губ его не сходила всем знакомая надменно-ироническая улыбка, и из рук, затянутых тугими кожаными перчатками, он не выпускал ивовый прут, до половины очищенный от коры. Каждый курсант знал, что капитан называет эту свою лозинку стеклом, потому что каждый — еще в ту, мирную, пору — ходил в увольни-

тельную с такой же хворостинкой. Об этом капитану было давно известно. Он знал и то, кому подражают курсанты, упрямо неся фуражки чуть-чуть сдвинутыми на правый висок, и, может, поэтому самому ему нельзя было падать.

Рота шла вторые сутки, минуя дороги и обходя притаившиеся селения. Впереди — и уже недалеко — должен быть фронт. Он рисовался курсантам зримым и величественным сооружением из железобетона, огня и человеческой плоти, и они шли не к нему, а в него, чтобы заселить и оживить один из его временно примолкших бастионов...

Снег пошел в полдень — легкий, сухой, голубой. Он отдавал запахом перезревших антоновских яблок, и роте сразу стало легче идти: ногам сообщалось что-то бодрое и веселое, как при музыке. Капитана по-прежнему отделяли от колонны шесть строевых шагов, но за густой снежной завесой он был теперь почти невидим, и рота — тоже как по команде — принялась добивать на ходу остатки галет — личный трехдневный НЗ. Они были квадратные, клеклые и пресные, как глина, и капитан скомандовал: «Отставить!» в тот момент, когда двести сорок ртов уже жевали двести сорок галет. Капитан направился к роте стремительным шагом, неся на отлете хворостину. Рота приставила ногу и ждала его, дружная, виноватая и безгласная. Он пошел в хвост колонны, и те курсанты, на кого падал его прищуренный взгляд, вытягивались по стойке «смирно». Капитан вернулся на прежнее место и негромко сказал:

— Спасибо за боевую службу, товарищи курсанты!

Рота угнетенно молчала, и капитан не то засмеялся, не то закашлялся, прикрыв губы перчаткой. Колонна снова двинулась, но уже не на запад, а в свой полутыл, в сторону чуть различных широких и редких построек, стоявших на опушке леса, огибаемого ротой с юга. Это сулило привал, но если бы капитан оглянулся и встретился с глазами курсантов, то, может, повернул бы роту на прежний курс.

Но он не оглянулся. То, что издали рота приняла за жилые постройки, на самом деле оказалось скирдами клевера. Они расселись вдоль восточной опушки леса — пять скирдов, — и из угла крайнего и ближнего к роте на волю, крадучись, прибивался витой столбик дыма. У подножия скирдов небольшими кучками стояли красноар-

мейцы. В нескольких открытых пулеметных гнездах, усталанных клевером, на запад закликающе обернули хоботки «максимы». Заметив все это, капитан тревожно поднял руку, останавливая роту, и крикнул:

— Что за подразделение? Командира ко мне!

Ни один из красноармейцев, стоявших у скирдов, не сдвинулся с места. У них был какой-то распущенно-неряшливый вид, и глядели они на курсантов подозрительно и отчужденно. Капитан выронил стек, нарочито заметным движением пальцев расстегнул кобуру ТТ и повторил приказание. Только тогда один из этих странных людей не спеша наклонился к темной дыре в скирде.

— Товарищ майор, там...

Он еще что-то сказал вполголоса и тут же засмеялся отрывисто-сухо и вместе с тем как-то интимно-доверительно, словно намекал на что-то, известное лишь ему и тому, кто скрывался в скирде. Все остальное заняло не много времени. Из дыры выпрыгнул человек в короткополом белом полушубке. На его груди болтался невиданный до того курсантами автомат — рогато-черный, с ухватистой рукояткой, чужой и таинственный. Подхватив его в руки, человек в полушубке пошел на капитана, как в атаку — наклонив голову и подавшись корпусом вперед. Капитан призывно оглянулся на роту и обнажил пистолет.

— Отставить! — угрожающе крикнул автоматчик, остановившись в нескольких шагах от капитана. — Я командир спецотряда войск НКВД. Ваши документы, капитан! Подходите! Пистолет убрать.

Капитан сделал вид, будто не почувствовал, как за его спиной плавным полукругом выстроились четверо командиров взводов его роты. Они одновременно с ним шагнули к майору и одновременно протянули ему свои лейтенантские удостоверения, полученные лишь накануне выступления на фронт. Майор снял руки с автомата и приказал лейтенантам занять свои места в колонне. Сжав губы, не оборачиваясь, капитан ждал, как поступят взводные. Он слышал хруст и ощущал запах их новенькой амуниции — «прячут удостоверения» — и вдруг с вызовом взглянул на майора: лейтенанты остались с ним.

Майор вернул капитану документы, уточнил маршрут роты и разрешил ей двигаться. Но капитан медлил. Он испытывал досаду и смущение за все случившееся на виду курсантов. Ему надо было сейчас же сказать или сделать что-то такое, что возвратило и поставило бы его на преж-

нее место перед самим собой и ротой. Он сдернул перчатки, порывисто достал пачку папирос и протянул ее майору. Тот сказал, что не курит, и капитан растерянно улыбнулся и доверчиво кивнул на вороватый полет дымка.

— Кухню замаскировали?

Майор понял все, но примирения не принял.

— Давайте двигайтесь, капитан Рюмин! Туда двигайтесь! — указал он немецким автоматом на запад, и на его губах промелькнула какая-то щупающая душу усмешка.

Уже после команды к маршу и после того, как рота выпрямила в движении свое тело, кто-то из лейтенантов запоздало и обиженно крикнул:

— А вы думаете, куда идем? В скирды, что ли?!

В колонне засмеялись. Капитан оглянулся и несколько шагов шел боком...

Курсанты вошли в подчинение пехотного полка, сформированного из московских ополченцев. Его подразделения были разбросаны на невероятно широком пространстве. При встрече с капитаном Рюминым маленький, измученный подполковник несколько минут глядел на него растроганно-завистливо.

— Двести сорок человек? И все одного роста? — спросил он и сам зачем-то привстал на носки сапог.

— Рост сто восемьдесят три, — сказал капитан.

— Черт возьми! Вооружение?

— Самозарядные винтовки, гранаты и бутылки с бензином.

— У каждого?

Вопрос командира полка прозвучал благодарностью. Рюмин увел глаза в сторону и как-то недоуменно-неверяще молчал. Молчал и подполковник, пока пауза не стала угрожающе длинной и трудной.

— Разве рота не получит хотя бы несколько пулеметов? — тихо спросил Рюмин, а подполковник сморщил лицо, зажмурился и почти закричал:

— Ничего, капитан! Кроме патронов и кухни, пока ничего!..

От штаба полка кремлевцы выдвинулись километров на шесть вперед и остановились в большой и, видать, когда-то богатой деревне. Тут был центр ополченской обороны и пролегал противотанковый ров. Косообрывистый и глубокий, он тянулся на север и юг — в бескрайние, чуть

заснеженные дали, и все, что скрывалось впереди него, казалось угрожающе-таинственным и манящим, как чужая неизведанная страна. Там где-то жил фронт. Здесь же, позади рва, были всего-навсего дальние подступы к Москве, так называемый четвертый эшелон.

2

В северной части деревня оканчивалась заброшенным кладбищем за толстой кирпичной стеной, церковью без креста и длинным каменным строением. От него еще издали несло сывороткой, мочой и болотом. Капитан сам привел сюда четвертый взвод и, оглядев местность, сказал, что это самый выгодный участок. Окоп он приказал рыть в полный профиль. В виде полуподковы. С ходами сообщения в церковь, на кладбище и в ту самую пахучую постройку. Он спросил командира взвода, ясен ли ему план оборонительных работ. Тот сказал, что ясен, а сам стоял по команде «смирно» и изумленно глядел не в глаза, а в лоб капитана.

— Ну что у вас? — недовольно сказал капитан.

— Разрешите обратиться... Чем рыть?

Командир взвода спросил это шепотом. У капитана медленно приподнялась левая бровь, и от нее наискось через лоб протянулась тонкая белая полоска. Он качнулся вперед, но лейтенант поспешно сам ступил к нему навстречу, и капитан сказал ему почти на ухо:

— Хреном! Вас что, Ястребов, от соски вчера отняли?

Алексей сразу не понял смысла сказанного капитаном. Он лишь уловил в его голосе приказ и выговор, а на это всегда надо было отвечать одним словом, и он сказал: «Есть!»

— Окоп отрыть к шести ноль-ноль! — строго напомнил капитан и пошел вдоль улицы — прямой, высокий и в талии как рюмка. Через несколько шагов он вдруг обернулся и позвал:

— Лейтенант!

Алексей подбежал.

— Взвод разместите в крайних семи домах. Спросите там лопаты и кирки. Ясно?

Взвод перекуривал у церкви. Алексей отозвал в сторонку своего помощника и отделенных и слово в слово передал им приказ капитана. Он сохранил все оттенки его голоса, когда спрашивал, ясен ли план оборонительных

работ. Любой из этих пяти курсантов сразу и навсегда обрел бы в нем тайного друга, если б задал вопрос, чем рыть окоп. Тогда все повторилось бы — от хрена с соской до лопат и кирок — и горячая тяжесть стыда перед капитаном оказалась бы поделенной с кем-то поровну. Но помкомвзвода сказал:

— Рыть так рыть. Третье отделение, живо по хатам шукать ломы и лопаты, пока другие не захватили!

И через час четвертый взвод рыл окоп. Полуподковой. В полный профиль. С ходами сообщения в церковь, на кладбище и в опустевший коровник. Только на этот срок и хватило Алексею досады и горечи от разговора с капитаном. У него снова и без каких-либо усилий образовался прежний порядок мыслей, чувств и представлений о происходящем. Все, что сейчас делалось взводом и что было до этого — утомительный поход, самолеты, — все это во многом походило на полевые тактико-инженерные занятия в училище. Обычно они заканчивались через три или шесть дней, и тогда курсанты возвращались в казармы и учебные классы, где опять начиналась размеренно-скучная жизнь с четкой выправкой тела и слова, с тревожно-радостной, никогда не потухающей мечтой об аттестации. Дальше этого не избалованный личным напряжением мозг Алексея отказывался рисовать что-либо определенно зримое.

В то, что он уже две недели как произведен в лейтенанты и назначен командиром взвода, Алексей верил с большим трудом. Временами ему казалось, что это еще не взаправду, это только так, условно, как на занятиях, и тогда он тушевался перед курсантами и обращался к ним по имени, а не так, как было положено по уставу.

С еще более нечетким и зыбким сознанием воспринималась им война. Тут он оказывался совершенно беспомощным. Все его существо противилось тому реальному, что происходило, — он не то что не хотел, а просто не знал, куда, в какой уголок души поместить хотя бы временно и хотя бы тысячную долю того, что совершалось, — пятый месяц немцы безудержно продвигались вперед, к Москве... Это было, конечно, правдой, потому что... потому что об этом говорил сам Сталин. Именно об этом, но только один раз, прошедшим летом. А о том, что мы будем бить врага только на его территории, что огневой залп нашего любого соединения в несколько раз превосходит чужой, — об этом и еще о многом, многом другом, непоколебимом

и неприступном, Алексей — воспитанник Красной Армии — знал с десяти лет. И в его душе не находилось места, куда улеглась бы невероятная явь войны.

Окоп был открыт к установленному сроку. Только ход сообщения в церковь вывести не удалось: двухметровой толщины каменный фундамент уходил куда-то в преисподнюю. Помкомвзвода предложил пробить в фундаменте брешь связкой гранат, но Алексей сказал, что на это нужно разрешение капитана.

Утро наступило немного морозное, сквозное и хрупкое, как стекло. Прямо над деревней стыло мерк месяц. Первый снег так и не растаял. За ночь он слежался в тонкий и гладкий, как бумага, пласт. К ротному КП Алексей пошел по задворкам, ненужно далеко обойдя кладбище, — снег тут был нетронуто чист, и он осторожно и радостно печатал его новыми сапогами, и они казались ему особенно уютными и фасонистыми. «В хромовых бы сейчас! Я их еще ни разу не надевал...»

Командный пункт размещался в центре деревни в кокетливом деревянном домишке под железной крышей. Над его крыльцом висел бурый лоскут фанеры с чуть проступавшими синими отечными буквами: «Правление колхоза «Рассвет». Связной курсант доложил Алексею, что капитан только что ушел в третий взвод.

— Это на левом фланге, — вдруг с начальническим видом объяснил он, но, смущенный своим тоном, тут же добавил: — А ваш правый, товарищ лейтенант...

Алексей снова вышел на задворки, неся в себе какое-то неумемное притаившееся счастье, — радость этому хрупкому утру, тому, что не застал капитана и что надо было еще идти и идти куда-то по чистому насту, радость словам связного, назвавшего его лейтенантом, радость своему гибкому молодому телу в статной командирской шинели — «как наш капитан!» — радость беспричинная, гордая и тайная, с которой хотелось быть наедине, но чтобы кто-нибудь видел это издали. Он шел мимо обветшалых сараев, давно, видать, заброшенных и никому не нужных, и в одном из них, горбатым и длинным, как рига, еще издали заметил настежь распахнутые ворота, а в их темном зеве — неяркий свет не то фонаря, не то костра. Алексей направился к сараю и в глубине его увидел кухню с разведенной топкой, облепленную засохшей грязью полуторку, старшину и несколько курсантов из первого взвода. Ни кухни, ни полуторки на марше не было, но у Алексея даже не возник

вопрос, откуда они появились, и, не расставаясь со своим настроением, он громко и весело крикнул:

— Здравия желаю, товарищи тыловики!

Ему ответили сдержанно, по-уставному,— старшина тоже, и из-за кузова полуторки вышел капитан. Он опять был с хворостинкой и застегнут и затянут так, словно никогда не раздевался. Он козырнул Алексею издали, какую-то долю секунды подержал поднятой левую бровь и сказал:

— Старшина! Четвертый взвод получает еду первым, третий — вторым, а первый — последним. Лейтенант! Возьмите здесь каски для взвода и три ящика патронов. Сообщите об этом лейтенанту Гуляеву. Окоп готов?

Алексей доложил. Подорвать фундамент церкви капитан не разрешил. По его мнению, четвертый взвод должен беречь свои гранаты для других целей.

Соседом слева у Алексея был второй взвод. Его окоп извилисто пролегал в глубь деревни на виду противотанкового рва. На стыке взводов в кольце голых осин одиноко стояла опрятная, побеленная снаружи изба, за десяток шагов еще пахнувшая простоквашей — когда-то тут был сепараторный пункт. Командира второго взвода Алексей нашел в этой избе: тот заканчивал банку супа в томатном соусе.

— И пуля попэ-эрла по каналу ствола! — остановившись у порога, сказал Алексей, подражая преподавателю внутренней баллистики в училище майору Сучку. Они несколько минут хохотали, не сходясь еще, мимикой и жестами копируя движения и походку чудакватого майора, потом разом подобрались, вспомнив о своих званиях, и Алексей сказал о кухне, касках и патронах.

— Вам все ясно, лейтенант Гуляев?

— Ясно,— солидно отозвался Гуляев.— Сейчас пошлю получать. Второй взвод не задержится, это вам не какой-нибудь там четвертый.

— При отступлении тоже?

— Русская гвардия никогда не отступала, лейтенант Ястребов! Пошли, покажу свое хозяйство.

На крыльце надо было зажмуриться. Снег не блестел, а сиял огнисто, переливчато-радужно и слепяще — солнце взошло прямо за огородами деревни. Свет все нарастал и ширился, и вместе с ним, по рву, в деревню накатно, туго и плотно входил рокот. Алексей и Гуляев обогнули

угол избы. Впереди рва, пока хватало глаза, пустынно сиял снег, и на нем нарисованно голубел лес, а ближе и левее чуть виднелось какое-то селение.

— Самолеты! — сказал Гуляев. — Видишь? На четырех пальца правее леса гляди... Ну?

— Это галки там, — не сразу, но слишком своим голосом сказал Алексей, а рокот уже перерос в могучий рев, и теперь было ясно, что лился он с неба. Самолеты и в самом деле шли кучной и неровной галочьей стаей; они увеличивались с каждой секундой, и круги пропеллеров у них блестели на солнце, как матовые зеркала. Их было не меньше пятидесяти штук. Каждый летел в каком-то странном ныряющем наклоне, с растопыренными лапами, с коричневым носом и отвратительным свистящим воем.

— Заходят на нас! — почти безразлично сказал Гуляев, и Алексей увидел его мгновенно побелевший, совершенно обескровевший нос и сам ощутил, как похолодело в груди и сердце резкими толчками начало подниматься к горлу.

— Пошли по взводам? — спросил он у Гуляева. Тот кивнул, и каждый подумал, что не побежит первым. Они пошли под осинами томительно медленно, но бессознательно тесно, и оба были похожи на людей, застигнутых ливнем, когда укрываться негде и не стоит уже. Рев в небе превратился к тому времени в какую-то слитную чугунную тяжесть, отвесно падающую на землю, и в нем отчетливо слышался прерывистый шелест воздуха. Упали они одновременно, плашмя, под одной осиной, и мозг каждого одновременно отсчитал положенное число секунд на приближение шелестящих смертей. Но удара не последовало. Наверное, они одновременно открыли глаза, потому что разом увидели метавшиеся по снегу, по осинам и по ним самим лохматые сумеречные тени от пролетавших самолетов. И они разом поднялись на ноги, и Гуляев устало сказал:

— На Клин пошли...

У него по-прежнему был белый и острый, как бумажный кулечек, нос. Не сводя с него глаз, Алексей сказал шепотом:

— Ну, я пойду к себе, Сашк.

— Ну, пока, Лешк. Заглядывай.

Через час над деревней к востоку прошла новая группа самолетов. Потом еще, еще и еще. Капитан распорядился не дразнить их оружием огнем: деревню населяли молчаливые женщины да дети, и нужно было попрягать их в убежище. Землянки для них предполагалось рыть на окраине, но бабы ни за что не хотели вылезать из погребов, расположенных во дворах.

Всякий раз, когда самолеты скрывались и наступала расслабляющая тишина, земля еще долго сохраняла в своих глубинах чуть осязаемую зябкую дрожь. Это было особенно заметно в окопе, и тогда почему-то хотелось зевать и тело непроизвольно льнуло к стенке окопа. В такие межсамолетные паузы из сверкающей дали лениво прикатывались заглушенные обвальными взрывами: где-то там впереди по-живому ворочался и стонал фронт.

Четвертый взвод маскировал, прихорашивал и обживал свой окоп. Желто-коричневый гребень бруствера присыпали снегом, дно устлало соломой, в передней стенке нарыли печурок и углублений. Для Алексея курсанты оборудовали что-то похожее на землянку, только без наката и насыпи, но со множеством замысловатых по форме ниш — помкомвзвода разложил там гранаты и расставил бутылки с бензином. Все тут: приглаженно ровный козырек бруствера, отшлифованно-четкий срез стен, какой-то русско-византийский овал печурок и ниш — все это было сделано и отделано с тем сосредоточенным старанием, которое полностью исключает чувство тревоги и опасности. Видно, оттого окоп и не выглядел так, как положено на войне: в нем было что-то затаенно мирное и почти легкомысленное.

Во второй половине дня самолеты не появлялись, но оттуда, где синей извилиной лес призрачно намечал зыбучую кромку горизонта, в окопы все чаще и явственней доносился раздерганно-клочковатый гул. Временами, когда гул спадал, можно было расслышать протяжные и слитные звуковые вспышки, словно кто-то недалеко и скрытно разрывал на полосы плащ-палатку.

Прекратилось это внезапно, сразу. А часа через полтора от опушки леса начали отрываться и двигаться по полю темные точки. С каждой минутой их становилось все больше и больше, и было уже ясно, что это люди, но

шли они как-то зигзагами, рассеянно, мелкими кучками и поодиночке.

— Товарищ лейтенант! Видите? — тревожно и радостно крикнул Алексею кто-то из курсантов.— Может, это ихние диверсанты просочились? Подпустим? Или как?

В разрыве леса и чуть видимого селения висело лохматое закатное солнце, похожее на стог подоженной соломы. Смотреть вперед можно было лишь сквозь ресницы, и все же Алексей угадал своих. С в о и были у людей походки, с в о и шинели, с в о и каски и шапки.

— Это наши, славяне! — разочарованно сказал помкомвзвода, и Алексей чуть не спросил у него — откуда это они так? На виду рва бредшие по полю сошлись вместе и построились в колонну по три. В строю людей казалось совсем немного — не больше взвода, и они долго почему-то стояли на месте, совещаясь, видно, потом разделились на четыре группы и пошли к деревне, сохраняя дистанцию и забирая в сторону окопа четвертого взвода. Еще утром, возвращаясь от Гуляева, Алексей заметил в скосе противотанкового рва напротив коровника небольшой оползень. Его надо было скрыть и почистить, но он забыл о нем, и теперь незнакомые бойцы избрали это место для прохода через ров.

Первым по оползню выбрался невысокий человек в темной командирской шинели. Оглянувшись на окоп, он припал на колени и начал кого-то тянуть к себе то ли за ремень, то ли за конец палки. Алексей вызвал двух курсантов и пошел ко рву. У того, что стоял там на коленях, в выцветших черных петлицах алели капитанские шпалы, и тащил он из рва за ствол винтовки грузного пожилого красноармейца в непомерно широкой шинели. Узенький брезентовый ремень опоясывал бойца чуть ли не ниже бедер, и это, возможно, мешало ему переступать ногами: ухватившись за винтовку, он откидывался назад, повисая над уклоном всем корпусом, и сразу же начинал раскачиваться из стороны в сторону, как маятник.

— Разрешите помочь, товарищ капитан! — сказал Алексей. Капитан молча кивнул и судорожно переложил оголенные руки на стволе винтовки, освобождая место. Алексей потянул за винтовку, и красноармеец мелкими спутанными шагами пошел вверх. У него было по-женски белое и круглое лицо без признаков растительности; старенькая пилотка нелепо сидела поперек бритой головы, и, подымаясь, он как-то болезнен-

но-брезгливо глядел куда-то мимо капитана и Алексея.

— Ногами работай, друг! Ногами! — посоветовал один из курсантов. Стоявшие внизу бойцы сдержанно засмеялись, а Алексей спросил капитана:

— Он ранен?

— Нет,— сквозь зубы сказал капитан.

— А что же?

— Ну... не может... Не видите, что ли?

Очутившись наверху, красноармеец отошел в сторонку и обиженно отвернулся, закинув руки за спину. Остальные бойцы преодолели ров легко и споро, подпирая друг друга прикладами. Без команды, они торопливо построились на краю рва и остались стоять там, переговариваясь полупшепотом. Капитан спросил, чья у него винтовка, и из строя вышел маленький боец, увешанный по бокам вещмешком и противогазной сумкой. Винтовку он взял у капитана рывком, будто отнял, и сразу же кинулся назад, к своим. Пониже спины в его шинели виднелась большая округлая дырка с обуглившимися краями, и на ходу боец все пытался прикрыть прожог ладонью.

Если б капитан сразу же приказал своему отряду двигаться, у Алексея не возник бы вопрос, откуда и куда он идет. Но капитан долго и старательно вытирал руки подолом шинели, хотя были они чистые, и то и дело поглядывал в сторону обособленно стоявшего красноармейца. Тот по-прежнему смотрел куда-то за окоп, и ремень на нем совсем съехал вниз. «Наверно, вестовой его,— решил Алексей,— мне бы с ним минут сорок заняться попластунски!..» К бойцам, тихо стоявшим в строю, из окопа начали подходить курсанты со своими СВТ. Алексей заметил, как испытующе-тревожно поглядел на них капитан, и неожиданно для самого себя спросил:

— Откуда вы идете, товарищ капитан?

Тот опять взглянул на одинокого красноармейца и не ответил. Алексей подвинулся к курсантам и повторил вопрос.

— Мы вышли из окружения! — озлобленно сказал капитан и носком сапога сбил комок глины в ров.— И нечего нас тут допрашивать, лейтенант! Накормите вот лучше людей! Двое суток, черт бы его драл...

— Почему вы сюда... Где фронт? — торопясь и все больше пугаясь чего-то непонятного, перебил Алексей, и в наступившей тогда тишине к нему тяжело пошел безоружный красноармеец.

— А ты где находишься? Ты не на фронте? Где ты находишься? А? — не вынося из-за спины рук, кидал он под свой шаг гневным, устоявшимся в обиде голосом. Алексей едва ли сознавал, зачем он пошел навстречу красноармейцу и почему спрятал руки в карманы шинели. Он столкнулся с ним грудь с грудью и, задохнувшись, визгливо выкрикнул за два приема:

— Где ваша... винтовка, товарищ боец?!

— Я воевал не винтовкой, а дивизией, лейтенант! — тоже фальцетом крикнул красноармеец и стал по команде «смирно». — Приведите себя в порядок! Как стоите? Я генерал-майор Переверзев! Кто у вас старший? Что за подразделение? Проведите меня к своему командиру!

Забыв отступить и только качнувшись назад, Алексей вытянулся и расправил плечи, как на учебном плацу. За какую-то долю секунды стоявший перед ним человек преобразился в его глазах полностью и совершенно — в нем все теперь казалось ему иным, большим, генерал-майорским, кроме ремня, шинели и пилотки, и, вспомнив, как он переходил ров, Алексей враз постиг и поведение капитана, и почему бойцы не помогли ему снизу прикладами, а после стояли в стороне и переговаривались шепотом... Не сходя с места, Алексей крикнул через плечо:

— Помкомвзвода! Проведи товарища генерал-майора к капитану!

— Сам пойдешь! — сказал Переверзев, и Алексей пошел с левой ноги строевым шагом, тесно прижав руки к бокам. Следом за ним двинулся генерал-майор, потом капитан и бойцы. Миновав окоп своего взвода и выйдя на улицу, Алексей еще издали увидел капитана Рюмина: он стоял у сепараторного пункта и что-то объяснял Гуляеву, показывая лозинкой то на осины, то на окопы и ров. Заметив подходивших, капитан выжидающе поднял лицо, а Алексей пошел как под знаменем, вскинув к голове руку.

О генерал-майоре он докладывал путано, и с каждым его словом у капитана Рюмина все выше приподнималась левая бровь. Как зачарованный, он смотрел на ремень Переверзева и вдруг побледнел и сказал чуть слышно:

— Предъявите ваши документы!

— Я попрошу не здесь, — увялым баском сказал Переверзев.

Рюмин повернулся к нему спиной и приказал Алексею:

— Назначьте себе связного! Вы не должны каждый раз отлучаться... Ваше место во взводе, лейтенант!

4

Вечером капитан вызвал к себе командиров взводов и приказал им выдвинуть за ров по одному отделению. Курсанты там должны встречать и направлять в обход своих окопов всех, кто будет идти от леса.

— Всех в обход! — сказал капитан. — В разговоры ни с кем из них не вступать! Бойцам и командирам объяснять, что переформировочный пункт и госпиталь, куда они направляются с фронта, находятся в четырех километрах правее и сзади нас.

В четвертый взвод капитан пришел почти вслед за Алексеем и, не спускаясь в окоп, долго стоял молча, не то вслушиваясь, не то вглядываясь в то, что смутно проступало впереди рва. Было тихо. Луна взошла, задернутая желто-коричневой пеленой, и стало еще тягостнее и тревожнее от ее мутно-бутылочного света и оттого, что в деревне начали кричать еле слышными подземельными голосами петухи, — в погребках, видно, сидели. Алексей стоял в шаге от капитана, непроизвольно вытягиваясь в струнку, и, не глядя на него, капитан сказал:

— Бросьте тянуться, Ястребов! Вы не на экзамене... Кстати, что вам говорил о фронте... красноармеец Переверзев?

Пачка «Беломорканала» слежалась лепешкой, и Алексей никак не мог ухватить сплюснутый мундштук папиросы. Он хотел предложить капитану папиросу, но не сделал этого и закурил без его разрешения. Он молчал, затягиваясь до тошнотворной рези в груди, и тогда капитан спросил еще:

— Курсанты все слышали?

— Все, — сказал Алексей. — Генерал-майор...

— Хорошо, — перебил капитан. — Объясни, пожалуйста, взводу, что это был не генерал, а боец... Контуженный. Установил это я сам. Понимаешь?

— Я все понял, — негромко сказал Алексей, с какой-то обновленной преданностью глядя в глаза Рюмина.

— Обстановка не ясна, Алексей Алексеевич, — неожиданно и просто сказал капитан. — Кажется, на нашем направлении прорван фронт... — И все тем же, немного не своим и немного не военным, тоном капитан сказал,

что ночью за ров пойдет разведка и что от штаба ополченского полка должны тянуть сюда связь и должны подойти соседи слева и справа. Ушел Рюмин тоже не по-своему — он не приказал, а посоветовал выставить за кладбищем усиленный пост, порывисто сжал руку Алексея и легонько толкнул его к окопу.

До полночи от невидимого леса мимо деревни прошло до батальона рассеянной пехоты, проехали несколько всадников и три повозки. Все это двигалось в сторону, где, по словам капитана Рюмина, находился переформировочный пункт: отступающие наталкивались в поле на посты курсантов, забирали вправо, и рядом с ними по полю волочились длинные четкие тени. Все это время Алексей был в окопе с дежурным отделением, и когда скрылись повозки и поле очистилось от их копнообразных теней, он решил ничего не говорить курсантам о красноармейце, выдавшем себя за генерала. К чему? Теперь и без контуженых все было ясно...

В половине третьего из-за рва возвратились наряды, а ровно в пять капитан отдал приказ привести взводы в боевую готовность. «Наверное, вернулась разведка!» — подумал Алексей, и с него мгновенно слетела та продроглоцепенящая усталость, которая обволакивает человека в зимнюю бессонную ночь. Почти бессознательно он надел каску, затянул на одну дырочку поясной ремень и только после этого распорядился поднять по тревоге остальные отделения, отдыхающие в крайних избах.

Еще днем курсанты плотно утоптали и приноровили к собственному характеру и к оружию свои места в окопе, — тогда каждый был друг от друга на расстоянии в полметра. Теперь же все пятьдесят два человека образовали слитную извилистую шеренгу и, толкаясь локтями и гремя винтовками, не думали разойтись попросторнее. Может, каски, а может, лунный полусвет делали курсантов противоестественно высокими и обманчиво загадочными. Они повозились и разом затихли, обернув стволы винтовок в стылую сумеречь рва и поля. В деревне в это время начали дымиться трубы — украдкой, через две-три хаты, и в окопах запахло хвоей, жареным луком и картошкой. Как удар, Алексей ощутил вдруг мучительное чувство родства, жалости и близости ко всему, что было вокруг и рядом, и, стыдясь больно навернувшихся слез, он крикнул исступленно, с непонятной обидой и злостью ко всему тому, над чем только что чуть не плакал:

— Рассредоточиться, черт возьми! Всем по своим местам!

Команда была выполнена немедленно и молча, и в чуткой предутренней тишине из погребов опять пробились петушинные голоса. Кто-то из курсантов сказал мечтательно, в сладком молодом потяге:

— Сейчас бы кваску покислей да... рукавичку потесней! А-ахх! — И вокруг озорно и сочувственно засмеялись.

За деревней помаленьку светлело небо, и в той его части розово мигали и гасли звезды. У сепараторного пункта стали проглядываться верхушки осин. Повернув кудлатые головы к ветру, на них сидели вороны, и в улицу падал их резкий простылый крик, — наступало утро. Алексей изо всех сил боролся с дремотой, и было невозможно унять мелкую трепетную дрожь мышц, и поминутно надо было ходить по малой нужде. Он стоял спиной ко рву, когда несколько курсантов разнобойно крикнули: «Стой, кто идет?» От пролаза во рву к окопу не спеша шел широкий приземистый человек в хитро надетой шапке — один ушной клапан был опущен, а другой поднят вверх, и винтовку человек нес по-охотничьи, стволом в землю, и было ясно, что это свой, и окликали его для порядка, о чем он, видно, хорошо знал, потому что не останавливался и не отзывался. Подойдя к брустверу и оглядев окоп, красноармеец напевно сказал:

— Ну во-от. Не шибко прилаживался, а хорошо попал. Пер, пер по этой вашей канаве, а тут гляжу — маковка церковная...

Он выглядел за сорок — возраст, на взгляд курсантов, уже стариковский, и у него было поранено ухо, темневшее комком запекшейся крови. Он сел в окопе у ног Алексея на свою противогазную сумку, и она даже не поморщилась под ним — до такой степени оказалась набитой каким-то солдатским хозяйством. Его никто ни о чем не спрашивал, и он сам сказал о своем ухе:

— Прикроешь шапкой — и сразу нудить начинает. А на холоде вроде ничего...

— Перевязать надо, — морщась, сказал Алексей — Чем это вас?

— Осколком. Как перепел: фрр — и ни его, ни уха. Даже не почувял.

Он улыбнулся, но как-то больно, одной стороной лица, и помкомвзвода спросил тогда:

— У вас командиром дивизии был не генерал-майор Переверзев?

— Этого не знаю, брат,— ответил боец.— С начальством я знаком мало. А что?

— Товарищ генерал на полсутки пораньше тебя переправился тут,— баском сказал кто-то из курсантов.

— Ну, большой меньшего в таких делах не дожидается,— назидательно рассудил боец.— Что ему: голова на плечах, шапка небось нахлобучена на оба уха...

— Он в красноармейской пилотке... и в шинели без петлиц,— опять сказал тот же курсант, но уже с особой интонацией в голосе.

— Да ну? — бесстрастно, для вида, удивился раненый. И, помолчав, добавил: — Выходит, недавно человек ослеп, а уже ничего не видит... Нас там хотя и полегла тьма, но живых-то еще больше осталось! Вот и блуждаем теперь... А он вроде того мужика — воз под горой лежит, зато вожжи в руках...

— Ну, вот что, нечего тут,— растерянно сказал Алексей.— Кончай разговоры. Всем по местам!

Курсанты снова четко и молча выполнили приказание, а боец, только теперь разглядев кубари Алексея, начал было привставать с сумки, но раздумал и больно улыбнулся одной стороной лица.

— Тут горе вот какое, товарищ командир,— виновато заговорил он, косясь на нишу, где синели бутылки с бензином.— Ведь танку в лоб не проймешь такой поллитрой! Тут надо ждать, куда она репицу свою подставит тебе... Мотор там у нее спрятан, вот штука-то! А тогда уже поздно бывает — окопы распаханы, люди размяты... Что делать-то будем, а?

— Вы давайте в госпиталь! Это вон в том направлении,— строго сказал Алексей и зачем-то загородил собой нишу.

— А может, мне у вас остаться? — спросил боец.— Ухо мое и без докторов присохнет.

— Давайте в госпиталь! — повторил Алексей.— У нас вам оставаться нельзя. Мы...— и не сказал, что хотел. Боец насмешливо оглядел его с ног до головы, встал и разом вскинул на плечи винтовку и сумку.

— Ну что ж... Тогда пошли кургузка, недалеко до Курска, семь верст отъехали, семьсот ехать! — стихом проговорил он и умеючи вылез из окопа.

В десятом часу к четвертому взводу — тоже, видать, на

церковную маковку — от леса петляюче и осторожно поползли два грязно-серых броневика. Еще на середине поля они немного разъехались в стороны, и к деревне беззвучно и медленно потянулись от них разноцветные фосфоресцирующие трассы. Пули воробьиной стаей прочирикали над окопом, и потом уже долетел слитный стрекот пулеметов и стал натужнее вой моторов, — броневики на малых скоростях закружили на месте.

Алексей не спеша обнажил пистолет и перестал дышать. Вот они, немцы! Настоящие, живые, а не нарисованные на полигонных щитах!.. Ему было известно о них все, что писалось в газетах и передавалось по радио, но сердце упрямялось до конца поверить в тупую звериную жестокость этих самых фашистов; он не мог заставить себя думать о них иначе как о людях, которых он знал или не знал — безразлично. Но какие же эти? Какие? И что сейчас надо сделать? Подать команду стрелять? «Нет, сначала я сам. Надо все сперва самому...»

С локтя, в напряженном ожидании какого-то таинства, Алексей дважды выстрелил из пистолета в тупое рыло одного и второго броневика, сразу же взвод ахнул залпом, а дальше выстрелы посыпались в самозабвенной торопливой ярости, и Алексей опять начал прицельно бить — раз по одному броневику, раз — по второму. Не отвечая, броневики развернулись и помчались к лесу.

И только тогда Алексей понял, что стрелять было нельзя, и поглядел вдоль окопа. У курсантов возбужденно блестели под касками глаза; они молча и спешно наполняли магазины патронами.

— Вот врезали! Правда, товарищ лейтенант? — У помкомвзвода блестели зубы и трепетали ноздри.

— Сейчас нам капитан не так за это врежет, — сказал Алексей, заглядывая в ствол теплого пистолета. — Это ж разведчики были, а мы обнаружили себя раньше времени.

— Ну и черт с ними! Пускай знают!

— Что «знают»? — невольно входя в роль капитана, спросил Алексей.

— А все! — вызывающе сказал помкомвзвода. — Подумаешь! Пускай знают! Не прятаться же нам в скирды! Пускай знают!

Алексей помолчал и сказал:

— Ну пускай. Давай хлопочи насчет кормежки людей. Десятый час уже.

Вскоре во взвод пришел политрук роты Анисимов — тихий сутуловатый человек с большими молящими глазами. Курсанты давно знали, что у него катар желудка, и всем казалось, что ему постоянно нехорошо и больно, и всем становилось легче и веселее, когда он кончал политинформацию и уходил. Как-то весной еще Анисимов сказал на политзанятиях, что Англия наконец-то потеряла свое бывшее мифическое значение на морях и океанах. Он произнес это неуверенно и смущенно, и с тех пор курсанты называли его «мифическим значением».

Анисимов неловко сполз в окоп и спросил почти жалобно:

— Ну что, Ястребов, не подбили?

Наверное, его мутило — сине-желтый был, а глаза черные, круглые, просящие участия. Виновато и сострадательно глядя в них, Алексей негромко сказал:

— Задымил один, товарищ политрук...

— Ага! Вы их бронебойно-зажигательными?

— Наполовину с простыми. А первый, по-моему, задымил... Точно.

— Ну, пусть знают!

Анисимов сообщил взводу о результатах ночной курсантской разведки — деревня, что впереди, занята противником. Он призвал кремлевцев к стойкости и сказал, что из тыла сюда тянут связь и подходят соседи.

5

Погода испортилась внезапно. На окоп то и дело сыпалась дробная льдистая крупа, и каски звенели у всех по-разному. По-разному — то мягко-заглушенно, то резко-отчетливо — далеко за кладбищем прослушивался налетный, волнами, громовой гул, и тогда каски округло и медленно поворачивались туда, вправо. Политрук все не уходил, а на завтрак был плов, и неплотно прикрытый котелок Алексея давно стоял в нише и остывал каким-то нестерпимо томительным духом. «Гуляев небось не постеснялся бы. У того хватило б смелости и при капитане пожрать,— обиженно подумал Алексей,— а это «значение» до вечера может сидеть тут. Что ему? У него катар!» Тогда Анисимов, все время клонивший ухо к низовому отдаленному грохоту справа, сказал: «Да!» Сказал убежденно и потерянно, как нечаянно открывший что-то ненужное, и в эту минуту высоко над церковью ломко и сочно разор-

вался пристрелочный снаряд. Неколебимо, как приклеенное, в небе повисло круглое черное облако, а немного погодя рядом с ним и все с тем же характерным чоком образовались еще два дегтярных пятна.

— Это шрапнель? — спросил Алексей. Анисимов, стоявший рядом, трижды зачем-то хрумкнул кнопкой планшетки и не ответил: воздух пронизал тягучий, с каждым мигмом толстеющий вой, пересекший окоп и оборвавшийся где-то за коровником резко, облегченно, рассыпчато. И сразу же, еще над полем за рвом, возникли тонкие жала новых запевов. Как невидимая игла, звук сразу же впиался в темя, сверлил череп, придавливая голову вниз, и ничего нельзя было поделаться, чтобы не присесть и не зажмуриться в момент его обрыва. Это проделывали в окопе все — мерно, слаженно и молча, как физзарядку, и стволы винтовок на бруствере то приподнимались, то выпрямлялись, и никто из курсантов не оборачивался назад, туда, где рвались мины...

Через дворы и улицу линия взрывов медленно подвигалась ко рву. За гуляевским взводом большой ковылиной вырос и вверху пышно завился белый с желтыми прожилками дымный ствол. Из-под руки взглянув на него, Анисимов как-то отрешенно полез из окопа, но Алексей бессознательно-властно потянул его за хлястик назад. Они на мгновение встретились глазами, и, приседая на дно окопа — над ними близко взвыло, — Анисимов торопливо сказал:

— Хорошо. Я останусь с вами, но командовать будете вы. Прикажете убрать сверху винтовки. Покорежит ведь...

То было первое боевое распоряжение Алексея, и хотя этого совсем не требовалось, он побежал по окопу, отрывисто выкрикивая команду и вглядываясь в курсантов — испытывают ли они при нем то облегчающее чувство безотчетной надежды, которое сам он ощущал от присутствия здесь старшего? Сразу же после его команды курсанты пружинисто садились на корточки спиной к внешней стене окопа, зажав между коленями винтовки, и, встречаясь с его взглядом, каждый улыбался растерянно-смущенно, одними углами губ — точь-в-точь как это только что проделал Алексей под взглядом политрука.

Мины падали теперь уже в нескольких шагах от окопа. Они взрывались, едва коснувшись земли, образуя круглые грязные логовца, и ни один осколок, казалось, не залетал

в окоп вслепую, дуром,— до того как удариться в бруствер или стенку, он какое-то время фурчал и кружился вверху, будто прилаживался, куда сесть. Пробегая по окопу под гнетущим излетным воем мин, Алексей каждую из них считал «своей» и инстинктивно держался поближе к той стене, в которую вжались курсанты. «Сейчас в меня.. В меня! В меня!» Он знал,— а может, только хотел того,— что каждый курсант испытывал то же самое, и это неразделимо прочно роднило его с ними.

На стыке окопа и хода сообщения к кладбищу Алексей затормозил бег, оглядев узкий извилистый паз хода. По нему и еще по тем двум, что уходили к церкви и коровнику, взвод мог одним рывком пересечь приближающийся к окопу минный вал. «Надо туда! Скорее туда!» Это не было решением. Это походило на внезапное открытие, когда в душу человека нежданно врывается что-то радостно большое, живое и победное. Жарким, никогда собой не слыханным голосом Алексей пропел:

— Взво-о-од! Поодиночке-е...

Курсанты начали привставать, выбрасывая перед собой винтовки и неизвестно к чему готовясь, и голосом уже иным — резким и испуганно-злым — Алексей крикнул: «Отставить!» — и побежал назад, к политруку, почти не наклоняясь и работая локтями, как бегал только в детстве. «Я скажу, что это не отступление! Мы же сразу вернемся, как только... Это ж не отступление, разве он не поймет?»

Но Алексей убеждал не политрука, а себя. Он твердо знал, что без приказа сверху Анисимов не разрешит оставить линию обороны. «Он подумает, что я... трус! Да-да! А если я уведу взвод без него, меня тогда...»

Впереди увязающе-глухо, не по-своему, треснула мина, и в грудь Алексея упруго двинул горячий ком воздуха. Он упал на колени, и сразу же его поднял тягучий, в испуге и боли крик.

— Я-ястре-ебо-ов!

Он побежал на голос, необыкновенно ясно видя и навсегда запоминая нелепо скорчившиеся фигурки курсантов, и когда сзади с длинным сыпучим шумом обрушился окоп, а его медленно приподняло и опустило, он еще в воздухе, в лете, увидел на дне окопа огромные глаза Анисимова и его гипсово-белые руки, зажавшие пучки соломы.

— Отре-ежь... Ну, пожалуйста, отре-ежь...— Анисимов ныл на одной протяжной ноте и на руках подвигался

к Алексею, запрокинув непокрытую голову. Первое, что осознал Алексей, — это нежелание знать смысл того страшного, о чем просил Анисимов, но он тут же почему-то подумал, что отрезать у него нужно полы шинели — они всегда мешают ползти... Он вскочил на четвереньки и заглянул в ноги Анисимова — на мокрой, полуоторванной поле шинели там волочился глянцево-сизый клубящийся моток чего-то живого... «Это «они»... — понял Алексей, даже в уме не называя своим именем то, что увидел. Он также почему-то не мог уже назвать Анисимова ни по фамилии, ни по чину и, преодолевая судорожный приступ тошноты, закричал, отворачивая глаза:

— Подожди тут! Подожди тут! Я сейчас...

Он бросился по окопу, не зная, куда бежать и что должен сделать, и тогда же окоп накрыло сразу несколькими минами. Еще до того, как упасть, Алексей с ужасом отметил, что ему никто не встретился из курсантов. Увидав нишу, он пополз к ней, выкрикивая шепотом:

— Я сейчас! Сейчас!

Он почти полностью затиснулся в нишу, обхватил голову руками и зажмурился, и в темном грохоте и страхе в одну минуту понял все: и где находится взвод — «они сами ушли... по ходам сообщения», и зачем Анисимов просил отрезать «то» — «там у него была вся боль и смерть», и почему разрывы мин теперь слышались как из-под подушки — «огневой вал сполз в ров, сейчас все кончится».

К церкви он пошел по открытому месту, и, заметив его, из-за ее колонн и с кладбища к ходам сообщения побежали курсанты. Алексей остановился, ощущая в себе какую-то жестокую силу и желание пережить все сызнова.

— По местам! Бегом! — отчужденно и властно крикнул он. — И без моего приказа ни шагу!

Он уже знал, что и как ему делать с собой в случае нового обстрела, и знал, что прикончит любого, кто, как он сам, потеряет себя хоть на секунду...

Обстрел прекратился, как только несколько мин взорвалось за рвом. Над деревней пластом колыхался мутно-коричневый прах, и пахло гарью, чесноком и еще чем-то кисло-вонючим, липко оседавшим в гортани. Кроме политука, убитых в четвертом взводе не было. Раненых — все в спину — оказалось четверо, и помощник несколько раз спрашивал Алексея, что с ними делать.

— Дойти до КП могут? Где они? — спросил наконец Алексей.

— В коровнике. Лежачий только один... Воронков.

— Его надо отнести к санинструктору... И политрука тоже... Я пойду сам. А те трое пускай самостоятельно идут.

Он смотрел издали, как двое курсантов завертывали в плащ-палатку тело Анисимова, и смотрел только на их лица — курсанты отвернулись, когда сгребали вместе с соломой то, что было у ног убитого.

— Быстрее! — исступленно крикнул Алексей, злясь на себя, потому что к горлу опять подступил тошнотворный ком. Курсанты неумело взялись за концы плащ-палатки и долго вылезали из окопа, а наверху то и дело останавливались, менялись местами и переругивались шепотом. Идя шагах в пяти сзади, Алексей не знал, снять ему шапку или нет. Они вошли в улицу, когда в воздухе послышался знакомый ведьмин вой, и курсанты присели рядом с ношей, не выпуская ее из рук, но мины взорвались на огородах — начиналось все сначала.

— Куда теперь, товарищ лейтенант?

Курсанты выкрикнули это удивительно похожими голосами и разом. Алексей махнул рукой в сторону осин, и они побежали, волоча по земле ношу. Она шарахалась из стороны в сторону и шумела, и за ней стлался черный зигзагообразный след, и Алексей бежал по его обочине, зачем-то ступая на носки сапог. Стволы осин у сепараторного пункта светились белыми ранами. На крыльце валялись ветви и крошево стекла.

— Кладите туда, и за мной! — приказал Алексей и побежал назад — в окоп влекло, как в родной горящий дом.

Еще издали, часто припадая к земле, он слышал в паузах между взрывами беспорядочную оружейную стрельбу в своем взводе. «Что там такое? Неужели атака?» Он взглянул на ров, но поле оставалось пустынно-дымным. «Куда они стреляют? В небо?»

Но курсанты били не вверх, а по горизонту.

— Прекрати-ить! Прекрати-ить! — на бегу закричал Алексей. Помощник с лета подхватил команду, но сам выстрелил еще дважды.

Все повторилось с прежней расчетливой методичностью, огневой вал медленно катился ко рву. «Как только подойдет к улице, так мы... Я первым или последним?»

Наверно, надо первым... это ж все равно что при атаке... А может, последним? Как при временном отступлении?..» Алексей загодя набрал в легкие воздух, и когда разрывы взметнулись на улице и сердце подпрыгнуло к горлу и затрепыхалось там, он снова не своим голосом, но уже до конца скомандовал взводу поодиночный побег из смерти... Он бежал последним по ходу сообщения к церкви и все время видел два полукруга желтых, до блеска сточенных гвоздей на каблуках чьих-то сапог — они будто совсем не касались земли и взлетали выше зада бегущего. Он так и не понял, когда курсанты успели закурить и присесть на корточки за церковью. И не узнал, кто бежал впереди. И не догадался, что это не икота, а загнанный куда-то в глубь живота ненужный слезный крик мешает ему что-нибудь сказать курсантам...

Алексей тоже закурил торопливо и молча протянутую кем-то папиросу. Спичку зажег прибежавший откуда-то помощник. Он выждал, пока Алексей затаился, и проговорил все разом, без запинки:

— За коровником — бывший погреб, а может, другое что... ямка такая — под яблоней — они все там шестеро... Четверо допрежь раненых и двое, что я послал...

— Ну?

— Всех. Прямым. У Грекова полголовы, и Мирошника...

«Я не пойду... Не пойду! Зачем я там нужен? Пусть будет так... без меня. Ну что я теперь им...» Но он поглядел на курсантов и понял, что должен идти туда и все видеть. Все видеть, что уже есть и что еще будет...

До часу дня, когда наступило затишье, взвод четырежды благополучно бегал в свой тыл и возвращался в окоп.

— Попьют кофе и опять начнут,— сказал помкомвзвода, глядя через поле. Алексей промолчал.

— Я говорю, опять начнут! — повторил помощник.

— Ну и что? — отозвался Алексей, тоже вглядываясь через ров в невидимое селение.

— Что ж мы, так и будем мотаться туда-сюда?

— А ты думал как? И будешь! Один ты, что ли, мотаешься?

— В том-то и дело, что не один. В одиночку я согласен бегать тут хоть до победы. Лишь бы... Может, выбить его оттудова?

— Хреном ты его выбьешь? — бешено спросил Алек-

сей.— Я, товарищ Будько, не прячу в кармане гаубичную батарею, ясно?

— У нас бронебойно-зажигательные патроны есть,— все тем же ровным, уныло-обиженным тоном сказал Будько и губы сложил трубочкой.

— Ты что, ополченец или будущий командир? Тут же верных четыре километра!

— А пуля летит семь!

— Ну вот что. Иди на свое место. Нашелся тут маршал... Давай вон лучше окоп исправлять, ясно? И выдели мне постоянного связного. Надо ж доложить капитану о политруке... А то подкинули во второй взвод и помалкиваем. Давай быстрее!

Будько пошел по окопу, но сразу же вернулся и, не глядя на Алексея, угрюмо спросил:

— Командира второго отделения Гвозденку хотите в связные? Ему как раз каску просадило...

— Так что? — удивился Алексей.

— Ничего. Волосья на макушке начисто сбрило. Голова у него трусится...

— Он же, наверно, контужен!

— Да не-е. Это у него от переживаний. Смеется там братва над ним...

Боевое донесение капитану Рюмину Алексей составил по всем правилам, четко выписав в конце листка число, часы и минуты. Гвозденко понес его бегом, а во взвод тут же явился с большой парусиновой сумкой ротный санинструктор. Он сообщил, что в третьем, первом и втором взводах ранено восемь человек.

— А у вас богато?

— Убито шестеро курсантов и политрук,— вызывающе ответил Алексей.— Раненых нет!

— Ага. Ну, значит, мне у вас нечего делать,— обрадовался санинструктор.— Я побегу. Сейчас, наверно, будем отправлять раненых...

Утробный гул, что временами доносился с утра еще откуда-то справа, теперь разросся по всему тылу, и его вибрирующее напряжение Алексей не только слышал, но и ощущал грудью. «Танки накапливаются. КВ, может. Этим нам достаточно будет и четырех штук. Мы бы рванули тогда вперед километров на двадцать! Мы бы «их» пошшупали!..»

Он так и подумал: «Пошшупали» — и повторил это слово вслух.

Донесение о результатах ночной разведки капитан Рюмин отправил в штаб полка в пять часов. В нем запрашивались ближайшая задача роты, связь и подкрепление соседями.

Связной возвратился в восемь двадцать с устным распоряжением роте немедленно отступить.

Рюмин приказал курсанту описать внешность командира полка.

Курсант сказал, что он ростом с него, а по званию майор.

Рюмин видел, что связной говорит правду, — он был в штабе ополченского полка, но выполнять устный приказ неизвестного майора не мог.

С командиром первого взвода лейтенантом Клочковым Рюмин подтвердил свое донесение и запросы, и тот в восемь тридцать выехал в штаб полка на полуторке по прямой.

В восемь сорок в поле за рвом появились броневики — разведчики противника, неожиданно обстрелянные четвертым взводом, и в него отправился политрук Анисимов. Командование над первым взводом Рюмин принял сам.

В десять пятнадцать начался минометный налет.

В тринадцать ноль пять Рюмин получил донесение лейтенанта Ястребова о гибели Анисимова и шести курсантов.

Лейтенант Клочков все еще не возвращался из штаба полка.

В четырнадцать тридцать минометный обстрел возобновился, но уже без прежней системы и плотности.

Клочкова не было. В тылу ревели танковые моторы.

И Рюмин понял, что рота находится в окружении. Он был человеком стремительного действия, не способным ожидать, таиться и выслеживать, оттого каждое поисковое положение, мгновенно рождавшееся в его мозгу, казалось главным, и в результате главным представлялось все, о чем бы он теперь ни думал.

Ему понадобилось не много времени, чтобы построить свои мысли в ряд и рассчитать их по порядку номеров. На первое место встала возможная танковая атака немцев с тыла. Рюмин мысленно немедленно отбил ее. Атака повторилась, и снова он увидел раздавленные сараи и хаты,

уничтоженные танки и живых курсантов... Но он тут же спохватился и понял, что одним сердцем поражать танки курсантам будет трудно. В роте насчитывается двести двадцать винтовок. Есть свыше четырехсот противопехотных и полтораста противотанковых гранат. И есть еще бутылки с бензином, но Рюмин не считал их оружием... «Атаки с тыла мы не выдержим,— думал Рюмин.— Паника сметет взводы в кучу, а танки раздавят...»

И у него осталась одна слепая надежда на то, что атака все-таки начнется из-за рва. Это было не только надеждой — это стало почти желанием, потому что Рюмин, как и все те десятки тысяч бойцов, что однажды попадали в окружение, устранился невидимого врага в своем тылу.

День истекал. Мины изредка перелетали через окопы и грохотко садились на огородах. Ни с тыла, ни с фронта ничто не предвещало атаки. Рюмину пришла мысль, что немцы, занимавшие село впереди, находятся на временном отдыхе. Иначе зачем бы они маскировали во дворах машины? Разведчики видели там автобусы. Что это, хозчасть? Мотомехполк? Батальон? Рота? А что, если броском вперед... И разгромить, и выйти к лесу, а по нему на север и... Но обязательно разгромить! Курсанты должны поверить в свою силу, прежде чем узнать об окружении! А как же раненые? Их восемь человек. И уже семеро убитых...

В семнадцать часов обстрел кончился. Рюмин послал связного в четвертый взвод с приказанием подготовить братскую могилу. Он решил с наступлением темноты двинуться по рву на север, захватив раненых, и где-нибудь по болоту или по лесу выйти к своим...

...Хату никто не тушил, и к вечеру она истлела до основания. В середине пожара непоколебимо устремленно, как паровик, нетронутая стояла черная русская печь с высокой красной трубой, и вокруг нее бродил пацан без шапки и что-то искал в золе. «Гвозди собирает!» — с яростной болью подумал Рюмин и оглянулся назад. Курсанты шли в ногу и все смотрели на пацана, и все же Рюмин не сдержался и свирепо скомандовал:

— Тверже шаг!

Мальчишка испуганно спрятал за спину руку, попятился к печке и прижался к ней.

На кладбище скапливались вечерние тени. Четвертый взвод полукругом неподвижно стоял поодаль широкой темной ямы, а перед нею полукругом лежали семеро уби-

тых, завернутые в плащ-палатки. Рюмин вполголоса приказал роте построиться у могилы в каре и, ни к кому не обращаясь, сказал:

— Откройте их.

Никто из курсантов не сдвинулся с места. Молча, взломав левую бровь, Рюмин осторожно повел глаза по строю, и Алексей понял, кого он ищет, и не стал ждать. Он подошел к мертвецам и, полузажмурясь, начал одной рукой развязывать концы плащ-палаток, и это же стал проделывать Рюмин, и тоже одной рукой. Они одновременно управились над шестью убитыми и разом подошли к седьмому. Это был курсант Мирошник. Он лежал лицом вниз, а в разрез шинели, между его ногами, торчмя просовывалась голая, по локоть оторванная рука. На ней светились и тикали большие Кировские часы. Рюмин издал птичий писк горлом и выпрямился, враз поняв, что все, что он задумал с похоронами, — негодно для жизни, ибо, кроме отталкивающего ужаса смерти и тайного отчуждения к убитым, никто из курсантов — сам он тоже — не испытывает других чувств; у всех было пронзительное желание быстрее покончить тут, и каждый хотел сейчас же что-то делать, хотя бы просто двигаться и говорить. Тогда Рюмин и понял, что «со стороны» учиться мести невозможно. Это чувство само растет из сердца, как первая любовь у не знавших ее...

По тем же самым причинам — вблизи обращенные на него глаза живых — Рюмин не смог на кладбище сообщить роте ее истинное положение, и тогда же у него окончательно созрело и четко оформилось то подлинное, на его взгляд, боевое решение, путь к которому он искал весь день.

Уже в сумерках рота покинула кладбище и безымянную братскую могилу. У церкви Рюмин снова построил взводы в каре, и курсанты видели, что капитану очень не хватает сейчас стека.

— Товарищи кремлевцы! Утром мною получен приказ... — Рюмин замолчал и что-то подумал, кто-то еще боролся с ним и хотел одолеть, — приказ командования уни-что-жить мотомехбатальон противника, что находится впереди нас, и выйти в район Клина на соединение с полком, к которому мы приданы. Атакуем ночью. Огневой подготовки не будет. Раненых приказано оставить временно здесь. Их эвакуирует другая часть... По местам!

Курсанты заняли свои окопы. Минут десять спустя по

селу метнулся горячий, с удавными перехватами щекочущий визг, и старшина сообщил вскоре взводам, что на ужин будет кулеш и бесхозная свинина.

Санинструктор нашел помещение под раненых.

— Главное, товарищ капитан, две пустые комнаты,— доложил он Рюмину.— А под ними какой-то двухэтажный подвал. БУ прямо... Только вам самим надо поговорить с хозяином.

Домик был старый, широкий, покрытый черепицей вперемежку с тесом и подсолнечными будыльями. Рюмин оглядел его издали. Ему не хотелось входить в него и видеть пустые комнаты и «БУ прямо». «Надо оставить у них не только винтовки, но и гранаты... И санинструктора». Тот стоял рядом рост в рост, и сумка съехала на живот, и верхний рожок у креста на ней оторвался, образовав букву «Т».

— Вы... москвич? — негромко спросил Рюмин.

— Не понял вас, товарищ капитан,— сказал санинструктор и поправил сумку.

— Можете готовить раненых к переводу. Я здесь договорюсь,— мягко сказал Рюмин.

На крыльце домика отрадно пахло моченым укропом. При тусклом каганце в сенцах возился над кадкой маленький старик в дубленом полушубке. Рюмин встал на пороге и поздоровался. Старик пощурился на него и незаметно выпустил из рук огурцы обратно в кадку. На вопрос Рюмина, он ли хозяин, старик сказал, что хозяин теперь всему война. «Наши раненые и санинструктор тоже должны знать это,— поспешно подумал Рюмин,— хозяин теперь всему война. Всему!» Но осматривать комнаты и БУ он не стал.

Старик ничему не противился. Он только спросил:

— А кормить раненых вы сами будете?

— Да,— сказал Рюмин.— С ними остается и наш доктор.

— А вы все...— никак уходите?

У него были белесые тихие глаза, готовые смотреть на все и всему подчиняться, а Рюмин подумал, что, может, не следует к нему определять раненых. Погасив каганец, старик проводил Рюмина с крыльца и во дворе сказал:

— А взяли они вас, сынок, как Мартына с гулянья!

Рюмин снова неуверенно подумал, что, может, не следует оставлять в этом доме раненых.

— Мы вернемся через три дня! — вдруг таинственно

сказал он, взглядываясь в стариковы глаза.— И тогда заплатим вам за помощь Красной Армии. Понимаете?

7

Выступление Рюмин назначил на два часа ночи, и с какого бы направления он ни подводил роту к невидимому селению и сколько бы там ни было немцев, они все до одного обрекались на смерть, потому что предоставить им плен в этих условиях курсанты не могли. Все, что роте предстояло сделать в темноте, Рюмин не только последовательно знал, но и видел в том обостренно резком луче света, который центрировался в его уме предельным напряжением воли и рассудка. Он был уже до конца убежден, что избрал единственно правильное решение — стремительным броском вперед. Курсанты не должны знать об окружении, потому что идти с этим назад значило просто спастись, заранее устрасясь. Нет. Только вперед, на разгром спящего врага, а потом уже на выход к своим...

Но почти безотчетно Рюмин не хотел сейчас думать о грядущем дне и о своих действиях в нем. Всякий раз, когда только он мысленно встречался с рассветом, сердце просило смутное и несбыточное — дня не нужно было; вместо него могла бы сразу наступить новая ночь...

Взводы покинули окопы в урочное время и сошлись и построились в поле за рвом. Тут немного метелило и было яснее направление ветра — он дул с востока. Рюмин пошел перед строем, зачем-то высоко и вкрадчиво, как на минной полосе, поднимая ноги, и в напряженном безмолвии курсанты по-ефрейторски выкидывали перед ним винтовки с голубыми кинжальными штыками и сами почему-то дышали учащенно и шумно. Рюмин будто впервые увидел свою роту, и судьба каждого курсанта — своя тоже — вдруг предстала перед ним средоточием всего, чем может окончиться война для Родины — смертью или победой. Он вполголоса повторил боевой приказ и задачу роте, и кто-то из курсантов, забывшись, громко сказал:

— Мы им покажем, на чем свинья хвост носит!

Рота двинулась вперед, и рядом с большим, тревожным и грозным в мозгу Рюмина цепко засела ненужная, до обиды ничтожная и назойливая, как комар, мысль: «А на чем она его носит? На чем?..»

Занятое немцами село рота обошла с юга и в половине четвертого остановилась в низине, поросшей кустами краснотала. Рюмин приказал четвертому взводу выдвинуться к опушке леса в северной части села и, заняв там оборону, произвести в четыре десять пять залпов по дворам и хатам бронебойно-зажигательными патронами. Тогда остальные взводы, подтянувшись к селу с тыла, бросаются в атаку. Четвертый взвод остается на месте и в упор расстреливает отступающих к лесу голых фашистов. Рюмин так и сказал — голых, и Алексей на мгновение увидел перед собой озаренное красным огнем поле и молчаливо бегущих куда-то донага раздетых людей. Он пошел впереди взвода тем самым шагом, каким Рюмин обходил роту перед ее выступлением — как на минной полосе, и курсанты тоже пошли так, и неглубокий снег, перемешанный с землей и пыреем, буграми налипал к подошвам сапог, и приходилось отколупывать его штыками.

Лес завиделся издали — темная кромка его обрисовывалась в беловато-мутной мгле как провал земли, и уже издали к пресному запаху снега стал примешиваться горьковато-крутой настой дубовой коры. В окостеневшем безмолвии нельзя было отделаться от щемящего чувства заброшенности. Алексей пристально всматривался в троих разведчиков, шедших недалеко впереди с осторожной непреклонностью слепых людей, готовых каждую секунду натолкнуться на преграду, то оглядывался назад и, благодарный кому-то за то, что он не один тут, видел рассредоточенный строй курсантов, далеко выкинувших перед собой винтовки и пригнувшихся, как под напором встречной бури.

Но лес был пуст, таинствен и звучен, как старинный собор, и от его южной опушки до села оказалось не больше трехсот метров. Взвод залег плотной цепью, и сразу летуче запахло бензином — у кого-то пролилась бутылка. Алексей лежал в середине цепи, ощущая животом колкие комочки двух «лимонок» в карманах шинели. Стрелки его наручных часов, казалось, навсегда остановились на цифрах 12 и 4. Село виделось смутно. Оно скорее угадывалось, придавленное к земле оцепенелой тишиной. Когда длинная стрелка часов сползла с единицы, Алексей воркующим тенором — волновался — сказал: «Внимание!» — и медленно стал поднимать пистолет вверх. Он до тех пор вытягивал руку, пока не заломило плечо. Указательный палец окоченел на спусковом крючке. Не доверив ему,

Алексей подкрепил его средним, и контрольный выстрел сорвался ровно за минуту раньше времени...

Этот первый залп получился удивительно стройным, как падение единого тела, и сразу же в разных местах села в небо взметнулись лунно-дымные стебли ракет, и было видно, как стремительно понеслись куда-то вбок и вкось пегие крыши построек. Остальным залпам не хватало слаженности — они хлестали село ударами как бы с продолговатым потягом, и Алексей не знал, это ли нужно капитану Рюмину.

После пятого залпа какую-то долю минуты во взводе стояла трудная тишина затаенного ожидания и все вокруг казалось угрожающе непрочным, опасным и зыбким. Курсанты начали зачем-то привставать на четвереньки, и только тогда к лесу прикатился поспешно согласный крик атакующих взводов, будто они троекратно поздоровались в селе с кем-то. Крик тут же слился с разломным треском выстрелов и взрывами гранат. При очередной вспышке серии ракет Алексей хищно окинул взглядом поляну. Она была голубой и пустынной, и он обещающим и виноватым голосом прокричал своему взводу:

— Сейчас побегут! Сейчас мы их!..

Бой в селе нарастал с каждой минутой. К размеренным выстрелам курсантских самозарядок все чаще и чаще начали примешиваться слитные трели чужих автоматов. Этот звук, рождавшийся и погасавший с какой-то подавлявшей волю машинной торопливостью, был в то же время игрушечно легок и ладен. В нем не чувствовалось никакого усилия солдата. Он был как издевательская потеха над тем, кто лежит с немой винтовкой и слышит это со стороны.

Когда в северной части села гулко и звонисто заработали крупнокалиберные пулеметы и там же неожиданно бурно вспыхнуло высокое пламя пожара и завывли моторы, Алексей вскочил на ноги и воркующим тенором скомандовал атаку...

Горел сарай. Поляну заливал красный мигающий свет. Былинки бурьяна отбрасывали на снег толстые дрожащие тени, и курсанты, боясь споткнуться о них, неслись смешными прыжками, и кто-то от самого леса самозабвенно ругался неслыханно сложным матом, поминая стужу, бурю, святого апостола и селезенку. Оказывается, подбегать к невидимому врагу и молчать — невозможно, и четвертый взвод закричал, но не «ура» и не «за Стали-

на», а просто заорал бессловесно и жутко, как только достиг околицы села.

Взвод вонзился в село, как вилы в копну сена, и с этого момента Алексей утратил всяческую власть над курсантами. Не зная еще, что слепым ночным боем управляет инстинкт дерущихся, а не командиры, очутившись в узком дворе, заставленном двумя ревущими грузовиками, он с тем же чувством, которое владело им вчера при расстреле броневиков, выпалил по одному разу в каждый и неизвестно кому приказал истошным голосом:

— Бутылками их! Бутылками!

Тогда же он услышал рядом с собой, за кучей хвороста, испуганно недоуменный крик:

— Отдай, проститутка! Кому говорю!!

Как в детстве камень с обрыва Устинына лога, Алексей с силой швырнул в грузовики «лимонку» и прыгнул за кучу хвороста. Он не услышал взрыва гранаты, потому что все вокруг грохотало и обваливалось и потому что из-за хвороста к нему задом пятился кто-то из курсантов, ведя на винтовке, как на привязи, озаренного отсветом пожара немца в длинном резиновом плаще и с автоматом на шее. Клонясь вперед, тот обеими руками намертво вцепился в ствол СВТ, а штык по самую рукоятку сидел в его животе, и курсант снова испуганно прокричал: «Отдай!» — и рванул винтовку. В нелепом скачке немец упал на колени и, рывком насаживаясь на полуобнажившийся рубиново-светящийся штык, запрокинул голову в каком-то исступленно страстном заклятье.

— Lassen Sie es doch, Herr Offizier. Um Gottes willen!¹

Ни на каком суде, никому и никогда Алексей не посмел бы признаться в том коротком и остро-пронзительном взрыве ярости и отвращения, которые он испытал к курсанту, разгадав чем-то тайным в себе темный смысл фразы поверженного немца.

— Стреляй скорей в него! Ну?! — стонуше крикнул он, и разом с глухим захлебным выстрелом ему явственно послышался противный мягкий звук, похожий на удар палкой по влажной земле.

Горело уже в разных концах села, и было светло как днем. Одуревшие от страха немцы страшились каждого затемненного закоулка и бежали на свет пожаров, как бегают зайцы на освещенную фарами роковую для себя до-

¹ Оставьте, господин офицер. Ради бога! (Нем.)

рогу. Они словно никогда не знали или же напрочь забыли о неизъяснимом превосходстве своих игрушечно-великолепных автоматов над русской «новейшей» винтовкой и, судорожно прижимая их к животам, ошалело били куда попало. Эти чужие пулеметно-автоматные очереди вселенской веской силой каждый раз давили Алексея к земле, и ярой радостью — «Меня не убьют! Не убьют!» — хлестали его тело рассыпчато-колкие и гремуче-тугие взрывы курсантских «лимонок» и противотанковых гранат. Он все еще пытался командовать или хотя бы собрать вокруг себя несколько человек, но его никто не слушал: взводы перемешались, все что-то кричали, прыгали через плетни и изгороди, стреляли, падали и снова вставали. Он тоже бежал, стрелял, падал и поднимался, и каждая секунда времени разрасталась для него в огромный период, вслед за которым вот-вот должно наступить что-то небывало страшное и таинственное, непосильное разуму человека. Он уже не кричал, а выл, и единственное, чего хотел, — это видеть капитана Рюмина, чтобы быть с ним рядом...

Ни тогда, ни позже Алексей не мог понять: почему сапог, желтый, короткий, с широким раструбом голенища, стоял? Не лежал, не просто валялся, а стоял посередине двора? Сахарно-бело и невинно-жутко из него высовывалась тонкая, с округлой оконечностью кость. Он не разглядывал это, а лишь скользнул по сапогу краем глаз и понял все, кроме самого главного для него в ту минуту — почему сапог стоит?!

Он побежал на улицу мимо амбара и длинного крытого грузовика, похожего на автобус. Грузовик неохотно разгорался в клубах черного грузного дыма, и оттуда, как из густых зарослей, навстречу Алексею выпрыгнул немец в расстегнутом мундире. Наклонившись к земле, он оглядывался на улицу, когда Алексей выстрелил. Немец ударился головой в живот Алексея, клетотно охнул, и его автомат зарокотал где-то у них в ногах. Алексей ощутил, как его частыми и несильными рывками потянуло книзу за полы шинели. Он приник к немцу, обхватив его руками за узкие костлявые плечи. Он знал многие приемы рукопашной борьбы, которым обучали его в училище, но ни об одном из них сейчас не вспомнил. Перехваченный руками пистолет плашмя прилегал к спине немца, и стрелять Алексей не мог — для этого нужно было разжать руки. Немец тоже не стрелял больше и не пробовал освободиться. Он как-то доверчиво сник и отяжелел и вдруг за-

мычал и почти переломился в талии. Терпкий уксусный запах рвоты волной ударил Алексею в лицо. Догадавшись, что немец смертельно ранен им, Алексей разжал руки и отпрянул в сторону. Немец не упал, а как-то охоче рухнул бесформенной серой кучкой, упрятав под себя ноги. Пятясь от него, Алексей бессознательно откинул полу шинели, чтобы увидеть зачем-то свои ноги. Пола шинели была тяжелой и мокрой. Что-то белесовато-розовое и жидкое налипало к голенищам и носкам сапог. «Это он... облевал», — со стыдом, обидой и гадливостью подумал Алексей. Внутренности его свились в клубок и больно подкатились к горлу, и он кинулся за амбар и притулился там у плетня в узком закоулке, заваленном вязанками картофельной ботвы...

Его рвало долго и мучительно. В промежутках приступов он все чаще и явственней различал голоса своих, — бой затихал. Обессиленный, снятый холодной внутренней дрожью, Алексей наконец встал и, шатаясь, пошел к убитому им немцу. «Я только посмотрю... Загляну в лицо, и все. Кто он? Какой?»

Немец лежал в прежней позе — без ног, лицом вниз. Задравшийся мундир оголял на его спине серую рубаху и темные шлейки подтяжек, высоко натянувшие штаны на плоский худой зад. Несколько секунд Алексей изумленно смотрел только на подтяжки: они пугающе «по-живому» прилегали к спине мертвеца. Издали, перегнувшись, Алексей стволом пистолета осторожно прикрыл их подолом мундира и пьяной рысцей побежал со двора. По улице, в свете пожаров, четверо курсантов бегом гнали куда-то пятерых пленных, и те бежали старательно и послушно, тесной кучей, а курсанты каким-то лихо-стремительным подхватом держали перед собой немецкие автоматы, и кто-то один выкрикивал командно и не в шутку:

— Айн-цвай! Айн-цвай!

Алексей пропустил пленных, пытаясь заглянуть в лицо каждому, и, пристроясь к курсантам, спросил на бегу у того, что отсчитывал шаг:

— Куда вы их?

— В распоряжение лейтенанта Гуляева, товарищ лейтенант! — строго ответил курсант и властно повысил голос: — Айн-цвай! Айн-цвай!

Невольно ладя шаг под эту команду, Алексей побежал сзади курсантов, то и дело поворачивая голову влево и вправо — у плетней и заборов лежали знакомые серые

бугорки. Курсанты повернули пленных в широкий, огороженный железной решеткой сад. Там у ворот стояла на попá длинная узкая бочка в подтеках мазута, и над ней ревел и бился плотный столб красно-черного огня и дыма. Несколько курсантов и Гуляев держались в сторонке, направив в бочку немецкие автоматы, и у Гуляева на левом боку ярко блестела лакированная кобура парабеллума.

— Ну, Лешк! — закричал Гуляев, увидев Алексея. — В пух разнесли! Понимаешь? Вдрызг! Видал?!

Он не мог говорить, упоенный буйной радостью первой победы, и, вскинув автомат, выпустил в небо длинную очередь. И тут же взглянул на пленных, но искоса, скользяще, и совсем другим голосом — невнятно, сквозь сжатые зубы — сказал окружавшим его курсантам:

— Туда!

Пленных окружили и повели в глубину сада, а Гуляев с прежним счастьем сказал Алексею:

— В пух, понимаешь? Расположились тут, сволочи, как дома. В одних кальсонах спят. Видал? Вконец охамели...

Ожидаясь вглядываясь в сад, суетясь и пряча от Гуляева полу своей шинели, Алексей спросил, где капитан.

— В том конце, возле школы, — сказал Гуляев. — Там сейчас мины и разное барахло взорвут. В твоём взводе большие потери? У меня всего лишь пятеро...

Алексей не ответил и побежал из сада, и все время в его мозгу звонисто отсчитывалось «айн-цвай, айн-цвай», и он выбрасывал и ставил ноги под эту команду. Он испытал внезапную, горячую и торопливую радость, когда увидел Рюмина.

...Рота вступила в «свой» лес только в седьмом часу, и к тем пятнадцати, которых несли на плащ-палатках, сразу же прибавилось еще двое раненых, — спасаясь, несколько немцев проникли сюда. Чужим приемом — рукоятки в животы — курсанты подняли в лесу разноцветную пулевую пургу. Тут уже били ради любопытства и озорства, подчиняясь чувству восхищенного удивления и негодования — «как из мешка!» Плотность огня трофейных автоматов и в самом деле была поразительной: они, как пилой, срезали молодые деревья, и на то, чтобы расчистить себе путь, курсантам понадобилось не много време-

ни. Как только утихла стрельба, раненые один за другим снова начали стонать и просить пить, и с какой-то своевольной властью курсанты приказывали им потерпеть.

— Ну чего развели нуду? К утру доставим в госпиталь, а через неделю будете с орденами и кубиками!

— Это точно! Там их не меньше батальона сыграло...

— Одних автобусов штук сорок было!..

— Да шесть броневиков...

Рота двигалась медленно. Потери немцев росли по мере отдаления курсантов от села, и каждый знал, что он умалил там и к чему прибавил. Это нужно было не им, здоровым и живым, а семнадцати раненым и тем еще одиннадцати, что навсегда остались в горящем селе, кому уже никогда не придется носить ни кубарей на петлицах, ни орденов на груди...

8

Лес выпуклым полукругом обрывался в поле. Северо-западным краем оно уходило в возвышенность, а восточным — сползало в низину, и там стояло несколько хат, а за ними тянулась какая-то рыжая приземистая поросль. Дальше ничего не виделось, потому что день застрял на полурассвете — узенький, серый и плоский: небо начиналось прямо над верхушками деревьев. Рота присела на опушке, и Рюмин заколдованно стал смотреть на хаты и на то, что было позади них, — туда предстояло идти, а раненые все время просили воды, и трое из них умерли перед утром, но их несли, потому что Рюмин не оттапливался.

Все эти пять или шесть километров, что отделяли роту от места ночного боя, она прошла по восточной опушке леса, и в темноте он казался нескончаемым, широким и неизведанным, как тайга. Он словно по заказу все время заворачивал к северо-востоку, и мысленно Рюмин не раз уже переходил в нем с курсантами ту незримую и таинственную линию, за которой сразу же исчезало представление об окружении и где лишь только тогда изумительно дерзкой победой кремлевцев заканчивался прошлый ночной бой. Но к этому рубежу окончательной победы роту могла привести только ночь, а не этот стыдливый изменник курсантам, плюгавый недоносок неба — день! О если б мог Рюмин загнать его в черные ворота ночи!! Загнать его ту-

да на целые сутки, ненужного сейчас русским людям, запоздалого пособника битых в темноте!..

Рюмин повел роту в глубину леса — чуть-чуть назад и больше на запад, и лес уже не был прежним: он мог быть значительно гуще, запущенный, а в нем то и дело попадались давно и аккуратно сложенные кучки валежника, давно и чисто прибранные полянки и просеки. Он был избит глубокими скотными тропинками и стежками, припорошенными снегом, и на их обочинах в кустах орешника пугано тетенькали синицы. Западная опушка показалась еще издали. Лес кончался тут густым мелким осинником. За ним полого поднималось наизволок серое поле, сливавшееся с серым небом...

Такие сигареты можно было не курить — хорошо тлели сами, и дым от них отдавал соломенным чадом, больно царапавшим горло, и есть после этого хотелось еще больше. Но потому что сигареты были трофейные, в красивых ярко-зеленых и малиновых пачках, никогда до этого не виданных, и потому что рота не лежала, а сидела в лесу в круговой обороне, курсанты курили их молчаливо, изучающе-въедливо. Раненые, перевязанные и забинтованные индивидуальными пакетами, лежали в середине круга. Они стонали, подлаживаясь тоном друг под друга,— может, им легче так было, и уже через час их голоса стали для роты привычной тишиной леса. Разведгруппы, посланные Рюминым к востоку и западу от леса, возвратились одновременно. Гуляев, ходивший на запад, доложил, что с бугра, километрах в двух отсюда виден красный купол водонапорной башни. Наверно, совхоз. А может, станция какая-нибудь. Уточнить не удалось. Не идти же туда днем? Командир третьего взвода лейтенант Рыжков с тремя курсантами принес ведро с водой и четыре ковриги хлеба. Он сказал, что хаты, видневшиеся с восточной опушки, называются Красными Двориками. Немцев там не было. Свои прошли на Москву позавчера ночью. Рюмин достал карту и тонким кружком обвел на ней зеленое пятно леса рядом с населенным пунктом Таксино, что в 37 километрах западнее Клина.

Такие же кружочки старательно потом вывели на своих картах и командиры взводов.

День разгуливался — небо углублялось, а лес становился прозрачнее и мельче. В одиннадцатом часу над ним

неизвестно откуда неслышно появился маленький черный самолет с узкими, косо обрубленными крыльями. Он не гудел, а стрекотал, как косилка, и колеса под его квадратным фюзеляжем искалеченно торчали в разные стороны. Он снизился к самым верхушкам деревьев и начал елозить над лесом, заваливаясь с крыла на крыло, помеченные черно-желтыми крестами.

Кто-то из невесело-раздумчивых русских солдат с первых же дней войны назвал этот чужой самолет-разведчик «костылем», вложив в это слово презрение и горькую обиду,— его трудно было сбить. Он часто попадал в сосредоточенный огонь нескольких зенитных батарей и, искореженный, почти бескрылый и безхвостый, не улетал, а утягивался, сволочь, туда, откуда появился, после чего наступало жесткое лихо бомбежки. Курсанты впервые видели «костыль». Он трижды прошел над ротой, и казалось, что этому летучему гробу достаточно одной бронебойно-зажигательной пули, чтобы он рухнул. Но Рюмин трижды повторил команду не стрелять: до вечерних сумерек было каких-нибудь пять часов, и желание остаться незамеченными перерастало у него в уверенность, что разведчик не видит роту.

— Вверх не смотреть! Не шевелиться! — застыв на месте, вполголоса кричал Рюмин, и курсанты гнули к коленям головы, исподтишка косясь в небо, и тоном Рюмина Гуляев попросил:

— Товарищ капитан! Разрешите мне бутылкой его... Залезу на сосну и шарахну! Никто не услышит, товарищ капитан!

Рюмин внимательно посмотрел на Гуляева и ничего не сказал.

На пятом залете самолет неожиданно взревел и трудно полез вверх. Из-под его колес вываливалось что-то бесформенное, сразу же развернувшееся широким белым веером, и на роту в медленном трепете начали опадать листовки. Они застревали в верхушках деревьев, садились на каски и плечи курсантов, порошили раненых. Прислонясь к сосне, Рюмин смотрел на роту. Он видел ее всю сразу и каждого курсанта в отдельности, и то, чего он ждал, было ему противным, немым и темным, но он продолжал ждать и не снимал с рукава листовку, прилипшую к отсыревшему ворсу, и никто из курсантов не прикасался к листовкам. «Нет, они не возьмут листовки,— подумал Рюмин.— Они боятся. Кого? Меня или друг друга?»

Озлобленно и хватко Рюмин ударом ладони накрыл листовку и поднес ее к глазам. И сразу же листовки взяли все, — Рюмин хорошо это видел, — и кто-то из раненых стонуше спросил:

— Ребята... что там написано, а?

Ему никто не ответил — читали, и Рюмин весь превратился в слух и почти зажмурился.

— Что там, а? — снова простонал раненый.

— Да ни хрена тут нету! — с нажимом на басы и с какой-то гневной верой в то, что он понял, сказал позади Рюмина курсант. — В плен Гитлер кличет... А пропуск такой: «Бей жида — политрука, рожа просит кирпичка!» Ясно?

— Как Пу-ушкин! — протянул раненый.

— П...юшкин! — окончательно сбился на басы курсант, и Рюмин засмеялся первым и повторил то, что сказал курсант...

Решение...

Была минута, когда Рюмину захотелось принять его всей ротой, но он мысленно представил себе, как по открытому месту, днем, в тылу у немцев на восток двигается колонна из ста шестидесяти трех курсантов, трех лейтенантов, одного капитана и двадцати восьми «санитарок», несущих четырнадцать раненых... Очевидно, другого решения рота принять не могла, и раненых непременно понесли бы впереди, потому что враг на востоке для курсантов не существовал. Если же сообщить курсантам, что рота находится в окружении, то тем более все выскажутся за то, чтобы немедленно идти на восток — там ведь свои! В этом случае роту ожидает единственное и неминуемое — разгром. Лучше было встретить врага в лесу, чем в поле, потому что лес, как и грядущая ночь, был союзником курсантов.

Разведчик еще стрекотал, утягиваясь на юг, когда Рюмин приказал роте залечь в цепь, но не на западной, а на восточной опушке, лицом к лесу. Это было уступкой сердцу — оно ждало врага только с запада, и отсюда ему на целых двести метров было ближе к своим...

Четвертый взвод лежал на левом фланге. В ночном бою он не понес потерь, и поэтому транспортировка и присмотр за ранеными были поручены ему. Алексей распорядился отнести их чуть-чуть в тыл и левее взвода — там

была воронкообразная котловинка, заросшая орешником. Санитаром и сиделкой к раненым он назначил своего связного Гвозденко, и вскоре тот доложил:

— Кушать просят.

— А можно им? — зачем-то спросил Алексей.

— Не все, — значительно сказал Гвозденко.

— А что можно?

— Это пока неизвестно. Что достану, если разрешите сходить вон в те хаты. Воды тоже нету.

Он побежал к Красным Дворикам, гремя ведром. Алексей подумал, что раненых надо бы снести туда, и через плечо стал рассматривать хаты и то, что виднелось за ними. Гвозденко то и дело почему-то оглядывался, потом остановился, поднес к глазам ладонь, задрал голову, и бросился назад.

— Самолеты сюда... Много! — крикнул он и лег рядом с Алексеем, поставив в головах ведро.

— Ты давай к себе, — сказал ему Алексей, улавливая слабый отдаленный гул, и Гвозденко нехотя поднялся и побежал в котловинку, а Алексей снова подумал, что раненых следовало бы перенести в хаты. Самолетов еще не было видно, но с каждой секундой рокот усиливался, и в изголовье Алексея вдруг надсадно-тонко и чисто запело ведро. Острый ноющий звук жил и упрямо бился с мощным ревом неба и чем-то далеким и полузабытым больно пронизывал набухавшее тоской сердце Алексея. Он приподнялся на четвереньки и глянул в небо, но тут же припал к земле и сжался — из длинного журавлиного клина, каким шли самолеты, прямо на четвертый взвод отвесно падали три передних бомбардировщика. «Надо броском вперед или назад, как тогда в окопе», — мелькнуло в его мозгу, и он крикнул: «Внимание!» — и услышал над собой круто нараставший свист оторвавшихся от самолетов бомб. Они легли позади и слева, колыхнув и сдвинув землю, и в грохоте обвала сразу же обозначился очередной, до самой души проникающий вой. Эта серия бомб взорвалась тоже позади взвода, но значительно правее, и Алексей мысленно крикнул «Внимание!» — и непостижимо резким рывком кинулся вперед, в глубь леса. Он упал возле сосны и когда оглянулся, то на мгновение увидел наклонно бегущих в лес и падающих у кустов и деревьев курсантов, клубы синеватого праха на опушке, а в их промежутках — далекие силуэты хат и над ними несколько штук завалившихся на нос черных самолетов. Вид этих пикирующих на Дворики

«юнкеров» уколол его сердце надеждой — «может, они все перекинутся туда», и одновременно он подумал, что раненых переносить в хаты было нельзя... Он видел, как в одиночку и группами разбежались по лесу курсанты. «Что ж он... его мать, завел, а теперь...» Это он подумал о Рюмине, но тут же забыл о нем, придавленный к земле отвратительным воем приближающихся бомб. Мысли, образы и желания с особенной ясностью возникали и проявлялись в те мгновения, которыми разделялись взрывы, но как только эти паузы исчезли и лес начал опрокидываться в сплошную грохочущую темноту, Алексей ни о чем уже не думал — тело берегло в себе лишь страх, и он временами лежал под деревом, вцепившись в него обеими руками, то куда-то бежал и в одну и ту же секунду ощущал дрожь земли, обонял запах чеснока и жженой шерсти; видел над лесом плотную карусель самолетов, встающие и опадающие фонтаны взрывов, летящие и заваливающиеся деревья, бегущих и лежащих курсантов, до капли похожих друг на друга, потому что все были с раскрытыми ртами и обескровленными лицами; видел воронки с месивом песчаника, желтых корней, белых щепок и еще чего-то, невыразимого словами; видел куски ноздреватого железа, похожего на баббит, смятые каски и поломанные винтовки... Поддаваясь великой силе чувства локтя, он бежал туда, где больше всего накапливалось людей, и дважды оказывался в поле и дважды возвращался в лес — в поле было страшнее: десятки самолетов чертили над ним широкие заходные виражи...

Наконец для тех, кто был жив, наступила минута тягостного провала в глубину времени, свободного от воя и грохота бомб, но заполненного напряженным ожиданием окончательного взрыва земли: бомбы не рвались, а самолеты продолжали кружить над лесом, и облегченно-ровный их рокот постепенно увязал и растворялся в другом — накатно-тяжком, медлительном и густом.

Под это водопадное слияние звуков мало кто заметил, с какого направления вошли в лес танки и пехота противника...

9

...Курсант лежал лицом вниз, а нависшая над воронкой круглая лепеха соснового корня отекала на него сухим песком, и, полузасыпанный, он казался мертвым. В па-

дении Алексей оттолкнул его плечом и лег под самым корневищем.

— Больше тебе некуда, да? — ошалело, не поднимая из песка головы, заглушенно вскрикнул курсант и подвинулся на свое прежнее место. Алексей дышал часто и трудно, будто только что вынырнул из воды.

— Наложил или ранен? — уже миролюбивее спросил курсант, все еще не открывая глаз.

— М...к! — выдохнул Алексей.— Лежи тихо! Танковый десант!..

Тот одним рывком повернулся на бок и подтянул к животу ноги. Алексей проделал то же самое, и колени его оказались прижатыми к заду, а голова — к спине курсанта. Они разом глубоко вздохнули и затихли. Все, что им слышалось, доносилось к ним не сверху, а как бы из-под земли: отрывисто-круглые выстрелы танковых пушек, гул моторов, протяжно-раскатный стон падающих деревьев, прореди автоматных очередей, и все это мешалось в единое и казалось отдаленным и неприближающимся.

«Может, это тоже пройдет... Как-нибудь пройдет и кончится», — подумал Алексей, и тут же он вспомнил и увидел роту, свой взвод, раненых, капитана Рюмина, вспомнил и увидел курсанта, к которому прижимался под этим спасительным земляным зонтом. «А ведь он дезертир!.. Он трус и изменник! — внезапно и жутко догадался Алексей, ничем еще не связывая себя с курсантом.— Там бой, а он...»

Наверху, рядом с воронкой, гремуче прокатился железный вал и послышались близкие автоматные выстрелы, голоса немцев, улюлюканье и свист. Алексей всем телом подался к курсанту, затаенно молясь корню, осыпавшемуся на него песком и глиной. Валы катились рядом, слева и справа, и, ощущая коленями тепло и дрожь тела курсанта, Алексей уже смертно ненавидел булькающее урчанье его живота, эту тесно прильнувшую к нему спину, весь его мерзкий, скрюченный облик.

— Где твоя СВТ? — свистящим шепотом спросил он курсанта.

— Тут! — к чему-то готово отозвался курсант.— И немецкий автомат тоже... А твоя?

У него опять голодно зарычал живот, и курсант еще круче выгнул спину и сказал:

— Вот же сволочь! Ему хоть бы что...

В буреломном грохоте леса неожиданно явственно

(и совсем недалеко) вспыхнула раздерганная ружейная пальба и раздались крики, потом несколько раз (знакомо по учебному полигону) звучно взорвались противотанковые гранаты, и все откатилось в сторону, и Алексей обнял курсанта и затрясся в сухом истерическом плаче.

— Тихо! Цыц, в душу твою!..— обернулся курсант и стал ловить горячими пальцами прыгающие губы Алексея.— Ты что...— Он осекся, с писком сглотнул слюну и отнял руку.— Это вы, товарищ лейтенант? Не бойтесь! Нас тут не найдут... Вот увидите! — зашептал он в глаз Алексею.

— Вставай! — крикнул Алексей.— Там... Там все гибнут, а ты... Вставай! Пошли! Ну?!

— Не надо, товарищ лейтенант! Мы ничего не сможем. Нам надо остаться живыми, слышите? Мы их, гадов, потом всех... Вот увидите!.. Мы их потом всех, как вчера ночью! — иступленно просил курсант и медленно, заклинаяще нес ладонь ко рту Алексея. Алексей ударил его в подбородок, и курсант встал на колени, упершись каской в корневище.

— Стреляй тогда! — тоже в полный голос крикнул он, и лицо его стало как бинт.— Или давай сперва я тебя! Лучше это самим, чем они нас... раненых... в плен...

И Алексей впервые понял, что смерть многолика. Курсант — Алексей видел это по его жутко косившим к переносице глазам, по готовно поддававшемуся на пистолет левому плечу, по мизинцу правой руки, одиноко пытававшемуся оторвать зачем-то пуговицу на шинели,— курсант не боялся этой смерти и почти торопил ее, чтобы не встретиться с той, другой, которая была там, наверху. «Что это, страх или инстинктивное сознание пользы жертвы?» — мелькнуло у Алексея.— «Лучше это самим, чем они нас... раненых... в плен». «Мы их потом всех, как вчера ночью!..»

Тогда-то и открылось Алексею его собственное поведение, и, увидя себя со стороны, он сразу же принял последнее предложение курсанта — самих себя, но еще до этого мига его мозг пронизала мысль: «А что же я сам? Я ведь об этом не думал! А может, думал, но только не запомнил того? Что сказал бы я Рюмину перед его пистолетом? То же, что этот курсант? Нет! Это было бы неправдой! Я ни о чем не думал!.. Нет, думал. О роте, о своем взводе, о нем, Рюмине... И больше всего о себе...

Но о себе не я думал! То все возникало без меня, и я не хочу этого! Не хочу!..» Веруя в смертную решимость курсанта и гася в себе чей-то безгласный вопль о спасении, Алексей выбросил руку с пистолетом и разжал пальцы. Курсант обморочно отшатнулся, но тут же схватил пистолет.

— Психический! — измученно прошептал курсант и лег.

Они лежали валетом и слышали, как над ними остановились двое и стали мочиться в обрыв воронки, под корень. Это были немцы. Они перебросились несколькими фразами, и скоро все стихло. Ушли.

Ночь была глухой и пустынной. Сквозь белесую пелену туч звезды просачивались желтыми масляными пятнами, а по земле синим томленным чадом стлался туман, и все окружающее казалось полуверным и расплывчатым. Курсант шел в двух шагах сзади с винтовкой на правом плече и с автоматом на левом, и, оглядываясь, Алексей каждый раз встречал его радостно-смущенные глаза. Он был из третьего взвода. Фамилию его Алексей не помнил, а спрашивать не хотелось. Не хотелось ничего: ни думать, ни разговаривать, ни жить, и все свое тело Алексей ощущал как что-то постороннее и ненужное. Он был пуст, ко всему глух и невосприимчив, и он не мог прибавить или убавить шаг — ноги двигались самостоятельно, без всякого его усилия и воли. Где-то далеко справа размеренно работали тяжелые орудия. Сначала слышалось обрывистое «дон-дон», а через десять шагов впереди на краю света ворчали взрывы, и Алексей невольно забирал влево, на север.

— Так и дурак кашу съест, была бы ложка, — сказал раздумчиво курсант, прислушиваясь.

Алексей промолчал.

— Воюют-то они чем, — подождав, снова начал курсант, — минометами, пикировщиками да танками?

— Это ты кому следует скажешь, чем они воюют... А как мы с тобой воевали нынче... тоже доложишь! — озлобленно проговорил Алексей, не оборачиваясь.

— Нынче никто из нас не воевал, товарищ лейтенант! — угрюмо сообщил курсант. — И докладывать мне некому и нечего. Я весь день пролежал один в воронке...

— Один? А я где был? — парализованно остановился Алексей.

— Не знаю. Мало ли... Там кто-то все время стрелял из пистолета по «юнкерсам». Кажется, сбил одного... Может, это вы были?

— Вот гад! — изумленно, самому себе сказал Алексей.— Рота погибла, а он... Вот же гад.

— Да кому это нужно, чтоб мы тоже там погибли? — так же изумленно, шепотом спросил курсант.— Немцам?

— Ты знаешь, о чем я говорю!

— Может, и знаю. Об НКВД, наверно?

— Вот-вот. И о своей и твоей совести...

— Ну, моя совесть чиста! — сказал курсант.— Я вчера ночью честно, один на один, троих подсадил, как миленьких... А из НКВД с нами никого не было. Ни вчера, ни нынче. Так что нечего...

Он обиженно замолчал и пошел рядом, но через минуту спросил почти весело:

— А вы как... многих вчера, товарищ лейтенант?

— Одного,— не сразу, устало сказал Алексей.— Худой, как скелет...

Курсант удивленно и немного насмешливо посмотрел на него сбоку.

— Щупали, что ли?

— Документы проверял... Он офицер был,— солгал Алексей и рукавом отер лицо.

— А я, дурак, и не подумал насчет трофеев! — сокрушенно сказал курсант.— Один вот только автомат прихватил...

Они дважды присаживались в поле и молча курили перемешанную с песком и галетными крошками махорку курсанта, запрятав сигарки в рукава, потом опять шли на северо-восток, потому что орудия по-прежнему били справа. Когда посреди неожиданно обозначилась в полумгле бурая горбатина леса, курсант сцепил локоть Алексея и захлебно крикнул:

— Немцы! Над самыми верхушками... Четверо!

Было все сразу — волна горячего испуга («Он сошел с ума!»), вид четырех гигантов, возвышавшихся над лесом тускло блестящими касками («Я тоже?»), и голос капитана Рюмина:

— Свои! Подходите!

Лес был шагах в двадцати, и на бегу курсант не то смеялся, не то плакал и до боли сжимал локоть Алексея: Как только под ногами с морозным сухим треском стала ломаться рыжая заросль, Алексей догадался, что это

всего-навсего подсолнечные будылья, и перестал противиться руке курсанта и сам закричал что-то слезно и призывно...

10

Это оказались те самые скирды, где четыре дня тому назад роту встретил майор в белом полушубке. Скирды узнали еще издали, с опушки леса, и Рюмин, шедший впереди, так и не понял — сам ли он замедлил шаг или же курсанты с Алексеем настигли его, и он очутился в середине и даже немного позади группы. Так, в тесной кучке, все шестеро и подошли к ним, и сразу же каждый почувствовал ту предельную усталость, когда тело начинает гудеть и дрожать и хочется единственного — упасть и не вставать больше. Остановившись, Рюмин удивленно и опасливо оглядел скирды, лес, светящееся небо, потом перевел взгляд на Алексея и спросил его снова:

— Все? Больше никого?

Алексей ничего не ответил — это было сказано в десятый раз, — и тем же изнуренным и бесстрастным голосом Рюмин произнес:

— Тогда обождем здесь.

Курсанты один за другим молча нырнули в готовую дыру в западной стенке крайнего справа скирда, и, когда Алексей тоже наклонился над ямкой, Рюмин просительно тронул его за плечо и с отчаянным усилием сказал:

— Не нужно туда! Сделаем сами...

Они подошли к соседнему скирду, и Рюмин, захватив в горсть несколько травинок, понес их к себе, как букет, а потом стоял и с неестественно пристальным, почти тупым любопытством следил за тем, как легко и хватко Алексей вынимал из скирда круглые охапки слежавшегося клевера и тимофеевки.

— Все. Давайте, товарищ капитан, — сказал Алексей.

— Что? — непонимающе спросил Рюмин.

— Заходите, а я свяжу затычку.

Рюмин согнулся, но пролаз был низок, и он опустился на колени и локти и пополз в пахучую темень дыры под немым страдающим взглядом Алексея. И хотя влезть в дыру можно и нужно было иначе — задом, уперев руки в колени, Алексей зачем-то в точности повторил прием Рюмина. Он загородил затычкой вход и лег, стараясь не задеть капитана, и, затаясь, несколько минут ждал

какого-то страшного разговора с Рюминым. Но Рюмин молчал, изредка сухо и громко сглатывая слюну. В недрах скирда шуршали и попискивали мыши, и пахло сокровенным, очень давним и незабытым, и от всего этого томительно-больно замирало сердце, и в нем росла запуганно-тайная радость сознания, что можно еще заснуть.

Было светло и спросонок зябко, потому что затычка валялась в стороне,— видно, Рюмин отбросил ее ударом кулака, он лежал на животе, наполовину высунувшись из устья дыры, и, уложив подбородок в ладони, глядел в небо. Там, над лесом, метались три фиалково-голубых «ястребка», а вокруг них с острым звоном спиралями ходили на больших скоростях четыре «мессершмитта». Алексей впервые видел воздушный бой и, подтянувшись к пролазу, принял позу Рюмина. Маленькие, кургузые «ястребки», зайдя друг другу в хвост, кружили теперь на одной высоте, а «мессершмитты» разрозненно и с дальних расстояний кидались на них сверху, с боков и снизу, и тот «ястребок», который ближе других оказывался к атакующему врагу, сразу же подпрыгивал и кувыркался, но места в кругу не терял.

— Хорошо обороняются, правда, товарищ капитан? — возбужденно спросил Алексей. Рюмин не обернулся: на лес убито падал, медленно перевортываясь, наш истребитель, а прямо над ним свечой шел в небо грязно-желтый, длинный и победно остервенелый «мессершмитт».

— Мерзавец! Ведь все это давно было показано нам в Испании! — прошептал Рюмин. — Негодяй! — убежденно-страстно повторил он, и Алексей не знал, о ком он говорит.

Вслед за первым почти одновременно погибли оба оставшихся «ястребка» — один, дымя и заваливаясь на крыло, потянул на запад, второй отвесно рухнул где-то за лесом. Рюмин повернулся на бок, поочередно подтянул ноги и сел.

— Все,— старчески сказал он.— Все... За это нас нельзя простить. Никогда!..

У него теперь было худое узкое лицо, поросшее светлой щетиной, съехавший влево рот и истончившиеся в ненависти белые крутые ноздри. Увидав на его шее две набрякшие, судорожно бившиеся жилы — плачет?! — Алексей, встав на четвереньки и забыв сесть, одним ды-

ханием выкрикнул в грудь Рюмину все то, что ему самому сказал курсант:

— Ничего, товарищ капитан! Мы их, гадов, всех потом, как вчера ночью! Мы их... Пускай только... Они еще не так заблюют!.. У нас еще Урал и Сибирь есть, забыли, что ли! Ничего!

Несколько минут они молчали. Лицо Рюмина сохраняло прежнее выражение — невидящие глаза, скосившийся рот, приподнятые крылья ноздрей, но он сидел теперь затаенно-тихий, как бы во что-то вслушиваясь или сиюсь постигнуть ускользящую от него мысль, и, как только это удалось ему, черты лица его сразу же обмякли, и он как-то сожалеюще-любовно посмотрел в глаза Алексею.

— Покурить бы,— виновато сказал он.

— Это я сейчас,— вырвалось у Алексея.— У ребят есть, я знаю!..

Курсанты понуро сидели кружком у своего скирда. На охалке клевера перед ними стояла расковырянная штыком банка судака в томатном соусе. Они, видно, приготовили ее давно, до начала воздушного боя, и все еще не ели, может, потому, что не решили — чем. При подходе Алексея они не встали, но ожидающе подобрались. Сразу же, увидав банку, Алексей хотел вернуться и прийти попозже, но уйти, ничего не сказав курсантам, было нельзя, и он спросил, как они отдохнули.

— Как у тещи,— с мрачной иронией сказал кто-то, и оттого, что курсанты сидели и ждали от него чего-то другого, а не этого только вопроса, потому что Алексей стоял прямо над банкой и старался не глядеть на нее и не глотать приток слюны, он устыдился и покраснел от одной лишь мысли попросить сейчас закурить.

— Ну ладно,— торопливо проговорил он,— я зайду после...

Его догнал тот самый курсант из третьего взвода и на ладонях, залитых ржавым соусом, почти к самому лицу Алексея протянул банку.

— Ну-ка, берите с капитаном! — строго и загодя возмущенно на предполагаемое неповиновение сказал он.— И под низ давайте, а то разольете к такой матери!..

Бессознательно подчиняясь приказанному тону, Алексей машинально снял с его ладоней банку и тут же протянул ее назад, но курсант, на отлете поддерживая руки, побежал к своим и на полпути обернулся и напутственно кивнул Алексею.

— Я же только так... Закурить хотел! — слабо крикнул Алексей.

— Потом принесу! — отозвался курсант, но уже не оглянулся.

Рюмин встретил Алексея вопрошающе-длинным взглядом, и, когда Алексей, приемом курсанта, поднес к его лицу банку, он отшатнулся и пораженно спросил:

— Что это?

— Консервы... Ничего нельзя было сделать, — растерянно проговорил Алексей. — А табак, сказали, принесут после...

— Сказали? — переспросил Рюмин. — Зачем? Черт знает... Как же ты не понимаешь всего этого! — И, побелев, скривив рот и пытаясь встать на колени, осипло крикнул: — Отнеси сейчас же! Бегом! И никакого табака! Ничего! Они не этим должны нас... Не этим!..

Все того же курсанта и Алексея, бежавших со своими ношами навстречу друг другу, разделяли шага три или четыре, когда в скирде позади Алексея треснул притушенный, до конца не окрепший выстрел. Видно, курсант тоже враз понял, кто и куда стрелял, потому что он сам выхватил из рук Алексея банку, рассыпав табак, а потом бежал следом за Алексеем и ярым полусшепотом ругался в бога...

Рюмин лежал на спине. Левая бровь его была удивленно вскинута, а расширенные глаза осмысленно глядели в сумрак дыры. Он часто и слабо икал, выталкивал языком сквозь белеющие зубы розоватую пену, и правой рукой, откинутой далеко в сторону, зажимал пучок клевера. Все это Алексей вобрал в один короткий обыскивающий взгляд, и, когда он позвал капитана и подхватил его под мышки, по всему телу Рюмина прошла бурная живая дрожь, но тело тут же опало и налилось тяжестью, а глаза вспугнуто померкли.

Это было впервые, когда Алексей не устранился мертвого. Наоборот, он испытывал какую-то странную близость и согласность к той таинственно-неподвижной позе Рюмина, в которой он лежал, и то, что он сделал, не вызвало у Алексея ни протеста, ни жалости. Как в полусне и с выражением просветленной оцепенелости он расстегнул на Рюмине шинель и стал ощупывать его грудь, ощущая пальцами угасающее тепло и липкую влажность. В про-

ходе дыры молча стояли курсанты, и, когда Алексей бессмысленно взглянул на них, кто-то спросил:

— Куда он попал, товарищ лейтенант?

Алексей не ответил. Курсант из третьего взвода сказал: «Какая разница», — и выругался в бога.

Все, что делал потом Алексей — снимал с Рюмина планшетку и полевую сумку, вытаскивал из нагрудных карманов его гимнастерки крошечный блокнот и партийный билет, разглядывал и прятал в свой карман рюминский пистолет, — все это он совершал внимательно-прочно, медленно и почти торжественно. То оцепенение, с которым он встретил смерть Рюмина, оказывается, не было ошеломленностью или растерянностью. То было неожиданное и незнакомое явление ему мира, в котором не стало ничего малого, далекого и непонятного. Теперь все, что когда-то уже было и могло еще быть, приобрело в его глазах новую, громадную значимость, близость и сокровенность, и все это — бывшее, настоящее и грядущее — требовало к себе предельно бережного внимания и отношения. Он почти физически ощутил, как растаяла в нем тень страха перед собственной смертью. Теперь она стояла перед ним, как дальняя и безразличная ему родня-нищенка, но рядом с нею и ближе к нему встало его детство, дед Матвей, Бешеная лощина... По очереди разглядывая лица курсантов, он раздельно и бесстрастно сказал:

— Надо его на опушке, под кленом.

— Как теперь узнаешь клен? Листьев-то нету, — сказал кто-то, но Алексей повторил с тупым упрямством:

— Чтоб небольшой клен... Разлапый.

Он сам нашел его метрах в ста от скирдов. Молча ходившие сзади него курсанты составили в козлы СВТ, а под ними выставили две бутылки с бензином. Немецкий автомат курсант из третьего взвода повесил на ветку клена. Алексей, проследив за действием каждого, снял шинель и свернул ее пакетом. То же самое проделали и курсанты, но шинели свои сложили поодаль от лейтенантской.

— Дай мне свой штык, — сказал Алексей курсанту из третьего взвода.

— Да полно вам, мы сами выроем! — с досадой взглянул на него тот.

— Дай, говорю, ну? — прошептал Алексей. Курсант обратил кинжалообразный штык лезвием к себе и протянул его Алексею.

Земля промерзла всего лишь на ладонь, но ее верхний черный пласт был густо перевит и опутан белыми нитями пырея — жесткого и неподатливого, как проволока. «Пырей растет по всей, наверно, России... Бывало, пока нарежешь дерна, иступишь лопату... А земляные плитки назывались в Шелковке корвегами. После дождя ребяташки запруживали ими ручьи на проулках села...»

Первую плитку Алексей вырезал трудно и долго. Это всегда так бывало: первая корвега самая трудная... Трое курсантов, дробивших до того землю на мелкие кусочки, начали тоже вырезать плитки. Их принимал и складывал в штабель курсант из третьего взвода.

— Потом выложим ими верх,— сказал он Алексею.

Под черноземом слоем залегал нетолстый пласт глины, а дальше показался песок. Его черпали касками и выбрасывали на восточный край могилы. Он был теплый. Теплым и обмякло-рыхлым было небо, затянутое сплошными тучами, и теплыми были снежинки, липнувшие к рукам.

Танки показались в северной стороне поля, и стрелял лишь тот, кто шел на скирды, а второй молчал и двигался к опушке леса. Алексей видел, как курсанты, несшие Рюмина, повернули назад, в скирды, и капитана уносил уже только один — курсант из третьего взвода. Он тащил его на спине, как мешок, и голова мертвого держалась очень прямо, и каска сидела на ней удивительно по-рюмински — чуть-чуть набекрень. Не переставая думать, как положить Рюмина — головой на север или юг,— Алексей вылез из могилы и сначала собрал шинели, потом винтовки, автомат и бутылки с бензином и все это не сбросил, а сложил в углу могилы. Молчавший танк достиг опушки и шел теперь вдоль нее к Алексею, поводя из стороны в сторону коротким хоботом орудия. Но он был еще сравнительно далеко, а второй елозил уже между скирдами, и из крайнего, где спрятались курсанты, нехотя выбивался, повисая над землей, сырой желтый дым. Почти равнодушно Алексей отвел от него глаза и встал лицом к приближающемуся танку, затем не спеша вынул рюминский пистолет и зачем-то положил его на край могилы у своего правого локтя. Наклоняясь за бутылкой, он увидел испачканные глиной голенища сапог и колени и сперва почистил их, а потом уже выпрямился. До танка оставалось несколько метров,— Алексей хорошо различал теперь крутой скос его стального лба, ручьями лившиеся отполированные траки гусениц и, снова болезненно-остро ощутив

присутствие тут своего детства, забыв все слова, нажитые без деда Матвея, пронзительно, но никому не слышно крикнул:

— Я тебя, матери твоей черт! Я тебя зараз...

Он не забыл смочить бензином и поджечь паклю и швырнуть бутылку. Визжащим комком голубого пламени она перелетела через башню танка, и, поняв, что он промахнулся, Алексей нырнул на дно могилы. Он падал, на лету обнимая голову руками, успев краем глаз схватить зубчатый столб голубого огня и лаково-смоляного дыма, взметнувшегося за куполом башни.

— Ага, матери твоей черт! Ага!..

Он успел это крикнуть и плашмя упасть в угол могилы, где лежали шинели, и успел вспомнить, что то место в танке, куда он попал бутылкой, называется репицей...

Когда грохочущая тяжесть сплюснула его внутренности и стало нечем дышать, он подумал, что надо было лечь так, как они лежали вчера с курсантом в лесу — на боку, подогнув к животу колени...

Он лежал и с протяжным нутряным воем втягивал в себя воздух. На каждый вдох и выдох приходился удар сердца, больно отдававшийся во лбу и пальцах рук. Он забыл все, что с ним произошло, и не знал, где находится. Телу ничего не хотелось, кроме одного — дышать, и он продолжал захлебно сосать из шинелей воздух, пропахший потом, ружейным маслом и керосином. А затем пришло все сразу — память, ощущение неподатливой тяжести, взрыв испуга, и он с такой силой рванулся из завала, что услышал, как надломленно хрумкнул позвоночник и треснули суставы рук, метнувшись вниз откуда-то сверху, от затылка. Теперь он опирался грудью на локти, как на колышки. Они тряслись и вот-вот должны были переломиться, но вокруг них была пустота и воздух, и, захватывая его ртом, Алексей по-прежнему утробно выл, — иначе он не мог, боялся дышать. Он повторил рывок и очутился поверх комьев земли и глины. Привалюсь к обвалившейся стене могилы, он долго сидел обессиленный и обмякший, следя за тем, как из носа на подол гимнастерки размеренно стекали веские капли крови.

— Это только так, — гнусаво сказал Алексей. — Зараз пройдет...

Он лег, вытянувшись во весь рост, зажмурился и раскрыл рот. Падали крупные, лохматые и теплые снежинки. Они липли к бровям, наскоро превращаясь в щеко-

чущую влагу, заполнявшую глазные впадины, и Алексею казалось, что это плачут глаза одни, без него...

Сначала он отрыл свою шинель и рукавом гимнастерки старательно очистил петлицы от налипшего песка и глины. Кубари были целы. Не вставая с колен, Алексей оделся и в десятый раз взглянул в сторону темного, неподвижно приземистого танка. В нем все еще что-то шипело и трескалось, и в белесом сумраке вечера над откинутым верхним люком виднелся трепетный черный сноп чада.

— Стерва,— вяло, всхлипываяще сказал Алексей.— Худая...

По-прежнему избегая глядеть на догорающие скирды, он отрыл бутылку с бензином, СВТ, рюминский пистолет и подолом шинели протер оружие. Винтовки он повесил на плечи — по две на каждом, пистолет спрятал в карман брюк, а бутылку взял в руки. Не глядя в сторону скирдов, он пошел от могилы по опушке леса, постепенно забирая вправо, на северо-восток.

Было тихо и сумрачно. Далеко впереди беззвучно и медленно в небо тянулись от земли огненные трассы, и Алексей шел к ним. Он ни о чем отчетливо не думал, потому что им владело одновременно несколько чувств, одинаково равных по силе,— оторопелое удивление перед тем, чему он был свидетелем в эти пять дней, и тайная радость тому, что остался жив; желание как можно скорее увидеть своих и безотчетная боязнь этой встречи; горе, голод, усталость и ребяческая обида на то, что никто не видел, как он сжег танк...

Подавленный всем этим, он шел и то и дело всхлипываяще шептал:

— Стерва... Худая...

Так было легче идти.

ЭТО МЫ, ГОСПОДИ!..

Луце жь бы потяту быти,
неже полонену быти¹.

«Слово о полку Игореве»

ГЛАВА ПЕРВАЯ

Немец был ростом вровень с Сергеем. Его колючие поросячьи глаза проворно обежали высокую статную фигуру советского военнопленного и задержались на звезде ремня.

— Офизир? Актив офизир? — удивленно уставился он в переносицу Сергея.

— Лейтенант...

— Зо? Их аух лейтенант!²

— Ну и черт с тобой! — обозлился Сергей.

— Вас?

— Што ви хофорийт? — помог переводчик.

— Говорю, пусть есть дадут... за три дня некогда было разу пожрать...

...Клинский стекольный завод был разрушен полностью. Следы недавнего взрыва, как бы кровотока, тихо струили чад угасшего пожара. В порванных балках этажных перекрытий четко застревало гулкое эхо шагов идущих в ногу немцев. Один из них нес автомат в руках. У другого он просто болтался на животе.

— Хальт! — простуженным голосом прохрипел немец.

Сергей остановился у большого разбитого окна, выходящего в город. В окно он видел, как на площади, у памятника Ленину, прыгали немецкие солдаты, пытаясь согреться. На протянутой руке Ильича раскачивалось большое ведро со стекаемой из него какой-то жидкостью.

Конвоирам Сергея никак не удавалось прикурить. Сквозняк моментально срывал пучок желтого пламени с зажигалки, скрюченные от ноябрьского мороза пальцы отказывались служить.

— Комт, менш!³

¹ Лучше быть убиту от мечей, чем от рук поганых полонёну! (Поэтическое переложение Н. А. Заболоцкого.)

² Вот как? Я тоже лейтенант!

³ Идем, человек!

Пройдя еще несколько разрушенных цехов, Сергей очутился перед мрачным спуском в котельную.

«Вот они где хотят меня...» — подумал он и, вобрав голову в плечи, начал спускаться по лестнице, зачем-то мысленно считая ступеньки.

Обозленными осенними мухами кружились в голове мысли. Одна другой не давали засиживаться, толкались, смешивались, исчезали и моментально роились вновь.

«Я буду лежать мертвый, а они прикурят... А где политрук Гриша?.. Целых шесть годов не видел мать!.. Это одиннадцатая? Нет, тринадцатая... если переступлю — жив...»

— Нах линкс!¹

Сергей завернул за выступ огромной печи. Откуда-то из глубины крошечной тьмы слышались голоса, стоны, ругань.

«Наши?» — удивился Сергей. И сейчас же поймал себя на мысли, что он обрадован, как мальчишка, не тем, что услышал родную речь, а потому, что уже знал: остался жив, что сегодня его не застрелят эти два немца...

Привыкнув, глаза различили груды тел на цементном полу. Места было много, но холод жал людей в кучу, и каждый стремился залезть в середину. Только тяжело-раненные поодиночке лежали в разных местах котельной, бесформенными бугорками высясь в полутьме.

— Гра-а-ждане-е-е! Ми-и-лаи-и... не дайте-е помере-е-еть!.. О-о-й, о-о-ох, а-а-ай! — тягуче жаловался кто-то голосом, полным смертельной тоски.

— Това-а-рищи-и! О-ох, дороги-ия-а... один глоточек воды-и... хоть ка-а-пельку-у... роди-и-имаи-и!

— Прими, говорят тебе, ноги, сволочь, ну!..

— Эй, кому сухарь за закурку?..

— ...и до одного посек, значит... вот вдвоем мы только и того... без рук... попали к «ему»...

— Кто взял тут палатку?

— В кровь исуса мать!..

— Земляк, оставь разок потянуть, а?..

Разнородные звуки рождались и безответно умирали под мрачными сводами подвала, наполняя сырой вонючий воздух нестройным, неумолчным гамом.

Сергей, постояв еще минуту, медленно направился к груде угля и, аккуратно подстелив полу шинели, сел на большой кусок антрацита. Волнение первых минут как-

¹ Налево!

то незаметно улеглось. На смену явилось широкое и тупое чувство равнодушия ко всему да голодное посасывание под ложечкой. В кармане галифе Сергей нащупал крошки махорки и, осторожно стряхнув его содержимое в руку, завернул толстую неуклюжую сигарку.

«Ну-с, товарищ Костров, давайте приобщаться к новой жизни!» — с грустной иронией подумал он, глубоко затягиваясь терпким дымом. Но сосредоточиться не удавалось. Разрозненные, одинокие осколки мыслей скользили в памяти и, легко совершив круг, задерживались, преграждаемые одной и неотвязной мыслью: почему он, Сергей, бравировавший на фронте своей невозмутимостью под минами немцев, никогда не думавший о возможности смерти, сегодня вдруг так остро испугался за свою жизнь? Да еще в каком состоянии! Пленный... когда желанным исходом всего, казалось бы, должна явиться смерть... Не все ли равно, какая смерть, каким руслом она ворвется в душу, мозг, сердце... Смерть есть смерть!

«Значит, просто струсил?!»

В памяти отчетливо встал недавний фронтовой случай. Рота Сергея занимала богатую деревню недалеко от Клина. Знали, что впереди, в небольшом леске, засели немецкие автоматчики, готовя наступление. Им организовывали встречу. Подходы к деревне были густо заминированы, десять дээсовских пулеметов притаились на небольшой поляне, вероятном месте атаки. Ждали.

Каждый день немцы обстреливали деревню. С душевраздирающим воем мины тупо рыли улицу и огороды колхозников, наводя ужас на стариков и женщин.

Однажды солнечным октябрьским утром Сергей и политрук Саша Жариков возвращались из штаба батальона.

— Без трех минут девять,— взглянул на часы политрук,— фрицы и францы допивают кофе. В девять ноль-ноль начнется минопускание по нашей вотчине...

Почти в ту же минуту тишина утра нарушилась диким воем мин.

— Ии-иююю-у-юю... Гахх! Гахх! Ии-юю-уу-юю...

— Пожалуй, укроемся, лейтенант?

Перепрыгнув плетень, зашли в небольшой сад. Под развесистой грушей, в давно заброшенном погребе, сидел ротный писарь и составлял строевую записку. Одна за другой две мины залетели в сад.

— Бац, телеграммы! — воскликнул писарь, накло-

няясь к полу погреба. То же самое, как-то невольно, проделали Сергей и политрук.

— Грешно, комиссар, кланяться каждой немецкой мине,— пошутил Сергей.

Поднявшись, они отошли несколько шагов от ямы, договорившись: по очереди одному падать, а другому стоять при разрывах мин.

— Потренируем нервишки, а?

— Пи-и-июю-у-ю! — вдруг слишком близко завьло в воздухе.

Политрук медленно присел на колени. Сергей, зажмурив глаза, остался стоять. Сухой обвальный взрыв огромными ладонями ударил в уши. Что-то с силой рвануло за полы плаща Сергея, крошки недавно замерзшей земли больно брызнули ему в лицо. Открыв глаза, Сергей увидел плавающие в воздухе белые листки тетради. Колыхаясь и описывая спирали, они медленно садились на седую от изморози траву, как садятся измученные полетом голуби. С самой верхней ветки груши бесформенной гирляндой свисали какие-то иссиня-розовые нити. Тяжелые бордовые капли медленно стекали с них.

— Мина залетела в яму,— проговорил Сергей,— писарь убит,— указал он политруку глазами на ветви груши...

По улице шли медленно, не обращая уже внимания на рев и разрывы мин.

— А у тебя полы ведь нет у плаща, лейтенант! — удивился политрук.

— Да-да,— отвлеченно ответил Сергей, занятый своими мыслями. Он думал о смерти и тогда же понял, что, в сущности, не боится ее, только... только умереть хотелось красиво!

Всплыли и другие боевые моменты. И ни в одном из них Сергей не отыскал и тени намека на сегодняшнее свое поведение.

«Что ж, я молод и хочу жить. Значит, хочу еще бороться!» — решил он, сидя на куче угля...

Нескончаемо долго текла первая ночь плена. Только к утру задремал Сергей, уткнув нос в воротник шинели. Разбудили его вдруг поднявшийся шум и движения среди пленных.

— Немцы бомбить идут! — крикнул кто-то в дальнем углу.— Прячь, братва, что у кого есть!..

Ничего не понимая, Сергей вглядывался в бледную полоску света, идущую от лестницы. Там стояла группа

немцев, видимо только что пришедших и оживленно разговаривающих с часовыми. Все они, как-то разом повернувшись, направились к пленным. Острые полосы света от ручных фонарей запрыгали по серым, нелепым от распущенных хлястиков шинелям, пилоткам, шапкам.

— Комагерр!¹ — зарычал рослый фашист, схватив за плечо Сергея.

— Мантиль ап! Ап, шнелль!²

Сергей снял шинель. Торопливо немец облапал его карманы. Вдруг его рука, дрогнув, замерла на грудном кармане гимнастерки.

— Вас ист дас? О, гут, прима!³ — осклабился он, рассматривая массивный серебряный портсигар. Это был подарок от друзей ко дню двадцатилетия Сергея. Затейливый вензель из инициалов хозяина распластался на крышке. На внутренней ее стороне были выгравированы в шутку слова: «Пора свои иметь». Углубление этих букв было залито черной массой, и бравший папиросу из портсигара непременно прочитывал это назидание.

Сергей грустным взглядом проследил, как портсигар утонул в кармане зеленых измызганных брюк.

— Это же памяти!

— Вас баMAT?

— Память, знаешь, скотина?!

В полутьме немец видел, как лицо военнопленного покрывлось меловым налетом, и, рванув пистолет, со страшной силой опустил его на висок Сергея...

ГЛАВА ВТОРАЯ

Декабрь 1941 года был на редкость снежным и морозным. По широкому шоссе от Солнечногорска на Клин и дальше на Волоколамск нескончаемым потоком тек транспорт отступающих от Москвы немцев.

Ползли танки, орудия, брочки, кухни, сани.

Ползли обмороженные немцы, напяливая на себя все, что попадалось под руку из одежды в избе колхозника.

Шли солдаты, накинув на плечи детские одеяла и надев поверх ботинок лапти.

Шли ефрейторы в юбках и сарафанах под шинелями, укутав онучами головы.

¹ Ко мне!

² Шинель снимай! Снимай, быстрее!

³ Что такое? О, хорошо, красиво!

Шли офицеры с муфтами в руках, покрытые кто персидским ковром, кто дорогим манто.

Шли обозленные на бездорожье, на русскую зиму, на советские самолеты, штурмующие запруженные дороги. А злоба вымещалась на голодных, больных, измученных людях... В эти дни немцы не били пленных. Только убивали!

Убивали за поднятый окурок на дороге.

Убивали, чтобы тут же стащить с мертвого шапку и валенки.

Убивали за голодное пошатывание в строю на этапе.

Убивали за стон от нестерпимой боли в ранах.

Убивали ради спортивного интереса, и стреляли не парами и пятерками, а большими этапными группами, целыми сотнями — из пулеметов и пистолетов-автоматов! Трудно было заблудиться немецкому солдату, возвращающемуся из окрестной деревни на тракт с украденной курицей под мышкой. Путь отступления его однокашников обозначен страшными указателями. Стриженные головы, голые ноги и руки лесом торчат из снега по сторонам дорог. Шли эти люди к месту пыток и мук — лагерям военнопленных, да не дошли, полегли на пути в мягкой постели родной страны — в снегу, и молчаливо и грозно шлют проклятия убийцам, высунув из-под снега руки, словно завещая мстить, мстить, мстить!..

...Сергей открыл глаза и встретился ими с волосяной рыжей глыбой, свисающей к его подбородку.

«Где это я?» — подумал он.

Вдруг щетина зашевелилась, и мягкий, гортанный голос заставил его шире открыть опухшие веки. «Да это же борода!» — обрадовался он, встретившись с чуть насмешливым взглядом ее обладателя.

— Эх ты, мил человек, горяч, нечего сказать! Чай, запомнил, где ты? — урчал бородач, наклоняясь над Сергеем. — Портсигар пожалел... велика важность! Убить германец ить мог тебя, вот оно как...

Голос бородача напомнил что-то знакомое, и, силясь припомнить, где он его слышал, Сергей закрыл глаза.

— Полежи, я схожу погляжу — снег растаял ли. Попьешь водички...

«Да Горький так говорил! В кинокартине «Ленин в 1918 году», — вспомнил Сергей.

— Как зовут-то тебя, мил человек? — подавая Сер-

гею консервную банку с полурастаившим снегом, спрашивал бородач.

— Серегой, стало быть...

— Ну, добре, а меня Хведором, мил человек, Никифорычем, значит... Ярославский я, из Данилова, может, слышал?

Остаток дня и ночь Сергей провел в разговорах с Никифорычем. Задушевная простота и грубоватая ласковость его советов и нравочений заставили Сергея проникнуться к старику чувством глубокой приязни, почти любви. Сергей сознавал, что Никифорыч неизмеримо практичнее, опытнее его; крепче стоит на земле чуть кривыми мускулистыми ногами, многое видел и знает и многое имеет «себе на уме». Не удивился поэтому Сергей, когда Никифорыч, подтащив вещевой мешок, долго рылся в белье, портянках, старых рукавицах, пока не нашел белую баночку с какой-то мазью.

— Помогает, слышь, крепко при побоях,— объяснил он, зачерпнув черным мизинцем солидную дозу снадобья. Сергей не возражал. «Значит, верно, помогает при побоях»,— решил он и дал Никифорычу вымазать вздувшийся разбитый висок. Когда Сергей отказался от предложенного сухаря, Никифорыч вдруг урезонил его:

— Ты, мил человек, бери и ешь. Приказую тебе...— А помолчав, добавил: — Помогать будем друг другу. Это хорошо, слышь...

На второй день ранним утром всех пленных выгнали из котельной во двор завода. Построенные по пять, тихо двинулись по Волоколамскому тракту, окруженные сильным конвоем. Сергей и Никифорыч шли в первой пятерке. Колючий, пронизывающий ветер дул в лицо, заставлял в комок сжиматься исхудавшее тело.

— Лос! Лос!¹ — торопили конвойные, пытаясь ускорить процессию. Не успели отойти и трех километров от города, как сзади начали раздаваться торопливые хлопки выстрелов — то немцы пристреливали отстающих раненых. Убитых оттаскивали метров на пять в сторону от дороги. У Сергея тупо и непрестанно болело бедро, пораженное осколком... Контуженая левая часть лица часто подергивалась дикой гримасой. С каждым шагом боль в бедре все усиливалась.

— Держись крепче, Серег, не то убьют! — посоветовал Никифорыч.— Есть у меня три сухаря, подкрепимся малость,— продолжал он, невозмутимо шагая вперед.

¹ Давай! Давай!

Чем дальше шли, тем больше становилось убитых. Нельзя отстать от своей пятерки. На место выбывшего сразу становился кто-нибудь другой, место терялось, а вышедшего на один шаг из строя немедленно скашивала пуля конвоира. Люди шли молча, дико блуждая бессмысленными взорами по заснеженным полям с чернеющими на них пятнами лесов.

— Братцы, ну как же оправиться? — взмолился вдруг кто-то из пленных.

— Ай вчера от грудей? Снимай штаны — и дуй! — поучали его из строя.

— Не умею, родненькие, на ходу, я же не жеребец..

— Пройдешь верст пять и сумеешь, — обещали несчастному.

— Ишь, чего захотел! Знать, не голодный..

— Черт плюгавый!..

Плохо быть одному сытому среди сотни голодных. Его не любят, презирают. Этот человек чужой, раз ему не знаком удел всех.

К полудню впереди показалась небольшая деревенька, расположенная на шоссе.

— Журавель, ребята, виден, поьем водички!

— Эти напоят... захлебнешься...

— Ан, слава богу, третью недельку живу в плену и ничего, пью... Самому нужно быть хорошему, тогда и камраты будут хороши...

— Штоб твои дети всю жизнь так пили, как ты тут!

— Ишь, сука паршивая, камрата заимел...

Лениво переругиваясь, пленные вошли в деревню. На крыльце каждого домика толпились женщины и дети, торопливо выискивая глазами в толпе пленных знакомых или родных.

— Тетя, вынеси хоть картошку сырую...

— Пить...

— Корочку...

— Окурочек...

— Да-а... Сюда-аа... Аа-я-оо-а-яя!..

Двести голосов просящих, умоляющих, требующих наполнили деревеньку. На крыльце одной особенно низенькой и ветхой избенки старуха, кряхтя, тащила большую корзину с капустными листьями. Видно, не под силу была ноша бедной, и тогда, схватив ревматическими пальцами охапку листьев, она бросила их в толпу пленных. Думала мать сына-фронтовика, что и ее Ванюша, может быть, ша-

гает где-нибудь вот так, умоляя о глотке воды и единственной мерзлой картошке. И вынесла бы старуха мать ковригу хлеба и кринку молока, да живет она, горемычная, на бойком месте, давным-давно взяли немцы корову, очистили погреб от картошки, съели рожь и пшеницу... Только и осталась корзина капустных листьев пополам с навозом.

Как морской шквал рвет и бросает из стороны в сторону пенную от ярости волну, так пригоршни капусты, бросаемые старухой, валили, поднимали и бросали в сторону обезумевших людей, не желающих умереть с голода. Но в эту минуту с противоположной стороны улицы раздалась дробная трель автомата. Старушка, нагнувшаяся было за очередной порцией капусты, как-то неловко ткнулась головой в корзину, да так и осталась лежать без движения.

Как бы вторя очереди первого автомата, застучали выстрелы со всех сторон. Конвойные открыли огонь по пленным, сбившимся в одну кучу. Стоны, вопли ужаса огласили деревеньку.

— Ложись, Серег,— предложил Никифорыч, но, сразу побледнев, схватился руками за грудь.

— Что такое? Что? — бросился к нему Сергей.

— Убили-таки, ироды! — хриплым и тихим голосом проговорил Никифорыч, ложась на спину.— Вот... тебя тоже убьют, Серег... беги,— хрипел он.— Володька похож на тебя... сын. На фронте он... Ну, возьми мешок... Иди!

Выстрелы так же внезапно прекратились, как и начались. Сергей, распахнув шинель и фуфайку, увидел на груди Никифорыча две ямки выше левого соска. Коричневая густая кровь, пенясь, сочилась из них. Долго возился Сергей с бородой, пытаясь уложить ее горизонтально. Она упрямо торчала вверх, волнуемая холодным декабрьским ветром.

Вновь, построенные по пять, двинулись пленные в путь. Восемьдесят убитых остались лежать на снегу. Раненых не было, их добивали на месте. Сергей оглянулся еще раз на развевающуюся бороду Никифорыча и, поправив мешок, зашагал по снежному тракту.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

Ржевский лагерь военнопленных разместился в обширных складах Заготзерна. Черные бараки маячат зловещим видением, одиноко высясь на окраине города. По

открытому, ничем не защищенному месту гуляет-аукает холод, пронесется снежные декабрьские вихри, стоная и свистя в рядах колючей проволоки, что заключила шесть тысяч человек в страшные, смертной хватки объятия. Все дни и ночи напролет шумит-волнуется людское марево, нижется в воздухе говор сотен охрипших, стонущих голосов. Десять гектаров площади лагеря единственным черным пятном выделяются на снежном просторе. Кем и когда проклято это место? Почему в этом строгом квадрате, обрамленном рядами колючки, в декабре еще нет снега?

Съеден с крошками земли холодный пух декабрьского снега. Высосана влага из ям и канавок на всем просторе этого проклятого квадрата! Терпеливо и молча ждут медленной, жестоко-неумолимой смерти от голода советские военнопленные...

...Лишь на седьмые сутки жизни в этом лагере Сергей получил шестьдесят граммов хлеба. У него хватило сил ровно столько, чтобы простоять пять часов в ожидании одной буханки в восемьсот граммов на двенадцать человек. Диким и жадным огнем загорались дотопле равнодушно-покорные глаза человека при виде серенького кирпичика.

— Хле-леб! — со стоном вырывается у него, и не было и нет во вселенной сокровища, которое заменило бы ему в этот миг корку месяц тому назад испеченного гнилого хлеба!

Сергей видел, как курносый белоголовый парень из его шеренги бережно и осторожно, как что-то воздушно-хрупкое и святое, принял из рук полицейского буханку хлеба. Смешно расширенными глазами глядел он на нее, покачивая в заскорузлых, давным-давно не мытых руках.

— Айда, ребята, к третьему барaku, — почему-то шепотом проговорил он. — Разделим хлебушко...

Опасался орловец, что вот тот же полицейский вдруг одумается да и крикнет:

— Эй, ты, ... в рот, отдай буханку!

Раздевшись, парень разостлал шинель, положил на нее хлеб. Одиннадцать человек сверлили глазами этот жалкий бугорок серой массы, терпеливо ожидая конца священнодействия орловского хлеботороба.

Не так-то просто разрезать буханку хлеба! Из восьмисот граммов должно выйти двенадцать кусочков, но ровных, абсолютно ровных по величине. Крошки, размером

в конопляное зерно, должны быть тщательно подобраны и опять-таки поровну разложены на двенадцать частей.

Сергей наблюдал за ножом и худым грязным лицом разрезающего хлеб и не мог понять: то ли желтоватые скулы орловца двигаются в такт ножу, то ли он нагнетает слюну, предвкушая горьковато-кислый хлеб...

— Ну как, братва, равна? — спросил парень, закончив раскладку крошек.

— Вон там от горбушки надоть...

— Добавить суды...

— Ну, будя, будя! — проговорил парень. — Теперя становитесь по одному, чтоб номера помнить.

Сергей присутствовал первый раз при дележке паек и потому охотно и покорно исполнял правила этой процедуры. Нужно было запомнить свой порядковый номер. Один из участников дележки оборачивался спиной к пайкам хлеба и на вопрос: «Кому?» — называл тот или другой номер.

Таким образом устранялись всякие нарекания на делящего, что он поступил в данном случае нечестно. Номер Сергея был пятый, называющий сказал его последним, и в минуты ожидания, видя, как за два укуса исчезал ломтик хлеба во рту его обладателя, Сергей почувствовал, как водянистая слюна заполнила весь его рот, не успевая проталкиваться в глотку...

С каждым часом все тяжелей становились ноги. Они отказывались слушаться, вечно замерзшие и сырые. Все эти дни Сергей ночевал в третьем бараке на третьем этаже нар. Бараки не могли вместить и пятой части людей, находящихся в лагере. Спали там вповалку друг на друге. На четырехъярусных нарах ложились в три слоя. Счастливец был тот, кто оказывался между верхним и нижним. Было теплей.

Каждый день по утрам пленные выносили умерших за ночь. Каждый день около шестидесяти человек освобождали места для других. В середине лагеря, внутри одного барака, во всю его ширь и глубину вырыли пленные огромную яму. Не зарывая, сносили туда умерших, и катился в нее воин с высоты четырех метров, стучаясь голым обледеневшим черепом по костяшкам торчащих рук и колен братьев, умерших раньше его...

Тяжелым ленивым шаром катились дни. Подминал этот шар под тысячепудовую тяжесть тоски и отчаяния людей, опустошая душу, терзая тело. Не было дням счета и назва-

ния, не было счета и определения думам, раскаленной массой залившим мозг...

Соседом Сергея слева был обладатель синего прозрачного личика с заострившимся носиком. Личико тихо и размеренно дышало, выглядывая из-под полы шинели черными, похожими на зерна смородины глазами. Было в них что-то торжественно-печальное. То ли успокоение сознанием, что, слава богу, все это скоро кончится для него, то ли мольба... Личико не шевелилось.

— Давно здесь? — стараясь придать своему голосу тон сострадания, спросил Сергей.

— Месяц... нет, меньше, — тоненьким голоском пропищало личико. — Болен я... Пальцы отваливаются, — продолжал сосед, по-прежнему не шевеля ни единым членом тела.

— Как отваливаются?

— Гнали нас... на дороге танкист-немец... снял с меня валенки... пять верст босой... ноги отмерзли. Вот семь пальцев отвалились... Теперь только три... завтра, наверное, тоже отвалятся... И ноги гниют тоже... Тут нас много таких...

В гаме голосов терялся тихо шелестящий, часто прерывающийся звук речи. Личико не могло, а может быть, не желало усилить этот шелест. Зачем? Все равно бесполезно. Все равно!.. Но вдруг шелест повторился. Сергей, облокотившись, приблизил лицо к говорящему.

— Шесть верст до дому... Знала б мама... принесла бы картошки вареной, хлеба тоже... На шоссе мы живем... деревню Аксеновку знаете? Колей меня зовут... И как сообщить маме, вы не знаете?

Сергей глядел на влажный агат глаз тоскующего по маме сына и думал: «Да, принесла бы мать своему единственному Коле картошки вареной... и хлеба тоже... Долго бы ходила вокруг лагеря, утопая в снегу веревочными лаптями, до боли шуря слезоточащие глаза, ища ими Колю. Билось бы частыми толчками ее изнывшее сердце, и не поняла бы, не услышала она лающего окрика немца со сторожевой вышки. Прицелился бы тот по склоненной голове в дырявом черном платке, и тихо опустилась бы мать в снег, схватясь руками за грудь, словно пытаясь задержать еще на минуту свою материнскую любовь к сыну, вырванную вдруг кем-то злым и ей непонятным...»

— Нет, не знаю, Коля, как сообщить твоей маме, —

ответил Сергей и, пытаясь успокоить его, весело проговорил: — Ничего, Коля, все будет хорошо! Ты еще вернешься в свою Аксеновку!

— Э, нет! Поглядите-ка вот...

Ухватясь одной рукой за брезентовый ремень, прибитый к доске верхних нар, Коля пытался встать. Это ему никак не удавалось, и Сергей, поддержав его худую, ребристую спину, помог ему сесть. Обеими руками Коля бережно взял одну ногу и, пододвинув ее ближе к Сергею, начал разматывать полотенце.

— Как же я дойду? — повторил он, печально глядя на свою ногу.

Фиолетовый налет гангрены покрыл всю ступню. Ни одного пальца на ноге не было. В их основаниях торчали белые острые косточки или зияло углубление с сочившейся оттуда сукровицей.

— Вот я какой теперь! — проговорил Коля, ложась и накрываясь шинелью...

В этот день было объявлено, что в два часа будет выдаваться «баланда». Сергей уже знал, что в лагере так называют суп. Но именно это бессмысленное слово в точности определяло по достоинству ту несказанную по цвету и вкусу жидкость, которой питались пленные. Варилась баланда в полевых кухнях. Состояла она из чуть подогретой воды, забеленной отходами овсяной муки.

Сергей не имел ни котелка, ни ложки. Опечаленный сознанием своей немоги, он положил голову на вещевой мешок, служивший ему подушкой.

«Но что же в нем все-таки есть?»

Привстав, Сергей начал развязывать мешок Никифорицы. На самом верху там лежали серые суконные портянки. Потом аккуратно сложенное белье, рукавицы, старая пилотка и противоипритная накидка. Вынимая, Сергей раскладывал все это по порядку. На дне мешка лежала совершенно новая плащ-палатка — предмет, особо интересовавший полицейских. Она была свернута заботливо и толково. Развернув ее наполовину, Сергей увидел две небольшие пачки концентрированного гороха.

— Мы с тобой пообедаем сегодня, Коля! — обрадовался искренне Сергей. — Только вот котелка у меня нет...

Не меняя позы, Коля пошарил рукой в тряпье изголовья и протянул Сергею ржавую жестяную банку из-под консервов.

— На черпак баланды хватает,— пояснил он.

...Третий барак выстроился за получением баланды.

— Сказывают, гушша имеется в баланде...

— Потому наш барак последний, так она на дне...

— Не напирай, не напирай!

— Люди добрые, исделайте божескую милость, получить ба на двоих... посудинки нету...

Медленно переступая с ноги на ногу, подвигаются пленные к бочке с баландой. Белые лохмотья пара крутятся над ней, отрываются, смятые ветром, разнося щекощущий нос запах варева.

— Ну, добавь... ради Христа, добавь!..

И полицейский «добавлял». Вылетал из слабых пальцев смятый задрипанный котелок, выливалась из него сизая дрянь-жидкость, бухался горемыка на ток земли, утопанный тысячью ног, и, не обращая внимания на побои, слизывал-грыз место, оттаявшее от пролитой баланды...

Вдруг по толпе прокатился гул удивленных и испуганных голосов:

— Больше нету баланды?!

— Будьте вы прокляты, ироды! Три часа простоять зря...

— Р-расходись в б-барак! — кричали полицейские, крутя дубинками.

Помахивая пустой баночкой, Сергей вернулся в барак. С трудом поднявшись на вторые нары, он вдруг не увидел Коли. Лишь в его изголовье валялась одна рукавица да сиротливо свисал, напоминая ужа, зеленый брезентовый ремень, что служил поручнем его хозяину. Не было также и мешка Никифорыча.

— Какой-то мешок не давал малец полицаям... ну, и того — сбросили с нар. В четвертый понесли... помер, стало быть,— пояснил сосед.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

Низко плывут над Ржевом снежные тучи-уроды. Обалдело плятятся в небо трубы сожженных домов. Ветер выводит-вытягивает в эти трубы песню смерти. Куролесит поземка по щербню развалин города, вылизывает пятна крови на потрескавшихся от пламени тротуарах. Черные стаи ожиревшего воронья со свистом в крыльях и зловещим карканьем плавают над лагерем. Глощают мутные

сумерки зимнего дня залагерную даль. Не видно просвета ни днем, ни ночью. Тихо. Темно. Жутко.

Взбесились, взъярились чудовищные призраки смерти. Бродят они по лагерю, десятками выхватывая свои жертвы. Не прячутся, не крадутся призраки. Видят их все — костистых, синих, страшных. Манят они желтой коркой поджаристого хлеба, дымящимся горшком сваренной в мундирах картошки. И нет сил оторвать горящие голодные глаза от этого воображаемого сокровища. И нет мочи затихнуть, забыть... Зацепился за пересохший язык тифозника мягкий гортанный звук. В каскаде мыслей расплавленного мозга не потеряется он ни на секунду, ни на миг:

— Хhle-епп, хhle-еп... хhle-е...

На тринадцатые сутки умышленного мора голодом людей немцы загнали в лагерь раненую лошадь. И бросилась огромная толпа пленных к несчастному животному, на ходу открывая ножи, бритвы, торопливо шаря в карманах хоть что-нибудь острое, способное резать или рвать движущееся мясо. По образовавшейся гигантской куче людей две вышки открыли пулеметный огонь. Может быть, первый раз за все время войны так красиво и экономно расходовали патроны фашисты. Ни одна удивительно светящаяся пуля не вывела посвист, уходя поверх голов пленных! А когда народ разбежался к баракам, на месте, где пять минут тому назад еще ковыляла на трех ногах кляча, лежала грудка кровавых, еще теплых костей и вокруг них около ста человек убитых, задавленных, раненых...

...В одно особенно холодное и вонючее в бараке утро Сергей с трудом поднял с нар голову. В висках серебряные молоточки выстукивали нескончаемый поток торопливых ударов. В первый раз не чувствующие холода ноги казались перебитыми в щиколотках и коленях.

«Тиф», — спокойно догадался Сергей и, сняв шапку, положил ее под голову.

Чуден и богат сказочный мир больного тифом! Кипяток крови уносит в безмятежность и покой иссыхающее тело, самыми замысловатыми видениями наполнен мозг. Лежит это себе такая мумия на голых досках нар с открытыми глазами, прерывисто дыша, и тихим величием светятся ее зрачки, как будто она только одна на свете вдруг вот теперь поняла смысл бытия и значение смерти! Какое ей дело до миллиардных полчищ вшей, покрывших все тело, набившихся во впадины ключиц, шевелящих

волосы на голове, ползающих по щекам, лбу, залезающих в нос... Нарушается это величие лишь жаждой капли воды. От сорокаградусной жары в теле трескаются губы и напильником шершавится горло. Мумия тогда издает хрип:

— Пи-и-ить... ии-ить...

А потом вновь затихает — иногда навеки, иногда до следующего «ии-ить».

Командирское обмундирование Сергея прельщало полицейских. «Чаво гадить, все равно подохнет!» И на третий день забытья Сергей был раздет догола. Лишь на левой ноге остался белый пуховый носок, полный вшей. Получил эти носки Сергей на фронте. То был подарок-посылка от девушек какого-то уральского мясокомбината. Лежала тогда в носке и записка: «Желаю тебе, дорогой боец, до самых дырок износить эти носки. С любовью — Тося».

До слез смеялись тогда над этим Тосиным пожеланием. И, бережно надевая носки, Сергей урезонивал ржущих: «Вы вникните, черти, в смысл этих слов! Девушка с любовью желает, чтоб не убили меня... Ну-ка попробуй износить такие носки! К тому времени последний из фрицев в ящик сыграет...»

Ничего не стоило потом обитателям барака сбросить голый полутруп с нар и занять его вшивое место. В один миг Сергей оказался на полу, раскинув длинные ноги-циркуль поверх вповалку лежащих там людей. Где же ему место, как не под нижними нарами, куда сгартываются испражнения! И Сергея затискали-затолкали под нары, благо парень не издает ни звука...

Да крепок был костлявый лейтенант! Слишком мало уж было крови в его жилах, устала смерть корезить гибкое тело спортсмена, и выполз Сергей из-под нар через двое суток, волоча правую отнявшуюся ногу.

— Слезь... с моего... места,— прошептал он занявшему его «жилплощадь».

На хрип этого привидения удивленно уставилась стриженная дынеобразная голова.

— Ты што, из четвертого появился?

— Слазь...

— Откуда этот хлюст взялся?

— Место, слышь, требует...

— В чем дело? В чем дело, почему голый, а?

Сергей медленно повернул голову по направлению го-

лоса со звучащей в нем ноткой власти. В дверях барака стоял в белом халате низкорослый и крупноголовый детина.

— Где твоя гимнастерка, а? — протискиваясь к Сергею, спрашивал он.

По петлицам Сергей догадался, что это доктор. «Неужели тут есть доктора?» — мелькнула мысль.

— Я болен... видимо, тиф.

— Вижу, что ты болен. Но голый, голый ты почему?

— Раздели полицейские... обмундирование комсоставское... трудно не взять...

— Вы командир?

— Лейтенант... Помогите же, доктор... я потерял силы... Это вот мое место... сбросили, лежал там...

— Идите за мной.

В третьем же бараке, в небольшой загородке, лежало около двадцати командиров, больных тифом. Там и поместился Сергей на вторых нарах в самом тесном и темном углу. Пустотой и легкостью была наполнена затуманенная голова, не было в теле ни позыва, ни недуга.

Перед вечерними сумерками пришел доктор.

— Как живем, лейтенант? — спросил он, взобравшись к Сергею. — Правая нога? Гм... явление частое после тифа, да. Не чувствует? Ампутировать... как-нибудь, да!

— Резать не дам! — упрямо выговорил Сергей. — Я еще буду драться!..

— Дерутся здоровые, лейтенант... конечно, и в моральном смысле, да! Но... одну минуту! — Доктор, легко спрыгнув с нар, вышел из барака. Вернулся он с объемистым пузырьком беловатой жидкости и котелком в руках. — Растирать. Очень часто. Можно носком. Посмотрим, да. Спирт отечественный, у меня последний... И вот — баланда, ешьте. Я зайду. Поговорим, да!..

Аспидного цвета налет покрыл кончики пальцев ноги Сергея. Не чувствовала нога ни щипков, ни укола булавок.

«Я не нужен себе калекой, нет», — думал Сергей и всю ночь через небольшие промежутки изо всех сил растирал спиртом ногу. Тот бил в нос, колесом крутил слабую голову. На второй день в пальцах появилась тупая, ноющая боль. Она все усиливалась, по мере растирания ноги спиртом.

— Отлично! Будет толк. Боль — не что иное, как пред-

ставление о боли, да! — отчеканил доктор. — Но кусайте себе губы. Терпите. Нога останется...

И Сергей терпел. Превозмогая боль, он яростно комкал носок, растирая ногу.

Доктор заходил часто, засиживался у Сергея, расспрашивал его об учебе, жизни, фронте. Когда уж, казалось, обо всем поговорили, каждый, однако, сознавал, что о самом главном-то и умолчено, к чему и вели все беседы. Однажды, когда доктор помог Сергею остричь кишасшие вшами волосы, он особенно долго засиделся на вторых нарах. Лежа Сергей всматривался в мясистый профиль эскулапа, потом сказал:

— Владимир Иванович, вы согласны с тем, что в представлении нашем, ровесников революции, честность, порядочность и... доброта, скажем, неизменно ассоциируются с понятием о любви к Родине, к русским людям?..

Доктор, насторожившись, внимательно слушал, наклонясь к Сергею.

— И,— продолжал Сергей,— я потому предполагаю в вас наличие такой же полноты второго достоинства, как и первого.

— Следовательно?

— Я люблю мою Родину!

— И?

— Вы ведь немного старше меня!..

— Вставайте. Учитесь ходить, да. Баланды сумеем достать. Приходите в амбулаторию. Там наши. Познакомьтесь. Решим, да...

Лагерная амбулатория, где работал доктор Лучин, была единственным светлым пятном на фоне всего черного и безнадежного. Лаконичный в словах и действиях доктор подобрал себе в помощники трех боевых ребят, аттестовав их перед немцами как людей с медицинским образованием. На самом же деле этот народ занимался тем, что осторожно выискивал «в доску своих», приобщал их к амбулатории, а там думали-решали, как бежать, притом большой группой, сумевшей бы приобрести в пути оружие...

Прошло несколько недель, пока Сергей смог окончательно встать и наступать на ногу. За это время Лучин принес ему не один котелок баланды и не один кусок лошадиной печенки. Как-то солнечным февральским днем Сергей в первый раз зашел в «амбулаторию». На нарах лежал Лучин, а на единственном табурете сидел, широко расставив ноги, лучинский «санинструктор». Он выслушивал

трубкой повернувшегося к нему спиной полицейского.
— Та-ак. Ничего серьезного. Помажем...

Навернув грязную тряпку на палочку, «санинструктор» быстро сунул ее в чернильницу и, пристально поглядев на Сергея, ловко вывел свастику на спине дуралея, окантовав ее густыми мазками.

— Чрезвычайно полезно. Иди!

— Дело в том,— объяснил Лучин Сергею,— что имеющиеся медикаменты мы в первую очередь должны употреблять на эту сволочь, да. Приказ немцев. Мы же изыскиваем средства лечения этих господ на месте. Вы видели... Так-то, товарищ лейтенант, да!..

Осторожно мусолило снег солнце еще холодными щупальцами своих лучей. Все выше и выше взбиралось оно на небо, суля близкую весну и охапку надежд. Толковали одни:

— Весной должна кончиться война. Попомните мое слово! Потому што пропали мы тут...

Думали другие: «Зелень, лес... Пробраться к своим будет легче. Лишь бы удрать».

Март принес частозвон утренних капель с крыш барачков и тихие непроницаемые ночи. Столбом валит из дверей барачков зловоние оттаявших испражнений и трупный запах разлагающихся тел. Не спят уже на полу вповалку люди. Поредела за зиму толпа пленных, умещаются теперь на нарах. Каждый день выдается баланда — почти пол-литровый черпак воды пополам с грязью, соломой, копытами лошадей и двумя-тремя картошками величиной с голубиное яйцо. Неохотно отошел-отступил от барачков тиф, перевалив почти всех до единого. Поддерживая друг друга, выползают пленные из барачков, садятся с подветренной стороны, бьют вшей пока еще в шинелях. Кровавятся от них ногти больших пальцев, а «пройдено» только полрубца плечевого! Расстиляется на проталинках шинелишка, становится ее обладатель в очередь за бутылкой. Ох, как нужна тут пивная бутылка! Прижал ее руками да и покатил по шинели — и сыпанет тогда в уши дробный треск лопающихся вшей...

Шли дни. По утрам в чистом весеннем воздухе плыли к лагерю орудийные стоны. Торопливей и злей становились немцы, настороженней — пленные.

— Стучат, доктор, а?

— Зовут, лейтенант, да! Вот подгадет снежок — обстановка улучшится. Махнем, да!..

Но вышло все иначе. Однажды в помещение, где ютился Сергей, вошел комендант лагеря. Щуря подслеповатые глаза и поблескивая кокардой, он приказал сопровождаемому его унтеру построить командиров. Жидкой шеренгой вытянулись пленные вдоль нар. Унтер, макая новенькую кисть в красиво разрисованную баночку, лепил на левом рукаве каждого командира густой желтый крест.

На второй день поезд мчал пленных командиров на запад.

ГЛАВА ПЯТАЯ

Клейка и непролазна вяземская грязь. словно искусно сваренный клей, вяжется желто-бурая жидкость на мостовых, доходя до щиколоток, а кое-где и до колен. Хорошо взмешена грязь тысячью ног каждый день проходящих на работы пленных. Хлюпают-чавкают в грязи сапоги, валенки, лапти, ботинки. Оборвется шпагат, которым привязаны на ногах тряпки, и тогда пишут узоры на грязи босые ноги...

За городом, на незасеянном поле, поросшем пыреем и мелким воробьиным щавелем, раскинулось немецкое кладбище. Сотни крестов торчат из глинистой земли, рябя в глазах черными пауками-свастикой. Роют пленные ямки-овражки; часто подползают к ним грузовики с трупами фрицев и францев из вяземских лазаретов. И, уложив двадцать, тридцать гитлеровцев в ямку-овражек, забрасывают их пленные тонким слоем глины, а потом ставят пять или десять крестов. Ну кто догадается из живых еще фрицев, что тут двадцать покойников? Пять! Об этом говорят кресты...

В тот день ни минуты не передохнул Сергей. Желтая вязкая глина липнет к лопате; огнем жжет ладони шершавая ручка; раскис-расползся сапог, которым нажимает Сергей на ушко лопаты... Красноватые пупырышки цветущего щавеля машут, зовут голодный блестящий взгляд. Да как отойти от могилы? Как нагнуться, чтобы вырвать пучок травы и запихать его в рот?

— Лос, лос, менш! — рычат конвоиры, многозначительно потряхивая автоматами...

...Попыхивает комендант лагеря гамбургской сигаретой. Досасывает ее до самых пальцев. Брызгается его пенсне искорками солнечных зайчиков, но не загораживают они горбатой мушки пистолета. Чиркнул в кучу пленных

«бычок», бросились на него со всех ног двадцать человек. И поднимет торжественно пистолю фашист, и качнется назад, оттолкнутый выстрелом. Шарахнутся девятнадцать пленных в сторону, но обязательно останется лежать в грязи обладатель окурка, нелепо дергаясь телом. Да, плохо стреляет немец! Не может он сразу вырвать жизнь из русского. Долго колотит тот каблуками землю, словно требуя второй выстрел...

Партиями от десяти до двухсот человек каждый день гоняют немцы пленных на работы. На станцию железной дороги для выгрузки песка из вагонов всегда требовалось двести человек. Там от шести часов утра до восьми вечера пленные не получали даже капли воды. Зато через день в железных бочках из-под красителей варилась для них крапива. Рвали ее сами же пленные в оврагах и буераках близ станции. Целыми охапками запихивали ее в бочки, заливали водой и кипятили. Да не получишь ведь и этого больше установленной нормы! Согласно немецкому «закону», пленному полагалось 0,75 литра «варева»...

За городом, в дымке утренних паров, вставало хохочущее до дрожи в лучах молодое весеннее солнце. Его появление каждый день встречали пленные, выстроившись по пяти. Становились по старшинству звания — майоры и равные им, капитаны и равные им — и, окруженные автоматчиками, уныло и молча шли на работу.

Вот уже третий день Сергей с партией в десять человек шел работать у зенитчиков. Располагались те в лесу, в пятнадцати верстах от города. Была там надежда получить граммов сто — двести хлеба и «великая возможность смыться», как говорил новый приятель Сергея капитан Николаев. На работе старались держаться вместе. Несет ли Сергей полено дров — Николаев шагает сзади, подерживая конец дровины и поглядывая: авось отвернется конвоир...

Как-то Сергей и Николаев работали в складе масел и красок.

— Подозрительна эта штука, — сказал капитан на притаившийся в углу пузатый бочонок. — Спирт у них в таких бывает...

— И что?

— Как что? Фляга есть у меня, понял?

— Ну?

— На носу баранки гну!.. Полицейским отдадим — килограмм хлеба получим в побег.

Немец-старик ни на минуту не спускал глаз с работающих. Притулившись на бочке, он посасывал трубку, опершись на винтовку.

— Задушить бы — и айда! — кивнул на него капитан.

— Закричит гад, немцы за стеной...

— Вот что, — предложил Николаев, — захоти-ка ты в уборную. Он меня оставит, так я установлю, что в бочонке...

Жестами и движениями кое-как объяснил Сергей немцу, что он хочет. Тот неохотно вскинул на ремень винтовку и ворча поплелся за Сергеем, оставив капитана в закрытом складе. Долго сидел в кустах Сергей, поглядывая на полуотвернувшегося от него немца.

— Шнелль, менш! — наконец не выдержал тот.

— Не лезет, дедушка!

— Вас ист дас, гедюшка?

— Трудно, говорю. Запеклось к черту все!

— Лос, сакрамент!¹ — разозлился фашист и, подойдя к Сергею, потащил его за плечо. Какого же было его удивление, когда он не увидел результатов сидения пленного!

— Ду люгст. Вильст ниht арбайтен?!²

Подталкиваемый прикладом, Сергей вернулся в склад. Николаев сосредоточенно продолжал перекачивать бочки.

— Готово! — пояснил он Сергею. — Древесный только...

Бежать, однако, не удавалось. Был за командирами особый присмотр, да и уходить хотелось наверняка, не попадаясь: пойманных убивали тут же.

Вдруг нежданно-негаданно запретили командирам выход из черты лагеря на работы. Это отнимало многое и у многих. У одних рушились упования на «подкалымить жратву», у других гибли надежды на скорый побег.

— Вот тебе и смылись! — сокрушался капитан.

— Опытнее будем! — злился Сергей.

...В пять часов утра выстраивался лагерь за получением хлеба — буханки на четверых. Шли нескончаемой вереницей люди, давно потерявшие человеческий облик в страшных условиях фашистского плена. Испуганные партизанским движением, гнали немцы в лагерь окрестных жителей — ребятишек двенадцати лет и стариков — семидесяти и выше.

¹ Давай, проклятый!

² Ты врешь. Не хочешь работать?!

В семь часов вечера вновь выростала бесконечная очередь пленных. К тому времени в кухнях попевала баланда. Ходуном прыгает черпак — раз в котелок, раз по голове просящего подбавить. Бывает, крепко стукнется черпачок по стриженной голове, и зазвенит-запрыгает отвалившаяся жестянка. Останется в руках у полицейского долгий дрын-ручка, и пойдет бандит выколачивать ею пыль из шинелей, а память из голов. Долго стоят в очереди, ожидая ремонтирующийся черпак, пленные, посылая сто чертей в душу и печенки тому, на чьей голове он обломился...

А за проволокой, не доходя до нее десяти метров, маячат разноцветным тряпьем бабы, дети. Пришли они из ближних деревень к отцам, дедам, сынкам. Подперев голову рукой, вдруг не выдержит какая-нибудь из них да и заголосит. Переливами печали и горести льется по лагерю причитающий голос:

Ии-и ты-и-и жа-а, мой родненьки-и-й сыно-о-члик,
Ясненьки-и-ий све-е-тик ни-на-гля-а-дний..
За-а што-о тебе-ее доста-а-а-лась до-о-ля го-орькая,
Го-о-оло-ву-шка ты-и моя-а ни-ща-сна-ая!..

Повернут головы на скорбный материнский голос дети-подростки и зашмыгают носами. Станет среди лагеря заросший бородой дядя, прислушается, сплюнет и скажет: — Тьфу ты, скаженная! Все нутро волокеть...

Выходят послушать соло и немцы. Да непонятны им смысл и содержание русского плача-песни, не знают они, как рождаются такие звуки-стоны! Не слышат они в них смертельной тоски и ненависти, бесконечной любви и терпения...

Черной душной стеной обрушивается ночь на лагерь. Погребают ее обломки-минуты мысли и надежды людей, успокаивают их несложные желания...

ГЛАВА ШЕСТАЯ

Вагоны, постукивая на стыках рельсов, лениво двинулись за паровозом и, лязгнув буферами, притихли вновь. Крепко-накрепко затиснуты в петли дверей ржавые кляпы железных засовов. Все той же колючей проволокой забиты опутаны окна, и задумай шальной воробей пролететь в окно — повиснет он, наколовшись на растопыренные рожки колючки.

Сорок семь тел распластались в вагоне. Лежать можно только на боку, тесно прижавшись к соседу. И все равно десять человек должны разместиться на ногах лежащих вдоль стенок людей. Душно и вонюче в вагоне. Тяжело дышат пленные пересохшими глотками. Вторые сутки стоит состав на станции, не двигаясь с места. Знают пленные, что это — смерть для всех! Съедены еще в лагере «дорожные продукты» — две пайки хлеба. Кто знает, куда везут их, сколько дней еще простоят поезд?..

Жесточкой дизентерией мучился Сергей. В желудке нет и грамма пищи. Еще три дня тому назад он перестал есть хлеб и баланду. За это время сэкономил три пайки хлеба, и вот теперь кричат они в раздувшемся кармане: «Съешь нас!» Нет сил отогнать эту мысль. Тянется невольно рука к карману с пайками, погружаются ногтистые пальцы в мякоть. «Корку лучше!» — мелькает мысль, одобряющая действие рук, и щиплют пальцы неподатливый закал корки, подносят украдкой от глаз ко рту. «Нельзя, подохнешь!» — шепчет кто-то другой, более твердый и властный, и пальцы виновато и бережно относят крошку хлеба назад в карман. И опять останавливаются на пути, благословляемые на преступление жалким, трусливым и назойливым шепотком: «Чего уж там, бери и ешь...»

— Нельзя, понимаешь, сволочь?! — громко шепчет Сергей.

Глядит Николаев сочувствующими глазами, спрашивает:

— Болит?

А сам думает: «Уже бредит, помрет...»

— Я не сошел с ума, капитан, — говорит Сергей, — но я до смерти хочу есть... противное желание!

— У тебя кровь идет и какая-то зелень. Есть нельзя.

— Есть «не есть!» — пробует шутить Сергей.

Стоит поезд. Вторая ночь! Хрипят, задыхаясь, пленные, льнут воспаленными лбами к железным обручам вагона. Лишь на рассвете третьего дня, дрогнув, дернулся состав, и на рассвете же Сергей не выдержал и съел сразу две пайки хлеба. «Все равно умру, так лучше наевшись», — решил он. А часа через два в животе начались жуткие рези. Корчится Сергей, задевая ногами лежащих, до крови кусает губы, стараясь не закричать. Выступили на его лбу росинки пота, и откуда взялись — бог весть! Вытащил из-за голенища ржавую корявистую ложку капитан и, наклонившись к Сергею, приказал:

— Разевай рот!

Полностью засадил Сергею ложку в горло. Рвутся наружу внутренности, наизнанку выворачивается желудок.

— Больше в тебе нет ничего,— успокоил Сергея капитан.

Чувствовал Сергей и сам невольную иронию в словах Николаева. Теперь в нем и впрямь слишком мало чего осталось... Нет, не так! Ты не прав, капитан! То, что там есть, в самой глубине души, не вырыгнул с блевотиной Сергей. Это самое «то» можно вырвать, но только цепкими когтями смерти. Иным путем нельзя отделить «то» от этого долговязого скелета, обтянутого сухой желтой кожей. Только «то» и помогает переставлять ноги по лагерной грязи, только оно в состоянии превозмогать бешеное чувство злобы, желание вспыхнуть на минуту и испепелить в своем пламени расплывчатое пятно, маячащее перед помутившимися глазами, завернутое в зеленое, чужое... Оно заставляет тело терпеть до израсходования последней кровинки, оно требует беречь его, не замарав и не испаскудив ничем! «Терпи и береги меня! — приказывает оно.— Мы еще дадим себя почувствовать!..»

— Нет, капитан, во мне осталось все, что было! — со злобой отвечает Сергей.

— Да вот оно, что было в тебе! — указывает на кучку сероватой массы Николаев.

— Ты одурел, мой друг, от голода,— уже спокойней проговорил Сергей,— возьми мою пайку и съешь...

На четвертый день пути пленных выгрузили в Смоленске. Большая часть командиров не могла двигаться. На станцию пришли автомашины и, нагрузившись полутрупами, помчались в лагерь. Из кузова грузовика Сергей глядел на безжалостно истерзанный город-герой. Сожженные немецкими зажигательными бомбами, дома зияли грустной пустотой оконных амбразур, и казалось, не было в городе хоть единственного не пострадавшего здания.

На окраине города жили пленные. Лагерь представлял собой огромный лабиринт, разделенный на секции густой сетью колючей проволоки. Это уже было образцово-показательное место убийства пленных. В самой середине лагеря, как символ немецкого порядка, раскорячилась виселица. Вначале она походила на букву «П» гигантских размеров. Но потребность в убийствах росла, и изобретательный в этих случаях фашистский мозг из городского гестапо выручил попавших в затруднительное поло-

жение палачей из лагеря. К букве «П» решено было приделать букву «Г», отчего виселица преобразилась в перевернутую «Ш». Если на букве «П» можно было повесить в один прием четырех пленных, то новая буква вмещала уже восьмерых. Повешенные, согласно приказу, должны были провисеть одни сутки для всеобщего обозрения.

Секция командного состава лепилась в заднем углу лагеря. Состояла она из двух бараков и была строго изолирована от других. В Смоленском лагере пленные были разбиты на категории: командиры, политсостав, евреи и красноармейцы. Была предусмотрена каждая мелочь, чтобы из одной секции кто-нибудь не перешел в другую. За баландой ходили отдельными секциями — под строгим наблюдением густой своры немцев.

Командиры, политсостав и евреи не допускались до работы. Сидели эти люди на строгом пайке, томились без курева. По вечерам, когда пленные группами возвращались с работ, в самой большой секции, где были красноармейцы, открывался базар. Было там все — начиная с корки хлеба и кончая пуговицей, ножиком, ремнем, обрывком шпагата и ржавым гвоздем. Делалось и добывалось это так: напрягая всю мочь, вскидывает тяжелую кирку пленный, ковыряя мостовую. Так и кажется: вот взмахнет еще разок — да и завалится в грязь, вконец обессиленный и истощенный. И проходит мимо какая-нибудь старушка. Остановится она, долго глядит на касатика, потом, вздохнув, присядет на корточки и достанет из узелка яичко.

— Съешь, родимый, помяни грешную душу рабы божьей Апросиньи...

А вечером яичко переходит из рук в руки торгующих.

— Штой-то у тебя?

— Ицо.

— Сколько?

— Пайка.

— Дай погляжу... какой-то она таво... желтая.

— От породистой курицы потому...

— А ты што курицу то...?

— Выходит же счастье вот таким тухтарям!

— И кто ему дал ицо, черти его возьми...

Так с каждым ассортиментом товара на базаре военнопленных. Уж не может стоять на ногах продавец кроличьей булдыжки. Плюхнулся он в грязь, подогнув калачиком ноги, и бормочет в полузабытьи:

— Кому трюстяины? Кому трюстяины?

Сотни рук пробуют синеватый кусочек, соблазнительно пахнувший мясом. Падает он в навоз, очищается и вновь предлагается «покупателям».

— Да съешь ты сам свою трюстяину! Помрешь ить, пока продашь.

— Эй, кому загнать по дешевке?

— Што-о?

— ...!

— Душа лубезный, купи котелок баланды! Свежий, вкусный, красивый!

— Кому ножик за понкрутку?

— У кого кусок резины есть?..

Сергей и капитан стояли у проволочной стены, следя за оживленной торговлей на базаре.

— А знаешь,— предложил Николаев,— не мешало бы сходить на эту черную биржу.

— Пайку перепродать?

— Нет, кальсоны; покурить бы малость...

Но в этот момент начали разгонять базар и строить людей. Построились и командиры.

— По направлению виселицы — шагом марш! — командовали полицейские.

Туда же шли и другие секции.

— Кому-то наденут сейчас гитлеровский галстучек,— шепнул Николаев.

Запрудив обширную площадь, пленные образовали пустоту вокруг виселицы. Немцы-конвоиры остервенело следили за секциями командиров, политсостава, евреев.

Кроваво-красным шаром закатывалось в полоску сизой тучи солнце на окраине лагеря. Духота летнего вечера повисла над площадью тяжелым пушистым одеялом.

— Дай проход! Разойдись в стороны! — слышались голоса.

В образовавшийся живой коридор вошли немцы. Их было семь человек. Окружили они понуро шагавших двух пленных. Долговязый нескладный офицер сразу же заговорил что-то на своем языке.

— Военно-полевой суд...— начал переводчик; и рассказал, что немцы решили повесить двух пленных за то, что, работая в складе на станции, они насыпали себе в карманы муки...

— А много мучки-то взяли? — слышался голос из толпы.

Обреченные были явными противоположностями друг другу. Первый являл как будто все признаки предсмертного отупения. Раскрыв губы, он бессмысленно глядел на переводчика белесоватыми неморгающими глазами. Парень был велик и широк костью, видать, вял и неповоротлив. Изредка он всхрапывал носом и проводил по нему рукавом гимнастерки.

Второй, лет под тридцать, щуплый и низенький, загорелый до черноты, был похож на скворца. Он стоял, нервно переминаясь с ноги на ногу, ни разу не взглянув на толпу пленных и на читавших ему смертный приговор.

Пока переводчик говорил, немцы ладили петли веревок, встав на аккуратно сколоченные козлы.

— Дорогие, век не забуду... не надо! — заколотил себя кулаками в грудь «скворец». — Не буду... с голоду это я... Родимые, ненаглядные мои, — бредил он, упав на колени.

— Подымись, дура еловая! — спокойным басом загорланил его одновисельник. — Разя это люди? Это жа анхиристы! Увстань жа, ну!..

И, неторопливо взяв за плечо коленопреклоненного, он легко поставил его на ноги.

Живчиком бился чернявый в цепких руках немцев. Брыкался и кусался, не давая просунуть голову в петлю веревки. Все так же не торопясь и деловито влез на козлы белоглазый парень, сам надел себе веревочный калачик на длинную грязную шею и, качнувшись, грузным мешком повис прежде чернявого, уродливо скривив голову...

...В голубени июльского неба кусками пышного всхожего теста плавают облака. Жарят погожие дни стальную вермишель колючек проволоки, разогревают смолу толевых крыш барачков, и сочатся блестящие черные сосульки каплями смачной патоки. Думают люди о пище днем и ночью. Подолгу ведутся в темноте разговоры-воспоминания — кто, когда и как ел.

— Ну, встаешь, это себе, делаешь, понятно, зарядку, а на кухне уже слышишь: ттчщщщии-и!.. Пара поджаренных яичек, два-три ломтика ветчинки... Да-а! Запивал все это я стаканчиком холодненького молочка... знаете такое? А в обед...

— Это што-о! Я вот, так я кушал так: утром не ел ничего!

— Ну, это уж вы напрасно! Почему же?

— А, понимаете, не хотел. Привык!

— Как так можно! Могла же ваша жена, скажем, поджарить вам белый хлебец в сливочном масле... румяненький, горяченький... с сахарцом, понимаете?

— Да, конечно, но... рацион, так сказать...

— Ах, что там! Это вы просто... извините, дурак были, что не кушали!..

Это в углу, где спали «старички» по чину и годам. Во втором же:

— Заходишь в буфет, берешь пару булок по тридцать шесть, пару простокваш — ббабах! А в двенадцать — в столовую. Опять берешь: селянку, пожарские, кисель и пять пива. Шарахнешь — и до семи!..

Это вспоминали свое житье-бытье те, кому не могла жена «поджарить в сливочном масле». Это были холостяки...

...В самую последнюю очередь получали командиры баланду. Поблескивают в их руках котелочки, баночки из-под консервов, а за неимением того и другого держат за ремешки некоторые и каски.

— У вас, капитан, губа не дура! Посудинку-то себе вы подыскали вместительную!

— Скажите, товарищ подполковник, вы... если не ошибаюсь?

— Да, я армянин.

— Встречали ли вы там, у себя, более роскошную пиалу, чем вот эта ваша?

— Майор Величко, что вы думаете, сколько касок баланды вы могли бы опрокинуть за один присест?..

Так доходили до кухни. Посреди бесстенного навеса стояли две ванны, наполненные чем-то желтым, жидким. Это и была баланда, сваренная из костной муки. Возвращались в бараки, бережно неся содержимое своих сосудов. Чинно рассаживались на нарах, и в первые минуты был слышен лишь жадный всхлип губ, сосущих баланду.

— Товарищ военинженер, вы жаловались на катар, так вот не желаете ли доесть мою баланду?

Молодежь была неутомимей. Выпив баланду, заводила она разговоры, споры, воспоминания.

— Повторяю, внешность не показатель внутреннего достоинства человека, — горячился лейтенант Воронов. — Я знаю один характерный случай. В моей учебной роте был курсант Пискунов. Фамилия его говорила за все: он был похож на цыпленка-заморыша. Учился плохо. Как-то

спрашивает его тактический руководитель: «Вот вы, курсант Пискунов, ведете взвод. Наблюдатель подал знак — «воздух». Ваше решение?» А Пискунов стоял-стоял да и решил: «Я,— говорит,— подаю команду — «спасайся кто как может!» — Ну, понятно, хохот в аудитории, плохая отметка и прочее. Но дело не в этом. Пискунов был аттестован на младшего лейтенанта. А в первые же месяцы войны, командуя взводом, он заработал орден Ленина. И заметьте: единственный из всего училища тогда!..

ГЛАВА СЕДЬМАЯ

В один из августовских дней 1942 года, когда над лагерем проплывали белые мотки паутины, командиры были выстроены, чтобы получить «дорожные продукты». Путь, видимо, предстоял долгий: была выдана каждому целая буханка хлеба из опилок в 800 граммов, что составляло четырехдневную норму.

— В Германию везут. Надо бежать в пути,— пояснил Сергей.

Идя на станцию, Сергей и капитан съели одну буханку, оставив другую на дорогу. Погрузка проходила быстро. Немец отсчитывал десять пятерок и подводил их к вагону. В дверях сразу же создавалась пробка. Каждый стремился залезть в вагон не последним, ибо из пятидесяти человек двенадцати придется стоять за неимением места. Пятидесятку Сергея немец подвел к французскому вагону. Это были очень практичные и удобные вагоны для перевозки мертвых грузов и братские гробы для пленных. Герметически закупоренные, без окон, обитые изнутри жостью, эти вагоны были настоящей тюремной камерой, уничтожающие малейшую возможность побега.

— Кажется, все! — покачал головой Николаев.

— Нет. Остановки.

— Не выпустят...

— Тогда... тогда останется последняя возможность! — вот! — указал Сергей на железную петлю, вбитую в стенку вагона. Николаев долго не отрывал глаз от этой петли.

Поезд с места набрал скорость и около пяти часов не останавливался, убаюкивая разомлевших от нестерпимой жары людей. Никто не имел ни малейшего представления, куда идет состав и на какой станции остановился сейчас. Разразившаяся ночью гроза охладила вагон, дышать

стало несколько легче. Когда в узкие, словно прорезанные осокой, щели дверей вагона просочилась молочная сывортка рассвета, поезд, ухнув, вновь помчался вперед. За вторые сутки пути еще ни разу не открыли двери вагона. Душный смрад висел в воздухе, дышали через рот, чтобы не чувствовать вони. Первые сутки без воды. Вторые. Третьи. Утро четвертого дня. Грузный майор Величко, подложив под голову каску, служившую ему ранее котелком, не шевелился и не стонал вот уже несколько часов. А к вечеру четвертого дня пути, пронзительно завизжав, стали открываться двери вагонов. Хлынувший поток света и свежего воздуха ошеломил всех. Люди лежали, не двигаясь и ничего не желая.

— Раус, раус!¹ — вопили немцы.

От истощения пергаментной бумагой шелестели перепонки ушей, носом нельзя было дышать — шумом и треском наполнялась голова. Взяв за руки один другого, Сергей и Николаев вылезли из вагона. Ноги не держали, и Сергей опустился на рельс. Вокруг выгружаемых пленных собралась толпа зевак в гражданских одеждах. Слышался непонятный и смешной выговор чужого языка. Сергей с трудом поднял голову на фасад ближайшего здания. Жирной чернотой оттуда брызнуло слово из нерусских букв. «Каунас», — разобрал Сергей...

По городу шли медленно, нестройно. Завернутые в коверкот туши мяса немецких колонизаторов торжественно и самодовольно пялили лорнеты на серую муть лиц пленных. Было интересно и странно видеть толпы гуляющих людей и еще непонятней воображать, что эти вот люди спят у себя в квартирах, ложась и вставая когда им вздумается, что они в досталь имеют пищу и сами могут брать ее из шкафов... Станным казался и этот город с узенькими улочками и кафельными шпилеобразными крышами приземистых домиков.

Медленно и молча продефилировала партия пленных командиров по центру города. Было воскресенье, и острые шпили костелов начинивали воздух медными вздохами колоколов. Теперь шли уже по тесным улочкам предместья Каунаса. Из приусадебных садилов пахло прелой морковью и увядшими лопухами.

— Яаки! — не закрывая губ, произнес Николаев.

Сергей повернул голову, и глаза его скользнули по бледно-розовым гирляндам яблок.

¹ Вон, вон!

— Да, яблоки...

Каунасский лагерь «Г» был карантинным пересылочным пунктом. Не было поэтому в нем особых «благоустройств», свойственных стандартным лагерям. Но в нем были эсэсовцы, вооруженные... железными лопатами. Они уже стояли, выстроившись в ряд, устало опершись на свое «боевое оружие». Еще не успели закрыться ворота лагеря за изможденным майором Величко, как эсэсовцы с нечеловеческим гиканьем врезались в гущу пленных и начали убивать их. Брызгала кровь, шматками летела срубленная неправильным косым ударом лопаты кожа. Лагерь огласился рыком осатаневших убийц, стонами убиваемых, тяжелым топотом ног в страхе метавшихся людей. Умер на руках у Сергея капитан Николаев. Лопата глубоко вошла ему в голову, раздвоив череп.

...После смерти друга нервы Сергея сдали. Ходил он подавленный, мрачный. Все навязчивей липла мысль о «последней возможности».

«Разогнаться и об острый угол барака... самому»,— думал Сергей.

На шестой день пребывания в этом лагере пришедшие конвоиры выстроили сто человек и повели их за лагерь. В это число попал и Сергей. Шли зеленеющей долиной, сплошь усеянной огромными камнями-валунами. Эти валуны пленные должны были катить в лагерь. Для чего понадобились они там — было непонятно. Лагерь был карантинный, и под этим словом надо было понимать издевательство. Четыре человека катили пятидесятипудовый камень. Вдавливался он неровными формами в сырую почву, накатывался на ноги, выматывал последние шаткие силы. Долину, где белели валуны, окаймлял густой опушкой боярышник, а за ним позванивал золотыми сережками созревший овес. На две-три четверки пленных приходился один конвоир. Он оборачивался, поглядывая на отстающих, останавливался закуривать, уткнув морду в растопыренные ладони рук.

— А ну, братцы, бежим! — предложил своей тройке Сергей.

— Как?

— Подкатим валун к кустам, а там — врассыпную!..

— Побьют... День, видно...

Соглашался один, совсем еще мальчик, с вздернутым носиком и проникновенными голубыми глазами. На вид ему нельзя было дать и семнадцати лет. Двое же трусили.

— Ну, малыш! — чувствуя холодок в груди, шепнул Сергей пленному, доверчиво и вопросительно глядевшему на него, — держись!.. А вы — как знаете! — бросил он оставшимся у валуна.

К кустам подошли шагом, не взглянув в сторону конвоира. Видел ли он их, нет ли. Сергей не знал. Уже далеко позади остались кусты; мнется под животом сухой, звенящий овес, путается в пальцах повитель гороха. Часто дышит ползущий рядом с Сергеем мальчик — не отстает. Но в долине уже поднялась суматоха и слышен гвалт немцев. Замерли без движения беглецы, стараясь не шелохнуть ни одной овсяной былинки. Эх, если б можно было провалиться в землю!..

Шарят, рыскают в кустах немцы, бьют тесаками оставшихся у злополучного валуна двух пленных. Щелкая затворами винтовок, пять фашистов редкой цепью направились к полосе овса.

«Девяносто восемь человек остались в долине и с ними лишь пять конвоиров! Если б они сыпанули в стороны... Не больше сорока убитых, а остальные и мы...» — думал Сергей, чувствуя приближение смерти.

Прыгают кованые сапоги по двум распростертым телам. Погружаются шипастые подошвы в мякоть животов, хрипящую грудь. Бьют немцы не злясь, не нервничая. Бьют спокойно, расчетливо, методично. Уже перестали тихо стонать беглецы. При толчке носком сапога дрожит всем корпусом холодеющее тело. Но немцы любят «порядок». Сто человек должны быть живыми сданы в лагерь — беглецы будут наказаны в комендатуре...

...Прикушенный язык разбух во рту мочалкой: не ворочается он при желании произнести слово. Течет изо рта не переставая слюна пополам с кровью. Выталкиваются вздувшимися губами странные нечленораздельные звуки. Глядит одним незаплывшим глазом Сергей на чугунный цвет лица своего товарища. Видит глаз две фиолетовые точки, доверчиво уставившиеся на него.

— Аакх ые аукх?

— Не понимаю, — качает головой тот.

Не поднимет Сергей перебитую в плече руку. Закрыв от боли глаз, добрался до левого кармана гимнастерки. Не скоро вытащил оттуда карандаш величиной с воробьиный нос. Написал на стене: «Как тебя зовут?»

— Ванюшкой... Иваном.

— А-а-о. А ыая — Ыйэяв.

— Что вы говорите?

«Хорошо. А меня — Сергеем», — написал Сергей.

— Ойкхяо ы-е эыкк?

— Восемнадцать, — понял Ванюшка.

— А-а-о.

— Да хорошего-то мало!..

Выбрав глазом белое пятно извести на стене, Сергей написал: «А если б сейчас была вчерашняя возможность — ты бы вновь бежал? Только говори правду!»

— Немедленно! — с неразгаданным до того в нем упрямством ответил Ванюшка.

«Будем друзьями!» — размашисто начертил Сергей.

После четырнадцатидневного карцерного заключения, из которых семь дней были голодными, «сухими», как определяли это немцы, Сергею и Ванюшке объявили, что они отправляются в штрафной лагерь. К тому времени группа военнопленных, с которой Сергей и Ванюшка прибыли из Смоленска, была вывезена из лагеря «Г» в неизвестном направлении.

...Бархатистыми кошачьими шагами неслышно подкрадывалась осень. Выдавала она себя лишь тихим шелестом засыхающих кленовых листьев да потрескиванием стручков акаций. Исстрадавшейся вдовой-солдаткой плачет кровавыми гроздьями слез опершаяся на плетень рябина; грустит по утрам солнце, встающее закутанным в шелковый сизый шарф предосеннего тумана...

Штрафников было двенадцать человек. Их собрали с разных каунасских лагерей и вот теперь отправляли в Латвию. В вагоне расселись кто как мог. Места было достаточно. Коренастый курносый парень, роясь в карманах штанов в надежде «найти хоть одну махорчинку», как он сам пояснил, рассказывал, не особенно обращая внимания на то, слушают его или нет:

— Завел он всех в лес — а ить нас батальон полный! — и говорит: «Сымай шинели!» Ладно, сняли. Он опять говорит: «Примыкай штыки!» Примкнули. «Неожиданным ударом, — говорит, — отбить Петровскую!» Ну, и пошли мы, значит. К деревне этой по лошадине итить надо было, а ветер — спасу нима, ноябрь потому был... Хрицы, знать, спали ишшо, не рассвело как надоть, и не видали нас. Эх, как закричали все «ура» — аш земля загудела — и пошли!.. Винтовка у меня об десяти патрон была, штык ишшо на ей такой, как ножик, каким свиней режут. Да-а. И вот аказия какая! Спят, черти, они в

подштанниках! У нас ба, к примеру, за спанье в подштанниках на передовой — трибунал! а им — хоть бы хны!.. Я себе тоже бегу и «ура» кричу, потому не боязно и все кричат, и вижу: из машины, што стояла под поветью хаты, выпрыгнул хворменно одетый, при хвурашке, и то туда, то суда обкружится, а не бегит. Оробел вконец, знать, дурак... Я эта к ему, а он бултых на коленки! И так мне было желательно кольнуть его — ну хоть ты што тут! Кольнул... Штык, примерно, идет так, как в мешок, допустим, с рожью али гречикой, ишшо потрескивает штой-то внутрях. Ну, и када штычок залез, примерно, по дулу вот тут, пониже сисек, он и схватись за мою винтовку одной рукой, а другой — цоп за парабелку. Эх ты, думаю, босяк, крутульно умереть не желаешь! Бросил эта я «савате» свою, да как плюхнусь на его прямо пузом, а руками за хлебалку, и задушил, значит... Задушил эта я его, взял «савате», как положено, и думаю: дай, думаю, загляну в автанабил, потому интересна. Полез. Гляжу — кулечки, коробочки какие-то... Разорвал одну — баночки такие зелененькие посыпались, номер на их стоит, как на нашем питаке. Да-а... Перервал пополам — цыгареты! Э, думаю, стоп! Ну, понятна, взял только шесть штук баночек, потому трахвейное все одно што казенное. И все. А в обед кличет меня комбат. «Горшков,— говорит,— возьми винтовку свою, да на вот мешок, иди соломы набей в его и ко мне явись». Ну, думаю, в анбар запрет, потому доказал хто-нибудь, што я во время бою на цыгареты трахвейные позарился...

Пока солому набивал в мешок — баночки в голяницу попрятал. Ну, мешок набил как надо, потому на ем самому лежать придется, и прихожу к комбату. Явился, говорю, товарищ капитан, согласно приказу! «Пойдем»,— говорит. Пойдем, говорю, а сам думаю: обыск ба не сделал в голянице!.. Идем эта мы, и вижу, што не к анбару. Он на огород — и я. Он через тын — и я. Залезли в сад. Што, думаю, он хочет учинить со мною? Спужался, признаться, малость. «Привяжи,— говорит,— мешок к сливине». Привязал. «А теперь,— говорит,— примкни штык и покажи мне, как ты хвашиста утром колол». Ээ, думаю, пронес Илья-пророк тучу! Не то! Обрадовался, понятно, да как садану в мешок штыком — аш с дулом нырнул. «Вот,— говорит комбат,— так нельзя пырять. Я,— говорит,— видел, как тебя хвашист чуть не застрелил. Хорошо,— говорит,— у тебя красноармейская находчивость была тогда, а то б хана тебе!» И целый час учил меня штыком пырять, пока

солома не вывалилась из мешка... Ну, назад когда шли, желательнее мне было отблагодарить комбата — потому не посадил в анбар. Я и говорю: товарищ капитан, погодите. «Што такое?» — говорит. Сапог сниму, говорю, и сел на улице. Скинул эта я сапог, да второпях не тот. Скинул другой — баночки вывалились. «Это ты в машине взял?» — спрашивает капитан и смеется. Ну я, понятно, сказал, што струхнул, думал, в анбар, и говорю: возьмите товарищ капитан, на память от красноармейца Горшкова Алексея. Так он только одну сигарету закурил. Хороший был человек...

...Часов в двенадцать второго дня пути штрафники высадились в Риге. А на следующий день, в тяжелых деревянных колодках на ногах, Сергей и Ванюшка шагали по шоссе в штрафной командирский лагерь, отстоящий от Риги в восемнадцати километрах.

ГЛАВА ВОСЬМАЯ

Саласпилский лагерь командного состава «Долина смерти» раскинулся на правом берегу Западной Двины, на голой, открытой со всех сторон местности. Четыре пулеметные вышки и шестнадцать ходячих часовых охраняют пленных. Между густых рядов колючки, оцепившей и образовавшей лагерь, на метр от земли высются мотки проволоки-путанки «Бруно». Лагерь обнесен частым строем сильных электрических фонарей, ярко освещающих ряды проволоки. Бараки на ночь закрываются на замок; выход пленных за черту лагеря на работы строго воспрещен. Паек пищи, выдаваемый пленным, составлял 150 граммов плесневелого хлеба из опилок и 425 граммов баланды в сутки...

Подходя к лагерю, Сергей и Ванюшка видели бледных, изнуренных людей, жуткими тенями бродящих по топтаным ими тропинкам меж гряд тополей. У каждой тени вихлялась в руках аккуратно выстроганная палка-клюка, к ремню была прицеплена зачем-то миниатюрная лавочка. Пройдет бывший командир пять шагов, чувствует, что задыхается, ну и снимает лавочку и садится на нее передохнуть.

— Это, наверное, из барака больных, — вслух подумал Сергей, входя с Ванюшкой в ворота лагеря. Один из пленных грустно покачал головой, увидев две новые жертвы «Долины смерти».

— Идите, ребята, в третий барак, вон там! — прошептал он, указывая, куда должны пройти новички.

«Странно,— думал Сергей,— моя жизнь пленного началась в третьем бараке. Оканчивается она тоже в третьем... Но это же невозможно!.. Так умереть страшно...»

В новом жилище Сергея и Ванюшки было просторно. По голым доскам нар табуном ходят клопы — жирные злые, вонючие. Лишь пятьдесят пленных жили в бараке к тому времени. Но это число уменьшалось с каждым днем на два, на три человека. Жуткой тишиной полнится барак. Редко кто обращается шепотом к товарищу с просьбой, вопросом. Лексикон обреченных состоял из десяти — двадцати слов. Только потом узнал Сергей, что это была мучительная попытка людей экономить силы. Так же строго расходовались движения. Тридцать медленных шагов в день считалось нормой полезной прогулки...

Обессиленными, ставшими как восковые свечи пальцами пробуют цепляться за жизнь люди. Тяжело переставляя колодки, идут, поддерживая друг друга, два товарища. В руках они держат по пучку травы. Существовала в лагере какая-то, только пленным ведомая «питательная» трава «березка». Толкли ее в котелках, пока она не пустит сок, потом размеренно жевали... На нарах, в изголовье каждого пленного, покачиваются маленькие примитивные «весы». Тоненькие фанерные дощечки искусно прикреплены нитками к горизонтальной палочке. На этих весах делят пленные между собой выдаваемый немцами хлеб. Кусок хлеба в сто пятьдесят граммов разрезается на сто, двести долек. Раскладываются потом эти крошки на дощечки и, наколотые на иглу, подносятся ко рту. Смакуется хлеб! Растягивается блаженная минута еды... Тихо, спокойно угасают пленные. Получит обреченный пайку, положит ее около глаз — полежу, полюбуюсь — да так и останется лежать навеки. В «Долине смерти» создали немцы непревзойденную систему поддержания людей в полумертвом состоянии. Пленных можно было уже не охранять — дальше одного километра от лагеря никто бы не ушел за целый день...

Растерялись, помутнели Ванюшкины глаза-васильки.

— Мы тоже умрем? — просто спросил он Сергея.

— Нет.

— А как же? Мне уже трудно залезать на нары... а только пятый день тут...

В этот день Сергей подошел к седоголовому иссохшему старику с сохранившимися знаками отличия полковника. Он сидел и что-то писал на обложке книги, каким-то чудом попавшей в лагерь. На приветствие Сергея полковник молча чуть наклонил голову.

— Товарищ полковник, мы знаем все, что погибнем... Вы, наверное, умрете завтра, если не дать вам сейчас кусок хлеба... Я умру через месяц. Я буду дольше всех жить тут, потому что только пять дней тому назад пришел сюда...

Старик спокойно и равнодушно глядел на Сергея.

— Нас шестьсот человек,— продолжал тот.— И если мы со всех сторон полезем на проволоку, то... человек сто останется, может быть, в живых...

— Нет. Я думал... Идите.

— Но почему же нет?

— В одну минуту... четыре пулемета выбрасывают... четыре тысячи восемьсот пуль... Восемь пуль на каждого... Всего нужно перелезть тридцать метров проволоки... Каждый метр — три ступеньки... В минуту — шесть ступенек... значит — пятнадцать минут... Следовательно, сто двадцать пуль... на каждого. Идите...

Как-то вечером, перед тем как должны были закрыть на замок бараки, Ванюшка подсел к Сергею радостный и возбужденный.

— Мы теперь живем,— зашептал он,— вот, глядите! — И опасливо, чтоб не заметили другие, вытащил из кармана пучок ботвы сахарной свеклы.— Ассенизатор мой земляк оказался... возит бочки за лагерь. Каждый день будет давать нам по столько!..

По ночам Сергей и Ванюшка спали по очереди. Один должен был сидеть у окна и следить за светом. Бывало, что фонари гасли на несколько минут, и этого было достаточно, чтобы выскочить в незарешеченное окно барака и броситься на проволоку. Шли дни. Силы таяли с каждым часом. В минуты отчаяния грезилась смерть...

...Шуршат гонимые ветром скрюченные листья тополей. Сучат в небо черными ветвями мрачные деревья, словно посылая кому-то неведомому молчаливое, но грозное проклятье. Мерзнет в первых числах сентября бескровное тело, ниже его иголками прохлады вечеров. Редко выползают из барачков обреченные. Сидят они на нарах, не проронив ни звука. Люди молчат и не двигаются. Они экономят силы!

— Ты хочешь умереть, лежа на нарах? — спросил Сергей Ванюшку.

— Как все,— тихо ответил тот.

— Но можно иначе... Хочешь?

— Да.

— Завтра, когда придет немец конвоировать ассенизаторов, мы убьем его в уборной. Я переоденусь и выведу вас...

— Но лицо у тебя... и борода.

— Все равно ведь!..

На второй день утром, положив увесистые камни в карманы брюк, Сергей и Ванюшка сидели в уборной. Прошел томительный час рокового ожидания. Два.

— Все бараки, за исключением пятого,— строиться! — прокричал полицейский.

Обхватив друг друга за шею, начали выходить люди из барачков. Строились все вместе на широкой поляне, окруженной бараками и тополями. Пришли немцы с пачкой именных карточек. Вызываемый ими пленный выходил из строя и становился в сторону.

— Капитан Андреев!

— Я.

— Подполковник Полуянов!

— Умер вчера.

— Старший лейтенант Михайлюк!

— В пятом... умирает.

— Лейтенант Костров!

— Я.

— Воентехник Рябцев!

— Я,— отозвался Ванюшка...

— Умер.

— В пятом.

— Умер.

— Умер...

А под вечер двести командиров грузились в вагоны, чтобы ехать в Германию...

Сергей и Ванюшка заняли место у окна, забитого сеткой из колючей проволоки. Вокруг лежали и сидели беспомощные люди, ничем на свете не интересовавшиеся. Да, им было теперь все равно, решительно все! Но — хлеба, ради бога, один кусок хлеба! Начальник конвоя, гауптфельдфебель, внушительно говорил что-то пленному, вызвавшемуся перевести его слова всем.

— ...и будь в вагоне хоть маленькая дырка, проко-

вырванная гвоздем,— все из вагона будут расстреляны.

Под локтем у переводчика торчала буханка хлеба. Говоря, он не переставал гладить ее рукой, и Сергей был уверен, что многое он еще хотел бы прибавить от себя, желая заработать вторую буханку...

Заскрежетав, закрылись двери. Темнота наполнила вагон. Лишь луна, любопытствуя, заглядывала в окно, и, наколовшись на колючую решетку, лучи ее испуганно разбегались по противоположной стене вагона.

— У нас должны быть два котелка, нож и одна обмотка,— под скрип двинувшегося поезда шепнул Сергей Ванюшке.— Больше в мешке ничего не должно быть!

— Понятно! — ответил тот.

Скрипели, покачивались вагоны, аукал паровоз, испуганно вбегая в лесок, пересекая проселочную дорогу. Сняв тяжелые колодки с ног, Сергей надел их на руки и, ступив к окну, начал изо всех сил колотить ими по сетке. Ванюшка торопливо просовывал руки в лямки вещевого мешка.

— Гра-аждане, да што же это вы заду-умали? — слышался вдруг слабый стон.— Нельзя этого делать, расстреляют всех...

В вагоне поднялся испуганный шепот: угрозы, просьбы, одобрения.

— Хоть один останется в живых!

— Давай, давай, товарищ!

Вдруг к Сергею прыгнул кто-то из угла и, цепко ухватив за запястье правой руки, начал ее выворачивать, силясь отнять колодку. Давно знакомый Сергею холодок отчаянной злобы или безрассудной решимости залил его тело. Во рту стало сухо и горько. Мотнул головой — и помутневшие глаза встретились с бледным, где-то уже виденным лицом.

— А-а, дрянь! — короткий удар колодкой в голову отбросил на прежнее место нелепо дернувшееся тело переводчика. Тяжело дыша, Сергей заговорил прерывистым голосом:

— Кто помешает — убую!.. Открою дверь — уйдете все... кто хочет и может!

Колотили колодки дребезжащую сетку. Рвалась кожа на пальцах, и темные струйки крови теплыми червячками ползли по ладоням.

— Обмотку дай! — бросил Сергей Ванюшке.

За петлю над окном быстро привязал обмотку. По-

тянул, испытывая прочность. Проталкивая в узкую дыру Ванюшку, Сергей шептал:

— Одной рукой держись... Открывай вагон...

Раскачивается крохотное тело повисшего на обмотке Ивана. Лапает ржавый шкворень двери обессиленная рука.

— Никак! — слышится его голос, срываемый встречным ветром.— Тяжело... упаду сейчас!

— Отталкивайся ногами! Сильней, ну! — кричит ему Сергей.

Мелькнул сереньким комочком Иван по стенке вагона, черным языком чудовища затрепетала выпущенная им обмотка. С угрожающим шипеньем бегут назад мимо поезда телеграфные столбы, мелькают торчащие у концов шпал обеленные камни.

«Погиб или нет?» — думает Сергей, вбирая в вагон обмотку и подтягиваясь на ней. Царапает спину острая железная рамка окна, с трудом пролезает в него долговязое тело Сергея.

— Давай, давай, парень, не задерживай! — слышит он голоса из вагона и чувствует, как несколько рук уперлись ему в спину.

— Даю, ребята! — кричит Сергей, вываливаясь из вагона и повисая на обмотке.

Упругим резиновым животом навалился ветер на Сергея. Отталкивает его от двери, баюкает-качает по стене. Пальцы ног впиваются в ребристую обшивку досок, мертвой хваткой вросла рука в обмотку, другая судорожно рвет запор двери. Удивленно пялится выдавший виды месяц на змеей извивающийся несущийся состав. До подробностей освещает он старенькие, собранные со всего света вагоны. Спят, наверное, конвоиры, едущие в отдельном вагоне. Не видят они того, что видит месяц... Торопят Сергея люди, столпившиеся у окна вагона, кричат:

— Не надо! В окно вылезем!..

Цапнул Сергей второй рукой обмотку, лягнул пружинистыми ногами бок вагона и, взмахнув руками, закувыркался под откос.

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ

Сергей долго лежал не шевелясь. Он не ощущал присутствия своего тела. Кромешная темнота и тишь сжали его со всех сторон. Попробовал открыть глаза — войлок

потемок не исчез. До слуха не доносился ни малейший шорох и звук.

«Может быть, это жизнь мертвого?»

Резко дернулся всем телом. В левом боку ежиком зашевелилась острая боль. Глаза и уши по-прежнему ничего не ощущали. Потянул руку к лицу — скребанул ею сыпучее, корявистое.

«В земле я... зарыл!..»

Сидя выковыривал песок из ушей, носа, рта. Глаза еле различали молочный разлив лунного света. На оголенный от кожи лоб прилип песок, кровь запеклась в ресницах, мешая открыть глаза. И вдруг вскочил на ноги, охнул от боли в боку.

«Да ведь прыгнул из вагона!.. Пленный я!..»

Лег на песок и пополз в зелень обочины дороги. Пальцы рук ломали что-то сочное и знакомо пахнущее.

«А-а, ботва сахарной свеклы!»

Набивая ею рот, полз дальше к гряде чернеющих сосен и кустарника. Сердце колотило по костям груди, то ли торопя, то ли просясь на отдых. Нырнул в развесистый ивовый куст и несколько минут лежал, только дыша. Тело израсходовало все силы. Наступила депрессия.

Через несколько минут Сергей решительно поднялся на ноги и, потянувшись, беспомощно опустил на колени. Знакомая боль в боку зажала дыхание, отняла всю волю.

«Я должен идти... где-то Ванюшка?..»

Медленно переставляя ноги по одеялу опавших листьев и засыхающей травы, пошел Сергей по опушке рошцы вдоль железной дороги к «Долине смерти». Через двадцать, тридцать шагов ложился на живот, выползал к откосу и глядел на полосы блестящих рельсов в надежде увидеть темнеющий бугорок Ивана. Казалось, прошло уже несколько часов. Около трех километров прошел-прополз Сергей. Ведь договорились: ранее прыгнувший Ванюшка пойдет вслед за поездом по левой стороне дороги; Сергей же — ему навстречу.

«Где же Иван? Может быть, зацепился мешком за вагон... но тогда будут пятна крови на шпалах и песке...»

Выполз Сергей на полотно дороги и, медленно переставляя колени и локти, до рези в глазах вглядывался в запесчаненные спины шпал.

«Где же Иван?!»

Вновь вернулся в кустарник и тигриной поступью

двинулся вперед. Тихо вокруг. Где-то далеко лишь лаяла собака, в злобе сбиваясь на визг, да в лунной полутьме трепыхались звуки незнакомой гортанной песни.

«Где же Иван?..»

Осыпает ночь пеплом легкой изморози придорожные огороды. Сверкают при лунном свете плешивые головы кочанов капусты, увесистые шиши кажут из-под листьев ботвы перезрелые бураки. И на синем разливе брюквенного засева увидел Сергей копошащееся мутное пятно.

«А хороша, должно быть, свинина?.. И брюква тоже...»

Сергей решительно направился из кустов и, прыгнув через слежку изгороди огорода, увидел сидящего Ивана. Не переставая жевать брюкву, тот вдруг заплакал, ткнувшись головой под мышку Сергея.

— Я... я не слабенький, Сергей... Это я... ну потому что... Ты же знаешь!..

— Ничего! От радости плакать можно... И больше одной брюквы есть еще нельзя, товарищ воентехник! — успокоенно произнес Сергей.

...Шли вот уже несколько часов. Далеко обходили отдельные, разбросанные друг от друга домики, озираясь, проходили поляны, опасливо раздвигая кусты, пробирались лесом. Нужно было в первую очередь дальше уйти от железной дороги, а там сориентировать свой путь на восток.

Уже близилась ночь к рассвету, когда Сергей и Ванюшка вошли в стройный сосновый и березовый лес. Метрах в ста от опушки спала погруженная в мертвенную мглу усадьба. Колодезный журавель, вытягивая шею в небо, казалось, вот-вот крикнет песню утра. Было решено попросить в этом доме хлеба. Близившийся день загонял беглецов до ночи в густые кусты. Надо было не только экономить силы, но усиленно растить их. Где-то за сотни верст, отгороженная кручами сосен и широкими топиями непроходимых прибалтийских болот, раскинулась их большая Родина...

Спит усадьба. Лениво жуют жвачку десятков коров, лежащих во дворе. Гроздьями свисают с сосен сидящие на нижних ветвях индюшки. Медленно крадутся две неравномерные тени к дому. В откинутых руках белеют голыши. Знают Сергей и Ванюшка: в доме может жить полицейский, занимающийся убийством советских военнопленных. При попытке задержать их — защищаться

до смерти. Вот и нужны голыши... А тут еще усадьба помещика! О, знают бежавшие пленные, что тут нужны увесистые голыши!..

Тихо. Горят отсветом месяца подслеповатые окна дома. Блестит у колодца пятиведерный бидон. В нем оставляется на ночь молоко, чтоб не прокисло в тепле. Подпирают северную стену дома связанные в пучки головки созревшего мака, звенят они при прикосновении, вызывая поток слюны.

— Сорвать бы головочку, а? — шепчет Ванюшка.

— Попросим. Не дадут — тогда!..

Самое крайнее окно полуотворено. Колыхается на нем серая дерюжка-занавеска.

— Тук-тук-тук!

Тихо.

— Тук-тук-тук-тук!

— Кас тен?¹ — доносится голос женщины на непонятном языке.

— Будьте любезны,— стараясь еще более онежить и без того тоненький голос, негромко говорит Ванюшка,— вы понимаете по-русски?

В комнате завозились, скрипнула половица.

— Кас ира?²

— По-русски, по-русски понимаете?

— Немного.

Дерюжка откинулась, и в окне показалось лицо молодой девушки.

— Как... что... вы? — испуганным шепотом спросила она, прикрывая грудь ладонями.

— Дайте, пожалуйста, нам хлеба... немного.

— Вы... пленчики? Только тише... хозяин там,— указала она рукой куда-то в темноту и вновь положила руку на грудь.

— Да.

— Как же вам... Я не хозяйка. Работаю у них...

— Как жаль!

— Обождите,— оживилась девушка,— видите там... ну я не знаю, как по-русски... вон она!..

— Кадка?! — подсказал Сергей.

— Да-да, она. Там сыр. Весь только возьмите. А ее... каткю... опрокиньте — и в сторону...

— Есть!

¹ Кто там? (Лит.)

² Кто это?

Приоткрыв крышку кадки, Сергей увидел большую холщовую сумку. В ней лежали лепешки домашнего сыра, туго завернутые в отдельные белые тряпки. Не понимая, зачем это нужно девушке, он пнул ногой перевернутую набок кадку. Шурша и вихляясь, покатила она по двору и остановилась у колодца.

— Спасибо, милая девушка! Дай бог тебе советского жениха! — обрадованный тяжелой сумкой, пошутил Сергей.

Лес был большой, девственный. Сухой валежник орехами щелкает под ступнями босых ног, колючий кустарник загораживает проходы между стройных сосновых кряжей. Перед утром поблек месяц. Стало темней. Но с востока уже загоралось небо дымчатым платком наступающего дня. Беглецы расположились в густом крушиновом кусте. Царствовали вокруг тишина и безмолвие, нарушаемые изредка щебетаньем торопящихся к отлету птиц. Съев по одной лепешке сыра, Сергей и Ванюшка принялись обсуждать свой путь.

— Надо идти по ночам. Будет еще долго светить луна. Это плохо. Но луна наш проводник. Она должна быть все время справа, — говорил Сергей.

Самое страшное в лесу — встретить человека. Охотились эсэсовцы на беглецов, терпеливо выслеживали их. Получали бандиты по сто марок за буйную голову бежавшего. Там, где подали беглецу стакан воды, вешали поголовно всю семью и все сжигали дотла.

...Как только сумрак ночи повис над лесом, осторожно вышли из чащи Сергей и Ванюшка и, мысленно прочертив прямую, двинулись в путь. Вторая ночь надежд и свободы! Ведь другими кажутся это бездонное черное небо и голубой пламень тлеющих в нем звезд! Совсем иначе, чем в лагере, гладит сырой сентябрьский ветер сухие, горящие от возбуждения щеки и непокрытую голову, полную вшей. Не чувствует озноба сотни раз избитое, истерзанное тело при переходе вброд илистой реки... Без гримасы в лице вырывают пальцы рук из босой ступни вершковый осколок бутылки... Уютной и мягкой кажется постель из мокрых ольховых листьев в затхлом, тинистом болоте.

К полуночи Сергей и Ванюшка вышли из гряды леса. Путь пересекала шоссейная дорога, за которой расстиралось поле с темнеющими на нем точками домов.

Под ногами шуршало жнивье, нелепые тени двигались неотступно с левой стороны. Не любил Сергей собак и по-собачьи злился на них. Услышит шаги лохматка, вылезет из конуры и заведет со скуки волынку-хныканье на долгие часы. Километра три пройдут беглецы, а жестяной дребезжащий брех все катится за ними.

Поле вскоре кончилось. Ноги стали чокать по водянистому лугу. Где-то впереди всхрапывали испуганные приближением людей лошади, отчетливо звякали вязавшие их цепи. Затем показались силуэты двух пасущихся коней, и послышалось короткое «тппрру». Ноги сами вросли в землю, но лишь на секунду.

— Останавливаться не надо,— прошептал Сергей.— Это крестьянин пасет лошадей...

Из-за крупа ближней лошади боязливо вышел человек в белых портках и рубахе. Видно было, что он только что покинул дом.

— Здравствуй, хозяин! — приветствовали его беглецы.

— Аш не супранту русишкой. Мано жмона шек тэк...¹

Ни Сергей, ни Ванюшка не понимали, что говорит литовец. Но когда, осмелев, тот взял за локоть Ванюшку и повернул его к дому, поняли, что он приглашает их к себе.

— А ты, дядя, не полицейский? — серьезно спросил Сергей.

— О, Езус Мария, не, не! — поняв, замотал головой крестьянин.— На эйнаме! — настаивал он.

— Можно пойти,— сказал, подумав, Сергей.— Ведь в доме не знают, что он встретил нас... не ждут, следовательно. Захожу первым я, потом хозяин, и сзади — ты. В случае чего — вот! — мигнул на карманы с голыщами...

Щелкнув задвижкой, хозяин пропустил Сергея. Стукнувшись лбом о косяк, тот вошел в темную, пахнущую табаком избу. Хозяин долго чиркал зажигалкой. Метнувшись, свет озарил его обитель, сплошь увешанную листьями самосада. В углу стояла грубо сколоченная из досок кровать; подвешенная на веревке, болталась зыбка, и, повернувшись спиной к вошедшим, застегивала кофточку женщина.

— Тут, знаешь ли, свои,— буркнул Сергей, и Ванюшка вынул руку из кармана.

¹ Я не понимаю по-русски. Моя жена немного говорит (лит.)

— Русские товарищи? — улыбнулась женщина.

— Вы нас извините, пожалуйста,— любезно проговорил Сергей и вдруг на минуту увидел свое отражение в висящем старом зеркальце. Но это же был не он, не Сергей! Коричневый от засохшей грязи и крови лоб, чугунного цвета пятна под глазами и на щеках, всклокоченная, давным-давно не бритая борода и спутанные волосы на голове с прилипшими к ним листьями крушины.

«Как же они не боятся меня? — взглянул он на хозяина.— Это же не лицо!..»

— Иезас не понимает по-русски,— кивнула женщина в сторону мужа.— Да вы садитесь,— продолжала она,— тут никто не видит...

В сумку из-под сыра была всунута коврига хлеба, два куска сала, пучок самосаду и спички. Женщина вышла проводить беглецов, указала, где живут полицейские и как обойти их, где нужно перейти речушку, которая течет вон там, кивнула она. Женщина сокрушенно качала головой, глядя на босые ноги несчастных. Сердечно простившись с гостеприимными хозяевами бедной избы, Сергей и Ванюшка растаяли во мраке...

После этого три ночи не заходили в дома. На четвертую, пересекая лесную лужайку, увидели пасущуюся корову, привязанную за веревку, и под животом у нее крохотного теленка.

— Тпружиня, тпружиня! — негромко позвал Ванюшка. Корова ответила доверчивым мычанием.

— Ручная! Подоим немного,— обрадовался Иван.

Сергей с котелком в руках начал подкрадываться к вымени. Ванюшка опасно заходил спереди. Вымя было влажное и горячее: видать, теленок только что сосал молоко. Сергей потянул издали сосок, и упругая струйка цвикнула к его ногам. В ту же минуту корова решительно отодвинулась, не переставая мычать.

— Дай ей хлеба! — предложил Сергей.

Жуя хлеб из рук Ванюшки, корова позволяла Сергею манипулировать у вымени.

— Скорей, хлеб конч... — и, поднятый за штаны на рога, Ванюшка отлетел в сторону. Задетый копытом, жалобно звякнул котелок, перевернувшись вверх дном. Плюнув на требухастый живот коровы, Сергей поспешил к Ивану...

...Дни конца сентября стояли погожие, солнечные. Светлые тихие ночи позволяли беглецам проходить по двадцать — двадцать пять километров. Где-то позади остал-

ся крупный литовский город Шяуляй. Лежали на пути Паневежис, Даугавпилс, а затем — родная земля.

От Паневежиса почти до Даугавпилса тянется густой дремучий лес с труднопроходимыми болотами и топями. В последних числах сентября беглецы вступили в него и уже решались идти днем. Иногда в лесу встречались дрово-секи. Они угощали путников самосадам, охотно рассказывали новости войны.

Утренние заморозки давали себя чувствовать раздетым, почти голым беглецам. Ложилась изморозь лишь под самое утро, когда первый луч солнца скользил по верхушкам сосен. Тогда коченели ноги и переставлять их было невмочь. В одно из таких утр Сергей и Ванюшка забрались в сарай, стоявший на опушке леса. Мягкая овсяная солома угрела озябшие их тела, и вскоре они спали сном мучеников и праведников. Но там, где они улеглись, были гнезда кур. Выстроились хохлатки в ряд у подножия вороха соломы и подняли испуганный гвалт. Хозяйка вышла поглядеть причину курьего переполоха. Подставив лестницу, полезла на скирду. Увидев же двух спящих дикого вида людей, она в ужасе скатилась вниз, причитая и охая. Проснувшись, Сергей расталкивал Ванюшку, готовясь к поспешному отступлению. Но в это время из дома вышел еще бодрый старик и смело направился к сараю. Кашлянув раза два на всякий случай, он в нерешительности начал взбираться на солому. Сергей с виноватой улыбкой поднялся ему навстречу.

— Извини, отец... Холодно, зашли вот.

— Невелика беда, служивые! — чисто, по-русски ответил дед. — Зашли б в дом: я да бабка... Лесник я.

Выпили у лесника кувшин парного молока, дал дед Ванюшке деревянные башмаки и долго печалился тем, что нет у ребят берданки.

— Без оружия вам не под стать. Берданка — милое дело!.. Вы ить на Двинск¹ держите путь? А там эсэсовцев до черта в лесу... Ловят вашего брата, вон оно как!

Научил тогда лесничий беглецов несколькими литовским словам: «пожалуйста, дайте покушать», «где живет старшина и полиция?», «спички», «хлеб», «река», «дорога».

...Пообвыклись беглецы в лесной обстановке, от благополучных встреч с населением притупилось чувство опасности и настороженности. По ночам стали смелей сту-

¹ Д в и н с к — название города Даугавпилса до 1917 года (прим. ред.).

чаться в окна, с трудом произнося «прашау, докить вальгить». Отдыхали два-три часа в сутки, зарывшись в мох и сухую листву.

— Сегодня мне исполнилось девятнадцать лет,— вздохнул Ванюшка, когда они вздумали отдохнуть у огромного ветвистого дуба.

— Поздравляю! — пожал ему руку Сергей.— В ноябре мне исполнится двадцать три... К тому времени мы будем у своих!..

— А знаешь, давай устроим праздник!

— Как же?

— Разведаем с опушки леса отдельный домик, «спикирую» я в него, попрошу картошки... Наварим мы ее с грибами и вместо двух часов отдохнем... три.

Невозможно было омрачить голубень Ванюшкиных глаз-васильков отказом «устроить праздник».

— Давай,— решил Сергей.

Через минуту меж кустов мелькали выцветшие штаны именинника, пошедшего в «пике». Сергей остался собирать грибы и разведывать канавку с водой.

Проходили часы. Синел жестяной котелок, подвешенный на палочке над горкой сухого хвороста. Дрожала в нем желтая болотная вода, волнуемая тонувшими в ней комарами. Ждал Сергей Ванюшку...

Спокойным и тихим становится большой лес перед наступлением вечера. Веет он тогда торжественной грустью и непонятной жутью безмолвия, стынет в нем зеленый полумрак и дремлет тайна. Лишь изредка до слуха доносится сердитое хрюканье диких кабанов да треск валежника, рожденный промчавшимся лосем...

«Нет, не мог заблудиться Ванюшка!»

Был у них им только знакомый условленный свист. Тихо в лесу. В темноте Сергей побрел в ту сторону, куда ушел Ванюшка. Минут через пятнадцать ходьбы показалась небольшая полянка. Близко друг к другу лепились два дома. В окнах одного ярко горел свет. Другой был погружен в темноту.

«Не устроил ли Ванюшка «праздник» в доме?»

Случалось им наталкиваться на крестьян, варивших в лесу самогонку. Всегда те предлагали «чекалдыкнуть»...

«Неужели он мог?.. Но ведь бывает иногда и такое...»

По-пластунски двинулся к освещенному дому. Не треснула под животом ни одна хворостинка, не было ни малейшего шороха, когда поднимался Сергей, чтоб за-

глянуть в окно. У края стола сидела косматая молодая баба и кормила исполинской грудью ребенка. У двери, образовав треугольник, висели две русские винтовки. Поодаль, у печки, резал самосад бородач староверского образа. Больше в доме никого не было.

«Что за черт! — мысленно выругался Сергей, — кто может жить тут?.. Конечно, полицейские! Ванюшка в их руках!..»

Холодно и горько стало во рту. Лапнула рука карман — шумнула в нем неполная коробка спичек.

«А если Ванюшка связан и лежит там... в доме?.. Ну так я избавлю его от мук и пыток в гестапо! Я сам убью его!»

Не наклоняясь, ломая сухую крапиву у стены дома, в три прыжка очутился Сергей у двух сараев. Там, где они образовали стык, низко свисала крыша, пришипленная сухими прутьями орешника. Со змеиным шипеньем вспыхнула щепотка спичек. Цепкое золото пламени запуталось в выветренных космах соломенной кровли...

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ

Лес стонал глухо и надсадно. Непрерывным потоком хлестал дождь. Чернильная тьма не позволяла видеть на шаг впереди себя. Забравшись в чащу, Сергей потерял направление: шел, зажмурив глаза и протянув руки вперед, щупая сосны и раздвигая кусты. Ноги то и дело по щиколотку вязли в грязь, накалывались на иглы пихты и острые прутья валежника. Вдруг послышался отдаленный собачий лай. Мысли Сергея мгновенно перенеслись в сарай с мягкой овсяной соломой. Прислушивался долго, вытянув шею и склонив голову к земле. Лай повторился. Круто перекинув руки вправо, медленно двинулся вперед. Пальцы рук перестали наткаться на скользкую холодную твердь сосен; сплошной колючий кустарник загородил путь.

Поминутно проваливаясь в колдобины с водой, спотыкаясь о кочки и поваленные буреломом деревья, продолжал Сергей осторожно выбрасывать вперед вконец ободранные, исколотые ноги... Сплел ветер густую сетку из камыша и осоки, рассолодил дождь торфянистую илистую почву, вот и вязнет до колен беглец, шепча проклятья земле и небу... Ухнув, Сергей неожиданно провалился в воду и грязь. «Болото!» — мелькнула страшная догадка, и, напря-

гая все силы, шарахнулся на четвереньках в сторону. Булькает вонючая вода, заливаясь в узкие глубокие воронки от увязающих ног. Крепки засосы трясины, не желающей выпустить свою жертву. Где же эта тропинка, предательски заведшая беглеца в ловушку? Назад — топь. Влево — трясина. Вперед — вода и осока. Вправо — все вместе. Куда же?

«Вперед!.. в бога мать!.. Идти нельзя! Ужи, ящерицы, черви и прочая болотно-водяная мразь не ходит... ползает она!..»

И пополз, распластавшись в трясине, широко расставляя ноги и руки.

«Физику не забыл, скотина? Ну так дави равномерно всем телом на эту дрянь! Иначе — провалишься!..»

Сгартывается псинистый, пузыристый застой к лицу. Как деготь, скользкая и липкая грязь переливается по телу...

«Вперед!»

Залетают в мучительный оскал рта брызги, гуммиарабиком склеивает ресницы волокнистая холодная жидкость, бритвенным острием распарывает перепонки между пальцев осока.

«Вперед!»

Черна октябрьская ночь. Водянисто прибалтийское небо, разбоен осенний ветер.

«В-пе-ред...»

Реже выбрасываются руки-плавники. Долго подтягивается правая нога, пораженная жестокой ревмой в тифу. Не слушается голова, клонится она на мягкую подушку трясины...

«В-пе-е...»

Расстилается перед глазами Сергея зеленая скатерть где-то давно виденного луга. Растянулся он в копне ароматами дышащего сена. Поправляет его изголовье, звонко смеясь, сестренка, сыплет, вкатывает в его волосы незабудки...

«Не надо, Аня... Мне так хорошо... Милая ты, славная у меня сестренка...»

Стоит на пороге мать, протягивает Сергею шарф, умоляет: «Кашлять будешь, родной. Одень...»

«Я сейчас вернусь, мама... Ты жди!»

Осколком разбитого зеркала мелькает перепуганная мысль, заставляет дрогнуть затихающее тело: «В болоте ты! Не отдыхай... Это смерть...»

«Ах да!..»

— Хлюп.

Через три минуты:

— Хлюп.

Через пять:

— Хлюп...

«Какой мягкий наш диван... Ты не умеешь, Аня, вышивать медвежат на подушках... Выключи радио — шумит оно... Какие белые эти березки!.. Как тебя зовут? Ванюшкой? А-а!.. Почему тяжело, душно?.. Болото? Умираю? Сознание... Считай до десяти... Раз. Два. Три. Четыре... Три...»

— Считай, считай!.. Ну, милый, хороший, считай!.. Четыре... Пять... Семь...

— Считай, сволочь!.. Восемь... Девять...

— Считай!

— Счи-та-ай!

— Счи-и...

«Смерть? Жи-ить хочу-у... жи-и-ить...»

— Хлюп.

— Хлюп...

Отдыхающим аллигатором растянулась поваленная сосна. Как невиданный осьминог, разбросал-раскидал свои щупальца вывороченный корень.

— Хлюп.

— Хлюп...

Скользким от грязи животом перевалился Сергей через торчащую из трясины ветвь. Руки и ноги погрузились в ил.

«Не засосет... Как уютно и тихо. Сосны не растут в трясине... Значит — берег...»

От ветвей к корню пополз по сосне, скользя и срываясь. Сел на твердой кочке, не в силах ворохнуть ни единым членом.

«Можно застыть... Подохну сидя. Надо двигаться... Не важно куда... просто двигаться».

Опираясь на колени и локти, полез в сторону, путаясь в тростнике. Тело сжимали судороги. Вибрировало оно в мелкой нескончаемой дрожи, вызывая потягивание и зевоту.

«Болото. Нужно влево...»

— Болото!

«Некуда. Островок...»

Тогда забился в камыш, сел на колени и, сжимая

руками изо всех сил бока, попробовал кричать в надежде согреть внутренности.

— Аа-ауу-о-о-аауу!..

Выл нудно, тягуче, и когда затихал — становилось самому жутко.

— Уу-у-ааа-ооо-ууу!..

Тогда была бесконечно долгая ночь. Обесчувственному Сергею казалось, что никогда уж больше не наступит день. Подогнув колени к лицу, он притих, выстукивая дробь зубами...

Мглистое, слезоточащее утро неохотно вступало в болото. Набуянившись за ночь, лес опустился и затих, поникнув мокрыми ветвями сосен. Набрякшие веки не открывались. Растянув их пальцами, Сергей оглянулся и застланные мутной пленкой глаза резанул красный кафель крыши стоящего в лесу дома.

«Пойду. Все равно...»

До берега не было и двадцати метров. Ступая на кочки, Сергей легко вышел из болота. К дому шел решительно, стараясь ничего не предполагать.

«Хуже смерти ничего не будет!..»

По двору бесцельно бродили еще сонные куры. Громыкнув цепью, к Сергею рванулся рыжий лохматый кобель, и знакомый лай разлился по лесу. Дверь открыл молодой парень, одетый в черный элегантный костюм.

«Попал!» — решил Сергей.

— Пожалуйста! — свободно и просто проговорил парень, закрывая за беглецом дверь. И то, что увидел Сергей, отняло у него способность выговорить слово. Он стоял у порога, оцепенев от изумления, уставившись на стол. Там, рядом с ломтями хлеба и стаканами недопитого молока, зеленела квадратная коробка советского «Беломорканала» и лежала, видать, только что оставленная после чтения «Правда».

— Пожалуйста, проходите вперед. Но... минуточку, вы мокрый и... Соня, Соня! Приготовь побыстрее белье и все верхнее... Да садитесь же!

Сергей подошел вплотную к парню и, тяжело дыша, прохрипел:

— Скажите... откуда это?

— Только что ушли три товарища. Парашютисты ваши...

— Куда? — почти крикнул Сергей, не дав тому договорить.

— Понятно... в лес.

Толкнув грудью дверь, Сергей прыгнул из дома и, не обращая внимания на рвавший тело сухой кустарник и хлеставшие по лицу ветки сосен, побежал задыхаясь вперед, в самую чащу леса.

«Конечно, они там! Куда же они еще!»

Был почему-то уверен, что вот пробежит еще пятьдесят шагов — и мелькнут между сосен каплями родимой крови пятиконечные звездочки. Они вернут истраченные силы, они дадут жизнь!..

Молчит, злорадствует лес. Шепчут что-то невыразимо пошлое и нелепое друг дружке сосны, высоко оголив мясистые красноватые бедра.

— Ого-го-го! — закричал Сергей. — Това-аа-ри-щи! Ре-бя-та-аа!..

Молчит лес. Шушукуются, издеваются сосны. Тогда грохнулся на опавшие сырые иглы и затрясся в судорожных рыданиях, вцепившись зубами в высохшую кожу рук...

...Вновь установились погожие дни. По ночам звезды роняли на озимь полей седой бисер крепких заморозков. Затягивались лесные канавки пленкой еще робкого льда. Не выдерживал уже Сергей дневки в лесу. Перед рассветом, отшагав за ночь десять — пятнадцать километров, выбирал стоящий на опушке леса сарай и забирался в солому. Собираясь в путь, обматывал ноги кусками попоны, взятой им в одном сарае. Из этой же попоны смастерил себе и нечто вроде плаща-накидки. Попона была ярко-красного цвета, с клетчатыми протоками черной шерсти.

— Я похож на испанского мавра, — иронизировал над собой беглец.

Заходя в дом за хлебом, Сергей пользовался уловкой, не раз спасшей ему жизнь. Видя явное нерасположение хозяев кулацкого дома и угадывая их намерение задержать пленного, он смело просил хлеба на восемь человек:

— Семь моих товарищей за вашим домом... Ждут.

По паневежисской округе разнеслась весть, что неделю тому назад были сожжены два дома полицейских, задержавших одного беглеца. Пожар вспыхнул с вечера, когда полицейские везли связанного «пленчика» в Паневежис.

«Я достойно отомстил за Ванюшку», — думал Сергей...

Прошло пятнадцать дней с тех пор, как Сергей

остался один. Около ста пятидесяти километров прошел он, оставив далеко позади Паневежис. Однажды, проголодавшись, решил Сергей постучать в окно одиноко стоявшего домика близ шоссе на дороге. Сквозь неплотно прикрытые ставни в темноту ночи медными вязальными спицами пронизывался свет. Сбросив «плащ» и положив его под окном, Сергей постучал в ставню. Через минуту щелкнула задвижка, и к Сергею двинулась темная фигура.

— Простите, вы говорите по-русски?

— Немного.

— Я прошу у вас кусок хлеба...

В это время в сени вышли два молодых парня в исподних рубахах и галифе. Ранее вышедший живо начал что-то объяснять им, показывая на Сергея. Один из тех поспешно вернулся в дом, другой стал сзади беглеца.

«Эсэсовцы!» — подумал Сергей. Мозг лихорадочно искал выхода. Пальцы рук стали липкими и холодными.

— Рэнки наверх! — по-литовски и по-русски крикнул выкатившийся в сени бандит, ткнув дуло винтовки в грудь Сергея.

— Ужейк и троба!¹

Сергей протиснулся в дверь и, оставляя следы на полу запеленутыми в тряпки ногами, прошел в угол. Комната была маленькая, но опрятная. Слева от двери стояла кровать, справа — стол и два стула; на полу была разостлана постель, и на ней спали два эсэсовца...

Введшие Сергея стояли у двери, о чем-то совещаясь.

— Что они со мной хотят делать? — обратился Сергей к хозяину.

— Отправят завтра в волость. В полицию...

— А-а!

Сидит, чешется Сергей обеими руками. Без стеснения залезает в разрез гимнастерки и в штаны, трется о спинку стула.

«Только бы не положили спать в комнате!» — думает он.

Исподлобья уставился на него хозяйский сынишка, с гримасой отвращения поглядывает жена.

— Что у тебя? — спрашивает хозяин.

— Короста... Знаете, такая? Ну, чесотка... И вши. Полтора года в бане не был... Много вшей... ходят по-верху. Остаются, где сажу... При огне не видно только.

Перевел хозяин слова Сергея. Всплескивает руками

¹ Заходи в дом! (Лит.)

жена его, слышит Сергей частое: «Езус Мария, Езус Мария!» Возится хозяин с фонарем, гремит жестяной его дверцей, прилаживая огарок свечи. Осторожно протягивает Сергею хозяйка кусок хлеба, боится прикоснуться к его рукам.

— Пойдем спать! — выпрямляется хозяин. — Только спички оставь тут. Завтра получишь в полиции...

Сарай был большой, заваленный еще не обмолоченными овсом и рожью.

— Ложись тут!

Звякает замок, закрывающий беглеца. Слышатся шуршащие удаляющиеся шаги. Холодно без «плаща». Сквозит ветер в щели неплотно сдвинутых бревен, что образуют стены сарая.

— Подождем еще! — шепчет Сергей. — Погреемся пока...

Набивая рот хлебом, занялся гимнастикой.

— Раз-два... Делай: раз-два! Раз-два! Раз-два!..

С чувством и толком заправистого мужика, знающего свое дело, опробует Сергей каждую бревнину. Покачивает ее, потягивает вверх, узнает: глубоко ли сидит она в земле. Крепко затрамбована земля, ладно подогаданы бревна — надо копать. Растопырив руки, пошел в темноте вдоль вороха соломы. Огромная звучная оплеуха отбросила его в сторону. Оранжевые живчики запрыгали в глазах.

— Да ведь грабли это! Наступил я...

Переломанные на четыре части, служат грабли Сергею. Ковыряет он землю палкой, затихает по временам, прислушиваясь, и вновь скребет пальцами слежавшийся за годы грунт.

— Нажми, товарищ Костров!

— Есть, товарищ лейтенант!

Обламываются, кровавятся ногти. Растет под коленями бугорок рыхлой земли. Растит он силы Сергея.

— Две минуты перерыв.

— Есть!

— Приступай.

— Есть!

И все, что было в костях и сухих мускулах тела, вложил в цепкие руки Сергей. Тянут они бревно до ломоты в локтях; нехотя, шатаясь, поддается бревно нечеловеческим усилиям.

— Еще нажим — и...

— Есть еще нажим!

А когда бревно вынулось без особых усилий, Сергей осторожно выставил его на улицу, протиснулся боком в дыру и, минуту подумав, взвалил бревно на плечо. Ступая на носки, подошел к дому. Неслышно составил бревно, подперев им дверь, и, подхватив «плащ», отошел от дома. На опушке леса, в звенящих от ветра кустах орешника, погрозил кулаком в темноту по направлению дома.

— Гады! Русского офицера так не возьмешь!..

ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ

После оккупации Литвы в 1941 году немецко-фашистскими захватчиками в тюрьмах, в лагерях, на виселицах замаячили крестьяне. Зачернели дровяным пеплом полянки от сожженных дотла хуторков. Тогда повезли крестьяне в город битых свиней, индюков, телят в обмен на какое-нибудь старое ружьишко, обрез. Попритаились в овсяной соломе винтовки и даже пулеметы.

— Пригодится, дай срок!..

Изменились, улучшились отношения крестьян к беглецам из плена. Оглядываясь, чтоб не видел полицейский, вдоволь накормит мужик «пленчика», многое порасспрашивает у него.

— Послушай, товарищ. А скоро ли товарищи-то придут?

— А что?

— Да поскорей надо бы...

— Помогайте!

— Да если б товарищи были поближе... Видней дело и сподручней тогда... Товарищ, а говорят тут вот мужики, что будто Гитлер миру запросил. А товарищ Сталин говорит ему: «Я не Миколай второй!» Правда аль нет?..

...Чертил Сергей поля и перелески узким, извилистым следом отказавшейся слушаться правой ноги. Раздулась она от колена до пальцев, заплыли щиколотки глянцевитой синевой опухоли, и ноет нога непрерывно — тупо и надоедливо. Надавит Сергей пальцами — и надолго остаются точки-вмятины на ступне.

«Эх, отвалилась бы ты к черту! — желает он, растирая ставшую как полено ногу и тоскуя по русским резиновым сапогам и автомату. — Если бы это!..»

Ночью снял вожжи, вязавшие на луку лошадь, и замотал ими «плащ» на ноге. В ступу превратилась нога,

и лишь с помощью рук удавалось переставлять ее. Невидимыми иглами прокалывает октябрьский ночной ветер худое тело под дырявой гимнастеркой.

— Хорошее дело — «плащ», — грустно шутит Сергей.

За ночь прошел не больше трех километров. Приступы жгучей ломоты в ноге туманили мозг, бешеными толчками колотили сердце, заставляли подолгу сидеть.

«Но где же лес?»

Уже сизое крыло рассвета с половины неба смахнуло пыль ночных потемок. Недоспелый вишневый сок зари разлил восток на горизонте.

«Где же?..»

Там, где белел опушенный инеем луг, у самой обочины группы низеньких домиков, серели копны сложенного на зиму сена. И чтобы добраться до них, нужно было пройти около трехсот метров по озими поляны, на виду у просыпающихся поселян. Как загнанный зверь, побрел Сергей к лугу. Шел, стараясь не взглянуть в сторону домов, кляня в душе не вовремя разболевшуюся ногу. Проснувшиеся лохматки зачужали беглеца и, как по сигналу, подняли со всех концов испуганный, жалующийся лай. Не перестали они и через полчаса, когда Сергей подошел к копне сена. А когда затиснулся в сенную мякоть — выглянул в сторону домов и мысленно простился с беглецом Сергеем Костровым. От самого дальнего от Сергея дома, колотя пятками пузатую чалую кобыленку, охлюпкой поскакал мужик куда-то в сторону от хутора. У дома толпилось несколько человек, помахивая руками в сторону копны сена.

Около двух часов гладил-растирал Сергей ногу, равнодушно обернувшись спиной к хутору. Было теперь все равно: ни бежать, ни защищаться он не мог... В полдень к крайнему дому подошли трое полицейских. Они долго о чем-то совещались, потом, взяв винтовки в руки, нерешительно направились к Сергею.

— Эй, бальшавикас! Шаутувас ира?¹ — крикнул один из них, остановившись метрах в пятидесяти от копны. Два других сзади, то приседая, то выпрямляясь, следили за малейшим движением Сергея.

— Ты бы тогда не мозолил мне глаза, фашистская гнида! — ответил Сергей, знавший, что значит «шаутувас» по-литовски.

¹ Эй, большевик! Винтовка есть? (Лит.)

— Кас?

Знал Сергей, что полицейские почти всегда убивали пленных при задержании. Правда, лишались они при этом половины наградных (за убитого пленного фашисты платили пятьдесят марок), но, видимо, инстинкт бандитизма брал верх над чувством наживы...

Выстрелив по разу для поднятия своего боевого пыла, полицейские, однако, продолжали стоять на месте.

«Хотят живьем взять», — подумал Сергей, продолжая растирать ногу.

— Эйк ченай, китайп — нушаусим!¹ — хором закричали полицейские. Но, видя, что Сергей не двигается с места, решил тогда один из них на акт «героизма». Он взял на прицел винтовку и пошел к Сергею.

— Эх ты, мразь вонючая! — скрипя зубами, шептал Сергей, трясаясь от злобы и отвращения, видя чуть держащегося на ногах от страха полицейского, наставившего на него винтовку.

...Вывернули карманы у Сергея полицейские, долго разглядывали на его ноге «плащ», потом, взяв пойманного под руки, повели в крайний дом старшины. А через час, лежа вниз лицом со связанными сзади руками, трясся Сергей в телеге по пути в волостную тюрьму.

Начальник Купишкинской полиции, тучный низкорослый кретин, изо всех сил хотел казаться опытным криминалистом. Придерживая мизинцем и указательным пальцем чистый лист бумаги и размеренно постукивая карандашом по столу, допрашивал он Сергея. У локтя его правой руки лежал дулом на Сергея парабеллум; короткий, желтой кожи хлыст демонстративно висел над низеньким облезлым шкафом его кабинета. Полицейский знал русский язык и хриплым от самогонки и тягучим от умышленной рисовки голосом пел:

— Фами-и-илия?

— Руссиновский.

— И-имя?

— Петр.

— Из какого ла-агеря?

— Не был в лагере.

— Парашюти-и-ист? — удивился полицейский.

— Н-нет.

Карандаш медленно катится по столу и застревает у пепельницы. Рука допрашивающего лапает парабеллум.

¹ Иди сюда, иначе — застрелим! (Лит.)

— Парашютист?

— Нет!

Переваливаясь, полицейский подходит к Сергею. Правая рука прячет за бедром револьвер.

— Давно в Литве?

— Отправьте меня отсюда.

— Последний раз: давно у нас?

— У вас? У кого это?

— Ахх!

Брызнули снопом горящие искры из глаз, рванул Сергей связанные руки, и повисли на запястьях бескровные шматки кожи.

— Убью до смерти... Говори-и!

— Говорить буду с немцами... с твоими хозяевами, холуй!..

— Ахх!

— Ахх!

— Ахх!

...Память вернулась к Сергею в деревянном склепе с крошечным зарешеченным окошком. Из левого уха тонкой струйкой сочилась кровь и, собираясь в ямке впалой щеки, застывала, свертываясь. Затекли, устали связанные руки; давняя мучная пыль с пола щекочет нос, бьет тело чиханием.

«Какая же теперь моя фамилия? — силился вспомнить Сергей.— Росса... Русса...» Твердо помнил, что его зовут Петр. Мгновенно придуманная тогда в кабинете полицейского фамилия вытекла вместе с кровью изо рта.

На второй день в Купишках был базар. Путь к станции лежал через торговую площадь, заставленную телегами, усеянную бабами и мужиками. Вид шагавшего впереди двух полицейских окровавленного Сергея привлек любопытство сердобольных торговок. Не обращая внимания на угрозы полицейских, совали они в его карманы кто морковку, кто сырое яйцо, кто лепешку...

От местечка Купишки до похожего на него Субачая — сорок километров. Но по тому, как пренебрежительно субачайские полицейские относились к купишкинским, понял Сергей, что первые дают вторым пять очков вперед. Так это и было. Лишь на третий день, когда Сергей освоился с субачайской тюрьмой, дверь его одиночной камеры с шумом отворилась и на пороге в сумерках вечера застыли три фигуры в черном. Сергей поднялся с пола и встал у решетки окна.

— Ты нам расскажешь, мерзавец, что делал в Литве! — приближаясь, начал один в черном.— А? Расскажешь?

— Я шел.

— Куда?

— На мою родину.

— Родину-у? Мы тебе дадим ее... Атришките ям ранкас!¹

Стоявшие у порога прыгнули к Сергею, и перерезанная на руках веревка мягко упала к его ногам.

— Сук!²

Кости хрустнули в плечах и локтях, и от неожиданной боли Сергей стукнулся коленями об пол. Руки его теперь покоились на спине, у остро выпятившихся лопаток. В ту же секунду короткий удар в челюсть опрокинул Сергея навзничь, а вскинутые при падении ноги стали загибаться полицейскими к животу. Пузырилась пенистая кровь на губах, со свистом и хрипом втягивался воздух. Дыша трупным запахом самогонного перегара, совал в запрокинутое лицо Сергея отрывистые бессвязные слова полицейский:

— Где ты был, а?.. Сколько вас, скажешь?..

Колени Сергея, с сидящими на них двумя полицейскими, сплюснули внутренности, и что-то колющее хватко зажало сердце, легкие, грудь... Покатав пинками бесчувственное тело по полу, полицейские со смехом захолопнули за собой дверь камеры.

На третий день после этого сеанс допроса повторился. Не раз рвавшаяся лента памяти Сергея сохранила новые кадры старого фильма. Как и тогда, он с трудом поднялся на ноги и бессознательно отошел к окну. Почему он это проделывал каждый раз, когда слышал шаги у дверей,— он не знал. Может быть, потому, что там было немного светлей и вошедшие могли угадать в нем человека?..

И опять двое в черном остались у дверей, а один направился к Сергею.

— Курить хочешь?

— Нет.

— На!

Полицейский протягивал толстую папиросу. Сергей, ухватившись руками за решетку, не двигался.

— На, говорю!..

Рожденные светом нелепые тени запрыгали на стене.

¹ Развяжите ему руки! (Лит.)

² Крути! (Лит.)

Отступив на шаг, тянул человек в черном к губам Сергея вспыхнувшую зажигалку.

— Пофф!

Желтовато-мутный пламень взрыва окутал голову, затрещал в бороде, выщипал веки и брови. Сладковатый дым пороха застрял в горле и легких. Руки опоздали схватиться за лицо. Деревянный удар между глаз в переносицу кинул голову на решетку окна, потом на пол.

ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ

В самом центре Паневежиса, в лучшем городском здании, разместилось гестапо. Плещется над серым домом черное пятиметровое полотнище, наискось перерезанное белыми молниями букв «СС». Жуткими, не вмещающимися в голову поверьями инквизиции веет от этого знамени смерти. Машет оно зловещим крылом ночного хищника, отпугивая на противоположную сторону прохожих... А за двести метров от гестапо, прямо у края городского парка, высится красное четырехэтажное здание тюрьмы.

...Скользя босыми ногами по обледенелым булыжникам мостовой, Сергей прошел в подъезд гестапо. Мокрый порывистый ветер рвет подол его гимнастерки, оголяет синюю кожу запавшего живота. Часовой у дверей гестапо дернул плечами, взглянув на ноги Сергея:

— Кальт, менш?¹

Минут через пять в подъезд вернулся один из конвоировавших Сергея полицейских с синей бумажкой в руках. То был ордер на водворение Сергея в Паневежисскую окружную тюрьму.

— Эйнам!²

Вновь заскользили ноги — теперь уже по асфальту мимо жиденького парка. В городе зажигались редкие синие огни; на оголенных деревьях парка с криком рассаживались на ночь грачи. Привратник, в дубленом тулупе и накинутом поверх брезенте, лениво распахнул железные ворота.

— Эйнам!

Дежурный надзиратель полулежал на диване. Две женщины-арестантки мокрыми мешками протирали кафельный пол канцелярии. Не вставая, надзиратель вер-

¹ Холодно, человек? (Нем.)

² Идем! (Лит.)

тел перед носом синюю бумажку, потом махнул рукой. Полицейские, круто повернувшись, вышли.

— Тэйп, тэйп!¹ — таинственно произнес принявший Сергея, вставая и потягиваясь до хруста в костях.

— Су гинклу паэме?²

— Не понимаю.

Стуча подковами сапог, надзиратель вышел из комнаты. Не поднимая головы, женщина тотчас проговорила:

— По синим стреляют. Нас тоже. Считают...

И перешла вдруг на литовский язык, обращаясь с каким-то вопросом к товарке: в дверях в это время показался надзиратель и с ним одетый в штатский костюм.

— Пойдем! — обратился тот по-русски к беглецу.

В комнате, куда вошел Сергей, стоял единственный черный стол и одна табуретка. Усевшись, штатский разложил листы бумаги и приказал Сергею раздеться догола. После того, как были отмечены все родимые пятна, шрамы от увечья и особые приметы Сергея, штатский начал задавать вопросы:

— Фамилия?

— Рус... Руссиновский.

— Лет?

— Двадцать три.

— Мне с тобой тут не до шуток, понял? Мальчишком прикидываешься? Поздно...

— Мне двадцать три года!

— Брешешь, сволочь! Какой веры?

— Самой глубокой.

— Дурак! Веры какой, понимаешь?

— Я сказал.

— Идиот!

...Через час надзиратель повел Сергея из канцелярии. Пройдя несколько железных ворот, которые не торопясь и величаво открывались привратниками, Сергей вошел во двор тюрьмы. Огромное угрюмое здание было окутано густым мраком. Лишь над низенькой входной дверью в тюрьму мерцала синяя электрическая лампочка. Надзиратель шуршал пальцами по угловым кирпичам стены. До слуха Сергея откуда-то изнутри тюрьмы донеслись короткие тревожные звонки и звук вставляемого в замок ключа. По крутой лестнице взошли на третий этаж. На

¹ Так, так! (Лит.)

² С оружием взяли? (Лит.)

стук надзирателя взвизгнул отодвигаемый волчок, затем гроыхнула открываемая дверь, ведущая в коридор. Мрачный, в полутьме он казался нескончаемо длинным. В строгом порядке друг против друга густо маячили железные двери камер. «33», «35», «37», «39», «41» — пестрели жирные нечетные номера с противоположной Сергею стены. Перебросившись короткими фразами с коридорным смотрителем, сопровождавший Сергея вышел. Коридорный подвел Сергея к камере с цифрой «39». Огромный, похожий на пистолет ключ долго торкался около отверстия замка, выстукивая своеобразную азбуку Морзе. Наконец замок щелкнул, тяжелая железная дверь бесшумно открылась, и Сергей вошел в камеру. Там царил полумрак и вырисовывались мутные пятна лиц заключенных. Сергей нерешительно попятился в угол и уперся ногой в киснувшую там парашу.

— Осторожно, отец, утонешь! — услышал он веселый голос.

— Вы русские? — обрадовался Сергей.

— Тут, дядя, со всех концов... и не принято расспрашивать — как, когда, откуда... понял?

В первый же вечер Сергей был тщательно посвящен в тайну жизни заключенного. Во-первых, он получит вот такие же, как у всех, серый халат и колпак на голову, деревянные башмаки, матрац, миску и ложку. По утрам в шесть часов он будет получать сто пятьдесят граммов хлеба, в обед и вечером — по пол-литра теплой воды. Завтра его, наверное, поведут на допрос в гестапо. И если он вернется оттуда, то дня через три, после переваривания резиновых бананов, пойдет на работу на сахарный завод, что в четырех километрах от Паневежиса.

Ночью, когда глаза Сергея мозолила оловянная темнота камеры, рука соседа осторожно толкнула его в бок.

— Не спишь, земляк? — послышался шепот.

— Нет.

— Слушай: поведут на допрос, то... если заведут в подвал такой с водой — не бойся. По грудь только. Ну, само собой, холодная вода и тело режет так... Теперь: налево что дверь — там стреляют... Только мимо головы, на вершок так... Словом, дураков ищут, понял? Ну, так ты понимаешь... пожилой человек... выдавать там кого — не надо... Сам знаешь...

Шепот затих, и минуту лежали молча. Сергей

грустно улыбнулся в темноту словам: «пожилой человек... сам знаешь».

— Как ты думаешь, сколько мне лет? — спросил он соседа.

— Ну, сколько есть... Тридцать восемь, сорок, может...

— Через двадцать дней примерно мне исполнится двадцать три...

— Да ну-у? — удивился сосед и приподнялся на локоть. — Ох и испаскудили ж тебя, парень!..

В шесть часов в коридоре загремел бак с «завтраком». Заключенных выпускали покамерно, и они, получив «довольствие», ныряли обратно в камеры. В семь часов тюрьма выходила на работу.

...Камера Сергея насчитывала одиннадцать шагов в длину. Налево от двери по всей стене протянулись двухэтажные нары. Направо — длинный узкий стол и в углу — параша. Свободного прохода было ровно на два человека. Оставшись один, Сергей принялся сочинять свои показания в гестапо. Да, он бежал с транспорта, когда их везли с фронта, только что взятых в плен. Ни в каком лагере не был. Фамилия Русиновский. Имя — Петр.

Медленно и нудно текут минуты. Ни единый шорох, ни малейший звук не проникает в камеру. Под самым потолком лепится окно. Даже высокий Сергей не в состоянии дотянуться до него рукой. Откуда-то из глубины существа поднималось незнакомое Сергею тягостное чувство равнодушия ко всему. Не хотелось ни есть, ни жить. Нет на свете хуже тех минут, когда человек вдруг поймет, что все, что предстояло сделать, — сделано, пережито, окончено!.. Прислонив горячий лоб к слизистой стене, Сергей долго стоял, освобожденный от мыслей и желаний. Вдруг его слуха коснулось размеренное позвякивание. Звуки ползли откуда-то снизу по стене.

— Тук-тук... тук-тук-тук... тук... тук-тук-тук-тук...

Сергей поднял голову, прислушиваясь. Прерывистая цепь звуков продолжалась: «Э-э, так это же с первого этажа! — вспомнил Сергей вчерашний разговор, — подо мной ведь камера смертников!» Сергей не знал тюремного разговора перестукиванием. А то можно было бы утешить смертника, отвечая ему стуком по канализационной трубе.

Продолжая ловить звуки непонятной жалобы или просьбы обреченного, Сергей в первый раз осмысленно взглянул

на стену. Вся она, от низа и до той верхней границы, куда доставала рука самого высокого человека, была исцарапана надписями на русском и литовском языках. Были тут горячие просьбы сообщить родным по такому-то адресу о том, что их сын, отец, брат — расстреляны в Паневежисской тюрьме тогда-то и тогда-то. Были мужественные слова — проклятья убийцам. Были куплеты красноармейских песен, и были саратовские непечатные частушки... И Сергей поймал себя на мысли, что ни одну книгу, ни один самый замечательный роман он не читал с таким вниманием и чувством, как этот огромный корявый лист-стену из книги-жизни... На отлете от всех записей, в самом левом углу стены, как бы эпиграфом ко всему последующему, энергичные карандашные буквы выстроили столбик стихотворения. Видно было, что автор не раз очинял карандаш, пока кончил писать. Строчки куплетов то мерцали сизым налетом, то сбивались на бледные, еле заметные царапины. Сергей прочел:

Часы зари коричневым разливом
Окрашивают небо за тюрьмой.
До умопомрачения лениво
За дверью ходит часовой...
И каждый день решетчатые блики
Мне солнце выстилает на стене,
И каждый день все новые улики
Жандармы предъявляют мне.
То я свалился с неба с парашютом,
То я взорвал, убил и сжег дотла...
И, высосанный голодом, как спрутом,
Стою я у дубового стола.
Я вижу на столе игру жандармских пальцев,
Прикрою веки — ширь родных полей...
С печальным шелестом кружась в воздушном вальсе,
Ложатся листья на панель.
В Литве октябрь. В Калуге теперь тож
Кричат грачи по-прежнему горласто...
В овинах бубликами пахнет рожь...
Эх, побывать бы там — и умереть, и баста!
Я сел на стул. В глазах разгул огней,
В ушах трезвон волшебных колоколен...
Ну ж, не томи, жандарм, давай скорей!
Кто вам сказал, что я сегодня болен?
Я голоден — который час!..
Но я готов за милый край за синий
Собаку-Гитлера и суком ниже — вас
Повесить вон на той осине!..
Жандарм! Ты глуп, как тысяча ослов!
Меня ты не поймешь, напрасно разум силя:
Как это я из всех на свете слов
Милей не знаю, чем — Россия!..

...Чердак тюрьмы был полностью завален носильными вещами расстрелянных. Еще ни разу не вызванный на допрос, Сергей второй день раскладывал по порядку эти вещи. Пехотинские, артиллерийские, саперные, наркомвнутдельские, лётные фуражки и пилотки; сапоги, ботинки, краги, обмотки, брюки, гимнастерки, шинели, венгерки — должны были быть сложены в одну сторону чердака. Пальто, шапки, сорочки, шляпы, плащи, жакеты, юбки, платья, сарафаны, бюстгальтеры, трико, ночные женские рубашки — в другую. Начальник вещевого склада тюрьмы, уходя, закрывал на замок Сергея. Но через час-другой он возвращался и, ссутулившись на стуле, неподвижно глядел куда-то в угол. Путаясь в бюстгальтерах, Сергей тогда почувствовал, что нервы его расшатаны и натянуты до крайности. Вот-вот лопнут они, как тогда там, в лесу, когда он звал парашютистов... Не проходя, в горле, у самого кадыка, застрял комок чего-то горького, щекочущего нос и щиплющего глаза. И не выдержал:

— Ш-што, господин начальник? Мерещутся? — кивнув на красноармейские фуражки, задрожал он. — Не дают мертвецы спать? Жить? И не да-дим! Вот! И детям вашим... тоже!.. Никогда! Каких людей... стихи на стене... Подлюги... вашу в христа маты!.. На, на! Мерзавец! Снимай мои штаны! Я вам...

И, в бешенстве полосуюя гимнастерку, захлебнувшись в сизой пене, бьющей изо рта, забарахтался в ворохе фуражек, колотя по ним пятками босых ног...

ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ

Возвращаясь с работы, однокамерники Сергея приносили в мотнях тюремных штанов по одному и по два сырых бурака. Узбек Муса ухитрился как-то печь бураки на заводе и, разрезав их на ломтики, раскладывал по всем дырам халата. Вечером угощали Сергея.

— С бураков поправляются, Русиновский! — шутил щербатый Петренко, — и ощущение бананов другое. Бураки способствуют организму обретать нечто лошадиное...

До вечерней покамерной поверки заключенные должны успеть сделать уборку в камере, вынести в уборную парашу, получить «ужин», съесть его и к десяти часам выстроиться по ранжиру у стены. Поверяющий надзиратель с чувством достоинства и превосходства тыкал пальцем в грудь каж-

дого и, отметив наличие заключенных, гордо покидал камеру. И тогда наступали роковые пятнадцать минут ожидания свистка отбоя. Это были самые жуткие минуты! Затаив дыхание, все смотрят на дверь. Вот-вот отворится она — и назовутся несколько фамилий. Сдав вещи, те люди переводились в камеру смертников, а в четыре часа пятнадцать минут утра за ними приезжали из гестапо...

Никто из заключенных тридцать девятой не знал своей участи, и как только раздавались начальные всхлипки свистка, напряженные до крайности тела невольно расслаблялись, люди глубоко и устало дышали:

— Сегодня живы!

После свистка молча расползались по нарам, цокала выключаемая из коридора лампочка, и в наступившей темноте слышались глубокие, вызванные мучительным раздумьем вздохи.

— Не спишь, Петренко?

— Как и ты.

— Говорят, немцы при расстреле на коленки ставят и поворачивают затылком к себе...

— Разве это меняет дело?

— Да не то! Видно, совесть их, што ль, начинает мучить... все-таки глядеть в глаза...

— Совесть? У немцев? Ты сам додумался до этого или как?

— Сам.

— Дурак!

— Может быть... А слушай, Петренко... ты как будешь... ну, стоять на коленях... или...

— Умру стоя!..

— И я...

Успокоенный на этот счет Муса поворачивался на другой бок и принимался в темноте трещать сырыми бураками...

На пятый день заключения Сергея, в послеповерочные минуты ожидания, загремел замок тридцать девятой камеры.

— Бакибаев Муса!

Молчание.

— Серебряков Владимир!

— Петренко Иван!

— Григоревский Антон! Сдать все!..

Дверь захлопнулась. Онемев, все продолжали стоять, как и прежде. Что и кому можно было сказать теперь? Пошатываясь, первым вышел из строя Петренко.

...В городе не по-ноябрьски ярко светило солнце. Нарочно стараясь продлить время, Сергей лениво волочил деревяшки по мостовой. В трех шагах сзади шел с автоматом немец. От угла парка улица уходила вниз, к мосту, и, перебежав его, круто поднималась в гору. Мимо Сергея тряслись, ежеминутно понукаемые, извозчичьи клячи. Заламывая поля шляп, удивленно пялились на Сергея выдергивавшиеся из пролетов седоки.

У подъезда гестапо стоял новенький жукообразный лимузин. От входных дверей до его задних колес расхаживал часовой с неимоверно длинной винтовкой. Конвоир ввел Сергея на второй этаж.

— Зетц хир!¹ — указал он на стул в коридоре и, нерешительно щелкнув пальцами в дверь, скрылся за нею. Но через минуту он вернулся и все тем же бесстрастным тоном, не глядя на Сергея, приказал:

— Комт!²

В обширной, заставленной коричневыми шкафами комнате было мало света. Комната выходила окнами на северную сторону дома и располагалась в самом конце коридора. Сергей не заметил, как вышел его конвоир и он остался с двумя сидящими, видимо, в ожидании его, офицерами. Две фуражки лежали на столе, обращенные к Сергею кокардами, изображающими череп с зияющими отверстиями глазниц и скрещенными костями под ним. Офицеры дымили сигаретами, не обратив ни малейшего внимания на вошедшего. Сергей равнодушно оглядывал комнату, засунув руки в карманы длиннополого халата. Идя сюда, он был уверен, что увидит какие-нибудь приспособления для пыток. На самом деле в комнате ничего подобного не было. В середине самого интересного разговора, как это казалось Сергею по интонациям, один из гестаповцев быстро повернул голову к Сергею и сказал:

— Садись, товарищ!

Слова родной речи трепыхнулись испуганным голубем и потерялись в потоке гортанных непонятных звуков продолжавших разговаривать немцев.

— Сидеть не могу.

— Почему же?

— Раны там,— занес назад руку Сергей.

— Ах, это то, что в лесу?

— Нет. Палач в тюрьме...

¹ Садись сюда!

² Иди!

— Ты — Петр Русиновский? Это... это с группой в десять?

— Один.

— В Рокишках?

— В Купишках.

— В августе?

— Двадцать шестого октября.

— Ты не похож на русского... Арийский лоб, но худой. Пожалуйста, ром!.. А сколько времени?

— Двадцать пять дней.

— Это какого же числа?

— Мм... в сентябре.

Допрашивающий сидел за столом боком и ни разу не взглянул на Сергея. Зато второй не спускал с него белесых навывкате глаз, которые «говорили», что он ни слова не понимает по-русски. Он сторожил мимику лица Сергея.

— Нет, нет. Лет сколько?

— Двадцать тр...

«Дурак, — мелькнула запоздавшая мысль, — за двадцать пять дней, проведенных в лесу, такая борода не вырастет у двадцатитрехлетнего...»

— Двадцать восемь.

Допрашивающий снял с рогаток чернильницы неотточенный карандаш и осторожно поставил его вертикально на столе. Наблюдающий, качнув себя вправо, поднялся со стула и, заложив руки в карманы, шагнул к выходу.

— Как это было в самом начале?

— Нас вез...

Вдруг мысль вьюном ускользнула из памяти. В ушах разлился тягучий монотонный звон. Перед глазами патефонной пластинкой заходил огромный радужный круг, и, уцепившись за него, Сергей завертелся на нем, потом, оторвавшись, тихо и плавно полетел в темноту...

Крупные капли воды скатывались с головы на халат и, убыстряя ход, мягко падали на пол. Теперь голова допрашивающего была вровень с глазами Сергея. Но гестаповец сидел на прежнем месте, не меняя позы.

«Ах, я ведь сижу!» — догадался Сергей.

Размеры своей головы он никак не мог охватить теперь памятью. Казалось, она заполнила всю комнату, выпятилась в окно, вобрала в себя шкафы, стулья и стол, на котором стоял теперь кувшин с водой и лежала рядом резиновая дубинка. «Это они меня бананом... но почему же я не помню, когда... и не больно?» — удивился Сергей.

— Так... Значит, ты говоришь, отдал парашют крестьянину... А потом что?

Сквозь лениво гудящий звон, разлитый в головешке, в уши еле проникал звук голоса гестаповца. Казалось, тот говорил с Сергеем по телефону на огромном расстоянии.

— Потом? А-а, вот вы...

И голос не его был, не Сергея. Наверное, рот свесился за окно и там дребезжит треснувшим армейским котелком.

— Да, да! Куда шел ты потом?

— В ...знаешь?

— Что-о? Это как?

Гестаповец оживился и, резко ерзнув на стуле, в первый раз уставился зелеными глазами на Сергея. На его длинной шее смешно дергалась жила, по синеве бритых щек запрыгали желваки.

— В сентябре попал в плен... везли. Я двадцать пять дней бежал... Все!

Побледневшие щеки гестаповца отчетливо выдавали ставший багровым нос. Медленно поднявшись со стула, он перекинул через стол туловище:

— Я тебя вижу насквозь, мерзавец!

— Скверное удовольствие для тебя!..

— Где бежал?

— Близ... мм-м... Шяуляя.

— Альзо! — вдруг крикнул фашист, и кто-то сзади легко и быстро вырвал половицы из-под ног. Опять куда-то боком полетел Сергей, раздвигая мягкую волокнистость оранжевых нитей, что надвинулись на него...

И вновь, стоя уже у стены, Сергей глотал струи воды, стекавшей по щекам и лбу. Она холодным кинжалом раздваивала спину, сбегая струйкой с головы к ногам. Дуло браунинга сычным глазом уставилось в лоб Сергея. Глаз то отодвигался, то льнул совсем близко к телу, и Сергей бессмысленно глядел то в него, то в рот гестаповца, что-то неслышно кричащий...

ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАЯ

Каждый день в шесть часов утра двор тюрьмы заполнялся заключенными. Приходил конвой, зачитывались фамилии, и серая толпа, построенная по пять, покидала тюрьму, направляясь на сахарный завод. В первые дни

фамилия и имя «Руссиновский Петр» по несколько раз повторялись начальником конвоя.

— Где Руссиновский? Где он? Где Петр Руссиновский?

Забывал Сергей свое новое имя и, спохватившись, кричал:

— Я!

Паневежис по утрам спал. За поузоренными легким морозом окнами плавала в спальнях серая предрассветная звень тишины и покоя, курились топкие кровати горячим дыханием разморенных тел и терпким запахом молодожества.

— Ттр-ррум-ттр-ррум-ттр-ррум-ттр-ррум! — чешут клумпы булыжник мостовой, похожий на спины еще не проснувшихся черепах.

— Ттрум-ттр-ррум-ттр-ррум-ттр-ррум! — и шевельнет рыжими ушами уснувшая среди улицы пегашка с малость подгулявшим извозчиком; сплуснет нос о стекло окна неспокойно спящая по утрам девушка, прикрывая ладонями тоскующие по ласкам груди. И опять:

— Ттр-ррум-ттр-ррум-ттр-ррум-ттр-ррум...

На правой стороне шоссе, убегающего из города, у опушки небольшого леса, который пересекала железная дорога, пачкал утро копотью труб сахарный завод. Пять водомойных канав, глубиною в восемь метров, были засыпаны сахарными бураками. Поодаль, у линий железных колеи, кучились бурты подвозимой в вагонах свеклы. На ее выгрузке и складывании в бурты работали заключенные. На восемнадцатитонный вагон полагалось три человека. Время — час. Не выполнившие эту норму лишались баланды, которую привозили из тюрьмы на завод.

После допроса вот уже десятый день шел Сергей на работу. На вагон становился с двумя однокамерниками — замполитрука Устиновым и старшим сержантом Мотякиным. С самых первых дней оккупации фашистами Литвы Устинов и Мотякин, служившие в Либаве, отстали от разбитого наголову своего батальона и бродили в лесах близ Паневежиса, охотясь на эсэсовцев и полицейских и скрываясь от них. А когда зимой стало невтерпез оставаться в лесу, пошли по поселкам выискивать прибежища у крестьян. В сорока верстах от Паневежиса, в небольшом лесном хуторке, приютил их литовский крестьянин. Месяц жили в погребе из-под картошки, потом «присобачились», как говорил старший сержант, и позна-

комились с каждым домом. За веселый разбитной характер Мотякина, за его чечетку под собственные губные трели-рулады и за сапожничиье мастерство Устинова крепко полюбили хуторянам «гражус бальшавикай...»¹. А тем временем друзья выкопали в лесу свои винтовки и начали прогуливаться за десять километров от хуторка, подстерегая на шоссе фашистские одиночные автомобили и мотоциклистов. Завелись у них вскоре автоматы немецкого образца и даже формы в чине «герр оберст». Немногочисленная молодежь хуторка скоро научила их незатейливой мудрости литовского языка, а замполитрука по старой привычке начал посвящать ее в основы марксизма-ленинизма. К лету 1942 года в лесном хуторке жил, а на шоссе действовал крошечный отряд мотякинцев...

Да трудно скрыть молодой пыл нерастраченной юности! Попадало ведь иногда в подбитом автомобиле кое-что по мелочи, и, как ни старался Мотякин уничтожить это там же, на месте, в лесу, приносили ребята домой шнапс и сигареты, не упускали случая хвастануть. Частенько зеленую тишь ночной улицы хуторка вдруг распарывала огненная грохочущая струя автоматной очереди вернувшегося с задания хуторянина. Скатывались тогда с печей старики, залезали под постели бабы, пряча в подолаы детей... И однажды на рассвете дождливого августовского утра сенной сарай приютившего партизан крестьянина окружила немецкая полевая жандармерия. Мотякин и Устинов были схвачены, «как жирные перепелки», по злому определению старшего сержанта. Семья крестьянина была расстреляна на месте, а дом сожжен...

С августа до ноября девять раз ходили друзья в гестапо. Израсходовали они там не один кувшин воды, вылитый им на головы для приведения в чувство после бананов, ознакомились со всеми видами пыток, побывав не в одной «студии». Но ни один из мотякинцев не был выдан и назван. Знали ребята библейское изречение: «Язык мой — враг мой» — и, закусив его в подъезде гестапо, освобождали в тридцать девятой камере.

Выгружая свеклу из вагона, Мотякин не переставал шутить, приставая к серьезному, меланхоличному Устинову.

— Как ты думаешь, — громко произносил он и — тише: — комиссар, какую конкретную пользу приносим мы Родине тем, что киснем в тюрьме, а?

¹ «Красивые большевики» (лит.).

Устинов молчал.

— Ужели ваш аналитический ум комиссара утратил прежнюю логику... либавскую, например?

Устинов молчал. Тогда Мотякин отшвыривал вилы, выбирал три огромные свеклины и, вручая Сергею и Устинову, а одну оставляя себе, глубокомысленно заявлял, подняв указательный палец вверх:

— Находясь в застенках гестапо,— произнося это слово, Мотякин делал ударение на «о»,— и кушая вот эти бураки, мы, товарищ комиссар, подрываем экономическую базу врага в его тылу!..

Конвоировали заключенных эсэсовцы и полицейские. Была их целая толпа, вооруженных винтовками и автоматами, злых и вечно полупьяных. Партия заключенных шла, имея на флангах двадцать конвойных, с фронта и тыла — шесть. Мысль о побеге в дороге была, таким образом, явно несостоятельна. А в заводе некоторые шансы на побег все же были. Распределив заключенных по работам, начальник конвоя уходил в склад сахара. Конвойные же рассаживались у костров близ забора, огораживающего двор завода. Они тщательно следили за забором, обыскивали порожние вагоны, уходившие с завода, и издали наблюдали за работой заключенных.

Сергей, Устинов и Мотякин несколько дней разрабатывали план побега. Каждая мельчайшая деталь была предусмотрена и обсуждена: неудачников в побеге убивали на месте или же заковывали в цепи. Было решено: как только смолкнет гудок завода, означающий шесть часов вечера, Устинов и Мотякин ложатся в бурт, а Сергей забрасывает их бураками. Розыски будут недолгие, заключенных не решатся задерживать в заводе до наступления темноты. Дождавшись ночи, Устинов и Мотякин уходят через забор в лес. Сергей же, которого некому зарыть в свеклу, подлезает под уже заранее осмотренный вагон, устраивается там на тормозных тросах и ожидает вывоза себя с завода. Встречаются в лесу по условному свисту...

...Было ветреное и морозное утро. Черной бездной зияло над тюрьмой небо, рассвет торопился погасить в нем трепещущие синим огнем звезды. Рьяный холод залезал под тонкие вытертые халаты, распластывался на костлявых спинах заключенных. В ожидании конвоя было разрешено толкаться, разговаривать, переругиваться. В воздухе мешался литовский, польский, русский разговор; теснились в кучу — теперь все равные в серых халатах — полит-

заклученные, беглецы из лагерей, парашютисты, сочувствующие Советской власти, укрыватели «товарищей»... и прочие и прочие...

Мотякин «стрелял» окурки. Увидев красную точку самокрутки, он бесцеремонно раздвигал толпящихся, подходил к курящему и после вступительной речи возвращался, бережно неся окурки между пальцами.

— По разу потянуть вам,— говорил он Сергею и Устинову. Сам он не курил. Мотякин был в особенно приподнятом настроении, убежденный, что это — последнее утро, встречаемое им в тюрьме,— в этот день решено было бежать...

А вышло иначе. Начальник конвоя не зачитал фамилию Сергея. Он не шел на завод и возвращался в камеру.

— На допрос пойдешь,— шепнул Мотякин.— Мы возвращаемся... Завтра ты отдохнешь от бананов, а послезавтра...

Потому ли, что где-то далеко-далеко сверкнула бледная искра надежды на жизнь, что в опустошенное тело ум впрыснул ампулу живительного раствора под русским названием ненависть и борьба,— только, шагая в гестапо, Сергей чувствовал какую-то смутную тревогу. Состояние это усилилось, когда конвоир повел его по узкому коридору первого этажа, а не на второй, как прежде.

«Развинтились, проклятые! — обозлился Сергей на свои нервы.— А ну, взять себя в руки!»

«Есть взять, товарищ лейтенант!..»

В комнате стояли два стола и сидели два гестаповца в штатском. Оба они говорили по-русски, но не так совершенно, как прежде допрашивающий Сергея. По тому, как были они вежливы, предупредительны и внимательны, Сергей понял, что будет что-то новое, им еще не виданное здесь.

— Ви бежалъ, что кушаль котель, я?

— Да.

— Ми понимайт. Ви — юнга... мелет еще. Ви любийт сфобот, прирот, я?

— Как и вы.

— О, корошо, корошо... Ви курите? Пошалюйст, фот... Ми вам не будем уже тюрьма... ви будете у нас, корошо? Ми не будем работайт... будем поекайт в лес... ви рассказайт, где шифет ваша... што бежалъ... рассказайт, кто даль кушайт... Корошо, я?

Мысли Сергея кипели. Рождалась соблазнительная идея: «А что, если поехать с ними в лес?.. Два — это немного... но если только два!»

— Когда вам рассказать? — живо спросил Сергей.

— О, скажите сейчас... пожайте зафтра.

«А-а, подлюги, одного боитесь!» — опечалился Сергей и ответил:

— Я бежал один.

— Ви рассказайт, кто кушать дафалы!..

— Я не заходил в дома. Я... воровал.

— Што фарафаль?

— Все... морковку, картошку...

— Што есть — фарафаль?

— Это значит вот так, — показал рукой Сергей.

— О, ви не стелайт так. Ви кушаль клеп и млеко... Тафаль литофци, корошо, я?.. Ми тафайт им марк, што они тафаль вам кушаль!..

— Как жаль! Я этого не знал... Я бы не воровал, а заходил в дома...

— Ви не мошна фарафалы! — обозлился гестповец. — Ви кодиль дом!

— Я не заходил в дома!..

— Ви не кочет скажайт? Ми будем сейчас расстреляй тебя!..

— Я не заходил в дома!..

— А-а, ферфлюхт, мистр-менш!¹

Немцы любят и умеют бить жертву по щекам. Делают они это расчетливо и аккуратно, как и все, что они делают...

— Комт!..

Набрав полный рот кровавой слюны, Сергей по дороге харкнул ее на желтый пол коридора. Гестаповец, шедший сзади, рванул его за рукав халата, клумпы разъехались, и, потеряв равновесие, Сергей накрыл грудью свой плевок.

— Кушайт! Кушайт! — наклонившись над ним, кричали фашисты, указывая на плевок. Путаясь в полах халата, Сергей пытался встать.

— Кушайт! — и удары ног валили его вновь на пол. Тогда, подложив руки под голову, Сергей растянулся ничком, широко раскинув ноги. Гестаповцы на минуту растерялись, а затем пришли в бешенство. Теперь они уже кричали по-немецки и, ухватив за уши Сергея, били его голову о гудящий лакированный пол. На покоробленной желтой

¹ А-а, проклятый, червь навозный!

доске змеилась, виляя, живая лента крови... Распахнув дверь комнаты налево, гестаповцы вволокли туда обмякшего Сергея. С цементных синих стен пахнуло сыростью и холодом. Комната не имела окон и освещалась большой электрической лампочкой. Подтащив Сергея к острому углу противоположной стены, гестаповцы поставили его на колени.

— Сейчас расскажите, кте кушала! Не рассказайте — стреляйте!.. Айн... Цвай...

— Расскажите!

— Цвай!

Сергей, прижав к носу рукав халата, чтоб задержать кровь, стекающую в рот, равнодушно глядел на гестаповцев, выкинувших вперед правые руки и ноги. Из кулаков их сжатых рук мерцали вороненные дула браунингов.

— Драй!..

Выстрелы были стройные. В шею, щеки и лоб со свистом брызнуло что-то больно щекочущее. Левый глаз застлала коричневая теплая пелена.

— Расскажите!

Сергей неловко ткнулся вперед и встал на четвереньки.

«Чем они стреляют? Я, кажется, жив... А-а, это ведь крошки цемента от стен... стреляют не по мне...»

И, качнувшись, вновь ощутил острыми краями лопаток жесткую корявистую стену.

— Тах-тах!

— ...скажите!

— Тах-тах!

Потом хлопнула не видимая Сергеем дверь, и комнату наполнили холод и тишина... А вечером, по пустынным улицам, Сергей вернулся в тюрьму, сопровождаемый все тем же конвоиром.

ГЛАВА ПЯТНАДЦАТАЯ

Смоченные дождем и схваченные морозом бураки не поддавались вилам.

— Ситуация осложняется, братцы! — говорил по этому поводу Мотякин. — Мы катастрофически рискуем лишиться баланды... Но, — продолжал он, — чем хуже — тем лучше! Как думает комиссар, почему? — обращался он к Устинову. — А потому, — отвечал он же, — что мы должны отстать в выгрузке ото всех и остаться одни на этом составе...

Эта мысль была ценная, и ее приняли без обсуждения.

Постепенно вагоны пустели. Холод подгонял заключенных, и они торопились выполнить свою норму. Ко времени заводского вечернего гудка, лишь через два вагона от мотякинского, копался в бураках еще дед с двумя своими внуками, сидящими в тюрьме вот уже шестой месяц за укрывательство бежавшего из лагеря пленного. Их не следовало опасаться: народ был свой. В вагоне Сергея полный угол был еще завален бураками.

— Я отправляюсь на рекогносцировку,— доложил Мотякин и прыгнул из вагона. Быстро оглядываясь, он начал разрывать борт, готовя место. Вечерние сумерки застилали двор завода, пламя костров, разложенных конвоирами, блестело ярче. Мотякин лег вниз лицом, давая понять, что его миссия окончена. Пожав Сергею локоть, прыгнул к нему и Устинов...

Сергей лихорадочно орудовал вилами, забрасывая бураками беглецов. Мерзлые свеклины стукались о спины и головы лежащих, постепенно образуя над ними сплошной покров. Вот-вот по двору раздастся свисток к построению.

— Успеть бы! — шептал Сергей. Спрыгнув в борт, принялся руками ровнять его, придавая естественный вид тому месту, где лежали Мотякин и Устинов.

Пронзительные переливы свистка настигли Сергея под четырехосным вагоном. Вцепившись руками в болты и обхватив коленями дрожащие тросы, ждал он, когда звякнут буфера вывозимых с завода порожних вагонов. Было тихо до звона в ушах. Лишь со станции катились редкие вздохи паровоза да ровный шум цеховых машин полз по двору. Прошло минут десять. Конвоиры, недосчитав трех заключенных, бросились по буртам, вагонам, закоулкам...

Каждый вдох и выдох Сергей укладывал в четырнадцать ударов сердца. Во всем теле ощущались торопливые толчки, онемевшие от холода пальцы неприятно дергались, толкаемые взволнованной кровью.

«Крепись, лейтенант!.. Может быть, это последнее...»

Пучком ржаной соломы качнулся луч ручного фонаря под соседним вагоном. Вот он уперся в колесо и, как развеянный ветром, разостлался за вагоном, а растаяв в пространстве, снова родился под животом у Сергея... Конвоир лезет один. Изредка бормоча что-то непонятное, он тяжело дышит от неудобной позы.

«Может быть, это последнее...»

Вдруг свет вздрогнул, погас, потом вновь брызнул

и остановился где-то в ногах у беглеца. Сергей глянул туда и увидел освещенный фонарем грязный кусок портянки, свесившийся с клумпы. В этот же миг конвоир вскрикнул и кубарем выкатился из-под вагона. Отбежав к бурту, он закричал испуганно и радостно:

— Ченай! Ченай!¹

Оброненный им фонарь желтым удивленным глазом уставился в пол вагона. Соскочив с тросов, Сергей отбросил его ногой и, выпрямившись, пошел к конвоиру. Тот, бормоча проклятья или молитву, полез на борт, скользя и падая на обледеневших бураках.

Сергей ожидал большего. Может быть, только двадцать шесть мерзлых свеклин было раскрошено о его голову, спину, грудь: не больше одного бурака израсходовал на Сергея каждый эсэсовец — не дал начальник конвоя. Пойманный должен был еще кое-что сказать...

«Но что придумать о ребятах?» — спрашивал себя Сергей и вспомнил, что минут за десять до того, как Мотякин начал разрывать борт, с завода ушла первая послеобеденная партия порожняка.

— Ну, кур дар ду?²

— Уехали под вагонами. Теперь далеко. Это ведь русские люди!..

Начальник конвоя, приказав вести заключенных, с четырьмя эсэсовцами бросился на станцию. Два конвоира вели отдельно Сергея, поминутно доставляя себе удовольствие пырять стволами винтовок в его ребристую спину.

В канцелярии Сергея допрашивал сам начальник тюрьмы. Это был еще сравнительно молодой немец с подстриженными ежиком волосами и подвижным, нездоровой бледности лицом.

— Почему бежал?

— Это мое право.

— Ты сейчас увидишь свое собачье право!

— Знаю... твоя постыдная обязанность!..

Больше вопросов не было. Переходя двор, Сергей был убежден, что идет в экзекуторскую. Но надзиратель повел его за угол тюрьмы. В небольшой пристройке к стене тюрьмы помещалась кузница. В углу, у горна, зазвенела охапка ржавых цепей. Выбрав одну, кузнец-заключенный стал ладить ее к ногам Сергея...

¹ Сюда! Сюда! (Лит.)

² Ну, где еще двое? (Лит.)

В тридцать девятой потекли нудные минуты. Возвращаясь вечером с работы, Сергей, гремя цепью, влезал на нары и, упершись неморгающими глазами в потолок, ожидал поверку. Цепь уничтожила последнюю надежду на побег. Восемь однокамерников Сергея в молчанье и тоске коротали вечера.

Проходил ноябрь. Неимоверно низкое небо придавило Паневежис к набухшей водой земле, грязные лохмотья туч царапали гноящиеся по утрам дровяным дымом культышки труб. Опростоволосившиеся деревья притюремного парка скулили свистом веток о запоздавшей зиме и в своей теперешней никчемности и унылости приходились сродни заключенным.

Ржавые браслеты грызли щиколотки Сергея. Полутораметровая тяжелая цепь, подвязанная веревочкой к брючному поясу, чтобы не волочилась, натирала до боли колени, утомительно позванивая кольцами.

На пятый день после того, как из тридцать девятой камеры Мотякин навсегда унес перезвень губных вариаций, а Устинов умную задумчивость и серьезность, девять человек серыми истуканами стыли у стены, ожидая свистка к отбою. Под учащенное дыхание девяти человек вдруг ослабилась железная дверь камеры, и в ее зеве раскорячил ноги надзиратель.

— Попов! Куликов! Приготовить вещи. Руссиновский! Приготовиться в кузницу!..

Громыкнув цепью, Сергей подошел к нарам и закатал валиком постель и халат...

...В одном исподнем белье, заломив руки, сидели, тесно прижавшись один к другому, четыре человека. Теперь с вошедшими смертников было семеро. Глаза каждого казались дегтисто-черными: зерна зрачков были неправдоподобно велики, распираемые предсмертным осмысленным ужасом. Мысль, что вот уже завтра их не будет в живых и никогда потом, кидала людей то из угла в угол поодиночке, то в одну тесную кучу. До крови грызли руки, пальцы; вырывались пряди волос. Но нет, это не сон. Это — быль и явь, это — неумолимая правда, как вот эти желтые цементные стены и стальные двери камеры!..

Измучив вконец тело, мысль о смерти на минуту притуплялась, терялась в веренице других, ею же вызванных. Вот он сидит, смертник, тихо уставившись черными глазами в угол камеры. По судорожно сжатому рту его

скользнула чуть уловимая улыбка. Что ж! Он вспомнил почему-то май, что был пять лет тому назад... Тыквы куполов Новодевичьего монастыря до рези в глазах горели тогда в лучах нехотя уходившего за Воробьевы горы солнца. Таня... тогда еще Татьяна для него, шла вся голубая: платье, лента в русых косах, глаза... У самой стены монастыря он рассказывал ей что-то очень простое и обычное из студенческой жизни, но тогда казавшееся ему интересным и особенным; они оба искренне и весело смеялись, и, конечно, не над тем, что он рассказывал. Просто хотелось тогда смеяться, прыгать и посылать воздушные поцелуи через Москву-реку всем карнизам цехов Дорхимзавода... Потом сын Вова, потом война... потом — плен, и... дергался замечтавшийся смертник, вскакивал на ноги, стягивал ворот посконной нательной рубахи до хрипоты, до пепельного налета на лице...

В середине ночи, часа за три до времени расстрела — четырех часов пятнадцать минут, — не выдержал один из обреченной семерки. Сняв кальсоны, он яростно начал разрывать их на части. Затем, связав из кусков длинную ленту, дико прыгнул на нары и замотал один конец за свисающее с потолка кольцо, другой за шею. Никто не мешал самоубийце. Зачем?.. Подогнув ноги, он резко опустил, и скрежет зубов и хрип горла вытолкнули синий клубок пены на волосатый подбородок...

Закинув руки за голову, Сергей ходил по камере. Нет, теперь уж ничего, н и ч е г о нельзя было сделать... Оставалось последний раз прошагать мысленно свои двадцать три года. Нет, в прошлом все было как надо... Иначе он и не мог. Только так, как было и должно быть! И только обрыв этой немногостраничной повести нелепый... без подписи, без росчерка...

ГЛАВА ШЕСТНАДЦАТАЯ

Страх, как и голод, истерзав и скомкав тело, делает его со временем бесчувственным, апатичным и ленивым к восприятию ощущений. Шестеро смертников к концу ночи выглядели спокойней. Серые их лица хранили покорность и бесстрашие, и лишь инстинктивная воля к самосохранению согнала всех в тесную кучу в дальнем углу нар.

Тело удавленника, нелепо перекосившись, было обращено лицом к смертникам, полузагораживая дверь камеры.

Длинный раздувшийся язык бычиной селезенкой выполз изо рта висевшего и загнулся в сторону уха. Огромными оловянными пуговками синели выкатившиеся из орбит глаза и, казалось, вот-вот упадут на доски нар, как падают с дуба созревшие желуди.

Тихо в камере. Выплеснули с вечера смертники с хрипом горловым испуг и муки, протест и жалобы. Пусто в голове. Лень в теле. Лишь неугомонное сердце отбивает без устали удары-секунды. Что же ты, сердце? Куда ты? Ну, замри на минуточку, останови ночь! Ты знаешь ведь, сердце: мы мало жили... Слышишь, мое сердце? Знаешь? Я хочу жи-ить!!!

И в назначенное время услышали смертники за дверью топот кованых сапог и грохот открываемой двери. Вот оно! Как подброшенные током огромной силы, вспрыгнули смертники на ноги и... стали прятаться друг за друга. Ломая пальцы чьих-то рук, обхвативших его живот, Сергей тихо двинулся по нарам мимо удавленника к двери, туда, где стали у стены четыре гестаповца в черных клеенчатых плащах. словно по команде, они держались левыми руками за пряжки своих поясов с надписью «с нами бог», а правыми придерживали у бедер черные автоматы. Два надзирателя и давний знакомый Сергея — начальник вещевого склада — стояли поодаль у самой парашаи.

— Куликов!

— Попов!

— Руссиновский!

Надзиратель сложил листок, ожидая вызванных. Гестаповцы молча разглядывали висевшего.

— Я — Попов...

В первый раз Сергей заметил, какие добрые и умные глаза у этого парня. Высокий белый лоб его пересекала темная косичка спутанных волос, серые впалые щеки подергивались энергичным сжатием зубов.

«Такие не ползают на коленях!» — подумал о нем Сергей и, подойдя к Попову, стал рядом.

— Я — Руссиновский.

За дрыгающие желтые ноги и дулей выпятившуюся голову на длинной шее принесли надзиратели Куликова из угла камеры. Он не стонал и даже не плакал. неподвижными рыбьими глазами изумленно уставился он на гестаповцев, сидя у ног Попова и уцепившись за его кальсоны.

— Идемте со мной!

Начальник вещевого склада вышел в коридор. Сергей и Попов разом ступили за ним.

— Раус! — гаркнул один из гестаповцев и размашистым пинком выбросил за ними Куликова. Двери камеры захлопнулись, прикрыв гестаповцев, одного надзирателя и трех смертников с одним повесившимся.

— Наслаждаетесь, господин начальник? — спросил, вздрагивая ноздрями, Сергей.— Куда ведете?

— Одевать вас.

— Зачем?

— Приказано. Отправлять будут.

— В лес?

— Туда вывозят голых... знаешь ведь...

...Над тюрьмой, в бездонной пропасти неба, пушистыми котятками шевелились звезды. Декабрь выклеивал на широких окнах канцелярии стальные листья папоротника, наивными мотыльками кружил вокруг висевшей над воротами лампы редкие сверкающие снежинки. Во дворе, на тонком батисте молодого снега, только что, видимо, развернувшийся автомобиль наследил огромный вопросительный знак. Оставив Сергея, Попова и Куликова у каменных ступенек крыльца и поручив их привратнику, надзиратель вбежал в канцелярию. Оттуда сейчас же вышли два жандарма. Еще в коридоре Сергей заметил в их руках что-то тускло сверкавшее:

«...Значит, думают прямо тут...»

Эти два гитлеровца были хорошо откормлены. Высокостоячие фуражки, делаая их похожими на болотных чибисов, врезались околышами в бритые затылки. Огромные черные кобуры маузеров болтались у них на левых бедрах, в руках пылали никелем новенькие наручники. В один миг левая рука Сергея была скована с правой рукой Попова, а не перестававший дрожать осиновым листом Куликов прилип к правой руке Сергея...

По сонным зловеющим улицам Паневежиса в пять часов утра никто не ходит. Временами слышен лишь размеренный шаг фашистских патрулей да испуганный от привидевшегося во сне коридорный лай «бонзы».

Жандарм. Три удивительно ровно и тесно идущие фигуры в сером. Жандарм.

Резкие, звонистые ступки сапог путаются с тупым стуком деревянных клумп.

Пять странно движущихся людей пересекли весь город

и вошли в темный и узкий переулок, ведущий к вокзалу.

— Что они думают делать с нами, Руссиновский?

— Не знаю, Попов. Видишь, увозят...

— Пальцы окоченели... Давайте в чей-нибудь карман всунем руки.

— Жить думаете, Попов?

— Вы это не одобряете?

— Напротив. Вы просто не теряетесь...

— И не советую вам, пока живы...

«Славный малый», — подумал Сергей и потащил вместе со своею руку Попова в просторный карман халата.

В вокзале было пусто и холодно. Два немецких солдата, увешанные амуниционным скарбом, словно иранские ишаки хлопком, стоя у окна кассы, завтракали. Перед каждым на «Дойче цайтунге» лежала треть буханки хлеба, а рядом — оранжевая пластмассовая баночка с искусственным маргарином. Расставив локти и растопырив пальцы, слишком осторожно, почти испуганно, резали хлеб солдаты. С горбушки снимался удивительно искусно срезанный ломтик. Нужно быть артистом-хлеборезом или целый век прожить впроголодь, чтобы суметь отрезать кусочек хлеба толщиной с кленовый лист. Чисто по-своему, по-немецки, «накладывался» маргарин: в баночку резко пырнулся нож, затем обтирался о ломтик-листик хлеба...

Вокзальные часы показывали ровно шесть, когда жандармы знаками приказали скованной тройке следовать за ними. По перрону сытой кошкой кувыркался ветер, играя с клочками бумаги и окурками папирос. От пытящего паровоза истерзанным холстом тянулся пар, растворяясь в холодном воздухе. Одиннадцать маленьких пассажирских вагонов робко жались друг к другу, зарясь на перрон просящими бельмами замороженных окон. Войдя в вагон, жандармы очистили от пассажиров купе. Сипло кукукунув, паровоз дернул состав, и в тяжелые головы скованных застучали колеса вопросами: «Кто же вы? Кто же вы? Кто же вы?.. Куда едете? Куда едете? Куда едете?..»

Мрачный и холодный день уже пронизывался нитями сумерек, когда жандармы вывели скованных из вагона. Улицы незнакомого города были оживлены. По мостовой, гремя клумпами, плелась согнувшаяся в три погибели старушка с вязанкой соломы на спине; цокали извозчики; проносились грузовики. Из-за гряды домов, где-то впереди шагающих пленных, шприцем проколол небо красномакушечный костел. Но по мере того, как передний жандарм,

подрагивая жирными бедрами, уходил из улицы в улицу, костел отодвигался вправо, потом очутился позади. У приземистого черного здания с вывеской «Вермахт комендатур» жандармы остановились. На тротуарах замялись любопытствующие, пристыв глазами к потускневшим от мороза кандалам Сергея, Попова и Куликова. А через час жандармы ввели скованных в обширный двор Шауляйской каторжной тюрьмы.

Бледно-розовым утром двадцать седьмого июня 1941 года фашисты оккупировали Шяуляй. По пустым, словно вымершим улицам днем гуляли штабные офицеры и гестаповцы. С наступлением вечера и до зари на окраине города, у озера, не умолкали трели автоматов. Девять концлагерей тесным кольцом опоясали Шяуляй. В двух лагерях — физически здоровые евреи, специально оставленные для работы, в остальных — советские военнопленные.

В Шяуляе самое большое здание — тюрьма. Величественным замком высится она на отлете города, мерцая узкими окнами пяти этажей. В конце 1941 — начале 1942 года ее наполняли пленные. Во дворе, в коридорах, в четырехстах камерах, на чердаке — всюду, где только было возможно, сидели, стояли, корчились люди. Была их там не одна тысяча. Их не кормили. Водопровод немцы разобрали. Умерших от тифа и голода убирали с первого этажа и со двора. В камерах и коридорах остальных этажей трупы валялись месяцами, разъедаемые несметным количеством вшей.

По утрам шесть автоматчиков заходили во двор тюрьмы. Три фургона, наполненные мертвецами и еще дышащими, вывозились из тюрьмы в поле. Каждый фургон тащили пятьдесят пленных. Место, где сваливали в огромную канаву полутрупы, отстояло от города в четырех верстах. Из ста пятидесяти человек, везущих страшный груз, доходили туда сто двадцать. Возвращались восемьдесят — девяносто. Остальных пристреливали по пути на кладбище и обратно.

Бывшую канцелярию тюрьмы занимал комендант лагеря со своим штабом. Не поднимаясь из-за стола, просунув автомат в форточку, каждый день расходовал он тридцать два патрона на пленных. Один фургон был специально закреплен за ним...

Иногда в тюрьму заходил комендант города и с ним —

поджарые, похожие на гончих сук три немки, одетые в форму сестер милосердия. Тогда из пленных тщательно выискивались наиболее испытанные и измученные. Их симметрично выстраивали у стен. С нескрываемым отвращением и ужасом подходили к ним «сестры», становились в трех шагах спереди, а тем временем коммендант щелкал фотоаппаратом. Эти увеличенные снимки видели потом пленные в витринах окон, провозя городом фургоны. Под снимками пестрели пространные подписи о том, как немецкие сестры милосердия оказывают помощь пленным красноармейцам на передовой линии германского фронта...

Гестапо торопило. Требовалась тюрьма для литовских коммунистов, антифашистов. Рейсы фургонов участились. Редел пленные, становилось просторнее в тюрьме, и наконец она совсем освободилась.

Шла весна 1942 года. Оттаивала и оседала земля на огромном кладбище военнопленных. Тихим пламенем свеч замерцали там подснежники. И в одну из майских ночей на этой великой могиле братьев по крови задвигались бесшумные тени с лопатами и кирками в руках. То рабочие из города тайком от фашистов пришли оборудовать последнее пристанище советских товарищей... А на заре, встречая солнце, маленькая красногрудая птичка весело славилась братство в борьбе и надежде, сидя на огромном камне-обелиске, что появился на братской могиле замученных. Корявые, туго гнущиеся пальцы деповского слесаря выгравировали долотом на камне простые слова большого сердца:

Пусть вам будет мягкой литовская земля

У подножья обелиска просинью девичьих глаз пытливо и вопросительно глядели в небо первые цветы полей, перевязанные в букет широкой кумачовой лентой...

На третий день после этого немцы выставили на кладбище часового.

ГЛАВА СЕМНАДЦАТАЯ

Камера Сергея была на пятом этаже и выходила окном на город. Взобравшись на стол, Сергей подолгу глядел на густо коптившие трубы завода, что наполовину виднелся в окно, на горящую склепь озера у самой тюрьмы. Переводя взгляд на город, Сергей видел лишь разноцветные крыши домов. Казалось, будто город накрылся от де-

кабрьского холода огромным детским одеялом из лоскутков...

Режим Шяуляйской тюрьмы мало чем отличался от Паневежской. Те же сто пятьдесят граммов хлеба в сутки и два раза баланда; так же не разрешалось за целый день присесть на край нар. По субботам заключенных стогнали в тюремную католическую церковь. Помещалась она на пятом этаже в обширной и светлой комнате. В правом углу стоял довольно стройный орган. Под его звуки хор из надзирателей под управлением тюремного палача пытался петь что-то жалобное и проникновенное...

Порядок расстрела в Шяуляйской тюрьме был иной. В тот момент, когда огромный, крытый черным брезентом грузовик гестапо заезжал во двор тюрьмы, по разным камерам надзиратели и жандармы выискивали тех, кто значился в списках. Им связывали позади руки мягкой проволокой, и если обреченный сохранял мужество, то сам залезал в «Тетку Смерти», как заключенные называли грузовик, а если кому изменяли силы — его легко подхватывали гестаповцы и забрасывали в автомобиль.

Камера Сергея была обширной. Сидели в ней четырнадцать литовцев, Попов с Куликовым и молодая женщина с грудным ребенком. Камерная печь топилась один раз в три дня. Постоянный холод и сырость заставляли заключенных с раннего утра до отбоя становиться в круг и шагать, шагать по камере. Надзиратели разрешали женщине сидеть на нарах. Прижав желтую головку спящего ребенка к груди, мать постоянно подолгу глядела бархатными миндалевидными глазами в одну точку. Потом, встряхнув головой, словно спугивая надоевшую муху, поправляла тряпье на ребенке — и сколько было в этих осторожных движениях непринужденного изящества, сдержанности и спокойствия!

Ребенок плакал не всегда. Иногда этот крошечный девятнадцатый член камеры пробовал предъявлять свои права на жизнь и свободу. Ворочаясь, он пытался освободить руки из разноцветного тряпья, и мать, улыбаясь ему, говорила тогда с ним медленно, слегка заглушенным голосом и почти проглатывая букву «р». Однокамерники отвели ей место у самой печки. И когда днем, сидя на нарах, она вдруг в тревожной дреме закрывала веки с длинными, стрельчато загнутыми ресницами, шагавшие по кругу заключенные останавливались, снимали с ног клумпы и, взяв их в руки, босиком продолжали путь...

По утрам, получая пайки хлеба, семнадцать «жертвовали» на ребенка. Целая горка ломтиков в двадцать пять граммов вырастала на коленях женщины. Тогда ее печальные глаза застигались влагой подступающих слез благодарности, она отказывалась, просила, протестовала, но семнадцать человек, внося ей свою долю, как-то неловко ступая, поспешно отходили в сторону, в противоположный угол.

По ночам нависшую глыбу тьмы и безмолвия часто колыхал звонкий плач ребенка.

— Покентек, мано ангелели! Нябьяилгай текс мумс лаукти!¹ — Звучал нежный успокаивающий голос.

И женщина не ошиблась. На пятый день ее заключения, судорожно прижав притихшего ребенка, она — жена литовского красного партизана — спокойно и молча взошла по сходням в «Тетку Смерти»...

Шел 1943 год. Попова и Куликова давно перевели в другую камеру. Сергей остался один среди литовцев. От постоянного ли недоедания или от холода распухли ноги. На сжиге под коленями и у ступни лопалась кожа, и из незаживающих ран сочилась красноватая жидкость. Часто кружилась голова и шла кровь носом. Тело покрылось пузырьчатыми струпьями. И однажды в середине дня Сергей услышал свою фамилию. Пошатываясь и волоча клумпы, он вышел в коридор и спустился с надзирателем на первый этаж. В вещевом складе ему подали ветхую красноармейскую гимнастерку и шлем.

— А штаны получишь в лагере, — объяснил надзиратель.

Январский день был чистым и глубоким. Взбесившейся кошкой вцепился мороз в колени Сергея и начал разрывать их невидимыми когтями под кальсонами...

Под вечер Сергей вошел в ворота первого лагеря военнопленных в Шяуляе. Через огромный двор, петляя между четырьмя бараками, вилась лента пленных, построенных по два: было время получения баланды — литрового котелка на двоих.

Баракы первого лагеря были обширные, с двумя линиями трехярусных нар. Закрывались на ночь они замками; во дворе рыскали овчарки. В бараке, куда затиснулся на ночь Сергей, по пазам неплотно сдвинутых стенных досок вытянулись желто-белые полосы льда и снега. Около единственной железной печки всю ночь напролет стоит очередь.

¹ Потерпи, мой ангел! Нам уже недолго осталось ждать! (Лит.)

Пленные держат в руках две-три щепки, а в карманах две-три мерзлые картошки, добытые где-нибудь днем. Не имеющий дров входит в долю исполу, то есть половину имеющейся картошки отдает обладателю щепки и таким образом приобретает право на печку.

Сергей устроился на нижних нарах. Голову бросил кому-то на клумпы, ноги затерялись где-то под худыми телами соседей, прижавшихся с боков в поисках тепла. В пять часов утра, крестя направо и налево ремнями и палками, «полицай» произвели подъем. К тому времени во дворе уже стояли построенные по четыре жители остальных бараков: предстояло получение шестисот граммов хлеба и котелка теплой воды на четверых.

Жал мороз. В пролеты бараков, где стояли пленные, устремлялись снежные вихри. Ветер трепал полы шинелишек, давно потерявших вид и форму одежды, без единой пуговицы и крючка. Сосед Сергея поминутно выбегал из строя. Цокая клумпами и размахивая рукавами, он почти кричал от холода:

В темноте никто не видит тут и там!
Приходи, кума, за хлебом — хлеба дам!..

Пока он отплясывал, строй подвигался на несколько шагов вперед. «Кум» терял свою шеренгу и, видимо, имея в виду Сергея, звал:

— Эй, длинный в кухвайке! Где ты?

Ящик с хлебом стоял в пяти шагах от кухни. Подходившая шеренга в четыре человека получала из рук «полицая» серый кирпичик и самостоятельно забирала котелок с водой, стоящий на окне кухни. Хлеб брал левофланговый, «чай» — кто был справа. После этого четверка отходила в сторону и принималась за дележку.

Сергей не видел, кто взял хлеб. Задев его локтем, назад метнулся, держа на отлете котелок с водой, «кум». В ту же минуту сосед Сергея слева, также не принимавший участия в получении своего дневного пропитания, закричал истощным слезливым голосом:

— Да дяржите ж их, граждане! Дяржите!

— А пошто?

— Всю корвегу хлеба унесли!.. Держитя-а!

Обернувшись, Сергей увидел, что они остались вдвоем. Хлеб, «чай» и два человека из его шеренги исчезли, затерявшись в предрассветной мгле и толпе до капли похожих друг на друга пленных...

В семь часов утра к лагерю приходят конвоиры и уводят пленных на работы в город. Оставшихся в лагере немцы разбивают на группы и до часу дня гоняют вокруг барачков. Тремя, четырьмя кучами по двести, триста человек топчутся, пошатываясь, по огромному кругу пленные. Немец зорко смотрит за теми, кто отвернул на уши от нестерпимого холода поля пилотки или всунул руки в карманы шинелишки. Такие отводятся в сторону, раздеваются до гола и, опираясь на руки и пальцы ног, пятнадцать минут «делают мост».

— И скажи на милость, как любят они мучить людей! — печалются в толпе.

— И каждый день ить...

— На то ён и немец... в прахриста мать!..

— Хвиззарядка потому...

— Грехи наши тяжкие...

В час дня топтанье по кругу прекращается. Пленные получают котелок баланды на двоих, тут же, на улице, съедают ее, а с двух до пяти часов вновь принимаются ходить. За весь день никто не смеет зайти в барак...

...И вновь в мучительном раздумье Сергей начал искать пути выхода на свободу. И вновь по ночам, ежась от холода, раздирая тело грязными ногтями и выковыривая впившихся в кожу паразитов, рисовал соблазнительные и отчаянные варианты побега. Знал: не один он лелеет эту мечту. Но не говорят в лагере открыто о ней, носят эту святую идею осторожно и бережно, выискивая тех, кому можно ее доверить.

Шел март. Наступала весна 1943 года. В полдни подсолнечные стороны барачков уже начинали нагреваться, длинней и голодней становились дни. В лагере подсыхала грязь. На раките, что была заключена немцами в лагерь вместе с пленными, набухали лоснящиеся красноватые почки. Они были клейкие и нежные, во рту отдавали горечью и тонко пахли лугом.

«Бежать, бежать, бежать!» — почти надоедливо, в такт шагам, чеканилось в уме слово. «Бе-ежа-ать!» — хотелось крикнуть на весь лагерь и позвать кого-то в сообщники... Нужен был хороший, надежный друг.

И лип Сергей к разговору кучки пленных, прислушивался к шепоту и стону, ловя в них эхо своего «бежать»...

ДРУГ МОЙ МОМИЧ

1

Узорно-грубо и цепко переплелись наши жизненные пути-дороги с Момичем. Сам он — уже давно — сказал, что они «перекрутились насмерть», и пришло время не скрывать мне этого перед людьми.

...Мимо нашего «сада» — три сливины, одна неродящая яблоня и две ракиты — к реке сбегает из села скотный проулок. Он взрыт глубокой извилистой бороздой иссохшего весеннего ручья, и на солнышке борозда слепяще сверкает промытым песком, осколками радужных стекляшек, голышками. Я сижу на теплой раките, обсыпанной желтыми сережками и полусонными пчелами. Мне нужно срезать черенок толщиной в палец и длиной в пять. По черенку надо слегка потюкать ручкой ножика. Тогда кора снимется целиком и получится дудка-пужатка. Я режу ветку и давно слышу звонкий, протяжно-подголосный зов:

— Санькя-а! Санькя-а, чтоб тебе почечуй вточился-а!

Это кличет меня тетка Егориха. Я унес из хаты ножик, а ей нужно чистить картошки на похлебку. Как только стихает теткин песельный голос, сразу раздается другой — резкий, торопливо-крякающий:

— Дяк-дяк-дяк!

Это дразнит тетку дядя Иван, Царь по-уличному. Он стоит на крыльце хаты, обратив к тетке оголенный зад и придерживая портки обеими руками. Царь у нас шалопутный, тронутый, и оттого мы, может, самые что ни на есть бедные в селе — работать-то некому и не на чем. Тетка Егориха не доводится мне родней, а Царь доводится — он брат моей помершей матери. Отца у меня тоже нету — сгиб в гражданскую.

— Санькя-а!

— Дяк-дяк-дяк!

Я не откликаюсь и режу ветку — будет дудка-пужат-

ка как ни у кого. По проулку к реке большой-большой мужик ведет в поводу жеребца. Потом, не скоро, я увижу еще таких лошадей в Ленинграде — литых из бронзы, в памятниках. Жеребец черный, как сажа, и сам мужик тоже черный — борода, непокрытая голова, глаза. Белые у него только рубаха и зубы. Это сосед наш Мотякин Максим Евграфович — Момич по-уличному. Напротив ракиты, где я сижу, он сдерживает жеребца и говорит мне всего лишь одно слово:

— Кшше!

Так гоняют чужих кур с огорода, и я мигом съезжаю по стволу ракиты и бегу к хате.

Это незначительное происшествие врезалось в мою память необычно ярким видением, и с него мы оба ведем начало нашего «перекрута», — мне тогда было десять, а Момичу пятьдесят. Тогда мы как бы одновременно, но на разных телегах, въехали с ним на широкий древний шлях, обсаженный живыми вежами наших встреч и столкновений. Момич громыхал по этому шляху то впереди меня, то сбоку, то сзади, и я никак не мог от него отбиться, вырваться вперед или отстать...

То лето было для меня самым большим и длинным во всем детстве, — я многое тогда подглядел и подслушал.

Вот Момич пашет наш огород. Жеребца держит под уздцы Настя — дочь Момича, а сам он одной рукой натягивает ременные вожжи, а второй ведет плуг. Мы с теткой ходим по синей борозде и сажаем картохи. Жеребец, завидя за версту проезжающую подводку, ярится и встает на дыбки. Настя отбегает в сторону и стыдливо отворачивает лицо. Момич осаживает жеребца, заходит к нему в голову и кладет ладонь на малиновые жеребьячи ноздри. Тетка роняет лукошко и аж поднимается на цыпочки — ждет несчастья. Дядя Иван высовывается из-за угла сарая и злорадно кричит: «Дяк-дяк-дяк!» — но жеребец мурлыкает, как кот, и затихает, а Момич коротко взглядывает на тетку, и она делается прежней...

Вот в теплых и мягких сумерках вечера за три дня до пасхи Момич приносит нам полмешка вальцовки и завернутый в холстину свиной окорок. Ношу он кладет на крыльцо и молча идет со двора. Тетка прищемляет дверь хаты щеколдой, чтоб не вылез дядя Иван, и мы с нею тащим мешок в сени — там стоит сундук, но Царь выска-

кивает через окно, догоняет Момича и под «дяк-дяк» бодает его головой в спину. Момич негромко хохочет и не оглядывается, и от этого его смеха в темноте мне становится немного страшно... Мы спим с теткой в сенцах. Нам обоим долго не засыпается — я прислушиваюсь к звукам с улицы, а она не знаю к чему. Возле Момичевых ворот, на бревнах, гомонят девки. К ним должны прийти ребята с того конца. Перед глазами у меня плавают голубые шары — я изо всех сил таращусь в темноту, чтоб не заснуть. Радостно, как канун наступающего праздника, вливается в меня отдаленный хрип гармошки:

Тури-рури, тури-рури,
Люли-лили, пиль-пиль!

Я сползаю с сундука, а тетка шуршит в своем углу соломой и счастливым голосом тихонько ругается:

— Ну куда ты, окаянный!

Смешная она у меня, тетка Егориха! Сама небось тоже сейчас подхватится, а в сенцы вернется, когда я буду уже спать. Я не знаю, где она тогда бывает, только нам с нею нравится все одинаковое — звезды, гармошка, каргоды, наступающие праздники, запах кадила в церкви, богородицына трава на полу хаты, и чтобы на дворе всегда было лето. Тетка, наверное, уже старая, но лучше и красивее ее других людей на селе нету!

Я крепко люблю ее, и она меня тоже...

Момичевы ворота высокие, прочные и гулкие, как пустой сундук, на котором я сплю. Возле них, у плетня, лежит штабель толстых бревен. По вечерам тут всегда пахнет калеными подсолнухами, земляничным мылом, конфетами и еще чем-то непонятным и тревожным — девками, наверно. Они крепко и чинно сидят на бревнах, и к каждой на колени примостился кто-нибудь из ребят с того конца. Гармонист Роман Арсенин сидит у Момичевой Насти. Склонив кучерявую голову к подголосной части гармошки, он старательно выводит плакуче истомное страдание. Изнуренный и заласканный тихими всплесками мелодии, я гляжу только на одного Романа. Все в нем чарует меня — хромовые сапоги с калошами, скрипучая кожанка, галифе, полосатый шарф... С клавиша его гармошки отскочила черная пуговка, и вместо нее Роман прибил гвоздиком белый гривенник, не пожалел...

Тури-рури, тури-рури,
Люли-лили, лель-лель!

Рядом со мной на самом краешке бревна сидит Серега Бычков. Он тоже с того конца, но к девкам не подходит — знает, что они его не примут. Ростом Серега чуть побольше меня. Сапог у него сроду не было, не то что кожанки или галифе. Серегина мать — Дунечка Бычкова — почти каждый день побирается на нашем конце. За нею, говорят, гляди да гляди: то просыхающую рубаху стянет с плетня, то еще что-нибудь. Только у нас Дунечка ничего не крадет. Тетка сама дает, что есть.

У Сереги что ни слово, то матерщина. Я знаю, зачем он говорит при девках такие слова — от злого стыда за свою мать-побирушку и за себя. Его и кличут-то не по имени, а Зюзей. Плоше не придумать.

Гармошка ноет и ноет. То дружно-слаженно, то вразнобой девки жалостно «страдают» про любовь, а Зюзя вертит головой то вправо, то влево и вдруг сообщает на крике не в лад с гармошкой:

Как у нашей Насти
Д-нету одной снасти!

Роман Арсенин, не переставая играть, воркующе смеется, а Настя поет сильно и чисто:

Пойду в сад-виноград,
Наломаю-маю!
Я такую сволоту
Мало понимаю!

В ответ Зюзя кричит смешную и непутевую частушку про всех девок с нашего конца. Тогда с заливом, обидой и мстью в голосе Настя выговаривает в отместку:

Задавака, задавака,
Ты не задавайся!
Бери палку на собак,
Иди побирайся!

От этой Настиной присказки у меня пропадает охота сидеть на бревнах. Мы ведь с теткой Егорихой тоже не богачи, хоть и не побираемся, — Момич все сам дает нам под праздники. Зюзя словно чувствует мое настроение. Он пододвигается ко мне и, будто ему весело, спрашивает:

— Закурим, шкет?

— Давай, — соглашаюсь я и называю его по имени. Курить мне не хочется — у Зюзи самосад, а не папиросы «Пушки», как у Романа Арсенина. Те здорово пахнут. Но я

курю за компанию с Зюзей, потому что мне жалко его. Зря он кричал про Настю. Самому же теперь хоть провались, и я шепотом соучастно спрашиваю у него, какой это снасти нету у Насти?

— Да левой титьки,— умышленно громко говорит Зюзя.— Заместо ее, сохлой, она очески носит...

Я не много уразумел в этом, а подступавшие праздники совсем вытеснили из моей памяти Зюзины слова: надо было шелушить лук, чтобы красить яички, помогать тетке таскать муку из сундука, лепить из пахучего сдобного теста завитушки и крестики на макушку кулича. Дядя Иван на это время присмирел, не шалопутил и только один раз спросил тетку:

— К свадьбе готовишься?

— Ага,— весело согласилась тетка.— Дунечку Бычкову за тебя будем сватать!..

Мы с теткой перемигиваемся и кохочем, потом я бегу в лозняк на речку за сухим хворостом. В лозняке не просох и не потрескался ил половодья, и в него туго и щекотно погружаются ноги по самые щиколотки. Я ломаю сухостой и бессознательно кричу все, что кричал на улице Зюзя про Настю и про всех девок с нашего конца. Я выкрикиваю это раз десять, пока не замечаю Настю. Она стоит на берегу речки с пральником в руках, а возле нее на травяной гривке лежит горка выстиранного белья. Я приседаю за ракитой, а Настя чего-то ждет, потом окликает меня негромко и почти ласково:

— Ходи-ка сюда, Саны!

— А зачем? — спрашиваю я.

Настя за что-то не любит тетку Егориху, а заодно и меня. Тетка говорит, что она вся в мать свою покойницу — некрасивая и квелая, хотя Настя вылитая Момич. Недаром я побаиваюсь ее.

— Ходи, не бойся. Ну чего спрятался?

Мне не хочется выходить из-за укрытия,— от ракиты до Насти шагов десять, и если она вздумает надавать мне, я убегу и даже хворост захватить успею. Но Настя не собирается ловить меня. Она отбрасывает пральник, поворачивается ко мне спиной и начинает раздеваться. Я зачем-то обхватываю руками ствол ракиты и перестаю моргать,— Настя стоит вся как есть белая, статная и большая.

— Слышь, Саны! Покарауль одёжу, пока я искупаюсь,— ознобно говорит она и сигает в воду.

— Застынешь, шалопутная! — испуганно кричу я, но

Настя не слышит. Она дважды окунается по самые плечи, коротко и обомлело вскрикивает и карабкается на берег. Я бегу к ее одежде и хватаю всю в охапку, чтобы подать ей.

— Ой, скорей, Сань! Ой, закалела!..

— Дура такая! — говорю я и смятенно гляжу на круглые и смуглые, торчащие кверху Настины груди.

Потом, много лет спустя, я понял, какой ребячьей услуги ждала тогда от меня Настя, но о том, что я видел, как она купалась в ледяной воде, никто не узнал. Ни Роман Арсенин, ни Зюзя...

Как мы и загадали с теткой, пасха тогда выдалась теплая и погожая. Мы разговлялись поздно, — тетка вернулась с куличом чуть ли не в полдень: наверно, лазала на колокольню, чтоб потрезвонить, а может, картины разглядывала в церкви. Все это она любит. Хорошо, потому что и страшно. Мы похристосовались, уселись втроем на одной лавке, и тетка развязала на куличе рушник. Кулич сидел на столе, как наша камышинская церква, когда глядишь на нее издали: горит вся, сверкает и приманивает.

— Красивше нашего не было, — сказала тетка. — Все завидовали!

Еще бы! На макушке нашего кулича места пустого не осталось, — так мы его разукрасили. Мы сидели притихшие и согласные, — всего ведь было много: вкусной еды, целой недели праздников, вслед за которыми сразу же наступит лето. После того как мы съели по большой скибке кулича, тетка пошла в сенцы и принесла бутылку водки, настоянной на меду, — давно, видать, берегла для чего-то да и не вытерпела. Из щербатой фаянсовой чашки сперва выпил дядя Иван, потом тетка. Она собиралась уже налить немного и мне, но в это время в хату степенно и неслышно вошла Дунечка Бычкова.

— Христос воскрес! — протяжно произнесла она и поклонилась.

— Пошла, пошла, дура! Ходишь тут! — отозвался дядя Иван, а Дунечка миролюбиво и пьяненько сказала:

— Сам ты дурак! В божий день — и такие речи... Давай-ка вот похристосоваемся!

Она вынула из-за пазухи красное яйцо, поиграла им перед глазами и пошла к дяде Ивану, сложив в трубочку губы. И тогда я захохотал первый, а за мной и тетка, — мы вспомнили позавчерашний разговор насчет свадьбы. Дядя Иван вскочил и по-бабски сжатым кулаком

неумело и слабо ударил тетку в плечо. Дунечка сразу же кинулась из хаты, а тетка поднялась с лавки и спокойно сказала:

— Ох, гляди, Петрович, беду на себя не накличь!

Она стояла и ладонью поглаживала, будто очищала то место на плече, где пришелся дядин кулак.

— А чего? Ему пожалишься? — злобно спросил дядя Иван, и я решил, что это он обо мне.

— И пожалюсь! — с вызовом сказала тетка.

— Ты больше не бейся! — похолодев от решимости, пригрозил я Царю и пододвинулся к тетке.

— Подколодники! Змеи! — выкрикнул дядя Иван, сронил голову на край стола и визгливо заголосил. Мне хотелось схватить веник или что-нибудь другое, нетяжелое, и надавать ему, чтоб не придуривался! Я ни разу не замечал, чтобы дядя Иван шалопутил один, когда на него никто не глядел и сам он не видел Момича. Только при нем — вблизи или издали — он кричал «дяк-дяк» и расстегивал штаны, а зачем это делал — никто не знал. И сейчас за столом возле кулича Царь голосил не взаправду, а нарочно, всухую, и мне хотелось надавать ему так, чтобы знал и помнил. Но мне было жалко его — слаборукого, встрепанного, не похожего на мужика. Видно, тетка тоже пожалела его, потому что вздохнула и сказала:

— Глаза б мои не глядели!

Как только мы с теткой вышли из хаты, дядя Иван затих. В сенцах я присел на корточки, заглянул в полуоткрытую дверь и увидел, как он подтянул к себе кулич и с мстительной деловитостью сломал верх со всеми украшениями. Потом он налил в чашку водки, выпил, сморщился и, прежде чем закусить, погрозил верхушкой кулича в сторону Момичевой хаты...

Тетку я нашел на бревнах у Момичевых ворот, — там уже сидели соседские бабы. В белом новом платке, острым шпилем торчащим над сияющим лбом, в розовой кофточке и черном саяне, тетка была похожа на чибиску, а все другие бабы — на ворон: сидят, лузгают подсолнухи и молчат. Тетке же ни минуты не сидится смирно, хотя у нее полный карман тыквенных зерен.

— Всю макушку разорил. Ломает и трескает! — шепотом сообщил я ей о куличе. Она притянула меня к себе и сказала на ухо:

— Пускай подавится им! Возьму завтра и другой затею.

— Тот будет не свяченный, — сказал я.

— А мы с тобой сами освятим. Воды из колодезя принесем, кропильник из чистой старновки свяжем... А Царя молитву творить заставим...— и тетка залилась озорным смехом, как маленькая.

К кооперации, где уже со вчерашнего дня стояли карусели, мимо бревен шли и шли разряженные парни и девки. Настя тоже проплыла мимо нас как пава, и тетка, присмирев, долго глядела ей вслед, сощутив глаза. А потом из ворот на улицу вылетел Момичев жеребец, запряженный в бочку-водовозку. Сам Момич стоял на выступах оглобель позади бочки. Заваливаясь назад, чтобы сдержать жеребца, землисто-серый в лице, Момич был страшен и пугающе притягателен в своей пламенной атласной рубаше навывпуск, клубом вздыбившейся на спине.

— Горю! — коротко и густо крикнул он неизвестно кому и гикнул на жеребца. От улицы проулок круто сбегал вниз, к речке, и по этой крутизне жеребец пошел галопом. Момич сначала пригнулся, а затем плашмя упал на бочку. Нельзя было ничего различить — где бочка и где жеребец, потому что все слилось в один грохоткий смерч, расцветенный красным и черным. Вдогон ему, раскинув руки, медленно двигалась тетка, то и дело останавливаясь и приседая, будто готовясь словить цыпленка. Но как только жеребец врезался в береговой лозняк, а Момич поднялся во весь рост и откинулся назад, повисая на вожжах, тетка подхватила подол саяна и побежала к речке, выкрикивая что-то звонко и тоненько. Я зачем-то подождал, пока она скрылась за кустами ивняка, и только после этого оглянулся на Момичеву хату. Из-за нее, с огорода, на улицу грузно наплывал золотисто-желтый буран дыма. Я побежал на огород через свой двор, и за углом сарая, в прошлогоднем иссохшем бурьяне, увидел дядю Ивана. Он сидел на корточках, низко пригнувшись, и просветленно, почти зачарованно глядел вверх, на столб дыма: над его вершиной и сбоку трепетно вились сизари, — их страсть сколько водилось в Момичевой клуне.

Это она и горела. С обоих углов, обращенных к нашей меже. На недавно посеянной нами картошке толпился веселый и по-праздничному разряженный народ. Огня не было видно, валил только дым, но он сразу же пропал, как только пламя с гулом выбилось из-под повети и охватило солому крыши. Тогда и подоспел Момич. Не слезая с закорков бочки, он натужно обвел взглядом полыхавшую клуню и ударом ноги вышиб из бочки кляп.

Круглая радужная струя воды с визгом вырвалась и вонзилась в землю, буравя воронку, и Момич глядел только на нее и ни на что больше.

— Ничего не поделаешь, Евграфыч! Должна сгореть вся как есть! — утешил его кто-то из мужиков. Момич будто не слышал. Он подождал, пока вода вытекла из бочки, тронул вожжиной жеребца и медленно поехал с огорода к себе во двор.

Через час от клуни остался чадающий ворох золы, и люди разошлись, недовольные скоротечностью пожара. Я поднял грудку чернозема и швырнул в середину вороха.

— Не замай! — властно сказал у меня за спиной Момич, и я забыл, что умею бегать. Момич был все в той же красной рубаше и высоких яловых сапогах. Он обошел меня, остановился у обгорелой притолоки и проговорил непонятное:

— Та-ак... Выходит, дурак-то мал, да в две дудки сыграл...

Я пошел домой. Мне было обидно, что пожар случился в праздник, когда и без того забав у людей сколько хочешь. Да и тетка не видела его. Она чуть не до вечера пробыла на речке, — хотела, видно, поглядеть, как Момич во второй раз помчится за водой...

Может, это только наши камышане такие — в праздники аж охрипнут от песен, друг друга по отчеству величают и в гости закликают кого ни попало, а потом недели две ходят, будто у них коровы подошли. Зато дядю Ивана тогда как подменили. У него не исчез тот просветленно радостный взгляд, каким он следил из бурьяна неделю тому назад за полетом голубей над Момичевой клуней. Он даже покрикивать стал на тетку, и она удивленно вглядывалась в него и молчала.

Момич — этот сроду не был разговорчив, а после пожара совсем стал как черт — сердитый, черный. На красную горку он с самого утра начал возить на огород бревна, что лежали на улице, — новую клуню затеял ставить. Тетка раза два украдкой выглядывала в окно, тревожась чего-то, и дядя Иван, боевито стерегший ее, приказал:

— Чего зыришь? Обернись спиной к окну и сядь на лавку!

— А пропади ты пропадом, дурак! — с горькой силой

проговорила тетка и пошла из хаты. В окно я видел, как она сказала что-то Момичу издали. Тот выпрямился, остервенело плюнул и спихнул с повозки на землю длинное и толстое бревно — то самое, на котором по вечерам сидели девки. А в полдень Момич взял и срубил дуб, что стоял на его огороде повыше сгоревшей клуни. На нем водились грачи, и я пошел поглядеть, что сделалось с детвой, — побилась небось. Дуб был уже очищен и лежал коричневый и пахучий, как опаленный боров. Момич поддел колом тонкий конец его и одним рывком подсадил на подушку задних колес повозки. Я не отважился подойти поближе и присел на своей меже, — мне и оттуда было слышно, как сипели граченята под обломками сучьев.

Момичу не удавалось уложить на передок повозки толстый конец дуба: он был склизкий, неухватистый, и кол под ним зарывался в землю. Тогда Момич, не замечая меня, отшвырнул рычаг, приник к дубу и обнял его руками. Я поздно заметил, как приподнялся над землей комель дуба, потому что смотрел на спину и плечи Момича, — там у него под белой замашной рубахой медленно стали расти и шевелиться круглые клубки.

— Скорей... кол подсуны! — не подымая головы, удушенно крикнул Момич, но я не понял, кого и о чем он просит, и не сдвинулся с места. Момич выронил дуб, оглянулся зачем-то по сторонам и сказал мне укоряюще:

— Что ж не подмогнул? Неш так делают по-соседски!

Я схватил кол и подбежал к дубу. Момич поплевал на руки, потер их и наклонился к бревну. Я приготовил рычаг, но против воли смотрел не на дуб, а на спину Момича, — там опять вздулись и бурно взыграли под рубахой округлые клубки, а шея набрякла землисто-малиново и укоротилась так, что почти пропала совсем.

— Ну? — рявкнул Момич, и я сунул под дуб кол и отскочил в сторону. Момич бережно опустил на рычаг дуб, выпрямился и сказал:

— Да и разиня ж ты, Александр!

Я тогда впервые узнал, что это — мое имя.

Новую клуню Момич поставил за какую-нибудь неделю или полторы, и все эти дни я провел с ним. Он, наверно, залезал на стропила затемно, а я приходил попозже, взбирался наверх и там торопливо и трудно умнел, потому что Момич работал и молчал, и я должен был угадывать,

когда подать ему расщепленную ольшину — лату, когда буровец и топор, когда деревянный гвоздь, похожий на кляп от бочки: ими он крепил латы к кроквам. Все, что переходило из моих рук в Момичевы, мгновенно и странно оказывалось для меня непомерно большим и ценным, исполненным непонятого значения и смысла. Это, видно, происходило оттого, что Момич забирал вещи каким-то обхватно-емким и властным движением обеих рук, забирал полностью и навсегда.

Все в нем покоряло и приманивало мое ребячье сердце. За эти дни там беспорядочным ворошком накопилась неосознанная обида за его прежнюю суровость ко мне и ревнивое желание завсегда водиться с ним, быть у него на виду замеченным и привеченным. Он, наверно, догадывался об этом, потому что нет-нет да и ронял какое-либо слово. Я отвечал ему десятью.

— Ну и балабон! В кого ж это ты удался такой, а? — спросил он меня однажды. Мне почему-то показалось, что ему хочется, чтобы я сослался на тетку, и ответил:

- Знаю в кого.
- В кого ж это?
- В тетку Егориху.
- Жалеешь небось ее?
- А то нет!

Момич на минуту задумался, медленно оглядел сады Камышинки и проговорил не в связь с прежним:

- Рясно нынче вишник цветет.

Несколько погодя, он послал меня за водой — «холодничку захотелось», и я побежал с ведрами к колодцу, а когда вернулся, то еще издали увидел под стропилами клуни дядю Ивана. Он стоял, задрав голову, ожидая чего-то от Момича, а тот несокрушимо сидел наверху, работал и молчал. Дядя Иван посеменил ногами и визгливо крикнул:

— Отстань, говорю! А то недолго и нового петуха подпустить.

Момич по обух вонзил лезвие топора в матицу и потерянно сказал, словно попросил:

- Ты в другой раз не дури, Иван. Слышишь?
- Вот и отстань! — окреп голос Царя.
- Не дури, — опять попросил Момич. — А то... знаешь?
- Что будет?

— Худо.

— Кому?

— Заднице твоей,— прежним увещающим тоном сказал Момич.— Поймаю и...

Он не договорил, заметив меня, и взялся за топор. Дядя Иван собрался было расстегнуть штаны, но раздумал, погрозил мне кулаком и поплелся домой. Я влез с ведром наверх, подождал, пока Момич напился, и спросил:

— Чегой-то он хотел?

— Кто? — непонимающе взглянул на меня Момич.

— Дядя Иван,— сказал я.

— Да это он так. Жалился тут мне... Ему, вишь, не к рукам цимбала досталась,— непонятно ответил Момич и кивнул на сады.— А вишник хорошо нынче цветет. Ты погляди-касы!

— Рясно! — сказал я.

В полдень мы покидали клуню и шли к Момичу обедать. Прежде чем попасть во двор, нам приходилось миновать крошечный Момичев сад, огороженный высоким сухим тыном. Там стояли три сизых улья — колоды, и на одной из них был вырезан бородато-лобастый мужик, до капли похожий на самого Момича. Выходившие на огород ворота, сколоченные из толстых сосновых плах, висели на приземистой круглой верее, тоже чем-то напоминавшей Момича. Сразу же за ними меня обдавало прохладой чистых закут и оторопью,— тут опять все походило на хозяина: черный кобелина на длинной привязи, черный молчаливый петух, презрительно глядевший круглыми желтыми глазами, бурдастый черный бык-двухлеток, приветно укладывавший голову на варок при подходе Момича. Меня пугала величина вил — об двенадцати рожках и с такой ручкой, что она годилась бы на оглоблю, удивляла строгость и подобранность всего двора — тут не было того вольного запустения и той первородной гущины калачника и крапивы, к которым я привык у себя.

К нашему приходу Настя выносила из чулана чистый рушник, и мы возвращались на крыльцо. Там над лоханью я поливал Момичу из большого самодельного ковша-утки. Его как раз хватало ему на одну пригоршню. Перед тем как сесть за стол, Момич взмахивал рукой на единственную икону Николы Чудотворца, садился в угол и оберучь брал со стола огромную чисто ржаную ковригу. Ребром установив ее себе на грудь, он под свой облегченный вздох вонзал в испод хлеба ножик. Скибки выходили через всю ковригу.

Настя сажала на стол деревянную миску с лапшой, и мы начинали есть — неторопливо, навально. Я всегда садился напротив окна, глядевшего на наш двор, и все время стерег тетку: мне хотелось, чтобы она увидела меня тут, у Момича. Момич, исподтишка следя за мной, тоже начинал кренить голову вбок, заглядывая в окно, а Настя тогда хмурилась и резко, со стуком, клала на стол ложку. Момич отрывал лицо от окна, круто вскидывал глаза на Настю и спрашивал угрожающе и заботливо:

— Никак, обварилась?

— Как огнем обожглась,— подтверждала Настя.

— А ты дуй. Вот как я... али он,— серьезно советовал Момич и сам протяжно дул на ложку, и я дул на свою вслед на ним.

После клуни мы с Момичем справили вместе не одну и не две работы: вывезли с его двора навоз, и в поле я приезжал на повозке, а обратно верхом не жеребце, уцепившись за седелку; потом взметали два загона парины — один его, а второй наш, и все время я ходил по борозде сзади Момича. Он и не чуял, что я ступал по его следам, для чего мне приходилось каждый раз прыгать, и, наверно, от этого к вечеру все мое тело гудело протяжно и отратно. Я похудел и отчего-то сильно подрос за это время, и не было случая, чтобы я проспал восход солнца, а с ним и Момича,— меня будила тетка, ей нравилось то, чем я теперь жил.

Сперва издали, с верха клуни, а потом вблизи Момич молча показал мне скрытый до этого от меня мир, окружавший Камышинку,— поля, острова кустарниковых подлесков, луга и болота, а дальше, к заходу солнца,— нескончаемую зубчатую стену сизого леса, что вместе с небом, белыми облаками и дующим оттуда ветром Момич называл странным словом «Брянщина». Куда-то в эту манящую сторону он и водил в ночное жеребца и пас там его в одиночку,— иначе было нельзя: жеребец как дурной сигнализировал на всех чужих лошадей. Я маялся и ждал, когда Момич покличет меня в ночное, должно же было наступить такое время, от предчувствия которого у меня заходил дух. Но он все не брал и не брал, и незаметно подступила троица. Свою хату мы с теткой украсили ветками берез и кленов аж за день до праздников, и весь этот день она была как первая невеста в Камышинке. Особенно пышно и густо мы утыкали заленью крыльцо и то окно, что выходило на

Момичеву сторону. На земляной пол в сенцах настлали богородицыной травы пополам с мятой, а дорожку со двора на улицу посыпали желтым песком. Ночью в пахучей темноте мы долго гадали, привезут ли в Камышинку карусели и где их поставят — на выгоне возле церкви или за речкой. Лучше б на выгоне, тут нам ближе.

Кое-как мы прокоротали ночь. На заре тетка подхватила в церковь, чтоб раньше всех занять место возле страшных картин, а через час и случилось то, чему тогда совсем не время было случиться. Момич нарочно, видно, подгадал, чтобы вернуться из ночного в такую пору, когда загудит колокол. Он потому и наладился не всегдашней своей дорогой по-за речкой, а выгоном, чтобы люди видели, когда пойдет к обедне. Сам он шел пешком, ухватившись рукой за уздечку, а верхом на жеребце ехали два человека, связанные друг с другом пеньковым путом и ременным поводом от уздечки. Передним на жеребце сидел Сибилёк — престарелый мужичонка-бобыль с того конца села, а позади него — Зюзя. Сибилёк мельтешился и дергался, то и дело кланяясь камышанам, обступившим жеребца, а Зюзя прятал за его спиной лицо и молчал. Момич тоже помалкивал и только на улице возле своих ворот объяснил все и всем сразу:

— Жеребца хотели увести.

Он ссадил Сибилька и Зюзю в холодке ворот и увел жеребца, а связанных сразу же начали бить.

Потом, позже, я узнал, что конокрадов в наших местах положено было убивать обществом и что тот, кто поймал их, не должен присутствовать при этом: схвативший лехимца как бы в награду избавлялся от дополнительного труда, и одновременно следственные власти лишались в нем первоучастника и свидетеля самосуда. Нет, не всякий вор, а только конокрад — человек, в одну ночь пускавший по миру потомство семьи, у которой он уводил кормилицу-лошадь, — подпадал под обряд сельской саморасправы. Овеянный переходящими из поколения в поколение легендами и сказами, награжденный в них ласкательными «молодец» и «разбойничек», вызывавший к себе тайную зависть и восхищение своей удалейю и отвагой, пойманный конокрад все-таки подлежал всенародному истязанию. Я тогда впервые видел Сибилька — знаменитого камышинского конокрада. Говорили, будто еще в молодости он ходил вместе с отцом — тоже Сибильком — подглядывать коней аж в донские степи. Старого Сибилька где-то там и прибили в

ковыльнике, а над молодым учинили какую-то злую и веселую потеху, после которой он не мог жениться. Он и не женился, но любить чужих лошадей не перестал. В своем селе Сибилёк не баловал, и только раз, лет девять или десять тому назад, когда в Камышинке стоял конный полк не то белых, не то красных, увел и спрятал в лесу офицерского дончака, похожего на лебедя,— как молоко белый будто был.

Теперь Сибилёк лежал в тени ворот рядом с Зюзей. Тот сразу же повернулся на бок, подтянул колени к подбородку и зажмурился под ударами ног, а Сибилёк улегся на спину, расслабил тело и беззащитно обратил к камышанам голое сморщенное лицо. Трудные у Сибилька были глаза, и, наверно, он знал эту их силу — знал по какому-то давнему и памяtnому для себя случаю! На них нельзя было долго смотреть: блекло-синие, беспомощные и детски невинные, они гляделись покорно и моляще. В каком-то иступленном восторге самоотречения Сибилёк не говорил, а пел высоким жиденьким голосом:

— Православные! Казните меня, проклятущего! Коли-те мои глазюшки... Нет моей моченьки глядеть на вас от стыдобушки в такой праздничек... Бейте меня больней! Камушками бейте! В грудку мою и личико!..

Но камышане били Зюзю, а не его.

До этого я уже бывал свидетелем гуртовых уличных драк. Они всегда случались в праздник, и смотреть на них было весело: тогда никто не знал, кого били, потому что все наскакивали друг на друга, а после село справляло мировую, и праздник протягивался еще на сутки. Видеть же то, что происходило в этот день у Момичевых ворот, было страшно. Зюзю били спокойно, трезво и расчетливо, а он только и знал, что сжимался в комок и берег живот. Сибилёк все канючил и канючил о «стыдобушке», но когда скрюченного Зюзю подняли и понесли из круга, чтобы ударить об угол верей, старый конокрад испуганно притих.

Тогда я и побежал за Момичем. Он собирался куда-то ехать и яростно шуровал квачом снятое с повозки колесо. Возле закуты стоял в хомуте жеребец.

— Дядь Мось! Побегли скорей, а то мужики Зюзю убьют! — крикнул я. Момич воткнул квач в мазницу, насадил на ось колесо и, не взглянув на меня, угрюмо сказал:

— То не твое соплячьё дело!

Он направился к жеребцу, а я ухватился за подол его рубахи и повис, подобрав ноги. Я не умел плакать в голос, с

притворной жалобой, и загудел трубно, с переливами. Момич остановился, не отцепляя меня, и удивленно сказал:

— Как недорезанный боров! Чего ты?

— Его об верею прямо... Черти такие! Самих бы так...

— Ишь ты. Самих. Они небось... Ну-ка, слезь,— сказал он, но я не выпустил из своих рук его рубаху. Так, со мной на подоле рубахи, он и вринулся в сутолочь мужиков и баб. Я не видел, кому он сказал: «Ну, будя, будя. Кладите на место»,— и кто ему ответил, чтоб он не встречал и дал людям соблюсть закон.

— Будя, говорю! — гневно повторил Момич, и тогда я отлип от него и увидел Зюзю. Он лежал возле ворот, вытянувшись и запрокинув голову. Из рта у него выталкивалась розовая пена. Зюзя дергался и потухающими глазами, вприщур, глядел на Момича. Я наклонился к нему, но Момич отстранил меня и знающе развязал ему руки. Путо он скрутил жгутом и отшвырнул в сторону. Зюзя перевалился на живот и рывками пополз к нам во двор. Сибилёк елозил по кругу и ловил мужиков за ноги. Он, наверно, решил, что пришла его очередь покачаться на руках у камышан перед дубовой вереёй, и вымаливал себе откуп.

— Крещеный народ! Развяжите мои белые рученьки за-ради Христа! Дайте мне тоже сподобиться и вдарить его напоследок!..

И его развязали с нетайным замыслом поглядеть, что будет. Стоя на коленях, Сибилёк нашарил возле себя обломок кирпича и сунул его в длинную холщовую сумку, добытую из-за пазухи.

— Вот я его... благословлю зараз ради праздничка... Куда он скрылся, родимые мои?

Легко, как перышко, он взвился на ноги и метнулся вслед за Зюзей, крутнув над головой сумкой.

— Ну ты! Осмёток! — грозно крикнул Момич, и Сибилёк понял, что это ему. Не оглянувшись, он прирос к месту и опасливо втянул голову в плечи. Никто ничего не говорил больше, все чего-то ждали, и Сибилёк ждал тоже.

— Пс-сина! — раздельно сказал Момич.

Дробной трусцой и как незрячий Сибилёк побежал к проулку. Сумку он держал в протянутой перед собой руке, будто там сидело что-то живое.

На крыльце у нас было сумрачно и пахуче, как в раkitнике. Я подложил под голову Зюзе беремья богородицыной

травы с мятой, и когда тот улегся, из сеней высунулся дядя Иван. Он как кот фыркнул на Зюзю, а мне погрозил за что-то и захлопнул дверь. Потом я узнал, что Царь тоже бил Зюзю, пока я кликал Момича. Лягнул босой ногой и убежал.

Зюзя сплевывал сукровицу и всхлипывал, и, чтобы хоть чем-нибудь утешить его, я сказал:

— Сибилёк вон совсем хотел тебя... Знаешь чем? Кирпичакой в сумке!

Зюзя отнял от травы иссиня-чугунное лицо и посмотрел на меня неверяще, вприщур, как раньше смотрел на Момича. Мне хотелось, чтобы он поверил, будто я один отбил его у мужиков, — участие Момича в этом казалось мне сейчас, при Зюзе, совсем ненужным; с него для меня хватало и того, что он сделал один: поймал и связал двоих. Один двоих! Ночью! Я подошел к Зюзе и спросил так, будто вместе с ним и Сибильком ходил красть Момичева жеребца:

— Как же он вас половил? Обоих сразу?

— Не, — брезгливо сказал Зюзя, — сперва одного.

— Сибилька, — догадливо подсказал я.

— Не. Его после...

— И отлупил? — я не мог скрыть какое-то неумное восхищение Момичем.

— Не... Связал, и все. Ну да ничего. Пускай. Я с ним еще сквитаюсь! Он у меня... — Зюзя не договорил и всхлипнул. В эту минуту и явилась тетка Егориха. Я сразу догадался, что она не ходила в церковь, а была в раakitнике за речкой, — только там и росли голубые пушистые цветы «мохнатухи». Она нарвала их целую охапку.

— А говорила «к обедне иду!» — упрекнул я ее. Тетка хотела что-то ответить мне, но увидела Зюзю и вскрикнула:

— Серега! Да кто ж это тебя так!

Зюзя зарылся лицом в траву и занял протяжно и тоненько. Под его жалобу я и рассказал тетке о себе и о нем. О Момиче я упомянул лишь, как он один связал Сибилька с Зюзей и привез их на жеребце.

— А сам всю дорогу пешком шел, — сказал я. Тетка испытующе смотрела мне в рот и молчала, потом повернулась и пошла на огород, неся цветы как веник. Я посидел немного возле затихшего Зюзи и побежал за нею: мне не понравилось, как она поспешно ушла с крыльца.

Прошлогодний сухой бурьян за нашим полуразвалившимся сараем обновлялся новой дикой порослью, — тут уже пахло горьким и сырым духом чернобыльника, глухой

крапивы и белены. Когда валом поднимется и зацветет репейник, тетку сюда силком не заманишь: боится Момичевых пчел. Сейчас же они еще по-весеннему смиренные, ручные. Отсюда, из-за бурьяна, я и увидел тетку. Она стояла у Момичевой пасеки, прижавшись к плетню, и как заводная говорила и говорила кому-то:

— Шу-шу-шу-шу! Ти-ти-ти-ти!

— Так неш я... — прогудел голос невидимого за плетнем Момича. А я-то думал, что он уехал. Собирался ведь! Я не хотел и боялся, что Момич рассерчает за мою невольную неправду, будто не он, а я спас Зюю...

Тетка вернулась минут через тридцать. В ладонях, поверх завялых цветов, она держала широкий лопух, а на нем, как на блюде, лежала косо обрезанная застарелая восковая глыба.

— Мед все хворобы и обиды лечит, — строго сказала она Зюзе. Лежа, Зюзя отломил кусок сота, запихнул его в рот и зажмурился.

Вечером он ушел домой. Под остаток сота тетка сорвала ему свежий лопух.

2

За лето я до конца перенял и выпитал в себя все, что пленяло меня в Момиче. Все было во мне от него — медлительная и прямая походка, перебитый паузами разговор, манера щурить глаза, держать в руках ношу. Тетка ничего будто не замечала, но однажды, когда я чересчур долго продержался с ответом на какой-то ее вопрос, она уткнулась лицом мне в макушку и сквозь смех сказала:

— Ну прямо вылитый! Все морщинки снял с дяди Моси...

— Может, ты сама сняла! — сказал я, обидясь неизвестно на что.

— И сама сняла, — призналась тетка. — Куда ж я от вас денусь...

Трудная тогда выдалась для меня зима, трудная потому, что мне пришлось высвободить место в сердце, чтобы разместился там второй человек, а я не умел ничего делить в себе на части, не хотел даже втайне поступиться своей привязанностью к Момичу. Этим вторым человеком был наш новый учитель. Он явился к нам лютым январским утром, отбил на крыльце школы умопомрачительную чечетку —

в сапожонках был,— а потом зашел в класс и с порога сказал:

— Меня зовут Александр Семенович Дудкин. Здорово, ребята.

Ему было лет восемнадцать, а может, и двадцать два. Он стоял, приплясывая, растирал уши синими набрякшими ладонями и чему-то смеялся. Щеки его пылали как огонь. Мы встали и вразной ответили:

— Дра-а-асть!

Так он познакомился с нами, а мы с ним.

Тогда стояла какая-то непутевая погода: каждую ночь бушевала верховая метель, а по утрам наступала вселенская яркая тишина и в мире ничего нельзя было различить — все пряталось под многометровым снежным покровом. Мы приходили в школу закутанные в полушубки, зипуны и платки. На каждом из нас слева направо висела белая холщовая сума. Там мы носили хлеб, казенную книгу для чтения «Утренние зори» и самодельные грохоткие ящички под карандаши и ручки. До последнего стежка и метки сумки походили одна на другую, и только моя была как завезенная из другого села — тетка приделала к ней широкий откидной клапан, а на нем зеленым гарусом вышила петуха и две лупастые буквы «С» и «П». Эта теткина забава-забота и подтолкнула нас с учителем к нечаянной дружбе,— на второй день после его приезда я запоздал на урок, а когда ввалился в класс, то был сражен и подавлен увиденным: у окна, в полосе солнечного клина, стоял учитель в зеленых бриджах и гимнастерке, перетянутой желтым сияющим ремнем с портупеей. Я впервые видел юнгштурмовский костюм и топтался у дверей, не решаясь пройти к своей парте. В классе стояла непривычная тишина.

— Ну? А почему ты не здороваешься?— командно-весело спросил Дудкин и ступил ко мне, не выходя из солнечного луча. Я стоял и смотрел на его портупею. Он поиграл на ней пальцами левой руки, а правой погладил гарусного петуха на моей сумке и заинтересованно спросил:

— Сам, что ли, нарисовал?

— Не, тетка Егориха вышила,— сказал я.

— А буквы что означают?

— Меня самого,— сказал я.— Санька Письменов.

— А по отчеству как тебя?

— Семенович,— почему-то не сразу ответил я.

Так мы разом выяснили, что ходим в тезках и что я до последних корешков души восхищен его портупеей. В тот

же день я узнал — и навсегда почему-то запомнил, — что Лермонтов (стихи его были у нас в «Утренних зорях») буржуйский поэт, не признающий рабоче-крестьянскую революцию. За всю жизнь он написал один-единственный пролетарский стишок — «На смерть поэта», но это получилось у него случайно, потому что тогда какой-то белый офицерюга убил на дуэли Пушкина. Между прочим, Пушкин тоже был крепостником-помещиком...

То ли мой гарусный петух и буквы, то ли неотрывный взгляд, каким я смотрел на портупею, но это особым и нужным, видать, ладом улеглось на сердце Александру Семеновичу: он пересадил меня с задней на переднюю парту, чтобы я был ближе к окну и к нему самому. С затаенным чувством родственности — тетка же! — я заметил, что в ясные дни Саше Дудкину трудно совладать с какой-то щекочущей его изнутри и снаружи радостью; он не выходил тогда из солнечного русла и не ступал, а будто плавал в нем, и то и дело взглядывал на меня.

С каждым днем наши уроки по чтению и письму становились все больше и больше похожими на летучие праздники: мы по целым часам разучивали неслыханные до этого песни «Вперед, заре навстречу» и «Взвейтесь кострами, синие ночи». Слово «пионер» Дудкин произносил отрывисто-укороченно и сочно — «пянер», и оно воспринималось нами как обещание какого-то диковинного подарка. Наверно, просто невозможно было обмануться в этом пламенном ожидании грядущего дня, приготовившего тебе не испытанную еще радость, и первым она отыскала меня. Это случилось на масленицу. Мы тогда запаздывали к урокам и приходили веселые, добрые друг к другу, с лоснящимися рожами, — ели блины. Однажды, терпеливо подождав и усадив всех, Дудкин неожиданно приказал мне встать. Я вскочил, а он достал из кармана бридж огненно-красный косокрылый кусок шелка, распялил его в руках и пошел ко мне, ступая четко и гулко. Он долго примерял и завязывал на мне галстук, — шея была чересчур тонка, и шелковые концы свисали аж до гашника. Я изнемог от тишины, какая воцарилась в классе, от своих чувств и мыслей, от прикосновения к подбородку жарких Сашиных пальцев. Мне надо было сесть и отдохнуть, тогда все обошлось бы хорошо и достойно, но Дудкин вывел меня на середину класса и там, укрепившись по команде «смирно», сказал, чтобы я повторял за ним слова пионерской клятвы. Мы стояли с ним в полушаге друг от друга, и в его больших синих глазах я видел себя —

маленького, головастого, с огненным галстуком на шее.

И я не одолел своего восторга и немого предчувствия тех незримых перемен, что должны были, как я думал, наступить в моей жизни; не перенес торжественного голоса Дудкина, себя, отпечатанного в его глазах, не осилил колдовски завораживающих слов клятвы. На первой же фразе «Я, юный пионер СССР, перед лицом своих товарищей...» — я шагнул к Дудкину, обнял его колени и заревел, как тогда на троицу, во дворе у Момича.

Всех остальных «третьяков» и «четверяков» школы Дудкин зачислил в пионеры дня три или четыре спустя. Они тоже получили галстуки, но те были не шелковые и раза в два меньше моего.

Клялись мы хором.

Нет, я ни в чем не обманулся,— та весна протянулась для меня как бесконечно разгонистый кон на каруселях, и за это никто не требовал платы. Как только начал таять снег, у нас почти прекратились занятия: было не до того. Каждое утро мы выстраивались у крыльца школы в колонну по четыре, а сам Дудкин становился шагах в трех впереди и, оглянувшись по сторонам — видит ли кто-нибудь? — подавал команду «Шагом марш» и «Запевай». Запевать полагалось ему самому, а мы под его соло отсчитывали в уме пятнадцать шагов на месте и лишь на шестнадцатом, с левого лаптя вперед, подхватывали разом:

Близится эра светлых годов!..

Нашу колонну постоянно замыкала подвода, наряженная сельсоветом. По виду ее хозяина всегда можно было узнать, был ли его сын с нами. Если был, то камышанин сидел в передке саней лицом к нам и посмеивался, но зачастую подвода плелась далеко позади, и тогда, не прерывая песни, нам надо было присматривать за ней: могла отстать совсем...

Мы собирали утильсырье.

Это слово так и не утратило для меня тот покоряюще-первородный смысл, который вложил в него тогда Саша Дудкин. Камышинку мы обыскивали и очищали с того конца. За школой, у ее глухой стены, уже до самой крыши высилась гора прохудившихся ведер, битых чугунок и сковородок, копыт, веревочных осметков и разного тряпья, но нам

все было мало и мало. Дудкин сказал, что из этого в Москве будут строить аэроплан. Уже наступающим летом аэроплан тот появится над Камышинкой. Он даже сесть может тут, — места на выгоне хватит...

Я возвращался домой в сумерках. К моему приходу тетка грела горшок воды и перво-наперво отмывала мне руки, «чтоб не приключилась короста», а потом полуприказывала, полупросила:

— Ну, не томи!

И я рассказывал ей об аэроплане и Дудкине, обо всем, что подглядел и подслушал на том конце. Она долго смеялась, когда я сказал как-то, что все камышинские хаты точь-в-точь похожи на своих хозяев.

— А наша на кого ж?

— Ишь, змея! Забыла, кто тут хозяин! — плачуще отзывался Царь из чулана, но я молча показал пальцем на потолок и на сияющий лоб тетки. Она согласно кивнула и тут же поглядела в окно на Момичеву хату.

С Момичем я не встречался уже давно, и с нетерпением и опаской ждал, когда очередь дойдет до его двора, — отдаст он нам железные обручи от рассохшихся кадок или нет? Они висят под навесом сарая на длинном деревянном кляпе. Штук восемь, а то и все десять. Но на наш конец мы так и не добрались: грянуло половодье, и через проулки и буераки нельзя было ни пройти, ни проехать. Зато на последний день нашего похода на тот конец Момичу выпало дежурство с подводой. Мы уже построились, когда он подъехал к школе в больших извозных санях. Хвост у жеребца был завязан узлом, чтобы не забрызгался, и сам Момич нарядился в сапоги, как на праздник. Не сходя с саней, он оглядел утильсырье, затем нашу колонну и, заметив меня, позвал негромко, но властно, как своего:

— Ходи-ка сюда, Александр!

Я подбежал. Момич окинул меня насмешливо-пристальным взглядом и кивнул на кучу утильсырья:

— Это куда ж потом деть надо?

Я сказал об аэроплане и почему-то покраснел. Момич снова оглядел живописную пахучую гору хлама и с сомнением сказал самому себе:

— Да неуж полетит!

— А то нет? — спросил я.

— Гм, — сказал Момич, — вот поплыть оно может... Ну садись, поехали. Нечего лапти мочить.

Я успел бы еще стать в строй, — ребята только что на-

чали топтаться на месте под запев Дудкина, но послушаться Момича было трудно. Мы поехали следом за колонной. Жеребец лязгал удилами, колесом выгибал шею, кося по сторонам фиолетовыми глазами, и вдруг напрягся и призывно заржал, начисто заглушив песню. Дудкин выбежал на обочину раскисшей дороги и погрозил нам кулаком. Момич осадил жеребца и беззвучно захохотал, втиснув бороду в воротник полушубка. Это было в первый раз, когда я видел Момича таким веселым. Он полулежал в передке саней и взглядывал на меня так, будто я щекотал его.

— Ух-ух-ух! Слышь, Александр! А люди-то могут подумать... будто я наострился под вашу песню — ох-ох-ох — на погорелое собирать!..

Может, он и в самом деле смеялся только над этим и ни над чем больше, но мне было обидно и тревожно: зря он разговаривал со мной про утильсырье. «Плыть может»... Но нешто Дудкин хуже его знает, полетит аэроплан или не полетит? За что ж ему выдали тогда портупею? За так никому их не дают...

Я сидел в санях и не знал, как быть — слезть и пристать к колонне или же остаться с Момичем. Того и другого мне хотелось поровну.

С выгона Дудкин ввел колонну в улицу села и остановился на пригорке возле приземистой хаты без крыльца и сеней, — тут нас вчера застал вечер. Хата стояла над скотным проулком ненужным выносом из общего посада, и на ее растрепанной соломенной крыше опрокинуто сидел не то чугунок, не то горшок с выбитым дном. Хата кренилась на юг, к речке, и туда же зырились два продолговатозузких окна, обведенные бурыми ковылюжинами, — такая краска получается из размолотого кирпича. Видно, ее развели больше, чем потребовалось на окантовку окон, и на глухой стене, обращенной к улице, под самой поветью, чтоб всем видать в будни и праздники, перваковскими буквами-раскоряками были напечатаны два коротких матерных слова. Я так и не понял, заметил их Момич или нет: он стоял возле саней хмурый, большой, прежний и глядел мимо хаты куда-то за речку.

Я и не подозревал, что давно уже нарисовал в мыслях облик Зюзиной хаты. Только у меня она была с настоящей трубой. И без кирпичной краски.

Уже на пятый день после того как растаял снег, никто, кроме нас с Дудкиным, не явился в класс, — он пришел

в своей юнгштурмовке, а я босой, с галстуком на виду. Мы отсалютовали друг другу, и Дудкин спросил, где остальные пионеры. Я сказал, что больше уже никто теперь не придет.

— Почему? — удивился он.

— Овечек погнали на поля, — не сразу ответил я.

— Вот тебе на! Разве в селе пастухов нет?

— Есть, — сказал я, — да только сперва всем хочется самим постеречь...

— Пянер, прежде всего, должен соблюдать свой устав, а не овец пасти! — строго сказал Дудкин, и от меня немного отхлынула летуче беспокойная зависть к тем, кто погнал в поле овец.

Мы стояли на школьном крыльце, залепленном толстым слоем подсыхавшего на солнце чернозема, и моим ногам было тепло, как на печке. Выгон уже розоватился, — проклевывалась молодая трава, а на гребнях канав разноцветно сияли и шевелились лучистые пятна. Я-то хорошо знал, что это всего-навсего осколки бутылок, но они заманивали поднять их, отереть подолом рубахи и приложить к глазам, чтобы поглядеть на небо, на Камышинку, на церкву. Тогда сразу увидишь пугающе преображенным, не своим, а каким ты сам захочешь: коричневым, голубым или пожарно-желтым...

— Надо немедленно собрать всех пянеров! — прежним строгим тоном сказал Дудкин. — Тебе известно, где они сейчас находятся?

— Наверно, во-он там, — показал я на заречные поля. Они были подернуты сизой пеленой, дрожавшей и переливающейся как вода, и все, что там различалось — гряда разлтых крошечных ракич вдоль дороги, тут и там раскиданные бурые стога сена, кромка поднебесного мглистого леса, — все это не стояло на месте, сдвигалось, переламывалось и снова возникало, как в сказке. Конечно ж, я погнал бы туда овец, если б они у нас были!

— Туда же километров пятнадцать будет! — определил Дудкин.

— Брянщина потому что, — сказал я.

Дудкину давно уже хотелось закурить, он несколько раз доставал из кармана бридж пачку «Пушек» и сразу же прятал ее, покосившись на мой галстук. Я бы мог и снять его, а потом повязать опять, но ведь неизвестно было, сколько мы еще пробудем тут вдвоем, и я сказал:

— Не бойтесь, Алексан Семенч. Я никому не скажу.

— О чем? — растерянно спросил он.

— Про папиросы.

— Да я и... Ну и чудак ты, Письменов! Он, видишь ли, не скажет!.. А ногам тебе не холодно?

— Аж жарко, — сказал я. — Выгон вон уже какой сухой... Небось и аэроплан не завяз бы.

Дудкин, видно, и сам все время помнил об утильсырье. Он повернулся ко мне боком и раздраженно сказал:

— Зимой не успели отправить в волость, а теперь трудно с гужтранспортом. Тут же вагона два будет!..

Мне хотелось сказать, что Момичев жеребец за один раз увез бы половину нашего утильсырья, только б телегу найти побольше, но Дудкин стоял ко мне боком, будто обидясь на что-то, и я смолчал и стал смотреть за речку. Там по-прежнему струилось знойное марево и двоились ракитки, а по небу, прямо на Камышинку, высоко плыла огромная темная рагулина диких гусей, — я сразу распознал их отрывистый тревожный крик. Над селом вожак заметно начал набирать высоту, и стая разорвалась, потом смешалась, но направление полета не потеряла. Дудкин смотрел на гусей из-под козырька ладони, он порывисто оправил портупею и сказал мне весело, без передышки:

— Знаешь что, Письменов? Валяй-ка ты домой! А я отправлюсь в Лугань. Волкомпарт меня вызывает, понял?

Мы опять отсалютовали друг другу, и Дудкин, неумоимо радуясь чему-то, сбежал с крыльца. На выгоне, в полверсте от школы, он долго стоял, уткнувшись лицом в ладони, — наверно, ветер гасил и гасил спички...

Дома, еще во дворе, я услышал озлелый тонкий голос дяди Ивана, долетавший из хаты, — Царь у нас всегда начинал шалопутить с весны. Я поднял в сенцах круглое полено и вбежал в хату. Тетка сидела на лавке, полуприкрыв лицо фартуком, — это у ней такая привычка, если хотелось спрятать смех. На столе и на подоконниках лежали как попало ковриги хлеба, горшки, чугушки и сковородки. Неумытый, весь какой-то раздерганный и чудной, дядя Иван стоял посередине хаты с пилой в руках. Я встал между ним и теткой, но она потянула меня за подол рубахи к себе, забрала полено и сказала мне в макушку:

— Петрович делиться задумал, Сань. Да вот не знает как быть... Лавка-то одна, а нас трое. Пилить собрался...

— Слезь, говорю, с лавки, змея! — крикнул дядя Иван

и стукнул пилой об пол. Пила изогнулась и по-балалаечному заиграла, покрыв голос Царя, и я захохотал первый, а тетка за мной. Дядя Иван бросил пилу, схватил чугунок и швырнул им в окно, что гляделось на Момичев двор. На звон оконных склянок и хрясь рамы тетка даже не обернулась.

— А в то, последнее, попробуй головой. Может, бог даст, не застрянешь,— чуть слышно сказала она Царю, а меня обняла за шею, и я ощутил мелкую дрожь ее похолодевших рук.

— Давай делить хату! — одурело взвизгнул дядя Иван.— А то я подпалю ее к чертовой матери!

— Что ж, давай делить,— с недоброй решимостью сказала тетка.— Давай позорься... Сань, сбегай за палкой, ведаться будем.

Я срезал в лозняке длинную хворостину и по дороге раза три поведалься на ней сам с собой: верх приходился той руке, которая первой начинала перехват. Я отдал хворостину тетке, и дядя Иван подозрительно спросил меня, к кому я хочу отойти — к нему или к «подколоднице»?

— К подколоднице,— не раздумывая, сказал я. Тетка засмеялась и пошла к Царю, стоямя держа хворостину. Царь уцепился за нее своей рукой выше теткойной, и они стали быстро перехватывать лозину до тех пор, пока конец ее не очутился в теткинском кулаке.

— Ага, змеи! — злорадно сказал Царь.— Чулан мой! Теперь к печке не подходите!

Я взглянул на тетку. Она ободряюще подмигнула мне, но ничего не сказала. Горшки и чугуныки разделили на две части, а хлеб по едокам,— нам с теткой пришлось три ковриги, а Царю полторы. Лавка целиком досталась нам, а стол дядя Иван утащил в чулан, и в хате сразу стало непривычно пусто и отчего-то невесело. У нас было всего-навсего пять куриц и один петух. Тетка предложила Царю на выбор любых трех, чтобы наши две остались при петухе. Уже к вечеру мы поделили в погребе картошку,— по семи ведер на каждого.

В ту же ночь мы с теткой переместили свои постели в сенцы.

— Как же мы теперь будем жить, Сань? Ума не приложу...— сказала в темноте тетка, и по ее голосу я не мог догадаться, смеется она или плачет...

Утром мы собрались варить себе кулеш прямо на дворе: из четырех кирпичей я сложил возле крыльца печурку, но щель топки была узка,— хворост в ней тлел, а не загорался.

Тетка постояла-постояла над чадившим очагом и пошла в сенцы, а меня в это время окликнул со своего двора Момич. Он держал в руках пахотный хомут с новыми пеньковыми постромками и смотрел не на наш двор, а куда-то в сторону. Я подбежал к плетню. Не обернув ко мне лицо, Момич в досаде спросил:

— Чего это вы там таганите, как цыгане?

Я сказал, что мы поделились и чулан с печкой достались Царю. Момич как-то раскосо воззрился на меня, потом взглянул зачем-то на трубу своей хаты и, рывком вскинув на плечо хомут, пошел прочь. Наверно, ему чуялся мой неотрывный взгляд в спину, потому что шагов через пять он приостановился и проговорил, не оказывая лицо из-за хомута:

— Скажи там... Егоровне, чтоб на огород шла. И сам приходи.

Я выманил тетку на крыльцо и сообщил ей наказ Момича.

Трудно сказать, чем обернулся бы для меня тот день, если б накануне Царь не вздумал делиться: тогда Момичу не пришлось бы таскать глину из яра к нам в сенцы, чтобы сложить печку-временку, а мне за него боронить огород, — в прошлом году там росла картошка, и перед пахотой нужно было сравнять борозды. Момич посадил меня на спину жеребца и два круга провел его под уздцы, а на третьем отступил в сторону и приказал не то ему, не то мне:

— Чтоб без огрехов. А то сызнава придется...

Он пообещал, что «будет так-сяк приглядывать», и ушел. Я совсем не правил, — жеребец ходил по кругу сам, не сбиваясь с кромки следа, оставленного бороной, а я как бы парил над ним, боясь чем-нибудь выдать себя, — мне не верилось, что жеребец з н а е т про то, что я сижу на нем. Напряжение, сообщавшее невесомость моему телу, было попеременным: оно нарастало, когда жеребец двигался в сторону выгона, и опадало в тот момент, когда он заворачивал обратно и я видел впереди свой сарай, Момичеву клуню, Камышинку. Тогда я заметно для себя тяжелею, оторопь сменялась волной восхищения, благодарности и любви к жеребцу, к его косматой буйной гриве, к небу и жаворонкам надо мной. На таком разе — завершился седьмой круг — я не заметил, откуда появился черный как грач жеребенок-сосун. Он подскочил к жеребцу сбоку, растопырил толстые

неокрепшие ноги и заржал, вылупив радостно-шалые глаза. Жеребец остановился, вскинул голову и перестал дышать. Уши у него встали торчком и почти сошлись концами, и в их косо́й просвет я увидел Момича. Он спешил ко мне от своего палисадника и куда-то показывал вскинутой рукой. Сосун в это время заржал снова, а жеребец коротко взвизгнул на него, ударил в землю передним копытом и вдруг одним рывком переместился в сторону выгона. Я уже падал, но все же успел увидеть на выгоне кудлатую пегую кобылу и услышать ее рассыпчато-призывное ржание, сразу же пресеченное трубным гогомом жеребца. Он миновал борону и даже не заступил постромки, — это я тоже заметил, когда перекачивался под бороной, а потом волочился за ней, напизанный подолом рубахи на последний рядок деревянных клецов. Я проехал так до оконечности огорода, и все время сосун бежал и подбрыкивал рядом со мной. Через гребень выгонской канавы жеребец перемахнул прыжком. Там я и остался вместе с оторвавшейся бороной и сидя, не пытаюсь отцепить рубаху, видел то смиренно стоявшую пегую кобылу и подлезшего под нее сосуна, то уносившегося мимо них по выгону жеребца: литой акациевый валеk на толстых новых постромках колотил его по ногам. Далеко, у трех ветряков, что стояли за пряслом выгона, жеребец взметнулся в высоту и вбок и пропал, будто провалился куда-то. Тогда сразу же стихли строенные, сухо-гулкые удары копыт, и я с надеждой на все благополучное оглянулся в сторону Момича. Он шел пригнувшись, почти волоча по земле руки, и в черной кайме бороды лицо его белело как мел. Он подвигался ко мне медленно и развалисто, и глаза у него были полузажмурены. Я поддел ногами край бороны, отцепил подол рубахи и ползком перелез через канаву на выгон. Момич перебрался через нее так же, и после этого я уже не оглядывался на него. Я бежал к ветрякам, а Момич сутонил позади и изредка выкрикивал натужно и хрипло, как в тот раз, когда просил меня подсунуть кол под комель дуба:

— Александр! Погоди! Погоди, говорю!..

У меня вихлялись колени и все холодел и опускался книзу живот. Я ничком лег на дорогу и зажмурился, — меня никогда и никто еще не бил. Момич подоспел и до самой шеи заголил на моей спине рубаху. Я мгновенно почувствовал неудержимое расслабление тела, и ощущение мокрого тепла в ногах было отрадным и как бы избавляющим от всего, что мне грозило. Момич опустил подол моей рубахи и спросил:

— А ноги как?

Я сел, накрепко сдвинув колени, и солгал:

— Болят.

— Мы ж с тобой коня сгубили! — с осиплым стоном сказал Момич, обессиленно садясь рядом. Он невидяще глядел на меня и плакал, некрасиво распялив рот, и борода у него елозила из стороны в сторону. Я вскочил и побежал к ветрякам...

Маленькие и круглые как коврига озерки назывались у нас окóлками, и жеребец утоп там, — я издали увидел торчащие из воды косицы его ушей и раздвоенный бугор крупа...

Потом мне никогда уже не приводилось наяву оказываться за гранью реального мира, которую я переступил тогда: окóлок, ветряки, недалекая Камышинка, выгон и бегущий Момич — все окрасилось в сумеречно-красный цвет и поплыло вокруг меня, не отдаляясь и не смешиваясь, и я сел, вцепился в землю и закричал, и подбежавший Момич тоже закричал что-то и с ходу прыгнул в окóлок. Разом с ним я полетел в истомно душную красную высоту, а когда открыл глаза, то увидел несокрушимо замершие на месте серые ветряки, зеленый выгон, синее небо и мутный окóлок. Момич стоял так по самую бороду в воде и руками поддерживал над собой голову жеребца. Жеребец дышал как боров в жару, — с отрывистым хрюканьем, и вдруг надулся и всхрапнул, обдав Момича струями грязной воды, хлынувшей из ноздрей. Момич тряхнул головой и всхрапнул сам протяжно и дико, похоже на жеребца, — подбивал его, чтобы он еще раз всхрапнул, и жеребец всхрапнул вторично, и Момич тоже... Неизвестно зачем я полез тогда в окóлок. Момич с какой-то яркой радостью в глазах увидел меня и заорал:

— Александр, мать твою... Беги, кличь людей! Чтобы с веревками и слегами! Скорей!..

На улице Камышинки я увидел бабу с коромыслами и несмело сказал ей, что в околке возле ветряков кто-то залился с лошадьёю...

Часом позже, когда Момич уводил по выгону грязного, приседающего на задние ноги жеребца, у меня разом начало болеть все тело. Всю ночь я куда-то падал и кричал, а утром тетка растопила свою венчальную свечку, поставила теплый каганец с воском мне на живот и стала чертить надо мной указательным пальцем широкие спиральные круги. Я спросил, про что она шепчет. Тетка мотнула головой, чтобы

я не перебивал, и зашептала явственней: «...и тогда пошла мать божья в степь-пустыню, а навстречу ей едет Иисус Христос на осляти. «Сын божий, куда ты едешь?» — «Еду я к малолетнему рабу своему Лександру кости выправлять, жилы напрягать, испуг изгонять».

Вслед за этим тетка подула на каганец, поплевала себе за спину и с опаской сказала:

— Теперь давай поглядим, что вылилось...

По краям каганца воск застыл ровным желтым слоем, а на середине вздулся светлый пузырь величиной с фасолину.

— Видишь? — таинственно спросила тетка.

— Ага,— сказал я.

— Ну вот и все. Это ж окóлок. Теперь в тебе никакого страха не осталось.

Я забрал у ней каганец и стал разглядывать пузырь-окóлок,— там же должен виднеться Момич с жеребцом, но тетка, догадавшись о моем поиске, ни с того ни с сего рассердилась:

— Чи ты умный, Сань, чи дурак! Ну зачем тебе видеть то, чего не надо? Это ж коли б залился дядя Мося, тогда... Дай-ка каганец!..

В тот день тетку зачем-то вытребовали в сельсовет. Она нарядилась в новый саян, уложила надо лбом платок острым шпилем и пошла, а вернулась такой, будто пять концов на каруселях проехала. Оттого, что ей было празднично одной, без меня, я молча обиделся и ни о чем не стал спрашивать,— пускай потерпит, рассказать-то небось хочется, зачем кликали в сельсовет!

Поздно вечером под запев сверчка в полутьме сенец тетка окликнула меня со своей постели:

— Сань, а Сань!

Я не отозвался, а она засмеялась и спросила:

— Что ж ты не попытаешь, зачем меня звали?

— А чего сама молчишь! — сказал я.

— Да днем не хотелось, не так ладно было б, а теперь давай побалакаем... Вышла я, значит, на выгон, а он голенький, пустой, одни смурные ветряки стоят да та пегая кобыла с жеребенком, и мне захотелось по-за речкой пойтить... Ну я и сошла по Большаковому проулку. Сошла себе и как глянула, батюшки-и! Луг весь в одуванах, так весь и горит, так и полыхает...

Она долго рассказывала про то, как шла по лугу и что там видела, и я не вытерпел и сказал:

— Ты ж опоздаешь, иди скорей!

— Погоди,— сказала тетка.— Нарвала, значит, я тех одуванов и прихожу. А там уже ждут — председатель наш, какая-то городская бабочка и учитель твой. Хороший он у нас, веселый... По имя-отчеству назвал меня, за руку поздоровкался, петуха, что я вышила на твоей сумке, похвалил... Ну ладно. Села я, а тут возьми и явись Дунечка Бычкова.

— Зачем?— спросил я.

— Да ее тоже позвали сдуру,— сказала тетка и засмеялась.

— А учитель что?

Мне почему-то не хотелось, чтобы Александр Семенович здоровался с Дунечкой Бычковой за руку, и тетка, разгадав мою ревность, ответила скороговоркой:

— Да с Дунечкой он так... нарочно поручкался, чтобы приличию соблюсть. Ты слухай дальше...

В это время дядя Иван споткнулся о порог хаты, остановился где-то на середине сенец и заверещал:

— Ай до зари не дадите спать? И буровят, и буровят, постояльцы проклятые!

— ...Тогда они и назначили меня, Сань, делегаткой от всей Камышинки,— певуче сказала тетка.— Утречком я и покачу в Лугань на сельсоветской бричке... А теперь давай спать.

Я не стал спрашивать у тетки, что такое «делегатка», чтоб нам обоим верилось, будто она едет в Лугань одна, без Дунечки Бычковой...Царь молча подождал чего-то и вкрадчиво-редко прошлепал босыми ногами в хату.

Хотя мой испуг и вылился на воске, но в руках и коленках осталась какая-то квелость и дрожь, и два дня без тетки я почти ничего не ел и не слезал со своего сундука,— все спал и спал. На третий день утром в песочно-золотой полумгле сенец я увидел дядю Ивана. Он стоял над кучей глины, что принес тогда Момич для печки нам, и обеими руками держал за дрыгающие ноги обезглавленного, нашего с теткой петуха.

— Зарезал?— пораженно спросил я.

— А то я молиться на вашего кочета буду! — сказал Царь.— Та змеюка зыкает гдей-то цельную неделю, а тут... Вставай, беги за хворостом, варить зачем...

На нижней приступке крыльца лежала и зевала пету-

шиная голова, а возле нее бродили и осипло кряхтели наши поделенные куры. Я шугнул на них и поглядел на Момичев двор, и сразу же Момич показался на своем крыльце. Он махнул мне рукой, подзывая, и я пошел, неся на ладонях петушиную голову.

— Кинь ее! — сумрачно приказал он мне, как только мы сошлись у плетня, и сам обернулся ко мне боком и стал глядеть из-под руки на речку.— Ну? Чего держишь-то? Кинь, говорю!

Я положил голову в траву, и тогда Момич, не меняя позы, негромко спросил:

— Егоровны-то все нету?

— Нету,— сказал я.

— Что ж это она... застряла там?

— Не знаю,— сказал я.— Теперь вот и петуха...

— А у тебя, случаем, ничего не болит? — перебил Момич.

— Не,— сказал я.

— А может, щемит где, да ты не чуешь. Как-никак, а под бороной сидел... Может, к доктору показаться?

— Нигде не болит,— опять сказал я.

— А чем черт не шутит! Потом поздно будет. Охромеешь или... мало ли? Выходи-ка на огород, в больницу поедем зараз.

Уже от угла сарая я увидел на Момичевом току повозку, набитую до самых грядок свеженакошенным сеном. Жеребец стоял на привязи возле клуши. Задние ноги его от щеток до колен были обернуты белой холстиной. Момич вышел из ворот с хомутом и вожжами в руках, наряженный в сапоги и кумачную рубаху. Следом за ним Настя бережно несла, как свадебный подарок неизвестно кому, новую пеструю попонку.

— Смотрите, дегтем не замажьте! — кинув попонку в задок повозки, гневно сказала Настя и пошла прочь. Момич пристально посмотрел ей вслед, но ничего не ответил. Пока он запрягал, я повинно стоял и глядел на ноги жеребца. Покосившись на меня, Момич коротко рассмеялся чему-то и, сунув руку под живот жеребцу, с веселой угрозой прикрикнул на него:

— Нарядился в онучи и страм потерял!

Это его озорное цапанье жеребца и слова обнадежили меня,— может, об окóлке и вальке вспоминать не будем! На выгоне опять паслась чья-то пегая кобыла, и жеребец, завидя ее, заржал и затанцевал в оглоблях, а Момич

подмигнул мне и с притворным возмущением сказал:
— Мало ему, кобыльему сыну, позавчерашнего, а!

Был будний день, и камышане возили на парину навоз, а мы ехали как на ярмарку. При обгоне подвод Момич пускал жеребца чуть ли не наметом, рывком сымал с головы картуз, здороваясь, и на вопросы, куда это он собрался, не отвечал,— тогда как раз приходилось сдерживать жеребца и тут же бодрить его вожжами и сулить: «Я тебя поне-е-ежу!»

До Лугани считалось шестнадцать верст, но они протянулись для меня дорогой вокруг белого света,— я никогда до этого так далеко не ходил и не ездил. Я сроду не видел двухэтажных домов,— хаты на хате, и Момич тоже поглядывал на них с уважительной остротой. Мы остановились и распряглись на широкой каменной площади возле церкви величиной в пять наших камышинских, и жеребец сразу присмирел и показался мне маленьким, и Момич стал маленьким, а самого себя я не примечал совсем.

— Ну, вот мы и приехали,— притушенным голосом сказал Момич.— Ты погоди тут, а я схожу разузнаю, что к чему...

Он ушел, жеребец приник к сену, а я прислонился к колесу повозки. Странны, маняще-терпки были в Лугани запахи, неслыханны звуки, и то, что у нас в Камышинке стоял будень, а тут праздник, потому что взрослые ничего не делали, а только ходили и ходили мимо друг друга и не здоровались между собой; что дети были наряжены во все ситцевое и не поднимали с земли ни папиросные коробки, ни конфеточные обертки,— наполняло меня какой-то накатной обидой за себя и не то завистью, не то враждебностью к ним, луганам. Мне хотелось поскорей видеть свою Камышинку...

Тень от церкви давно переместилась, и повозка стояла на самой жаре, когда я заметил тетку, Момича и Дунечку Бычкову. Они шли гуськом — тетка впереди, Момич в шаге от нее и чуть сбоку, а позади плелась Дунечка. На ней и на тетке вместо платков пламенели косынки под цвет моего галстука. Видно, концы косынок были чересчур коротки, потому что не сходились у подбородка и вязались на затылке, и от этого тетка казалась моей ровесницей. С ее плеча свисала до колен низка желтых как одуваны бубликов, и в руках она держала какие-то кульки и свертки. Момич нес новую косу, лемех к плугу и рябой ситцевый картуз с черным лакированным козырьком. Картуз был маленький, и я из-

дали радостно догадался, что он мой. Тетка кивала мне головой, и лоб ее светился, как бублик. Подойдя, Момич молча насадил мне на голову картуз, а тетка засмеялась и воскликнула:

— Ой, Саны! Да на кого же ты похож теперь!

— А ты сама на кого?— сказал я. Она поправила косынку, а Момич лукаво посмотрел на нее, смешно скривив бороду.

Мне совсем бы хорошо уехалось из Лугани, если б не Зюзина мать. Пока Момич с теткой застлала попонкой задок повозки, а потом запрягали жеребца, она беспокойно сидела у стены церкви и выжидаячи-пристально вглядывалась в даль чужой праздничной улицы. Мне хотелось, чтобы тетка поскорей позвала ее и чего-нибудь дала. Наверно, это так и было б, но Момич подкинул меня в передок повозки, посадил тетку и сам сел с нею рядом на разостланной попонке.

— Погоди-ка, Евграфыч, а как же она?

— Кто такое?— непонимающе спросил Момич.

— Да сельчанка-то наша!

— А-а, полномочная-то? Она пуцай тем же манером, как и сюда. В казенной бричке...

— Так неизвестно ж, приедут нынче за нами или нет,— забеспокоилась тетка.

— Подождет и до завтра,— безразлично отозвался Момич,— успеет подражнить камышинских собак красной шалкой...

— Ну это ты не свое чтой-то буровишь! — укорила его тетка.

Я оглянулся на церковь. Дунечка сидела в прежней позе, полуприкрыв лицо некрасиво сбитой наперед косынкой,— от солнца загоразивалась. Взяла б и пересела в тень!

На окраине Лугани Момич остановил жеребца возле лавки и молча передал тетке вожжи. Как только он отошел, я рассказал ей о петухе. Она привалила меня к себе и жарким шепотом, как хмельная, сказала:

— Теперь нам не нужен ни петух, ни Царь... Скоро мы с тобой в коммуну пойдем жить... в барский дом, что в Саломыковке. Ох, Сань, если бы ты знал...

Она замолчала,— к повозке шел Момич. В одной руке он держал картуз с булками, а во второй бутылку с желтой, как мед, водкой. Он положил все на тетнины колени, влез в повозку и, забрав вожжи, досадливо сказал нам обоим с теткой:

— Ну рассудите сами: куда б она тут села? Негде же! Да и поедем мы кружным путем...

— Через лес? — радостно подхватила тетка, будто весь век ждала этого.

У меня занемела шея, — я не мог удержать голову прямо, чтобы не оглядываться на Момичев картуз с булками. Между ними лежала и сверкала бутылка. На ее этикетке был нарисован кусок сота, а на нем — большая, похожая на шершня, пчела. Тетка тесно сидела рядом с Момичем и прощально-задумчиво глядела в поля. Момич весело по-нукал жеребца, и было видно, что он забыл, зачем привозил меня в Лугань...

— И всё, Сань, под духовые трубы, всё под музыку — и ложиться, и вставать, и завтракать, и обедать... Только ты, гляди, не болтай пока ничего дяде Мосе. Ладно? А то он... возьмет и обидится.

Это всегда говорилось уже на зоревом реву чужих коров, под конец нашего всеночного сказа-беседы, и мне каждый раз становилось тогда нестерпимо жалко Момича, Настю, Романа Арсенина, Сашу Дудкина и всех больших и малых камышан, — мы ведь уходили в коммуну одни — тетка и я, — а они навсегда оставались тут. Мы не знали, когда приедут за нами на казенной бричке, чтобы мы сели в нее и к восходу солнца, — нам хотелось, чтобы обязательно к восходу, — очутились в коммуне. Ни вслух, ни мысленно мы не решались с теткой до конца представить себе надвигающуюся на нас новую жизнь, — она ни на что не была похожа и ни с чем не сравнима, и каждый из нас обещал в ней себе все, к чему никла его собственная душа. Мне хватало одного этого странного и загадочного, как гармошечный звук, слова «коммуна», чтобы окружающая меня явь потускнела и убавилась в радостях: я перенес из нее в ком-му-ну все до одного праздника, какие приходились в году, и всё, что полагалось отдельно на каждый праздник, улеглось там вместе, в сплошной и бесконечный ряд. Тетка уже не снимала с головы косынки и не меняла саяна на будничную юбку, я тоже ходил в новом картузе, в белой с голубыми горошинами миткалевой рубаше и при галстукке. Мы и раньше не придумывали себе рабочих тягостей, а теперь и вовсе перестали что-нибудь делать по хозяйству, — нам даже печка не нужна была, обходились так.

Тогда вскоре пришло время метать парину, и Момич

покликал меня в поле с собой. Накануне, вечером, мы накопили за речкой травы, залили в бочонок полтора ведра колодезной воды, посадили на повозку плуг.

— Гляди, не проспи. До солнца чтоб выехать,— сказал мне Момич, и всю ночь мы с теткой не сомкнули глаз: сперва про коммуну шептались, а потом сторожили рассвет. Момич уже запряг, когда я показался на огороде.

— Ты чего это? К обедне собрался? Беги, скинь рубаху и картуз. Жива! — приказал он мне.

День обещался тихий и пасмурный, и все было сизым и грустным — и небо, и земля, и полевые дали. Мы миновали ветряки и околок, обогнули ржаной массив и выехали к опушке густого кустарникового леса. Он круто спадал под уклон, потом выпрямился и тянулся, пока хватало глаз, в сторону Брянщины. Момич сказал, что это Кашара. Тут был паровой клин нашего кутка, сплошь заросший татарником, цветущей сурепью и диким чесноком. Момич сразу признал свой загон, и мы начали пахать,— он ходил рядом с плугом по стерне, а я по теплой глубокой борозде шагах в трех позади. Одним концом загон упирался в Кашару, а другим в заказной, некошенный луг. Оттуда лес был почти невидим. Я давно проголодался, но солнце так и не выглянуло, и не было известно, когда наступит полдень. На двадцать пятом круге Момич вдруг бессовестно ухнул, быстро оглянулся на меня и посоветовал:

— Не греми, прогремишься! Не обедать садишься!

— Да это ж ты сам! — сказал я и неожиданно для себя попросил: — Давай взаправду чего-нибудь обедать, дядь Мось!

— Пробегался? Зараз пошабашим,— сказал он.— Я, вишь, метил успеть вспахать ваш загон к вечеру.

Тогда-то я и сказал ему, что нашу парину метать не нужно, потому что мы уходим скоро в коммуну. Момич придержал жеребца и переспросил, сведя брови:

— Куда-куда?

— В барский дом, что в Саломыковке,— сказал я.— Ты не знаешь, где такая Саломыковка, дядь Мось?

— За Луганью,— помолчав, сказал Момич.— Это тебе что ж, Егоровна сказала?

— Ага,— признался я.

— Ну?

— Жить будем в коммуне,— сказал я.— Там всё под духовые трубы. И ложиться, и вставать...

— Ишь ты! А работать тоже под трубу?

Момич спросил это точь-в-точь, как спрашивал когда-то об утильсырье, и поэтому я ответил неуверенно:

— Как захочем...

— Та-ак,— сказал он.— Что ж, живая душа и в будень калачика чаёт... В коммунию, значит, наострились?

Я промолчал, а Момич спросил еще об одном:

— А добро на чем же повезете? Там ить под вас подвод и подвод нужно...

Наверно, он и сам почуял, что обидел нас с теткой зря, потому что впервые посмотрел на меня как на взрослого — выжидающе-опасливо. Я встал и пошел через пахоть в сторону Камышинки. Момич непростудно кашлянул и позвал негромко, виновато:

— Александр! Куда ж ты попер? Обедать же надо...

— Я не хочу,— сказал я, не оборачиваясь.

— Ну, значит, сыта теща, коли гущи не ест! — гневно сказал он и хлестнул жеребца.

Дома я поведал про все тетке. Она заставила меня повторить, что говорил Момич о нашем добре и подводах, и долго и как-то не по-своему смеялась, взглядывая на меня мокрыми от слез глазами. Мы пополудневали хлебом с колодезной водой и солью. Тетка посидела, подумала-подумала и сказала, чтобы я нарвал снытки в раakitнике,— «завтра курицу будем резать», потом сняла косынку, накрылась платком, выставив куль, и пошла зачем-то на выгон. Вернулась она вечером почти следом за Момичем,— может, только сажень на сто отстала от его повозки...

Царь подпустил нас к печке,— наверно, совестно стало из-за нашего петуха, и мы с самого утра кое-как зарезали хохлушку и поставили ее варить в большом глиняном горшке. Он долго не закипал, и я несколько раз бегал за хворостом в раakitник. Оттуда, из-под бугра, я и увидел въехавшую к нам во двор длинную грабарку с высокими решетчатыми грядками, на каких в жнитву возят снопы. В упряге была та пегая кобыла, что все время паслась на выгоне. Я не стал собирать хворост и нехотя, стараясь не взглянуть на Момичев двор, пошел домой. В грабарке полулежал, просунув ноги в решетку, болезненный мужичонка с соседнего кутка. Я знал его только уличное прозвище — Халамей. Он сонливо поглядел на меня и ни-

чего не сказал. По двору, нарочно пугаясь своей тени, жировал сосун, высторчив венником хвост.

Тетка сидела в сенцах на сундуке и ничего не делала.

— Приехали за нами, Сань,— жалующе сказала она, будто просила заступиться.

— А говорила «на бри-ичке»! — сказал я.

— Так я ж думала... Ох, Сань, чтой-то мне смутно стало на сердце. Бросаем же все. И хату, и сенцы вот, и речку, и... Да и как это мы одни с тобой будем там? Может, Петровича сманить? Что ж он тут сычевать будет? Совсем занудеет...

Дядя Иван сидел в чулане и чистил мягкие, проросшие картохи, сбрасывая очистки себе на ноги. Он был в кожане и в шапке, надетой задом наперед. В серых клоках его бороды елозили и бились мухи. На загнетке лежал и бурунно дымил, заглушая пламя в печи, ворох мусора и кизяков.— Царь вредил нашему горшку с курятиной. Мы встали с теткой в проходе чулана, и я, совсем нечаянно и нестрашно для себя, мстительно подумал о Царе, что лучше б он взял и помер зараз, чем ехать с нами в коммуно!..

— Чего раскорячились тут? — спросил дядя Иван, глядя нам в ноги. Тетка погладила себе шею, будто комок прогоняла, и сказала громко, как глухому:

— Ты б собирался, Иван... А то Халамей ждет.

— Куда такое? — тихо спросил Царь и выронил в чугунок нечищеную картоху.— Кому собираться? Я никуда не поеду! Ты что такое задумала, змея? Сбагрить хочешь?! В сумаш-шедку?!

Он вскочил, перелез через скамейку и выставил перед собой грязные мокрые руки, а ногой стараясь подкопнуть поближе к себе упавший с плеч кожух. То, как помешанно-жутко глядел на нас побелевшими глазами Царь, пронизало меня от макушки до пяток какой-то взрывной болью, жалостью и страхом,— его испуг не вылился бы ни на каком воске, и я подбежал к нему, поймал его мокрые руки и потянул их книзу, к себе под грудь.

— Дядь Вань, не пужайся! — закричал я.— Мы ж в коммуно едем и тебя берем, чтоб вместе...

— Куда вместе? В какую такую? Зачем? — тоже на крике спросил он меня, но рук не отнял.

— Чтоб жить в коммуне. В барском доме,— сказал я.— Она знаешь где? В Саломыковке. Аж за Луганью! Там

все будет под музыку... Собирайся, дядь Вань, поедem скорей!

Тетка стояла как окаменелая, глядя куда-то сквозь нас с дядей Иваном. В хату всунулся Халамей и, невидимый мне за теткой, стал жаловаться тягучим брезгливым тенорком:

— Вы собрались али нет? Не поспеem же до ночи. Шутка ли, тридцать верст в один прогон! А у меня парина не мётана. Ох и люди. Едут на все чужое, а с г... не расстанутся!..

От дяди Ивана отхлынул страх. Он освободил от меня свои руки и прежним «царским» голосом прикрикнул на Халамея:

— Ты там не вякай! Тебя назначили везть, вот и вези! А теперь выдь и дай людям сготовиться!

Из хаты во двор мы выносили каждый свое, поделенное, а в Халамеевской повозке все соединилось в один большой серопыльный ворох. Нам с теткой долго не удавалось осилить сундук,— мы тащили его через двор волоком и держались руками за переднюю скобу, чтобы не оказаться лицом к Момичевой хате.

— Ты б зашел оттуда,— шепотом просила меня тетка, но я не заходил и не хотел, чтобы она заходила «оттуда» сама. Нам жалко было оставлять курицу, и я поймал ее и посадил в сундук. Туда же тетка поставила и горшок с недоваренной хохлушкой. Своих трех курей Царь загнал аж в ракитник, но не словил. Двери в сенцы мы прищемили щеколдой, но я хотел привязать ее веревочкой и сказал об этом тетке. Она ткнулась лицом мне в темя и заплакала, и чтобы не зареветь самому, я наругал ее дурочкой и повел к повозке... На съезде в проулок Царь, усевшийся на наш сундук, вдруг победно-визгливо прокричал: «Дяк-дяк-дяк!» Я оглянулся на Момичев двор. Момич стоял на крыльце своей хаты и глядел на нас, подавшись вперед, будто его толкнули, а он удержался и не упал...

На выгоне в створе проулка ждала нас возле кучки узлов и дерюжных сумок Дунечка Бычкова. Зюзя сидел поодаль и ел щавель,— он рос тут возле нас до самой осени. Я поглядел на тетку, но говорить ничего не стал...

3

Дома я никогда не видел закатного солнца,— его заслоняли подгоризонтные леса Брянщины и оно скрывалось

там белым и маленьким, каким бывало в полдень. Тут солнце садилось все на виду, в нашей камышинской стороне, и было оно большим, выпуклым и рдяным, как карусельный купол. В такие минуты всегда хорошо и немного страшно загорался медно-малиновым огнем наш коммунарский пруд, и в нем на самом дне появлялась тогда вторая коммуна — двухэтажная, красная, с четырьмя белыми колоннами и множеством незрячих окон, каждое величиной в нашу дверь в сенцах. В пруду отражались и долго не меркли ясень, приземистые корявые вязы и голые, простыло-синие тополя. В глубине воды из высокой трубы коммуны тёк и завивался в сквозные кольца сизый ольховый дым, — опять у нас варили горох, — но я старался не видеть его, потому что только тогда видение оставалось для меня той ком-муной, тем загадочно манящим словом, которое увело нас с теткой из Камышинки...

Нас было девятнадцать человек — одиннадцать мужчин и я, шестеро баб и тетка. Председатель коммуны Лесняк в счет не входил. Он жил отдельно, на всем втором этаже. Туда я ни разу так и не заглянул. Председатель Лесняк никогда не снимал фуражки с зеленым облупившимся лакированным козырьком и дымно-серого выцветшего френча с четырьмя накладными карманами. На грудном левом, обшитом широкой кумачной лентой, уже шагов за двадцать блестел пятирогий орден. Председатель Лесняк был мал, с дядю Ивана, а ходил медленно, как-то обиженно-угрюмо, вынося левое плечо вперед. Тот карман у него, на котором сидел орден, выпирал и топорщился, — в нем лежало что-то непостижимое моим разумом, нагнавшим на меня оторопь и бескорыстное почтение. Я верил, хотел и ждал, что Лесняк вот-вот приметит меня и позовет, как позвал когда-то Саша Дудкин. Тогда опять должно случиться что-то необыкновенное, и появится оно для меня из нагрудного кармана, из-под ордена. Это ожидание почти примирило меня с затаенной утратой камышинских снов о трубах и том празднике, на который приходились все годовые радости и утехи...

...Однажды ночью, в Камышинке еще, тетка долго ерзала на своей постели, потом засмеялась чему-то вслух — она вспомнила, наверно, о чем-то веселом — и под села ко мне на сундук. Я увидел ее блескучие в темноте глаза и спросил:

— А я где тогда был, про что ты вспомнила?

— Да вместе мы, Сань,— сказала тетка.— Я знаешь о чем подумала? Везучие мы с тобой. Нам всю жизнь будет хорошо и сладко!

— А то либо нет! — сказал я.

— Это оттого, что сироты мы с тобой... Круглым сиротам земля кругла! Спи!

Она опять засмеялась, звонко поцеловала меня в левый глаз, и он долго мулил, потому что я не успел зажмуриться. Тетка забыла этот наш разговор о круглой земле, а мне он запомнился и оказался нужен сразу же по приезде в коммуну. Халамей тогда подождал-подождал чего-то и уехал, а к нам вышел председатель Лесняк, отобрал у Зюзи общую на всех нас справку из сельсовета и показал, куда мы должны выгрузиться. По отлогим каменным ступенькам коммуны мы с теткой втащили сундук в сумрачно прохладный зал, разгороженный двумя рядами витых мраморных колонн. За ними, по правую и левую сторону, под окнами, заколоченными фанерой и жестью, стояли впрорядь низенькие железные койки. На них сидели и лежали люди — за левым рядом колонн мужчины, а вправо — женщины. Мы остановились в проходе, и в сундуке тогда оглашенно закудаhtала наша курица,— снеслась, наверно. За колоннами прислушались и засмеялись — догадались, где сидит курица, и кто-то кукарекнул похоже на петуха. Тетка виновато взглянула на меня и притулилась на край сундука, будто он был чужой, а не наш. Я враз припомнил все черные слова, нажитые тайком от тетки в Камышинке,— мне хотелось выкрикнуть их на всех, кто сидел и лежал тут на койках, но Зюзя, с узлами в руках, зашел поперед нашего сундука и, оглянувшись направо и налево, свистнул пронзительно и длинно, как в лесу. Тетка привстала с сундука и сказала: «Господи»,— а Зюзя кинул узлы на пол и знакомо-смело, будто вернулся из недолгой отлучки и тут его ждали, начал здороваться со всеми за руку.

Мне показалось, что каждому Зюзя шепотом сказал тогда какое-то потаенное слово, незнакомое нам с теткой, потому что все начали подходить к нам и в очередь здороваться за руку — с теткой, со мной, с дядей Иваном, с Дунечкой. Курица все не затихала и кудаhtала, и тот, что кукарекнул — я признал его голос,— озорно-дружелюбно спросил:

— А может, она кусок сала снесла? Тогда я сбегая за рыковкой!

— Е-есть у нас! — по-своему певуче-хорошо сказала тетка. — Курятина есть. Доварить только надо. Спешили и не успели...

Когда меня дважды окликнули из-за колонн Сашкой, а тетку повеличали Татьяной Егоровной, у меня засвербело в носу и мне захотелось вслух, при всех коммунарах, сказать ей, что все у нас будет хорошо и сладко...

Царь облюбовал себе пустую койку, стоявшую первой от дверей. Моя, с круглым парусиновым матрацем, туго напихтеренным соломой, пришлась по соседству с Зюзиной в конце ряда. Когда тетка принесла мою подушку и косичковое квадратное одеяло, я спросил у ней на ухо:

— А ты небось с Дунечкой там будешь?

— Да ничего, Сань, обпривыкну. Она ж все-таки своя, только немного нехолюзная, — в подушку, чтоб не слышал Зюзя, шепотом сказала тетка.

Я не знал названия тому своему чувству, которое испытывал, завидя Дунечку Бычкову. Мне тогда становилось скучно, неуютно-трудно и чего-то жалко. Это все равно как и с Царем. Мне нравилось и хотелось, когда тетка величала его Петровичем, заставляла переменить портки и рубаху, учила умываться не одной горстью, а пригоршнями, чтоб не одни только глаза и лоб споласкивать. Но мне никогда не приходило в голову, что тетка и Царь — муж и жена. Если б это оказалось для меня правдой, я бы давно, наверное, ушел из Камышинки куда-нибудь один, — тогда такая, Царева, тетка мне стала б чужой.

Мне было хорошо, когда тетка закликала Дунечку в хату и давала ей то, чего та и не просила: то платок, то кофточку. Я бы и сам отдал Дунечке что-нибудь, если б нашлось и сгодилось для Зюзи. Но я не хотел и боялся, чтобы в Камышинке подумали, будто тетка и Дунечка — подруги. Не хотел и стыдился я этого и тут, в коммуне. Дунечке не обязательно спать рядом с теткой. Ей хватит и того, что мы взяли ее с собой в барский дом.

Я проводил тетку до колонн и там просяще посоветовал ей:

— Ты возьми и отодвинься от Дунечкиной постели. Ладно?

— Не буровь чего не надо! — сердито сказала тетка. — От Момича, что ль, научился?

Она впервые назвала его так — Момич, и я вспомнил луганскую церковь, возле которой сидела Дунечка и ждала, чтоб ее взяли в повозку, и еще вспомнил, как спутанно-дробно, будто большая, шла тетка с выгона вечером того последнего моего камышинского дня, когда мы с Момичем метали парину. Мне стало жалко тетки и Дунечки, но убавить чего-нибудь от Момича я не мог. Теперь, издали, он как бы наполовину еще вырос перед моим мысленным взглядом; он будто стоял на какой-то горе, а я глядел на него снизу из-под руки...

Может, со временем я и поладил бы в душе с близостью теткой и Дунечкиной коек, но этому помешал председатель Лесняк: утром он вызвал тетку наверх и там назначил ее коммунарской поварихой. В столовую — тоже большой зал, но без колонн — можно было заходить прямо из общежилки и еще из сада через крытую веранду, но там лежали мешки с горохом, лучисто зеленела бутылка с конопляным маслом и стояла койка, на которой спал, сторожа все, повар. До нас с теткой им был коммунар Сёма, — белый, большой и безобидно придурковатый мужик. Он нехотя опростал койку и сказал тетке приглушенно мурлыкающим голосом:

— Тут, бабочка, хорошо спать-баловаться... Принес же тебя окаянный!

— Да нешто я сама просилась! Товарищ Лесняк приказал. И спать тут велел, — вся пунцовая, оправдалась тетка.

— Просить можно по-разному, — хихикнул Сёма, — кое об чем и на бровях договариваются...

Как только он вышел, я не вытерпел и сказал:

— Вот. Теперь тебе будет тут ясно!

Тетка, радостная и аж помолодевшая, схватила меня за вихор и пропела:

— Ох и дурачо-ок ты, Сань!

Из-за смены поваров завтрак в то утро запоздал, — горох не разварился как следует, и у нас получился не то суп, не то каша. Самодельные столы-козлы двумя рядами, — как наши койки в общежилке — разгораживали зал-столовую, и мы поставили на левый ряд одиннадцать оловянных мисок с горохом, а на правый шесть. Хлеба на веранде не было, — наверно, хранился в другом месте, и тетка пошла спросить о нем бывшего повара Сему. Вернулась она в своем праздничном фартуке, повязанная красной косынкой, неся в руках хлеб — в одной нашу с

ней недоеденную краюшку, а в другой почти цельную Цареву ковригу.

— Отдал? — спросил я.

— Да я сама взяла,— весело сказала тетка и засмеялась.

Больше мы с ней ни о чем не говорили. У нас всегда и разом наступало все одинаковое — смех, радость или желание заплакать, и теперь мы тоже чувствовали одно: мы готовились встретить тут коммунаров, как если б они приехали к нам в гости в Камышинку. Они и в самом деле зашли в зал-столовую как гости, особенно мужчины: хором поздоровались с теткой по имени-отчеству, а тот, что кукарекал вчера вечером и ходил куда-то за водкой, сказал, оглядев столы:

— Та-ак! Вчера курятина с сыринкой, нынче хлеб! А завтра чем вы нас угостите, Татьяна Егоровна? Кулебякой, может, а?

Тетка ничего не успела ответить, потому что в дверях показался председатель Лесняк. Левым плечом вперед,— наверно, оно было ранено на войне и он боялся нечаянно зашибить его обо что-нибудь,— он прошел к переднему, никем не занятому столу в мужской стороне и сел на скамейку. Мы с теткой не знали того, что председатель Лесняк ел вместе со всеми коммунарами и только жил отдельно, наверху. Мы не знали, а он скучно сидел, ничего не говорил и не снимал фуражку, и орден на оттопыренном кармане его френча сиял на нас колдовским обезволивающим блеском. Может, кому-нибудь нужно было так-сяк намекнуть нам,— мы бы сразу догадались обо всем, и я, может, все время помогал бы тетке варить горох. Но все ели молча, глядя в миски, и тогда председатель Лесняк досадливо сказал, поведя левым плечом:

— Товарищ Письменова, дайте мою порцию.

Тетка кинулась к котлу, забыв, где черпак и миска, и я подал ей то и другое. Мы наполнили миску одной гущей и пошли к председателю Лесняку рядом — тетка несла кашу-суп, а я ложку и краюшку хлеба. Я положил все у левой руки председателя Лесняка и, чтоб побольше разглядеть орден, дважды поправил краюшку: сперва обернул ее к нему надрезом, а потом горбушкой.

К плите мы с теткой вернулись порознь,— я отстал, а там, у котла, опять встали рядом, лицом к столам. Председатель Лесняк ел без хлеба. Наша краюшка лежала

на самом кончике стола,— отодвинул, когда мы уходили и не видели. Я пригнулся у плиты, поманил тетку и спросил:

— Чегой-то он? Это ж ты сама пекла из Момичевой муки!

Тетка ничего не сказала и резко выпрямилась — большая, статная и в лице аж малиновая не то от наклона, не то от жары в плите. Председатель Лесняк ел, низко наклоняясь над миской, и я видел только верх его фуражки с темным выпуклым пятном посередине. Он, видно, торопился, потому что ложка совсем не задерживалась в пути и ходила плавно и кругло, будто он наматывал клубок ниток. По-камышински это называлось «стербать», но я нарочно «забыл» тогда это слово, чтобы не подумать им о председателе Лесняке. Я знал, отчего выпячивается и маслится верх у картуза,— это когда голова «дулём», но мне не хотелось думать и знать, что председатель Лесняк только из-за этого не снимает свою фуражку.

Он вышел раньше всех, оставив в миске ложку торчмя,— не стал есть густоту, и некоторое время спустя во дворе зазвонило коротко и часто, как при пожаре. Звонил сам председатель Лесняк в толстый железный брус, висевший в проходе пустых дверей коммунарской конюшни. Мы с теткой не знали, что делать,— стоять на крыльце возле колонн или куда-нибудь бежать, потому что коммунаров нигде не было видно, и даже Царь наш запропастился куда-то. Ничего не дымило — тут все было каменное, под зеленую жесьть, а председатель Лесняк все звонил и звонил и ни разу не оглянулся по сторонам, не переменял позу,— махал и махал коротким прямым ломиком — шкворнем, верно, и тетка, готовая осесть у колонны, то и дело спрашивала меня:

— Сань! А куда ж люди делись? Люди-то?

Она не осилила неизвестности, высунулась из-за колонны и срывающимся голосом, как при беде, крикнула:

— Гражданин Лесняк! А нам куда ж надо?

Он ничего не ответил,— не слышал за звоном. Из зарослей чертополоха возле конюшни не спеша вышел коммунар, что хотел какой-то кулебяки. Он миновал председателя Лесняка, не взглянув в его сторону, но тот сразу же перестал звонить. Кулебяка — я уже называл его так мысленно — остановился посередине двора и запел:

Пошли-и девки д-на работу!
Пошли-и красны д-на казенну!

На работу, да-да, на работу!
На казенну, кума, на казенну!
На ра-аботе припотели!
На ка-азенной припотели!
Припотели, да-да, припотели!
Покупаться, кума, захотели!..

Песню кричал он смешливо-ладно, протяжно, и стоял чуть запрокинувшись назад, откинув ногу вбок и вперед. Председатель Лесняк так и остался в дверях конюшни. Слушал, наверно. Песня-то хорошая. Тогда начали появляться коммунары — кто из сада, кто из-за конюшни, кто неизвестно откуда, и Кулебяка построил всех в один ряд. Последним в нем оказался дядя Иван, а Дунечку я не увидел вовсе. Кулебяка встал перед строем и грозно кашлянул. Кто-то рассыпчато засмеялся, — бывший повар, наверно. Кулебяка кашлянул вторично и заговорил негромко и ласково, — я сразу догадался, что он шутит:

— Друзья мои! Братья и сестры! Известно ли вам, что такое осот? Нет. А пырей? Тоже сохрани боже! Тогда будьте сладки, не играйте по утрам в прятки, а лучше хватайте в конюшне тяпки, подмазывайте салом пятки и ступайте полоть грядки!..

Мне это понравилось, а тетке нет. Она повернулась и ушла, а я подождал, пока коммунары, с мотыгами на плечах, покинули двор.

Чтоб горох разбобел к обеду, мы решили варить его с утра. Я подставил к печке-плите скамейку, и тетка влезла на нее, — заглянуть в котел хотела.

— И какой только дурак клал ее тут? Чуть не под самый потолок вывел! — сказала она сверху.

От котла шел пар — закипал уже, и тетка не видела председателя Лесняка. Он стоял у первого от нас, своего, стола и заглядывал в сад через открытые двери веранды. Стоял, чего-то ждал и заглядывал. Я пододвинулся к скамейке и незаметно ущипнул тетку за ногу. Председатель Лесняк повернулся к нам лицом и сказал на одной ноте:

— Печку, товарищ Письменова, соорудили лично сами коммунары. Это одно. Теперь скажите, откуда вами был получен хлеб на завтрак?

Тетка поспешно и неловко прыгнула со скамейки — и у нее развязались концы косынки, а фартук съехал набок.

— Хлебушко? — ничему улыбаясь, спросила она и пе-

реступила с ноги на ногу.— Да хлебушко я свой принесла. Тут не нашлось, а я взяла и... дала.

— То есть частный? — полубасом, утверждающим какую-то опасную для нас догадку, спросил председатель Лесняк.

— Да нет, хлебушко был свой, наш вот,— сказала тетка, кивнув на меня, и опять просеменила ногами.

Она не замечала, что косынка сбилась ей на лоб, как у Дунечки Бычковой возле луганской церкви, забыла, наверно, что «хлебушком» называла хлеб тоже Дунечка, появляясь на пороге нашей хаты. Она тогда и хихикала ни над чем, и ногами переступала, будто стояла на горячей головешке.

— Так. Ясно,— сказал председатель Лесняк и туго повел левым плечом.— Это ваш сын? — показал он на меня, глядя тетке в грудь. И тетка сразу тогда стала сама собой, прежней, камышинской, моей. Она поправила на себе косынку и фартук и ответила:

— Саня? Не-ет. Мы с ним си-ироты.

— В коммуне сирот нет! — приказательно сказал председатель Лесняк, а тетка подступила ко мне вплотную и обняла за плечи.

— Это одно,— выждав долгую паузу, сказал председатель Лесняк.— Другое. Коммунарам, не связанным с деятельностью пищевого блока, вход на кухню не разрешается. В-третьих. Обед, завтрак и ужин подавать мне наравне с другими. Такие же порции, как и всем коммунарам...

Он, видно, хотел сказать нам еще что-то, но не стал говорить.

После этого мы побоялись выпустить свою курицу на коммунарский двор, и она так и осталась сидеть в порожнем сундуке, стоявшем на веранде возле теткиной койки. Я кормил ее там вареным горохом из своих порций, и через неделю она разжирела до того, что не кудахтала, когда неслась, а только кряхтела. Каждый день перед вечером тетка варила мне яйцо, и я прятался с ним в лопушных зарослях сада, как раньше в Камышинке прятался с украденным яблоком или дулей. Тогда тетка только посмеивалась да приговаривала:

— Ох, Сань, гляди! Поймают тебя, да как надерут крапи-ивой!

Мне казалось, что она и сама не прочь слазить вмес-

те со мной в чужой сад,— нам ведь нравилось все одинаковое, но тут, в коммуне, тетка не хотела, чтобы я скрытно ото всех съедал яйцо.

— Ты чего это дуришь? Ешь при всех! — говорила она шепотом, хотя поблизости никого не было. Мы обрадовались, когда курица снесла яйцо без скорлупы.

— Все, Сань,— облегченно сказала тетка.— Плевó, дурочка, положила! Нешто ты захочешь теперь такие?

— Ну их! — сказал я.

— Это она от темноты да неволи. На скорлупу, вишь, свет нужен, камушки, травка...

— Камышинка,— подсказал я.

Тетка виновато поглядела на меня, зачем-то развязала, а затем снова завязала концы косынки и спросила:

— Что ж делать-то с курицей?

— А ничего,— сказал я.

— Ослепнет она, Сань. Околеет. А на вторник петров день приходится. У всех людей праздник...

— Может, побаловать своих тут скоромным? Добыли б в селе молодой картошки, укропчику, лучку зеленого, а я бы и...

Мы стояли над сундуком и слышали, как по его исподу — взад и вперед, взад и вперед — бестолково шастала курица, каждый раз мягко торкаясь в поперечные стенки. Торкнется и сонно квохнет — раз в одном конце, раз в другом.

— Она ж одна теперь у нас осталась! — сказал я тетке, мысленно увидев перед собой все сразу — свою пустую хату, скучный без меня в нем раakitник, широкий розовый выгон, кого-то ждущие серебряные ветряки... Видно, тетка сама про то болела-думала, если схватила меня и спросила-крикнула два раза — в левый и в правый глаз:

— Ты откуда у меня такой, а? Ну откуда?!

И мы решили выпустить курицу, но не на коммунарский двор, а совсем на волю, в село. Коммуна сидела на самом краю Саломыковки, и до первого двора туда было с полверсты непаханным коммунарским полем, заросшим высоким донником и татарками. Я перебежал его одним духом и возле сарая с разметанной соломенной крышей увидел чужих кур. Свою курицу я посадил на землю, нацелил головой на сарай и отпустил. Она побежала вперевалку, как утка, и к ней, вытянув шею и готовно пуша крылья, кинулся большой, иссиня-черный петух.

Назад я пошел по дороге. Ею можно было попасть в

Лутань, а оттуда... Я подумал, что если все время бечь и бечь, то к вечеру, наверно, и Камышинка завиднелась бы!..

Недалеко от коммуны мне встретилась подвода, груженная свежим сухим сеном. На возу лежал саломыковец, похожий на дядю Ивана, — в зимней шапке был. Я сошел с дороги, а он придержал лошадь и, невидимый мне снизу, спросил:

— Ты, случаем, не из коммуны, хлопец?

Я сказал. Он завозился на сене и свесил в мою сторону голову.

— То-то я гляжу, не наш вроде... Ну как там у вас? Хорошо небось?

Я молча кивнул.

— Вот и я думаю. Чего больше-то? Ни тебе хозяйства, ни заботы... Ну, а ядите вы что?

— А все, — сказал я.

— Казенное?

Он задумался о чем-то, глядя на мой картуз, и тронул лошадь.

Среди коммунаров никого не было, кто хоть чем-нибудь заслонил бы собой Кулебяку, а по-правильному Евгения Григорьевича Ларикова — самого интересного человека, что попался мне тогда после Момича и Дудкина. По вечерам мне уже не надо было хорониться в зарослях сада, чтобы съесть яйцо, и я засиживался у пруда, глядя на опрокинутые там тополя и вязы, «не видя» широкую коммунарскую трубу, из которой тёк и тёк в черную бездну сизый дым, — тетка все варила и варила горох. Тот вечер был душный, тяжелый. На востоке, за пустым коммунарским сараем, беспрерывно моргали сухие беззвучные сполохи, где-то далеко в Саломыковке перехватно визжала свинья, — резали, наверно, и мне до боли в темени хотелось домой, в Камышинку... Я не заметил, когда Кулебяка подошел и разделся, и увидел его уже в пруду: разрушив все, что я там любил, он плыл глубоко под водой — длинный, худой, коричнево-смуглый. Я хорошо разглядел на его спине толстый белесый рубец, протянувшийся от левого плеча до правой лопатки, и когда Кулебяка вылез на берег, я, не сходя со своего места, спросил:

— Чтой-то у тебя на горбу?

Он, в подсиге, сразу на обе ноги вздел штаны, таким

же немислимым приемом — сразу обеими руками и головой — нырнул в подкинутую вверх малескиновую косоворотку и после того ответил:

— Это у меня кесарево сечение, дружок. Мужское-угловое-полуночное называется! Понял?

Я промолчал, а он лег поодаль от меня животом на землю, подпер голову кулаками и стал глядеть в пруд. Было тихо, тоскливо, и мне все больше и больше хотелось зареветь.

— Сашок! А ты знаешь, кто я такой? — таинственно спросил Кулебяка.

Я подождал немного и ответил:

— Знаю.

— А ну, скажи.

— Евгений Григорьевич Лариков,— сказал я.

Он медленно обратил лицо в мою сторону, подмигнул мне одним глазом и по-бабски нежным голосом пропел на мотив «барыни»:

Ша-ариков-Жариков! Чубариков-Лариков!
Он по свету рыщет! И чего-то ищет!
Ша-ариков-Жариков! Лариков-Судариков!

Он опять подмигнул мне, а я подполз к нему на коленях и спросил как глухого, на ухо:

— Дядь Ивгений, а тебе нравится коммуна?

Кулебяка насмешливо оглядел меня своими желудевыми глазами и спросил сам:

— А тебе?

Мне хотелось, чтобы мой ответ понравился ему,— тогда б я легче и доверчивей рассказал то, что хотел рассказать,— про Камышинку, про все, что я видел там, знал и помнил. А он перестал играть глазами и глядел на меня почти строго. Я подумал, что лучше ничего не говорить, а только кивнуть головой, как тому мужику, что лежал на возу сена, когда я относил в Саломыковку курицу, и я кивнул, а Кулебяка вскинул руку и больно щелкнул меня в макушку тремя пальцами.

— С таким отцом, как твой, в коммуне только и жить! — сказал он.— А вот мать у тебя, видать, молодец!

Если б Кулебяка не подумал, будто тетка доводится мне матерью, я б сразу сказал про Царя,— какой же он отец мне, но раз он подумал так, я ничего не стал говорить. Он помолчал, потом встал и пошел к коммуне, не оглянувшись на меня.

Уже почти ночью я поскребся к тетке на веранду. В Камышинке она раз десять за вечер покликкала б меня, а тут за все время ни разу не позвала, не поискала. Боялась, наверно, кричать. Да и некогда ей... Она тихонько отворила мне дверь, пощупала в полутьме мой набрякший нос и спросила:

— Ревел, что ль?

По сырому, осипшему шепоту я догадался, что она тоже недавно плакала, и не стал признаваться.

— Гречишного чибричка хочешь?

Холодный клеклый чибрик горчил и прилипал к деснам. Я ел его, стоя у дверей, и как только чибрик кончился, тетка сказала:

— Горячие-то они смачнее. Со сковороды если...

— А гдей-то ты взяла? — спросил я.

— Да тут... одна знакомая баба дала,— с запинкой ответила тетка.

— Дунечка, наверно,— догадался я, а тетка отвернулась и вскрикнула. Я притянул ее к себе за фартук и сказал то, о чем давно хотел ей сказать: — Пойдем домой, слышишь? Я не хочу тут больше... А за сундуком потом когда-нибудь приедем. С Момичем...

Она вырвала из моих рук подол фартука.

— Ты ж большой! Подумай только: как же мы явемся? Ить нас засмеют там! Проходу не дадут... Пешком, скажут, прибегли! Стыдобушки не оберешься! Ох, головушка моя горькая!..

— Момич не станет смеяться! — сказал я.

— Ох, нет, Сань! Давай потерпим... До покрова хоть погодим. А по осени соберемся и... В непогоду нам будет справней. Люди тогда по домам сидят, а мы подгадаем под вечер... Протопим хату, каганец засветим, и все узнают, что мы дома. Зимовать, скажем, пришли. Какая ж тут оказия! Ну давай погодим! За-ради Христа прошу!

Мы посчитали, сколько осталось до покрова дня, и я побежал спать. На крыльце коммуны в вершинах колонн что-то металось и посвистывало — летучие мыши, наверно, и я подумал, как это председатель Лесняк не боится там один, наверху? А если пролезть к нему и — «ррр!», взять Царев кожух, надеть шерстью наружу и — «ррр!»

В общежилке было темно, хоть выколи глаз. Зюзя сидел на своей койке и чего-то ждал. Я юркнул под одеяло, а он махнул на меня рукой — «тихо!» — и сказал в пахучую темноту:

— Это шкет тут зашел! Давай!..

В общежилке так было неживо тихо, что я испугался — чего надо давать? Зюзя опять сказал: «Ну давай», — и тогда Кулебяка негромко и жалобно запел:

В воскресенье мать-старушка
К воротам тюрьмы пришла
И в платке родному сыну
Передачу принесла.
Д-передайте д-передачу,
А то люди говорят...

— Игвень, а Игвень! — предостерегающе позвал бывший повар. Кулебяка замолк.

— Ну чего ты там встреешь? — озлело спросил Зюзя.

— А то. Тюрем-то тепереча нету? Нету! — сказал бывший повар.

— Ну?

— Вот и «ну». Теперича они называются домзаками!

— Человек про тюрьму спевал, а не про зак твой, кляп ты моржовый! — заглушенно, из-под подушки, видно, проговорил кто-то в конце общежилки.

— А мне какое дело, — смиренно сказал бывший повар, и тогда Кулебяка позвал его протяжно и ласково:

— Сём, а Сём!

— А! — готовно и доверчиво отозвался тот.

— Хрен на! — сказал Кулебяка. — А завтра придешь, остальное возьмешь!

На женской половине захихикали, а бывший повар восхищенно и завистливо сказал:

— Ну и бродяга! Ну и сукин сын!

— Игвень! А чего остальное аж завтра? Пускай бы разом все забирал! — крикнул Зюзя.

Уже сквозь сон я слышал, как одна коммунарка говорила другой:

— Не бугородица, а бо-го-родица. Бога потому что родила, а не бугор...

Мне приснился тогда покров день. Он был похож на Момича, — большой, с черной бородой...

Тогда несколько дней шел обкладной теплый дождь. В коммунарском саду непролазно разрослась крапива. Головки ее выметнулись в толстые желтоватые кисти, — цвела, и тетка сказала, чтобы я натянул на руки шер-

стяные чулки и нарвал крапивных листьев. Побольше. Чтоб сварить щи.

— А председатель Лесняк? — спросил я.— Заругается, как тогда.

— Да лихоманка его забори! — гневно сказала тетка.— Нам-то что? Мы тут с тобой не вечные! А люди за все лето зелени не пробовали. Ни снытки, ни щавеля...

Я нашел палку и стал рубить крапиву прямо под корень. Зимой в школе Дудкин три дня читал нам вслух про красного командира Ковтюха и белого генерала Улагая, и когда я считался Ковтюхом, крапива рубилась начисто и аж подскакивала выше моей головы, а как только делался генералом, она лишьгнулась и даже не ломалась под палкой: красной конницей была. Я не заметил, как врубился в самую гущину зарослей, где вместе с крапивой ползуче расселись кусты бузины и засохлого крыжовника. Там я и увидел неглубокую, выложенную круглыми камнями яму, а в ней черно-белого, мокрого и грязного теленка. Он полулежал, подогнув передние ноги и стоя на задних, и я разглядел, что это бычок. Я поторкал в него концом палки, и он чуть слышно замычал, но голову не поднял...

Я долго сидел на краю ямы, свесив в нее унизанные белыми волдырями ноги,— обстрекался о поверженную крапиву, потом встал и пошел к коммуне. Тетка стояла на веранде — ждала меня с крапивой, и я сказал ей издали, что иду за чулками. Голос у меня был хриплый и толстый. Он всегда делался таким, если я собирался залезть в чужой огород или сад. Боялся и хотел залезть. Коммунары в тот день не работали и сидели в общежилке. Кулебяка, одетый и обутый, лежал на койке. Я подошел и незаметно тронул его за ногу. Он покосился на меня одним глазом, а я кивнул головой и подошел к дверям. На крыльце я прислонился к колонне и стал глядеть на мокрую крышу конюшни. Кулебяка вышел и тоже посмотрел туда.

— Дядь Ивгений... там в саду теленок сидит в яме,— осиплым шепотом, глядя на крышу, сказал я, и ноги у меня чуть не подломились в коленках.

— В яме? Кто ж его туда посадил? — без интереса спросил он и цыкнул через зубы длинную кривулину слюней. Когда хочется есть, они как вода бегут. И откуда только берутся!

— Он сам залез,— сказал я.— Нечаянно ввалился.

— Ну и что?

— А ничего. Сидит и все,— еще тише сказал я.— Давно, наверно, ввалился, дурак...

— А чей он?

— Не знаю,— сказал я.— Саломыковский, может... Неш его найдешь там? Крапива такая, что... А он чуть мычит.

— А кто еще знает? Ты кому-нибудь говорил? Мать знает? — быстро и тоже шепотом спросил Кулебяка.

— Нет,— ответил я.

— А отец?

— Он не отец. Он только дядя,— сказал я.— Отца у меня на войне убило, а мать померла сама. От тифа...

Я впервые в жизни говорил об этом, и мне захотелось зареветь, и тогда я опять сказал о теленке:

— Неш про его узнают когда? Сроду не найдут...

— Значит, Татьяна Егоровна тебе не мать, а тетка?

— Ей про все можно говорить,— сказал я.— Она хорошая...

— Уж ты, ковырялка моя! — сказал Кулебяка, приподнял меня и переставил на нижний порог крыльца.— Иди, посиди у пруда. И цыц! Понял? Никому!

Я отнес на веранду охапку крапивы и побежал к пруду, на свое всегдашнее место. Вскорости показался Кулебяка с Зюзей, и по своей крапивной просеке я провёл их к яме.

— Тю! Да мне одному тут нечего делать,— недовольно сказал Зюзя. Они с Кулебякой полезли в яму, а я отошел в сторону и загодя приготовился засвистеть, если кто-нибудь покажется в саду.

Теленок мыкнул два раза, а потом в яме что-то засипело, и запахло хорошо и уютно, как от Момичевой закуты...

Я так никогда и не узнал, что сказал Кулебяка тетке про мясо. Она сварила его все сразу, ночью, в том же котле, где всегда готовила горох. Мясо мы спрятали в сундук, а дверь из веранды в сад оставили открытой, чтоб председатель Лесняк не учуял утром в столовке него-роховый дух.

Впервые за время жизни в коммуне я не слышал утром звон рейки,— проспал. На дворе было погоже, росисто и радостно, и тетка тоже была веселой. Она достала из сундука кусяку отвердевшей телятины, я спрятал его под рубаху и побежал в сад. Подломанные, но не срубленные вчера крапивные стебли успели привясть, а от ямы уже ничем вчерашним не пахло. Я съел мясо и пошел в поле, мимо

конюшни, куда всегда уходили коммунары с тляками на плечах. Я шел и думал, как быть с дядей Иваном: дать или не дать ему попробовать телятины? Откуда он догадается про яму? Лучше б дать... Он ни разу не сшалопутил тут. И даже перестал надевать кожух. Только шапку не сымал. Ни днем, ни ночью. Как председатель Лесняк... Царь всегда кланяется ему три раза — сперва низко, в пояс почти, потом помельче, а в третий раз кивком головы, будто с разгона остановиться не может. Председатель Лесняк по-военному прикладывал тогда руку к козырьку своей выпуклой фуражки. Нравился, значит, ему Царь за это. А мне нет, хоть он и свой... Наверно, он останется тут, когда мы с теткой уйдем на покров день домой...

Коммунары окучивали картошку. На саломыковских огородах она давно цвела, а эта не собиралась даже. В глинистом месте на берегу ручья потому что росла, а тут пырея полно. Да и навоза в коммуне нету. Кто ж его у нас наделает!

Когда я подошел, Кулебяка кинул тляку и сказал: — А ну-ка, Сашок, показывай свой рожок, годится ли он для спевки нашим бабам и девкам!

Он подморгал мне — дескать, молчок, а я подморгал ему.

Дяди Ивана на картошке не было. И Дунечки тоже. Она, наверно, пошла отсюда в Саломыковку побираться, — будто мы, мужики, не знали, откуда у баб-коммунарок появлялись разномастные куски хлеба к гороху на ужин. И чибрик, что дала мне тогда тетка, тоже был побируший! Я подумал: хорошо, если б Дунечка сманила побираться Царя. Тогда б тетка враз различила, какой стыд хуже, и мы бы ушли в Камышинку завтра или нынче вечером!.. Но дядя Иван, оказывается, ходил к ручью за водой. Ведро он нес вихляючись, то и дело переменяя руку, и я побежал к нему, отобрал ведро и сказал, что ночью дам ему большую порцию мяса и что есть его надо в саду или лучше в конюшне.

С этого раза я стал ходить на работу вместе со всеми, — теперь, когда мне не хотелось все время есть, а помогать тетке не полагалось, целый день жить совсем одному было трудно...

До того дня, когда я нашел в яме теленка, Зюзя не замечал меня, кликал «шкетом», сторонился дяди Ивана

и тетки, как будто раньше не знал нас, а мы его. Наверно, он боялся, что мы возьмем и расскажем тут, как его били в Камышинке за Момичева жеребца. После теленка, пока Кулебяка, тетка, я и Зюзя украдкой ели мясо, он быстро научил меня разговаривать «шир-на-выр», чтобы кроме нас никто больше не знал, о чем мы говорим. «Шир-на-выр» не разумел даже председатель Лесняк. Как-то утром, когда он только что кончил бить в рейку и коммунары становились в строй, Зюзя громко сказал мне:

— Шанька-сац, шуй-дуц в шеревню-дец и шогляди-поц шассе-купац. Шочью-ноц шудем-буц шед-мец шасть-крац. Шонял-поц?

— Шадно-лац! — сказал я.

Председатель Лесняк послушал, повел левым плечом и скрипуче сказал:

— Товарищ Бычков! Молодому коммунару не подобает болтать на попугайском языке!

— Шиди-тыц на шен-хрец! — глядя мимо председателя Лесняка, внятно сказал Зюзя. Кулебяка засмеялся и первым направился в поле мимо конюшни, — наверно, он прежде нас с Зюзей знал по «шир-на-выровски»...

Мед я любил зимой и летом, днем и ночью, потому что за всю свою жизнь ни разу не наедался им досыта. Я пошел в Саломыковку тем же путем, каким относил туда курицу, и возле окраинного сарая свернул в концы огородов, подальше от людей и собак. Там была узкая, крепко утоптанная тропинка, и я пошел по ней, пошел и пошел. В конопляниках пахло душно и хорошо, как в церкви, и свет там был смурно-голубой и текучий, как в камышинской речке, когда, бывало, нырнешь с открытыми глазами. Я шел и «узнавал» по огороду, на кого похож его хозяин. Когда ботва картошки доходила мне аж до плеч, и цвела бело-бело, и над ней кружились пчелы, — саломыковец был у меня все равно как Момич. Только чуть пониже ростом. И без черной бороды. А если росло абы что — кукуруза, табак, бураки-семенники, повилика, осот, веники, — мне становилось тоскливо и чего-то жалко, потому что тот мужик, что развел его, был точь-в-точь как наш Царь. Или как бывший повар Сёма... Я подумал, какой огород выдался б у Кулебяки. Наверно, все засадил бы одними подсолнухами!..

Пасеки все не попадались, да и какой дурак станет держать улыи прямо на огороде. Их надо было подглядывать возле палисадников, поближе к клуням, но мне не

хотелось бросать голубую дорожку в конопляниках. Я шел и шел и незаметно очутился возле голубого обрывистого лога, поделившего Саломыковку напополам. Тут была чья-то бахча. Дыни только завязались недавно, а их уже стерегли: возле куреня у обрыва сидел большой грустный кобель и двое ребятишек с меня ростом. Кобель не загавкал, но я остановился и стал глядеть в ту сторону лога, будто мне нужно было попасть туда, а я не знал как. Я стоял и думал о своем совсем еще новом картузе, о ситцевой рубашке, что была на мне, и про то, что я коммунар и живу в барском доме, а они вот сидят тут на жаре возле лога и глядят на меня и небось завидуют, как тот мужик на возу сена... Они ж не знают про председателя Лесняка, про Царя, про Дунечку-побирушку, про горох и общежилку... Они знают про другую коммуну. Про мою с теткой коммуну, что бывает по вечерам в пруду... И пускай глядят и завидуют. Коммунар все-таки я, а не они!..

Назад я шел еще медленней, — спешить было некуда и не с чем. Вечером я сообщил Зюзе, что пасек в Саломыковке нету. Он сказал, что я шен-хрец шоржовый-моц, и ушел куда-то один. Я немного посидел возле пруда и, когда в столовке закончился гороховый ужин, сходил на веранду за мясом. Зюзю я ждал до полночи и все думал на своей койке, что зря не сказал ему, в чего завернуть мед, чтоб не вытек из сота. В капустные листья. Или в лопухи, как тетка тогда...

Он пришел, тихонько залез под одеяло и стал там хрюпать не то яблоки, не то морковку, и я заснул аж под утро.

Самым скучным днем — длинным, пустым и трудным — выходило у нас воскресенье. Тут ничего нельзя было поделать, потому что на работу мы не шли, а в саломыковской церкви с самой зари начинал звонить колокол, и у нас все просыпались и узнавали, что на дворе солнце, роса и праздник. Может, нам веселей было, если б скорей наступила осень. Осенью в праздники, когда туман и дождь, некуда ходить и не нужно наряжаться, а летом дело другое. Летом хочется — и все, я хорошо знал это по себе и тетке. И воскресенье у нас всегда начинались одинаково. Сперва кто-нибудь один доставал из-под койки свой сундучок, отмыкал замок и начинал возиться там, тишком что-то разглядывать и перекладывать с места на место.

Потом сундучки доставали все — и бабы, и мужики, и даже Кулебяка, и только мне, Царю да Зюзе нечего было доставать и переключивать.

На тот наш с теткой последний день в коммуне тоже пришлось воскресенье. Я проснулся от колокола и увидел, что Зюзя грыз ночью не яблоки и не морковку, а огурцы, — в проходе между нашими койками валялись их пупырчатые жупки, а сам Зюзя спал, укутав голову пиджаком, заляпанным не то свежим коровяком, не то конопляной зеленью. Молча и неприветно, как будто все тут были виноваты в чем-то, а он один прав, коммунары возились в своих сундучках. Царь тоже сидел на койке и сердито разглядывал кожух. Плановал что-то. Может, воротник думал отпороть, — совсем обтерхался...

В саду, на корягах засохшего вишенника, я наколупал сосулек затвердевшего сока, — с виду он все равно что мед, — потом нарвал пучок дикой мяты, посидел у пруда и пошел в столовку: по воскресеньям тетка не варила, а парила горох, и тогда он не вонял плесенью. Я зашел в столовку через веранду, чтоб положить на тетчину койку мяту, и от плиты увидел председателя Лесняка и всех коммунаров. В открытые окна солнце било прямо на столы, и пустые цинковые миски блестели как стеклянные, и орден на председателе Лесняке тоже хорошо сиял и лучился. Я побоялся идти через кухню, раз она какой-то пищевой блок, и остановился, и в это время председатель Лесняк сурово и раздельно сказал:

— Придет время, товарищ Бычков, и на всем земном шаре раскинется цветущий сад одной великой коммуны! Это вам давно надо знать!

У него покраснела шея, но к Зюзе он не обернулся потому, что глядел на мои ноги. Я повернулся и побежал назад и во дворе коммуны, прямо напротив дверей конюшни, где висела железная рейка, увидел — знакомую повозку... знакомого, черного, с желтыми шматками пены на пахах жеребца... знакомую кумачную рубаху... Самого Момича. Я никуда не пошел и сел на нижний порог крыльца между колонн, в проходе. Я сидел, глядел на Момича и ничего не хотел, кроме одного, приплюснувшего меня к широкому теплему камню: чтобы Момич пошел в коммуну, к нам в общежилку. Тогда б я кинулся к нему, вцепился б в рубаху и повис, и не пустил бы!

Но Момич не пошел. Он глядел, глядел на меня, потом позвал, не отходя от повозки:

— Александр! Ходи-ка сюда!

Я еще немного посидел и пошел к нему, и руки у меня размахивались разом, в одну сторону — назад и вперед, и идти совсем было трудно, и я не знал, как их заставить раскачиваться порознь.

— Ну, здорово тебе! — сказал Момич и протянул мне руку, а я так и подал ему обе свои, и, когда он сжал их и потряс, я оглянулся на коммуну и заплакал. — Ну во-от, встрел гостя! — протянул Момич. Он не отпускал мои руки и стоял, наклонившись, и от бороды его несло чем-то сладким и веселым, — наверно, той желтой медовкой, ехать-то пришлось через Лугань.

— Чего это ты? А?

— Живот все время... болит и болит, — пожаловался я, а он лапнул меня за плечи, пощупал их зачем-то и сказал:

— Ну-к и что? Ревом-то его не вылечишь небось!

— Да я и не реву, — сказал я и опять оглянулся на коммуну.

— Животы, они часто болят у людей. Вроде бы ел тогда человек молоко, а отрыгается чесноком, — сочувственно проговорил Момич, глядя на меня испытующе и весело: пил, наверно, ту медовку, раз ехал через Лугань.

Я отвернулся от него и стал глядеть на жеребца и на немую рейку в проеме дверей конюшни. Мне было как в тот раз на парине возле Кашары, когда Момич сказал, что под наше добро подвод и подвод нужно, и скажи он теперь еще чего-нибудь насмешливое про нас с теткой или про коммуну, я б повернулся и ушел от него, может быть навсегда. Но он шагнул ко мне, опять облапал плечи и сказал настойчиво, сердито:

— Ну ладно, не дури!.. Живешь-то как?

Если б он спрашивал не про меня одного, а про всех разом, — про тетку, про Царя, про всю коммуну, тогда б дело другое было, тогда бы я вытерпел и не признался, а тут... Тут я ничего не мог поделать — ни молчать, ни говорить, и я заревел снова, оглянулся на коммуну и крикнул Момичу:

— Ну чего стоишь? Давай скорей поедем отсюда! А то увидит председатель Лесняк и... Вон туда давай, за сад!

Он молча вскинул меня в повозку на бугристый мешок, набитый чем-то упруго-податливым, вспрыгнул сам и, крутнув петлей вожжей, приглушенно и озорно прикрикнул на жеребца:

— У-у, Змей Горыныч, дава-ай!

Роса уже подсохла, и следы от колес повозки не были заметны,— я только и думал, чтоб они не виднелись на траве. За садом, возле развалившегося каменного вала, Момич придержал жеребца и, полуобернувшись ко мне, шепотом спросил:

— Тут, что ль?

— Тут,— кивнул я.

— Ну?

— Больше ничего,— сказал я,— за теткой теперь надо сбегать... А за сундуком потом когда-нибудь приедем, ладно?

— Да на черта он сдался вам! — нетерпеливо и бесшабашно, медовку потому что пил, сказал Момич и сразу же посерьезнел: — А насчет этого самого... Петрович-то ваш как? Вместе думаете ехать или...

— А ему только тут и жить! — твердо и в какой-то неосознанной обиде на Царя повторил я слова Кулебяки.— Мы с теткой одни собирались. На покров день аж... А за сундуком потом хотели...

— Хотели! — недовольно хмыкнул Момич.— До покрова, брат, далеко. Вы б лучше взяли и...— Он не сказал, что нам надо было взять и сделать, и распорядился, будто у себя возле клуни: — Беги за Егоровной! Жива!

Уже шагах в пяти от повозки я почувствовал все то, что бывало со мной, когда я собирался перелезть чужой тын,— пустоту в животе, полынный холод в груди, сердце под самой шеей и еще хрипоту: голос тогда у меня делался толстым и низким. Я толчками вошел на веранду и оттуда, через порог, опять увидел всех коммунаров, блескучие миски с радужными завитушками пара над ними и сияющий орден на оттопыренном кармане председателя Лесняка. Председатель Лесняк гонял ложку, будто наматывал клубок ниток,— стербал, и глядел исподлобья на мои ноги. Я не переступил порог в пищевой блок, и тетка сама пошла ко мне, торопясь и оглядываясь. Я попятился в глубь веранды, к сундуку, и там привстал на цыпочки, чтобы сразу, в ухо под косынкой, сказать ей о Момиче. Она, наверно, подумала про что-нибудь плохое со мной, потому что тоже, как и я на веранду, двигалась ко мне толчками и шептала:

— Ох, Сань! Ох, Саны!

— Дядя Мося приехал! — хриплым шепотом сказал я ей в ухо под косынкой.— На жеребце! Мы вон там за садом спрятались! Иди скорей!..

Я выбежал в сад, обогнул угол коммуны и прошмыгнул в общежилку. Это было все равно что рвать помидоры или огурцы, когда уже перелезешь между: хватаешь какие и как попало, и думаешь совсем о другом, и глядишь не под руки, а совсем в иную сторону. Оттого я и захватил только подушку да одеяло, а пиджак забыл. Я еще в общежилке знал, что не взял его, но это вспомнилось уже после того, как я закатал в одеяло подушку и побежал. Это тоже как в чужом саду. Раз ты уже держишь зубами и руками подол рубахи, то никак не остановишься, чтобы сорвать самое, может, большое и красное яблоко, виси оно прямо над твоей головой,— тогда только и знаешь — бечь и бечь, хотя за тобой никто и не гонится...

Тетку я увидел за садом, в спину. Она шла, закинув руки за голову и расставив локти,— развязывала и опять завязывала концы косынки. Она, как при игре в жмурки, когда не знаешь, на что наступишь, высоко поднимала ноги,— наверно, обстрекалась в саду об крапиву и все боялась опять обжечься, хотя крапива возле вала не росла. Момич стоял у задних колес повозки и глядел на тетку. Они даже не поздоровались, потому что тетка остановилась шагов за пять от повозки и не отняла от головы руки. Момич стоял, одергивая на себе рубаху, и молчал. Потом он переступил с ноги на ногу и сказал, будто оправдывался, не отводя взгляда от тетки:

— Еду, а там, гляжу, нынче ярманка... В Лугани. Так что... сундук, к примеру, можно сторговать любой.

— Да этот-то был... хороший,— прерывисто сказала тетка и беспомощно опустила руки.— С разводами...

— Ярманка ж, говорю, в Лугани! — просяще сказал Момич.— Так заодно и иное прочее приглядим. Одеялы, подушки какие ни на есть...

— Господи, да как же мы без всего поедem, Сань! — обернулась ко мне тетка, а Момич опять сказал, но уже нам обоим:

— Ярманка ж, говорю, по пути! Что ж нам тут теперь!..

Тетка все же дважды прокрадывалась на веранду и возвращалась с незаметными узлами.

Как только мы сели в повозку и Момич погнал жеребца, мне, как и тогда в Камышинке, стало жалко и обидно за всех, кто не уезжал вместе с нами.

Тетка зря боялась,— никто над нами не смеялся, потому что приехали мы ночью. А если б и днем заявились,

тоже ничего. Даже лучше б было. Сгружали-то мы все новое — и сундук, и два одеяла, и две подушки, и Момичев мешок, набитый чем-то съестным, а я как оделся в Лугани в городской полусуконный пиджак, так и сидел всю дорогу. Всякий бы подумал тогда, что это нам в коммуне выдали. Какой же тут смех!..

Каганец мы все-таки засветили. Хата показалась мне не веселой, чужой. Она совсем занушила и даже ростом уменьшилась, будто присела. И пахло в ней как в погребе, хотя окно было выбито. Ужинать мы не стали, — в Лугани всего-чего наелись, — и, когда легли, я сразу притаился, будто заснул, а сам стал думать о коммунарском пруде, о Кулебяке, потом о Дудкине, о школе, об утильсырье, о своей хате. В печке под загнеткой у нас все время жили два сверчка. Теперь их не было. Ушли куда-то. Слушать-то некому... Когда я о них подумал, тетка засмеялась и сказала:

— Да спи ты, дурачок! Придут наши чурюканы... Как обживемся, топить начнем, так и явятся. Спи!

На заре, до просыпа села, Момич принес новую застекленную раму, — загодя до нас, наверно, сделал, — и торопливо владил ее в пустые лутки окна.

— Ежели хату обновлять задумаете, то возле клуни белая глина лежит. Воз целый, — сказал он по выходе.

Хату мы побелили внутри и снаружи, и она сразу стала похожа на тетку в праздник. Мы целыми днями работали, никуда не отлучаясь, и никто над нами не смеялся, тетка зря боялась. Только один раз, когда я подметал двор, Момичева Настя подозвала меня к плетню и, оглянувшись на свою хату, спросила:

— Али не сладко было на чужой стороне?

— Много ты понимаешь! — сказал я и сплюнул как Кулебяка. — Там знаешь какой дом? С десять или двадцать хат! А пруд, а все!

— Чего ж прибегли?

— Захотели и... приехали! — сказал я. — Перезимуем тут и опять уедем! Шоняла-поц?

— Ну-ну! — недобро засмеялась Настя и пошла прочь, потому что Момич появился на крыльце и встал к нам боком. Запоздай он немного, и я бы рассказал Насте, что нам навывадали в коммуне...

Меня манили раkitник, речка, луг. За ними, в полях, прибойно ластилась и выпрямлялась, ластилась и выпрямлялась спеющая рожь. Стояла истомная преджнитвенная жара. Мы

с теткой чуть дождались воскресенья. Она нарядилась, выставила надо лбом белый куль носового платка и попросила:

— Сань, ты меня дуже не жди. Возьми вон из мешка, чего знаешь, и поешь. Ладно?

В церковь, наверно, торопилась, — соскучилась по своим страшным картинам. Я пожалел, что картуз и ситцевая рубаша сильно заносились в коммуне, и надел новый пиджак. Через улицу я прошел в нем, а в раakitнике снял — тут его некому было видеть. На берегу речки меня ждали мои давние потаенные закоулки, заплетенные по бокам лозинами и хмелем, заросшие прохладной травой-купырем. Таких мест-церквушек я знал не одно и не два, и в каждом мне сиделось одинаково — не хотелось думать и знать, что все тут росло и береглось само, без меня. Я сидел в купыре, а ноги держал в воде, и в пятки мне то и дело щекотно торкались пескари — осмелели без меня! Мне ничего не хотелось — сидеть и сидеть и ни о чем не думать и не помнить. К моим ногам подплыл большой, кривой и совсем целый огурец, — наверно, в том конце Камышинки кто-то упустил нечаянно. Он застрял у меня между щиколоток, и я вытащил его ногами и съел весь целиком — холодный, не то горький, не то сладкий, первый в то лето. В раakitнике я просидел до полудня, а потом меня потянуло на выгон — к ветрякам, к окóлку и ко всём знакомым местам, чтобы все видело и знало, что я опять тут, в Камышинке. Трава на выгоне подсохла и уже побурела, зато у канав и прясел цвели розовые метелки придорожника. На них качались черные волосатые шмели, и, когда я проходил, они ворочались и сердито гудели, и я прозвал их «момичами». Я постоял у каждого ветряка, обошел вокруг обмелевшего окóлка и завернул на дорогу, по которой мы с Момичем ездили метать парину возле Кашары. Дорога совсем обузилась — с обеих сторон на нее навешивалась желтая повесть колосков. Я сделал из них толстый и важный кропильник — тетку хотел повеселить, нарвал беремья васильков, — тоже ей, и незаметно подошел к лесу. Тут сразу стало прохладно, — все равно как в сенцах, когда выбежишь за чем-нибудь из душно натопленной хаты, и пахло молозиевыми орехами, разомлевшим дубом и земляникой. Она уже переспела и опадала сама, чуть дотронешься, и ее надо было искать в гущине кустов, где поменьше солнца. Там она росла на высоких былках, и их можно было рвать под корень, чтоб получился пучок для тетки. Мне мешали пиджак, кропильник и васильковый веник, и я выбрал купу ореховых кустов, какие погуще,

чтобы спрятать там все, а потом найти. Я все так и сделал, как хотелось, — тихо и пригнувшись, чтобы незаметней быть одному в Кашаре, и когда вылез из кустов, то совсем недалеко, под низким толстым дубом на поляне, увидел тетку и Момича. Они сидели бок о бок, и голову Момича криво опоясывал величиной с решето лохматый венок из ромашек вперемежку с колосьями ячменя, — тетка, наверно, сплела, не сам же Момич! Они сидели прямо, строго и молча, будто только что поругались, и неожиданно тетка сказала:

— Мось, давай скричим песню!

Момич искоса взглянул на нее, но ответил сипло и мягко:

— Ну-к что ж!

Тетка уостила ногу на ногу, подперла ладонью щеку и завела никогда не слыханное мной:

— Ах ты, ягодка-а, самородинка-а...

— ...распрекрасное мое деревцо-о! — широким, притушенным голосом встрял сразу Момич. Я присел за кустами, и спина у меня похолодела отчего-то.

— Ты когда взошла, когда выросла, ты когда цвела, когда вызрела? — томительно-протяжно пела-спрашивала тетка, а Момич низко и раздумчиво гудел:

— Я весной взошла, летом выросла, я зорей цвела, солнцем вызрела...

И снова ласково-печально спросила тетка:

— Ах ты, ягодка, самородинка, распрекрасное мое деревцо!

Ты почто рано позаломана, во пучечики перевязана, по дикой степи поразбросана?!

Что собирался пропеть-ответить Момич — не услышалось: сомлевший от благодарной радости ко всему, с чем мне довелось встретиться в этот беспредельный день, я вышел из-за кустов, подошел к тетке и Момичу и сел у них в ногах...

Домой мы возвращались вечером и шли гуськом — сперва я, потом тетка, а далеко позади — Момич. Венок свой он повесил в лесу на дубу.

В хате нас с теткой поджидал дядя Иван. Он, видно, только что заявился, потому что сидел понуро и уморенно. Кожух его был без воротника — спорол.

— Сманили, змеи, а сами драла! — беззлобно сказал он нам и попросил есть. Я почему-то решил, что теперь он не будет шалопутить.

Трудное это дело — найти, когда ты совсем не ждешь того, а потом почти сразу потерять и долго не знать об этом и ходить и думать, что оно есть у тебя. Тогда лучше не находить, чтобы не жалеть себя и не обижаться на потерянное...

Я лишь осенью, придя в школу, узнал, что Саши Дудкина нету в Камышинке, — наверно, как ушел тогда весной в какой-то волкомпарт свой, так и остался там... А я приготовился к встрече и нес ему все в той же сумке с петухом большой кусок сота, — Момич когда еще дал, а я все берег, — обернутый пятью капустными листьями; нес свой новый, на погляд ему, пиджак; таил длинный, заученный наизусть рассказ о коммуне, — не о председателе Лесняке, общежилке и пищевом блоке, а о моей ком-муне, потому что только такая она и годилась бы тому, кого ты любишь, и хочешь, чтобы ему хорошо слушалось и радовалось. А вместо Дудкина к нам пришла новая учительница. Она не виновата была, что приехала в Камышинку, да только мне оттого проку не виделось, — я не хотел глядеть в ту сторону, где она стояла, — коротконогая, с водянистыми выпуклыми глазами и рыжая, как одуван, и не хотел помнить, что зовут ее Евдокия Петровна. Дунечка!.. Она задала нам урок по вольному сочинению, кто, где и как провел лето. Это было то, чего я хотел, идя в школу. Я бы исписал про свою коммуну целую тетрадь, а потом на перемене, чтоб никто не видел, отдал бы Дудкину мед. Мы могли попробовать его вместе. Отойти за школу, где утильсырье, и там съесть... На дворе был сухой и яркий день. От окна и к задней стене класса тянулся через парты круглый и толстый, как матица в Момичевой клуне, солнечный столб. Дудкин бы ходил и ходил в нем, а Дунечка опасалась его и стояла сбоку, в тени, как одуван в холодке подворотни. Я все время помнил о меде и незаметно залез правой рукой в сумку — вытек или нет? Учительница колыхнулась и пошла к моей парте, минуя луч, а я уже вонзил пальцы в отрадную клеклость сота, и они там завязли и не хотели вылезать.

— Товарищ! Ты что там возишься? Почему не работаешь? — нелюдимо спросила Дунечка и потянула мою руку из сумки. — Что такое? Что это?

Она, наверно, испугалась длинноты моих пальцев,

потому что с них свисали желтые медовые сосульки, и я сначала облизал их, а потом ответил:

— Мед.

— Что-о?

— Мед,— повторил я, и у меня опять получилось «мот». Кто-то из ребят стыдливо засмеялся, а Дунечка оторопело посмотрела на мою руку, приказала «работать» и пошла на свое место, в тень. Пузатой ручкой, накрепко прилипшей к пальцам, я написал в тетрадке пять слов — «Летом я жил в коммуне». Я написал это красиво и лупасто,— ручка не ерзала, а Дунечка дольше всех других читала мою тетрадь и взглядывала на меня, как раньше на мою правую руку.

— Ты на самом деле жил в коммуне? — будто пугаясь чего-то, спросила она меня издали. Я не ответил, а она подошла к парте и наклонилась над ней, и мне запахло улежалыми грушами,— ела, наверно, в Камышинке их много.— Слушай, товарищ! Это ж изумительно! Встань и расскажи классу о коммуне! Обо всем, что ты там видел! Это ж изумительно!

Может, она ела не груши, а «коханки»,— запах одинаковый, что у груш, что у дынь.

— Что ты там видел? Самое главное и интересное? Ну?

Она спрашивала с придыхом, пугаясь, волнуясь и радуясь,— все вместе, и я сказал:

— Пруд.

— Ну хорошо, пусть пруд. А еще что?

— Сад.

— А в саду?

Она не знала, как люто не любил я ее в эту минуту,— за Дудкина не любил, за свой пропавший, приготовленный ему рассказ о ком-муне, за не замеченный никем тут пиджак...

— Что же было в коммунарском саду?

— Яма,— вяло сказал я.— А там теленок... Сидит и чуть дышит...

Под хохот всех учительница горестно сказала, что не мне бы жить в коммуне, не мне! Наверно, она разгадала, что ямысленно сказал ей по-«шыр-на-выровски», потому что худшего ученика, чем я, среди четверяков для нее в ту зиму не было...

Вернись мы с теткой домой на покров день, как она хотела, мы б опоздали на собрание, когда наш камышинский

поп отрекался от бога. Собрание было в школе, на самый покров день, вечером. Народу собралось — не пролезть: исполнители с самого утра гнали, а поп пришел поздно, и я впервые увидел его тогда одетого не в рясу, а в полушубок и штаны, как все мужики. Разом с попом, сзади, на собрание пришли председатель сельсовета, уполномоченный из Лугани и милиционер Голуб. Он был как на картинке о войне — в желтых перекрестных ремнях, с наганом и саблей. До этого я видел раза два Голуба верхом на коне. Серый, в яблоках, под высоким — казацким, говорили, — седлом, голубовский конь не мог быть ни жеребцом, ни кобылой, ни меринком, а только конем, как на войне. Все, что я знал к тому времени из школьных книжек о Ковтюхе и Чапаеве, все это сошлось и остановилось для меня на живом, а не картиночном герое — на Голубе. В черном с белыми выпушками коротком полушубке, в серой шапке-кубанке на ухо, в перекрестных боевых ремнях, с саблей и наганом по бокам и с винтовкой наискось за спиной Голуб-Ковтюх-Чапаев командовал не одной нашей Камышинкой — что она ему одна! — но и неизвестными мне селами за нами — Чикмаревкой, Гастомлей и Липовцем. Может, оттого ему и нельзя было ездить шагом или рысью, а только галопом, пригнувшись к гриве коня, как при атаке на белую конницу генерала Улагая...

Когда поп зашел, то снял в дверях шапку и поклонился собранию сперва в пояс, потом два раза помельче — точь-в-точь как наш Царь председателю Лесняку. Все, кто сидел на партах, встали как виноватые, и до самого конца собрания я не увидел больше Голуба, — мы с теткой поместились в самом задку. Не виден нам был и поп — спины загораживали. Он негромко, но явственно сказал, что по науке бога нету и не было.

— Значит, ты умышленно обманывал веками трудящийся народ?

Нам с теткой не видно было, кто спросил это — уполномоченный из Лугани или Голуб. Поп что-то ответил, но совсем неслышно, и тогда Голуб — я по военности голоса догадался, что это он, — крикнул:

— Ты мне тут не пой по малиновому мосту, а давай говори правду, как показывал раньше!

В школе наступила душная тишина, а поп все молчал и молчал, и тетка стала зачем-то быстро оглядываться и суетиться, будто искала кого. Тогда и погасла лампа. Она стояла на верхней перекладине нашей четверяковской

доски — большая, двадцатилинейная, может, и все время моргала — пыхнет и прижмурится, пыхнет и прижмурится. В темноте сразу стало прохладней и просторней, — люди зашевелились.

— Обманывал или как?!

Конечно ж это опять крикнул Голуб — не успел при свете, и мне стало боязно и хотелось, чтобы поп скорей ответил ему.

— Ну?

— Заблуждался... с божьей помощью, — пискляво, с переливами сказал поп, но никто не засмеялся, потому что сразу же, справа от нас с теткой, от печки, услышался всеми — и Голубом тоже — угрожающе-обиженный голос Момича:

— Слышь ты, служба! Поиграл с человеком — и будя!

Он подгадал к завету спички — наш школьный сторож дядя Прохор стоял на табуретке возле доски спиной к собранию и светил самому себе, чтоб снять с лампы пузырь, но он был накален, и дядя Прохор понес спичку из правой руки в левую, — обжегся, видно, и спичка выпала и погасла, и в новой темноте Голуб протяжно и властно крикнул на собрание:

— Што-о? Кто сказал?!

Была какая-то трудная и тягучая пауза, пока дядя Прохор не зажег вторую спичку, — может, Момич нарочно ждал, и, когда лохматая тень дяди Прохора шаракнула по потолку, Момич сказал удивленно и растерянно, — к соседям, наверно, обращался:

— Вы поглядите-ка! Вerezжит аж...

Тетка могла и не толкать меня, отсылая к Момичу, я и сам уже кинулся к нему промеж частогола ног, неподатливых, как ступы. Тогда дядя Прохор справился и вздул лампу. Момич просторно, один, стоял возле печки и взглядывался из-под руки в сторону дверей, где были поп и Голуб, а слева от них — стол и за ним уполномоченный из Лугани и наш председатель. Момичу совсем не нужно было глядеть так, — там и без руки хорошо все виднелось, потому что люди раздвинулись и получилась дорожка — хоть Голубу к Момичу, хоть Момичу к нему. Свободно иди! Может, Момич и пошел бы к дверям — и тогда неизвестно, что было б, но я подшмыгнул к нему сзади и потянул за фалды полушубка. Он и на меня посмотрел из-под руки, когда оглянулся, а я схватил ее в обе свои и прижался к печке. Я никуда не смотрел

и не знал, держу ли я Момичеву руку-ковш в своих руках или же сам держусь за нее. Я только слушал — ступает или не ступает к нам Голуб...

Уполномоченный из Лугани долго и складно, будто всю жизнь ходил тут к обедне, корил нашу церкву, и дядя Прохор раз пять взлезал на табуретку и засвечивал лампу — она все тухла и тухла. На мне все было мокро, хоть выжми, и ноги скользили как по горячему илу — со спины и живота пот стекал прямо под онучи в лапти. Если б лампа не тухла, то уполномоченному из Лугани легче б виднелось, кто подымал, а кто не подымал правую руку, чтоб закрыть церкву, но в темноте было трудно, — мало того, что душно, но и не видать ничего, и он, наверно, обиделся на нас и закрыл собрание...

На воле светил месяц, брехали в камышинских дворах собаки — так, ни на кого, и не вовремя рано, кричали петухи, обещая веселую ночь. По выгону растекалась дымно-седая пелена, и под лаптями ломко хруптела обывшая трава.

— Ты один тут? — спросил Момич.

— Не, мы вместе, — ответил я.

— Сомлел к чертям! — облегченно сказал он. Мы сошли к огородным пряслам, и Момич остановился там и снял шапку. Из нее, как из чугушка, валил пар. Камышане толпами вливались в проулок к селу. — Ты б сустрел Егоровну, пока я охолону тут, — сказал Момич, но тетка сама увидела нас с проулка.

Мы пошли по выгону возле огородов — иней тут был гуще и лучистей. Теткин куль сник и сбился, и шла она торопливо, то и дело оглядываясь по сторонам. Момич забыл, видно, про шапку и нес ее в руке.

— Евграфыч, ты на случай не запомнил, сколько годов тебе? — неожиданно и укоряюще спросила тетка.

Момич поспешно накиннул на голову шапку и повинно приостановился:

— А што?

— Да по разуму-то ты вроде вот Саньки! Нашел с кем брань затевать!..

— Да неш я затевал? — искренне спросил он.

— Ну прямо как Санька! — к моему ликованию, опять сказала тетка.

— А я, вишь, тоже рос без отца и матери, вот оно и... — обиженно проговорил Момич, а тетка качнулась к нему и пошла тесно и молча под мышкой у него...

Царь ни разу не сшалопутил, а Момичу то и дело приходилось бывать у нас во дворе: то картошку ссыпал в погреб, то мешки заносил в сенцы, то то, то другое,— он сильнее чем до коммуны жалел нас с теткой и землю нашу в то лето не опустовал, обработал исполу, как и раньше. Когда он, справив что надо, уходил, тетка неизменно спрашивала меня, если поблизости торчал Царь: Ну что бы ты делал, коли б не соседи, а?

— Да в побирушки пошел бы! — глядя на нее, говорил я не ей, а Царю, потому что она тоже спрашивала это не у меня, а у Царя, и он ни разу теперь не сшалопутил и жил тихо и смирно. Он не вспоминал о дележке и не считал своими тех трех курей, что достались ему и не захотели ловиться, когда мы уезжали в коммуну. Ютился Царь в чулане и на печке, а мы с теткой жили во всей остальной хате. Нам лучше всего думалось и разговаривалось ночами — в сенцах привыкли. Когда мы пришли с собрания и легли спать, я спросил у нее про церкву:

— Что ж теперь — и праздников больше не будет?

— Да я и сама вот гадаю,— сразу отозвалась она,— может, другое что власти придумают, а то как же людям без звона-то!..

В том девятьсот тридцатом, с рождества, тетке пошел сорок первый, а мне двенадцатый год. Потом, позже, я узнал, из паспорта, что родился в марте, но тетке, видно, хотелось, чтоб года нам исполнялись разом, в один день,— вместе получалось веселей, и ни в Камышинке, ни во всем, может, свете, никто так не встретил ту зиму, как мы с нею. Зима тогда наступила поздно,— сырая, тяжелая кура повалила в ночь под самое рождество, а утром треснул безветренный мороз и получился большой веселый иней — «вйшай» по-нашему. Это когда снег облепляет каждую ветку, каждый кол в тыну, любую былинку на огороде и лозинку на речке. По вйшаю все чего-то ждешь — хорошего и чистого — и немного тревожишься, что оно возьмет и придет к тебе не вовремя, не теперь вот. Нам с теткой ожидалось это легко, только временами беспокойно делалось за вйшай — вдруг мир разденется и станет опять прежним, всегдашним. Но ветра все не было и не было, и снег на деревьях окреп и утвердился. Меня не сильно тянуло в школу, а тетка не неволила. «В такую

благодать да сидеть взаперти!» — сказала она, и я ходил туда через два дня на третий.

Тогда с нами приключилось что-то непутевое — мы не могли ни пообедать, ни поужинать, чтоб не расхохотаться. Как только мы садились за стол и Царь накидывал на плечи свой кожух, так на нас с теткой накатывался необоримый, как напасть от ворожбы, смех. Нам нельзя было взглянуть друг на друга, чтоб не прыснуть, и мы смеялись не над дядей Иваном, а оттого, что он думал, будто мы смеялись над его кожухом без воротника; мы хотели, чтоб не смеялось, а получалось еще хуже. Царь обижался и уходил в чулан, а тетка, уже через силу, говорила мне, что это у нас не к добру. Тогда я показывал ей на Момичеву хату, — под аршинным слоем снега на крыше она утратила свой обычный «момичевский» облик и походила на тетку с миткалевым кулем надо лбом.

— Видишь? — спрашивал я.

Тетка не отвечала, а только охала и жестами высылала меня поглядеть, на кого похожа теперь наша хата. Наша выглядела как дядя Иван в шапке, но мне не удавалось сообщить это тетке — она загодя махала на меня руками и падала на лавку, сморенная смехом:

— Ой, молчи! Ой, не надо, а то помру!..

У нас почти завсегда сбывалось то, чего мы хотели и ждали. Вот как с коммуной. Тогда полностью вышло все по-нашему: о чем задумали сначала и под конец, то и получилось, — тетка правду, значит, говорила, что сиротам земля кругла. И мы с нею зря долго не спали в ту ночь, когда вернулись с собрания на покров день, — праздники не пропали, хотя церква с тех пор стояла немой. Она оказалась ненужной, потому что и без колокольного звона в Камышинке не прекращался какой-то сплошной самодельный праздник. Он начался сразу, как только в кирпичной церковной сторожке открылась изба-читальня, а в опустевшем поповском доме поместился сельсовет с флагом над коником. Флаг был новый, большой и, видать, шелковый, как мой галстук, подаренный Дудкиным, и оттого, что его не снимали ни днем, ни ночью, никому, наверно, не хотелось думать о буднях, а нам с теткой — и подавно.

Теперь к нам в Камышинку то и дело приезжали уполномоченные из Лугани. Может, дело тут было в зеленых парусиновых портфелях о двух блескучих замках, которые они носили под мышками, может, в непривычной

для Камышинки, легкой по вишаю, хромовой обуве, а может, в чем-нибудь другом, не разгаданном тогда мной, но только люди эти навсегда остались для меня непостижимо загадочными, все равно что таинственные названия островов и городов в «Географии»: Мадагаскар, Рио-де-Жанейро, Шпицберген, и я проникался к ним уважительной робостью и застенчивой тревогой — как бы им не было плохо в Камышинке. Мало ли, чего им захочется, а тут этого нету, хотя они и определялись на постой в богатые каты, а не в такие, как наша.

Тогда что ни день, то выпадало собрание. После того раза мы с теткой не ходили на них — в Камышинке и без того становилось все веселей: никто ничего не делал по хозяйству, а ели всё скромное, потому что не заговлялись, и в корогодах гуляли не только молодые, но и старые. Как пожары в ветреную засушь вспыхивали в ту пору свадьбы, и возле тех дворов, где они бушевали, снег превращался в ледяной ток, — утаптывали в плясе, кто не втиснулся в хату и сенцы. За Момичева Настю посватался тогда Роман Арсенин, и на второй день Момич зарезал своего черного быка и улицей, на виду всех, кому захочется глядеть, принес нам целый кострец. Мясо он внес прямо в хату, свалил на стол и сказал не нам с теткой, а Царю:

— Вот, сосед. Перемерял журавель десятину, говорит: верно!

Царь ничего не ответил — что ж тут уразумеешь, а Момич не уходил, стоял и ждал чего-то, и вид у него был не свой всегдашний, а какой-то угрожающий — не замай нас.

— Егоровна, а у вас ненароком не сыщется чего-нибудь в хлопущках? — обернулся он к тетке. Она с затаенной опаской взглянула на Царя и степенно сказала:

— Мы, Евграфыч, хмельного не держим. Но ежели нужно... и ежели вот хозяин не прочь, то добыть можно.

— А я и не прочь, — буркнул дядя Иван, глядя себе под ноги, и поежился под кожухом как от озноба. Тетка накинула на плечи тулуп и пошла было из хаты, но Момич повел на меня глазами и приказал:

— Александр! Сбегай-ка сам. Да поживей!

Он дал мне слежалую троячку, — загодя, видимо, сготовил и прятал в кулаке, и я понесся в кооперацию. До нее было с версту. Она стояла под бугром, возле гати, и я понесся по льду речки, чтоб шагов десять

бечь, а шагов десять катиться. В самой лавке и наруже толпились бабы, и у каждой под мышкой млеп петух,— ситец давали в обмен на курей. Бутылку с водкой я понес домой в открытую, чтоб все видели и знали, что мы с теткой тоже празднуем. Я для того только и свернул в проулок, чтоб сбегал из села к гати, и там, под бугром еще, меня настиг Голуб. Он сидел на своем коне, с винтовкой за плечами и с шашкой на боку, и ехал шагом, потому что впереди шли три мужика в длинных поярковых зипунах. Двое из них несли на плечах сумки, а один шел без ничего, и, когда я посторонился, он, поравнявшись со мной, быстро сказал:

— Малый, ты чей тут? Передай, слышь, Арсениным: мол, Данилу Губанова забрали. Из Чикмаревки...

— Поговори у меня, б... худая! — озябло крикнул Голуб и ударил плеткой коня. Те двое, что несли сумки, прибавили шагу, а Данила, оглядываясь на морду голубовского коня, опять сказал мне:

— Из Чикмаревки, мол. Не позабудешь, а?

Я побоялся ответить ему, спрятал в карман бутылку и пошел не улицей Камышинки — «собаки будут брехать», — а низом, по-над речкой.

В хате у нас вкусно пахло. Тетка возилась в чулане возле загнетки, а Царь и Момич молча сидели на лавке поодаль друг от друга. Я поставил на стол бутылку, выгреб из кармана серебряную сдачу и подал ее Момичу, но он отвел мою руку и назидательно сказал:

— Пряников бы набрал тетке своей. Не смикитил?

— А у ей и так ландрины по-за скулами не тают! — ехидно проговорил дядя Иван и взглянул на Момича коротко и свирепо. Со сковородкой в руках тетка высунулась из чулана и пошла к столу, глядя на Момича тревожно и недоуменно. Я подошел к лавке и сел между Царем и Момичем.

— Ну вот и мясушко поспело. Кушайте на здоровье и не буровьте, чего не след! — напутственно сказала тетка, сажая на середину стола сковородку. Момич ребром ладони вышиб из бутылки пробку, наполнил чашку и бережно подал ее Царю. Не глядя ни на кого, дядя Иван поднес ко рту чашку обеими руками и пил долго, со-суще, неряшливо взрыгивая и дергаясь, — не привык. Момич искоса, брезгливо хмурясь, следил за ним и, как только Царь опростал посуду, спросил у него удивленно и заинтересованно, как о прибыли на двоих:

— Стало быть, не тают? Ландрины-то?

— Во-во! — озлобленно и звонко, как свое «дяк-дяк», проговорил Царь и мясо не взял, стал есть хлеб.

— Ишь ты! — уважительно протянул Момич.

Тетка перегнулась через стол, подсунула поближе к нам с Царем сковородку и сказала сухим и низким голосом:

— Господи, да отчего ж вы не едите? Чего это с вами?

Момич даже не взглянул на нее, а Царь оттолкнул сковородку и крикнул, хмелея и готовясь, видно, к чему-то плохому для всех нас:

— Убери к чертям и не егози! Раскудахталась тут!

У Момича медленно взломались и взъерошились брови. Они не опали, пока он наливал и пил водку — одним глотком всю чашку, как холодильник в жнитву, и, когда он обернулся к Царю и с угрозой спросил: «Ландрины, стало быть?» — я встал у него между колен. Момич посунулся назад, взял меня под мышки и понес в сторону от себя, как непорожний кувшин. На весу я и придумал ему тогда свою роковую брехню:

— Дядь Мось! Там возле гати Голуб Данилу Губанова убил!

Момич поставил меня на пол и даже оттолкнул, но я опять втиснулся промеж колен его.

— Саблей убил! Слышь, дядь Мось!

Я не говорил, а кричал. Момич мутно, вскользь, взглянул на меня и спросил трудно, как из-под ноши:

— Кто убил? Кого?

— Голуб! Данилу!

— Какой такой Голуб? Чьего Данилу?

В хате наступила тишина, и мне стало страшно, потому что я сам поверил в то, что сказал.

— Какой, говорю, Голуб? — повысил голос Момич, глядя на меня не с добром.

— Что на попа верезжал! — сказал я.

— Ну?

— Данилу из Чикмаревки, что Арсениным родней доводится...

Я будто мчался под обрыв на салазках, когда в груди колоче шевелится страх предчувствия неминуемого падения, перемешанный с отрадой продолжающегося полета и упованием на его скорый конец. Перед ним всегда успеваешь подумать — больно будет или нет и останутся ли целыми салазки. Это кончается сразу, как только ты

очутишься в голубых потемках сугроба, где тобой овладевает одно-единственное победное чувство — скатился! Все это я испытал и в тот раз. Момич наконец уразумел, о чем я кричал ему, и, неведомо кому, сокрушенно сказал:

— Ну вот. Дай черту волос, а он и за всю голову...

Он встал и пошел к дверям, а следом за ним кинулась тетка, подхватив тулуп на руки. Царь подождал немного и, покосясь на дверь, каким-то хватко-вороватым рывком сцапал бутылку. Если б он не обрадовался и не засмеялся, я, может, на несколько дней сохранил бы сознание предотвращенного, как мне казалось, большого несчастья в нашей хате, праведно замененного мной тем, выдуманном, но Царь захихикал, и, в недетском взрыве обиды и ярости к нему за свою неоплатную брехню, я по-момичевски угрожающе сказал:

— Не замай!

Он встряхнул бутылку и плеснул мне в лицо рьяно холодной водкой...

Тетку с Момичем я догнал под бугром. Они торопились к гати — тетка шла по тропе, а Момич сбоку, по колени в снегу. О том, что к гати незачем ходить, я сообщил им в спины шагов за двадцать. Момич выбрался на тропу и шагнул было ко мне, но его тут же окликнула тетка. Она что-то сказала ему и засмеялась. Момич оглянулся, примирительно махнул мне рукавицей: иди, мол, домой — и слез с тропы опять в снег. Они пошли не спеша, шаг в шаг, — наверно, в кооперацию сманились за чем-нибудь...

Я так и забыл спросить у тетки, зачем приходил к нам Момич, потому что со стороны Брянщины подул мокрый ветер — и белые сады разорились сразу. Несколько дней тогда стояла смурная и волглая погода, но, видно, той зиме суждено было проторопиться через нашу Камышинку все равно как приневоленному свадебному поезду, когда и хмель, и песни, и бубенцы, и невестин плач, и разноцветные полушалки, — все вместе: ви́шай сменил куржак, и выметнулся он тоже ночью, тайком после дождя, а утром проглянуло солнце о двух радужных столбах по бокам, и было тревожно глядеть на стволы и ветки ракиты, на изгороди, повети и трубы хат — все казалось непрочно-стеклянным и все лучилось сизо-бурым негожим отсветом. По такой погоде трудней, чем при ви́шае, ходилось

в школу, потому что калёная пупырчатая наледь покрыла все проулки и взгорки — и кататься можно было как угодно: и стоя, и сидя. Через это я и прозевал, как раскулачили на том конце Арсениных. Двух арсенинских гнedyх кобыл и чалого мерина я увидел на второй день на сельсоветском дворе. Они понуро топтались возле забора у опрокинутой красной веялки и загруженных чем-то саней. На мерине, как на собаке после драки, дыбом стояла длинная, перебитая соломой шерсть, и я подумал, что зря Арсенины считались богачами. Куда ж ихнему мерину до Момичева жеребца! Тот бы небось враз пересигнул через попов забор, того б тут не удержали!.. В тот день мне опять не удалось попасть в школу: на обледенелой церковной паперти я еще издали увидел Митяру Певнева, присланного недавно не то из Липовца, не то из Гастомли заведовать избой-читальней в нашей бывшей церковной сторожке. Митяра ничем не отличался от камышинских неженатых ребят с того или с нашего конца. Он не считался уполномоченным, и никакого интереса у меня к нему не было. Он меня не знал, но позвал как своего дружка:

— Иди-ка на минутку!

На порожках паперти лежали лестница и ременные вожжи, а в скважине зеленых церковных дверей торчал большой медный ключ. Заячья шапка на Митяриной голове сидела наось, а шубейка была распахнута, будто он только что колот дрова и уморился.

— Постой-ка тут, пока я отомкну,— сказал он мне и опасливо, обеими руками, два раза повернул ключ. Створки дверей плавно — сами — раскрылись внутрь, а Митяра отступил ко мне, поправил шапку и ожидающе заглянул в притвор. Там виднелись широкие деревянные порожки, огороженные гладкими и желтыми как бублик перилами, примыкающими к внутренним дверям церкви, и больше ничего. Митяра постоял-постоял и поднял лестницу.

— А ты захвати вожжи,— сказал он мне. Я захватил, и он пошел впереди, а я сзади. До этого я был в церкви раза два или три — тетка водила глядеть на диковинные картины, и все, что я там увидел тогда, осело во мне беспокойством и испугом. Чарующий и какой-то вечерний — хотя видел я это днем — блеск свечей; косые, веерно-крылатые полосы пыльно-золотистого света, проникавшие откуда-то сверху и пахнувшие совсем незнакомым и жалобным запахом; распевно гулкий, не то кличущий, не то прогоняющий людей голос дьякона; угрозно-неотрыв-

ные — прямо на тебя — глаза бородатых стариков с настенных страшных картин; поднебесная высота купола и гневный размах там божеских рук; поза и осанка знакомых и незнакомых камышан — стоят, молятся и чего-то ждут,— все это в моем воображении отторгло церкву от того моего оглядно-ручного мира, в котором я жил с теткой и Момичем. В нем все было понятно, и я знал, что и откуда к нам пришло: Момичеву клуню мы поставили вдвоем — я и он. Все хаты, сараи, плетни и ветряки тоже построили люди. Трава, подсолнухи, сливины и ракиты росли сами, потому что после зимы наступало лето. Свежие огурцы пахли колодезем, а груши — мятой. Темно становилось оттого, что кончался день... Тут все было нужным и мне близким, а в церкви этот мой мир почему-то тускнел и уменьшался, а большим и недоступно-ярким делалась только она сама. Я не решался подумать, что ее тоже построили люди,— этому мешали ее непонятные запахи, краски, звуки и то придавливающее и цепенящее чувство, которое охватывало меня в ней...

Митяра толкнул лестницей двери, и на середине церкви я увидел рассветно тусклые световые столбы, подпиравшие бога под куполом, а за ними льдистый блеск позолоты икон и кивотов, вздыбленные перистые крылья ангелов и гневные глаза больших синих стариков. Я ощутил колючий холод, свою заброшенность и страх — и снял шапку. Митяра обернулся ко мне и шепотом сказал:

— Зараз иконостас будем ломать...

В церкви зашелестело, как рожь под ветром, и я кинулся прочь. Наверно, Митяра выронил лестницу, потому что на паперти меня настиг заглушенный пережатый гул, будто гром над Брянщиной. Я побежал не в школу, а домой, чтобы рассказать про все тетке, и когда оглянулся, то увидел Митяру, уходившего по направлению к сельсовету.

Для тетки главное было, какие картины я видел и на какой стене — на правой или на левой. Ежели слева, то там страсти господни, а справа она и сама не знала что.

— Ты больше не лазь туда,— сказала она.

— А то чего будет? — спросил я.

— Мало ли! И молоденчик может приключиться, и белая ужась, и черный чемер... Пускай они сами ломают!

Перед обедом, пока Царь не слез еще с печки, тетка выглянула в окно на Момичеву сторону и с обидой на Настю сказала:

— Теперь эта дура так в вековухах, видно, и останется!
Я промолчал.

— А ты не разузнал... про Романову гармошку? Куда она делась-то? — неожиданно спросила тетка.

— Не разузнал, — сказал я. — А лошади ихние на поповом дворе стоят.

— Неужто с собой увез? Там же небось и слушать-то некому, — раздумчиво сказала тетка.

— Куда увез? — спросил я.

— Да на Соловецкие выселки какие-то. Аж на край света. Их же всех, говорят, ажно вчера вечером погнал туда Голуб твой...

Но Голуба я увидел дня через два возле сельсовета. Я решил, что Соловецкие выселки где-нибудь за Луганью или на Брянщине. Настя сможет доехать туда за день. Ихнему жеребцу это — что кобелю муха...

Мы с теткой никогда не доедали до конца борщ или похлебку, потому что свою миску — у Царя была отдельная — каждый раз наполняли с краями, — иначе невесело елось, и хлеб тетка резала большими скибками, и солили мы его так, что он аж хрустел, а потом черпали из ведра по полной кружке свежей воды и пили как в жнитву — долго и сладко. Мы сроду не узнавали заранее, сколько дней проношу я новые лапти, когда кончится пшено и мука, хватит ли нам дров, чтоб протопить завтра печку. Мы не любили короткие однодневные праздники и летучие события; нам всегда хотелось, чтобы все интересное, что случалось в Камышинке, продерживалось подольше.

Та зима была для нас такой, будто первую половину ее сделал веселый и озорной человек вроде Кулебяки, а вторую — председатель Лесняк. Куржак как настыл, так и остался. Днем то на том конце, то на нашем раскулачивался чей-нибудь справно огороженный двор, а вечером то тут, то там гулялись свадьбы, и нам с теткой не удавалось поспеть всюду — не разорваться ж! Почти каждый день под вечер исполнители стучали палками в окна — приглашали на собрания, чтоб записываться в колхоз. Их проводили то в школе, то в сельсовете, то в порожних кулацких хатах уполномоченные из Лугани. Мы с теткой не ходили на них — не разорваться ж! — да и уполномоченные, кроме одного Голуба, менялись через два дня на

третий: поживут-поживут в богатых дворах, а потом фью — и нету ни тех уполномоченных, ни кулацких дворов. Зато Момич — я знал про то — не пропустил ни одного собрания. Наверно, ему обидно было глядеть на чужие свадьбы — Настина-то разорилась...

Я так и не узнал, один или с кем-нибудь из сельсоветчиков Митяра порушил иконостас в церкви. В тот день у нас в школе не было уроков — учительница куда-то ушла, и по дороге домой я завернул к церковному проулку, чтоб скатиться. Мне нельзя было миновать бывшую сторожку, и на ее крыльце я увидел большой ворох чего-то блескучего, как огонь. Я сразу догадался, что там лежало, — церковные двери были полуотворены, и когда побежал к крыльцу сторожки, то не знал, что хватать: то ли медные, унизанные голубыми и зелеными глазками лампадки, то ли смугло-белые — с Момичев кулак — шары, то ли кволые, похожие на сабли жестяные полосы, то ли еще чего, кроме икон, которые я «не видел». Я выбрал несколько шаров и двух золотых деревянных боженят — одного чтоб себе, а второго тетке. По проулку я катился сидя, и шары гудуче звенели у меня сзади, потому что сумка волочилась по наледи. Уже с полгоры я заметил внизу на дороге свою учительницу, двух уполномоченных и трех незнакомых, не то камышинских, не то чужих мужиков. Они переходили проулок, и мне нельзя было ни свернуть, не затормозиться, и я подъехал прямо под ноги уполномоченного, что был в кожаной тужурке и в буденовке. Он пересигнул через меня и матюгнулся. Если б он не обругался, я б не узнал, что это Зюзя: из-под крыльев буденовки у него виднелись глаза да нос.

— Шорово-здоц! — сказал я.

Зюзя цыкнул на лапти мне кривулину слюней — как Кулебяка — и пошел вдогон за всеми. Со спины он показался мне высоким и чем-то похожим на Романа Арсенина...

Когда я опростал дома сумку, тетка заглянула в нее и спросила:

— И все? Что ж там... нешто ничего кроме не было?

— Иконы одни, — сказал я, умолчав про лампадки. Тетка «не услышала» и стала привязывать шар к лампе, чтоб он свисал над столом.

— Он же над его миской будет, а не над нашей,— шепнул я ей и кивнул на печку.

— Ну нет уж! Дудки! — сказала тетка и оборвала на шаре нитку. Мы долго гадали, куда их привесить, и оба нарочно не глядели на боженят, чтоб обрадоваться им после. Я предложил положить шары на уличное окно — пускай видят все, и тетка сразу было согласилась, но потом поглядела на Момичев двор и сложила губы в трубочку.

— Ну ладно, давай на то примостим,— сказал я и пошел искать кирпич: без подставок шары не выглядели б из-за рамы,— Момич сделал ее плотной и высокой.

С боженятами возни было еще больше,— куда ж их приладишь в нашей хате, а мне совсем не терпелось с тем, «третьим», что я берег на после всего, и я рассказал про Зюю.

— Скажи на милость! — удивилась тетка, но посмотрела на меня недоверчиво,— может, опять сбрежал, как в тот раз?

Она ушла, а вернулась аж под вечер и с порога сказала:

— Твоя правда, Сань. Серега-то объявился!

За то, что она ходила куда-то одна, мне хотелось обидеться, и я ничего не ответил.

— С матерью объявился,— не унималась тетка.

Я вспомнил слова Момича, когда он не взял в Лугани Дунечку на свою повозку, и сказал:

— Теперь зачнет дражнить камышинских собак красной шалкой!

Мы разом взглянули на печку и засмеялись: про Дунечку нельзя было говорить, чтоб не думать о Царе. Он завозился на печке, а тетка погрозила мне пальцем и окликнула его по-хорошему:

— Петрович, а Петрович!

— Ну чего? — недоверчиво отозвался он.

— Мы вот тут балакаем цельный вечер и не знаем... в колхоз-то будешь записываться или как?

— Сама пишись,— сказал Царь.— Тебе не впервой. Ты один раз спробовала небось...

— Да хозяйин-то ты! — подмигнула мне тетка.— А то ить, чего доброго, возьмут и раскулачат!

— А под наше добро подвод и подвод нужно! — сказал я и кивнул на Царев кожух, висевший в проеме чуланных дверей.

Тетка смиренно присела на лавку.

— Воротник-то, Саны! Как же без воротника, — шептала она, — не возьмут ить уполномоченные-то... Обидятся! Навредили, скажут... Ой, смертушка моя!..

Я так никогда и не докопался в себе, что тогда со мной было, отчего я кинулся к тетке, обнял ее и заревел как от нечаянной боли...

5

Наполовину или полностью, но у нас сбывались даже сны, и разговор про колхоз тоже не пропал даром: дня через три к нам в хату явились все, кого я видел на проулке, когда катился, — уполномоченный с портфелем, Зюзя, Евдокия Петровна, те три незнакомых мужика и еще Сибилёк. Мы только наладились было обедать, когда они вошли. Из нашей с теткой миски высовывался большой желтый мосол, облепленный разваренной капустой, и мы с ней одновременно выставили локти, чтоб заслонить его от чужих людей: он был как лошадиный, и мало ли что могли подумать чужие люди, откуда он у нас таких взялся? Не будешь же им говорить о Момичевом быке и о Настинной неполучившейся свадьбе! Мы застыдились, потому что всю жизнь были бедные, — с Царем не разбогатеешь, и когда выставили локти, то нечаянно опрокинули миску, и щи подплыли к Царю. Он стукнул меня ложкой по лбу, а на тетку крикнул:

— Заегозилась, змея!

Может, поэтому никто из вошедших не поздоровкался с нами, — когда ж им было здороваться, если мы дрались, и я вытер лоб, встал и сказал:

— Здравствы!

Я сказал звонко, как в классе, и глядел только на учительницу — мы ведь уже недели полторы не встречались в школе: не разорваться ж ей, раз она ходила с ударной бригадой! Учительница взглянула на меня как на замерзшее окно и поморгала, будто под веки ей попали соринки. Я по себе знал, что когда долго пробудешь на холоду, а потом ввалишься в хату, то все белое в ней — стены, потолок, печка, теткино лицо — кажется розовым, неверным и отдаленным, и надо немного обтерпеться, чтобы привыкнуть и видеть все ясно и правильно. Все семеро ударников столпились возле дверей и оттуда невидяще разглядывали хату и нас. Я подождал, чтобы они обтерпелись,

и вторично выкрикнул — теперь уже всем — свое «здрать». Тетка успела прибрать стол и протяжно и смущенно, как ранним гостям на праздник, сказала следом за мной:

— А вы ж проходите и садитесь. Милости просим!

Подо всех у нас не хватило лавки со скамейкой, и Сибилёк прислонился к печке, спрятав за спину руки, — наверно, прозяб в своем укороченном зипуне и в раззявленных лаптях на одну холщовую портянку. Он встал и подстерегающе, как на птичек, когда их хочется словить, прищурился на боженят. Они висели на нитках в святом углу под божницей и все время вертелись: то обернутся друг к другу затылками, то опять сойдутся нос к носу. Шары на подоконнике заслонили Зюзя и учительница, но на скамейку, лицом к тому окну и спиной к нам с теткой, сел уполномоченный, и мне не было видно, заметил он их или нет... Я подумал, что зря крал их, — теперь неизвестно что будет, и в это время уполномоченный спросил у Царя:

— Вы хозяин?

Дядя Иван злорадно метнул взгляд на тетку и ответил уполномоченному поспешно и готовно:

— Мы давно поделенные. Мой тут один чулан...

Он убрал со стола локти и посунулся в угол, а уполномоченный хмыкнул и обернулся к нам с теткой. Мы стояли возле лежанки лапоть к лаптю, — не разберешь, чей больше, а чей меньше, и уполномоченный долго глядел на них: дивился, видно, отчего они у нас так похожи. Мы и сами путались по утрам, когда вынимали лапти из печурки, — Момич плел их на одной колодке и разношивали мы их одинаково — правые сбивали влево, а левые вправо.

Не знаю, как тетка, но я тогда не решил, кто лучше наряжен — уполномоченный или Зюзя. На уполномоченном все было городским — шапка «московка», длинное пальто с воротником, белые и тонкие, обшитые желтой кожей валенки. Тут гляди не гляди — луганское все, недостижимое и уважительное, как портфель, а на Зюзе... На нем все, кроме буденовки, было наше, камышинское. Я все признал: и кожанку, и полосатый шарф, и галифе, и сапоги с калошами; и мне даже запахло чем-то уличным, как бывало на дубах, когда Роман Арсенин садился к Насте на колени и растягивал гармошку. Зюзя ни разу не взглянул на нас с теткой — не привык пока, видно, к богатой одежде. Это завсегда так бывает, когда наденешь новую рубаху или еще что. Тогда все время помнится, что на тебе

есть, и отчего-то не глядится на людей, ежели они во всем старом...

— Это они самые? — оглядев наши лапти, обернулся уполномоченный к Зюзе.

Тот молча кивнул, и кожанка на нем заскрипела, как капустный лист, когда его ломаешь.

— Как же это вы дезертировали из коммуны? — спросил тогда уполномоченный.

Он не оборачивался к нам, потому что отмыкал за чем-то портфель, и дядя Иван затиснулся в угол и оттуда сказал:

— Я ничего не знаю. Мой тут один чулан.

Учительница издала нацелила на тетку указательный палец и сказала, как на уроке:

— Вас, гражданка, о трудовой коммуне спрашивают!

Она аж покраснела — обиделась, видно, что мы не сразу догадались, кого спрашивал уполномоченный. Мы с теткой еще теснее сдвинулись, и она обняла меня как в тот раз, в коммуне, когда признавалась председателю Лесняку, что мы — сироты. Она и ответила как тогда — степенно и ладно:

— Мы, милая, не в солдатах служили там. Хотелось — жили. Не понравилось — возвратились домой.

— Не понравилось? В коммуне? Вам? — с нарастающим гневным удивлением спросила учительница.

— То-то что нам, красавица, а не сидорову кобелю! — распевно сказала тетка, а я не удержался и прыснул! — она нарочно, к смеху, назвала учительницу красавицей: Евдокии Петровне нельзя было злиться, потому что глаза тогда у ней совсем выпячивались и белели.

Она помигала голыми веками и сказала:

— Странная для сельского пролетария концепция!

Мы не поняли, про что это, а Зюзя скрипнул кожанкой и проговорил уличающе, как свидетель при краже.

— Их Мотякин сманил. Сусед ихний, подкулачник.

— Во-во! — шалопутно поддакнул Царь, но тетка махнула на него рукой, а Зюзю укорила почти ласково:

— Ты б, Серёг, не буровил, чего не надо? Кто нас, вольных, сманивал? Какой такой кулачник? Нехорошо это, сам знаешь...

— Знаем! — с едким намеком на что-то тайное и стыдное ответил Зюзя и сочувственно взглянул на Царя.

— А мы тоже не про все забыли! — спокойно сказала тетка.

Сибилёк переместился у печки и проронил тоненько и поучающе:

— Старое поминать нечего...

Чтоб «не помнить», как он хотел ударить Зюзю кирпичом в сумке, я подумал про хорошее, что было потом — наше крыльцо, украшенное березовыми ветками, приход тетки с беремем цветов, мед в лопухе...

— Чего в колхоз не пишется? — обозленно крикнул Зюзя на тетку.

Он поднялся с лавки, и его трудно было узнать — не то он, не то нет: окрепший стоял, блескучий, левым плечом вперед, как председатель Лесняк. Тетка медлила с ответом, — дивилась, наверно, Зюзиному росту.

— Сами девятый хрен без соли доедают, а в кулацкую дудку дуют!

Зюзя сказал это не нам, а Сибильку, и тот согласно кивнул головой, а тетка зачем-то отделилась от меня, поправила на себе сначала платок, потом фартук и сказала им обоим, будто пожаловалась:

— У нас поборов нету... ни по денной должности, ни по ночной охоте...

С раскрытым портфелем в руках уполномоченный пересел на скамейке лицом к нам и посмотрел на тетку удивленно и ожидающе, — хотел, видно, чтоб она сказала чего-нибудь побольше. Учительница дважды и смятенно спросила: «Что гражданка имеет в виду?» — но тетка молчала, и тогда Зюзя осипло и шало выкрикнул три черных уличных слова про тетку и Момича. Он выкрикнул их по выходе из хаты, под захлоп двери, а я пододвинулся к тетке, и наши лапти опять установились в ряд — поди различи, какие мои, а какие ее...

Уполномоченный ушел от нас последним, — портфель никак не запирался: наверно, в замках заржавели пружинки...

После встречи с ударной бригадой на Царя опять напало шалопутство. Он опять стал «дяк-дякать», как только замечал Момича, а после порывался бить тетку. Она тогда садилась на лавку и каменела, глядя на него скорбно, гадливо и беззащитно. Я достал из-под лавки широкий осиновый пральник и сиделся рядом с теткой, а Царь пятился в чулан и оттуда ругался Зюзиными словами. Мне-то от них

ничего не делалось — на улице я слышал похуже, а у тетки некрасиво острился и дрожал подбородок, и в эту минуту нельзя было утешать и жалеть ее — сразу б расплакалась.

И мы стали ждать, когда можно будет переселиться в сенцы. Как-то в полдень я снял с повети сарая самую длинную сосульку и понес на показ тетке.

— Видишь?

— Ох, Сань, она ж голубая, мясоедская,— сказала тетка.

Мы верили, что вороны закликают мороз и курю, и я стогнал их со двора и проулка, а над крыльцом привесил дуплистый ракиновый чурбак — скворцам. За день до масленицы Момич скрытно подложил под наше крыльцо уклон гречишной муки и большую желтую бутылку с конопляным маслом. Незаметно от Царя мы прибрали все в хату. Вечером тетка завела тесто для блинов, а я стал скрести кирпичом сковородку, и под ее отрадно-звонистое пенье Царь спросил с печки, что я делаю,— догадался, видно, про муку и масло. Тетка загодя присела на лавку, а я поплевал на сковородку и пустил кирпич так, чтоб ничего не было слышно. Я сидел на полу спиной к чулану и не видел, как вылез оттуда Царь и выпадом ноги, сбоку, вышиб из моих рук сковородку. По привычке я кинулся за пральником, а Царь схватил с окна бутылку с маслом. Он замешкался, выбирая обо что ее треснуть — об печку или об порог, и тогда тетка сказала мне не то шутя через силу, не то всерьез:

— Ты б сбегал к Халамею. Пускай он отвезет его опять туда...

— С бутылкой в откинутой руке Царь помешанно оглядел нас по очереди и спросил, как в тот раз, весной, когда испугался сумасшедки:

— Куда отвезет? Кого?

— А тебя! — сказал я.— В коммуно!

Он, наверно, забыл, что собирался сделать с бутылкой, и побежал в чулан мелко, вихляючись, как по внезапной старческой нужде, и мне хотелось заругаться на него и заплакать — все разом.

— Гляди, не разбей бутылку,— попросил я его, невидимого,— это ж масло. Завтра блины будешь есть, дурак ты такой!

Он оставил бутылку на загнетке, а сам юркнул на печку и затих.

...А масленицы и не нужно было — ни тетке, ни мне, ни Момичу, ни целому свету, но кто ж об этом знал-догадывался, и нешто я не разорил бы свой скворечник и не прикормил бы ворон, чтоб только отдалить-отринуть то, что случилось тогда со всеми нами!..

Теперь трудно сказать, кто сманил тетку на церковную площадь, когда камышинские бабы-колхозницы с того конца привели туда Митяру Певнева и кооперативщика Андрияна Крюкова. Это было на четвертый день масленицы и на второй после того, как Митяра и Андриян скинули с церкви крест, а на его место поставили флаг, такой же большой и веселый, как над сельсоветом. Митяру и Андрияна бабы привели на выгон в обед, а до этого, утром, после блинов, они одни, без мужиков, развели из кулацких клунь-конюшен бывших своих лошадей и разнесли сено, — кто сколько захватил. Мы с теткой совсем не знали об этом, и я пошел в школу, а она...

Теперь трудно сказать, кто подбил-покликал ее к церкви!

Ни на троицу, ни на самого Ивана Предтечу — наш престольный праздник, не сбивалось в одну кучу-корогод столько баб-камышанок, как тогда. Они были в будней одежде, а галдели как перед каруселями, и ни одного мужика, кроме Андрияна и Митяры, нигде. Когда учительница, глянув в окно на церковную площадь, распустила нас на середине ненавистного мне урока по арифметике, мне бы сразу побежать и протиснуться промеж баб, окруживших Митяру с Андрияном, — там-то и была тетка, а я, дурак, понесся глядеть свергнутый крест. Железный, черный, двухсаженный, пудов на восемнадцать, он лежал в разметанном сугробе по левую сторону от притвора и был совсем целый. Бабы и хотели, чтоб Митяра с Андрияном поставили его обратно на свое место, а те не знали как — сверзить-то легче, и никто не знал, оттого и галдели все и не видели, как от сельсовета прямо на корогод помчался Голуб. Он мчался как на картинке из книжки и переливчато свистел в свисток, — я давно подглядел его — маленький, роговой, засунутый в кожаное гнездо на левом переплечном ремне. Если б Голуб свистел через кулак или просто по-пастушечьи, тогда б другое дело, а тут... Бабы в первый раз услышали этот не ручной и не губной свист и хлынули в проулок, как вода с поля. Я взобрался на стенку ограды и оттуда увидел тетку. Она, дурочка, не

кинулась со всеми и осталась зачем-то стоять возле Митяры Певнева и Андрияна Крюкова. Голуб не погнался за бабами, — они и так хорошо бегли, и налетел на одну ее — вплотную. Тетка не отступила и даже не присела, она только вскинула руки к морде голубовского коня, и он встал на дыбы, а Голуб...

Может, он, чужой у нас, не знал, какие длинные рукава пришивались к бабьим тулупам в Камышинке — узкие, длинной в полтора аршина, чтоб он сидел на руке густой и красивой оборкой. Голуб этого не знал, не свой у нас в Камышинке, и оттого испугался пустого, отороченного красным гарусом теткинго рукава, — может, тот гарусный узор показался ему чем-нибудь опасным, красное над снегом всегда страшно, — и он что-то крикнул, пригнулся-прилип к холке вздыбленного коня и выстрелил из нагана незвонко и хрупко, будто сломал сухую ракитовую хворостину. Я на всю жизнь запомнил подкинута-летящие в воздухе рукава теткинго тулупа, когда она падала, запомнил раздвоенно-круглый, с куцо обрубленным хвостом серый круп голубовского коня, в подбрыке, с сытно-ярим овсяным гуком пересигнувшего через тетку, запомнил согнутые спины Митяры и Андрияна, убежавших с площади в разные стороны. Я запомнил это, потому что сразу же зажмурился и побежал сам, и все виденное застыло перед моими глазами на одном месте, как картина на стене в церкви...

Момич сидел перед лавкой на опрокинутой мерке и чинил пахотный хомут, когда я отворил дверь и крикнул: — Голуб тетку убил!

Он не бросил хомут и сам крикнул на меня, сидя:

— Ты чего брешешь такое? А?

— Из нагана! Возле церкви! — опять прокричал я, и он поверил — я это понял по тому, как откинул он в угол хомут и отшвырнул ногой мерку.

Он схватил полушубок и нагнулся под лавку — что-то искал и не находил, рукавицы, наверно, а может, другое что.

До выгона я бежал впереди, а он сзади и все время просил меня, как тогда летом:

— Александр! погоди!.. погоди, говорю!

На выгоне я отстал от него сам. Кроме нас двоих тут никого не было, и из села не доносилось к нам ни единого звука, будто оно вымерло, и Момич то и дело оглядывался на меня и подгонял:

— Скорей! Скорей, сгрѣб твою...

В своем длинном дубленом тулупе тетка лежала на пустой площади, как упавший с воза сноп. Момич и поднял ее как ржаной сноп — легко и бережно-хватко и, качнув на руках, бело-черный и страшный в лице, позвал-окликнул ее как из-за тына:

— Егоровна!

Полы теткинго тулупа раздуло ветром, и ноги ее в отсыревших лаптях обвисше-кволо стукнулись о Момичевы колени. Он подкинул ее, перемещая руки, и позвал опять, но уже с угрозой и страхом:

— Слышь? Егоровна! Ты чего это? Ну?!

Я кинулся было к церковной ограде, чтоб спрятаться и подождать, — может, тогда, без меня, быстрее все пройдет и с теткой, и с Момичем, но в это время он захлебно-трудно зарыдал в голос и пошел по выгону, неся тетку на протянутых руках. Он шел не по дороге, а сбочь, как в тот раз, когда они сманились вдвоем в кооперацию, торя в сером ноздреватом снегу глубокие темные ямки. Через ровные промежутки он вскидывал-нянчил мертвую тетку и охрипло взрыдывал — гых-гых-гых, глядя сам поверх ноши, в недалекое небо над Брянщиной. Я до сих пор не решил, кому было тяжелей идти — ему впереди или мне сзади, потому что ступал я по его следу-ямкам, — иначе, одному на дороге, мне было жутко. Я брел и выл без слез и усилий на одной какой-то зверушечье-призывной ноте. Момич ни разу не оглянулся на меня, а на проулке, недалеко уже от нашей хаты, он не то уронил, не то по воле сложил тетку в снег и сам упал рядом и завыл, как я. Там, на церковной площади и на выгоне, пока мы шли, я боялся и не хотел взглянуть в лицо тетке, и только теперь на проулке увидел ее полуоткрытые и по-живому чистые глаза. Они были сухие, и лоб под сбившимся платком блестел разглаженно и крепко, и подбородок округлился покойно и мягко, — наверно, не успела ни испугаться, ни заплакать... Потом Момич опять подхватил-подкинул тетку, а я отрыл в снегу его шапку и понес ее тоже в обеих руках.

Дядя Иван встретил нас в чистой рубахе, умытый и причесанный, — кто-то, видно, успел сказать ему о случившемся возле церкви. Мы положили покойницу на лавку головой в святой угол, и под Момичев нутровой взрыд Царь сказал умиротворенно и прощающе:

— Доигралась-таки!

Момич кивком головы выслал меня во двор и почти следом вышел сам — без шапки, с голыми руками, обвисшими вдоль полушубка. Он больно ущемил меня за левое плечо, и мы сошли на проулок и двинулись прежним путем на выгон. У чужого прясла, на дальнем виду взметнувшегося над церковью флага, я отцепился от Момича и ногой сломал круглый ольховый кол. Момич стоял и глядел вперед, на дорогу к церкви. Я подал ему кол, и он принял его в правую руку, а левой опять ухватился за меня и повернул, опираясь на меня и на кол, к своей клуне. Мы шли по снежной целине, и я думал, что кол понесу потом сам, а он пускай идет с тем, что забыл в клуне... Мы ее сами — он и я — сделали, когда старую поджег Царь... Тогда ясно цвели сады, и вода в ведре была холодной как лед, а тетка взяла и пришла с охапкой одуванов... Нет, это было сначала, а уже потом... Потом они сидели под дубом и на Момиче был венок... «Сань? Не-ет, мы с ним сироты»... А что тогда крикнул Голуб? и зачем он обрезал хвост у коня?.. куда я теперь дену теткин тулуп?.. Рукава-то так навсегда и останутся поднятыми и пустыми!.. Совсем-совсем пустыми!..

Клуня, крыша нашей хаты, и снег, и все, что я видел, колыхнулось и поплыло в сторону от меня, а я задохнулся и полетел в красную и пустую высоту, и Момич полетел со мной вместе...

Я сидел в клуне у подножия сенного скирда, а на коленях у меня лежал желтый комок снега — Момич слепил. Я откусил от него, но он горчил и пахнул слежалой соломой и мышеединой. Я не забыл то свое, зачем, как мне казалось, мы вернулись с выгона, и встал. Тогда Момич молча и легко всадил меня на скирду, и я сам догадался, что нужно было делать, — на поперечинах крокв лежали как восковые толстые ракитовые доски. Я скинул пять штук, и он ничего не сказал, хватит их или нет.

В клуне мы пробыли до ночи. Гроб получился длинный и широкий, как на двоих. За все время мы ни слова не сказали друг другу, и когда заперли клуню и я пошел к своей хате, Момич догнал меня и опять ущемил плечо.

— Ходи со мной,— не то попросил, не то приказал он.

На его дворе по-весеннему отсырело пахло прелью закут. Подтолкнув меня под навес сарая, невидимый в темноте, Момич с тоской и натугой спросил:

— Как было... Видал аль нет?

Я рассказал, что знал, с самого начала и до конца.

— А она?

— Свалилась,— сказал я.— Сразу. Может, ей не больно было, оттого и...

— Чего? — оторопело спросил Момич.

— Так,— сказал я.

Из трубы нашей хаты поднимался белесый вялый дым, а окно, выходящее в сторону Момичева двора, было чуть-чуть желтым: наверно, дядя Иван перенес лампу к себе в чулан — давно грозился...

Сердитая и наряженная, как в праздник, Настя сидела за столом и лузгала подсолнухи.

— Доигрались? — словами Царя спросила она у меня и умалила свет в лампе — фитиль был вывернут до отказа и аж коптил. Я ничего не ответил, и Настя сказала опять:

— Нужно ей было, суматошной, кидаться!

Как в чужой в своей хате, не раздеваясь, Момич присел на конце лавки возле дверей и замедленно-натужно обернул лицо к Насте:

— Куда такой... кидалась она?

— А на минцанера! — с вызовом сказала Настя и, не глядя на нас, опять заработала-залузгала озлобленно и быстро.

Целой и крепкой — ее и тремя пулями не изничтожить! — в углу лежала мерка, а рядом — хомут. Их-то обязательно возьмут и приберут, а теткин тулуп, платок, лапти... Куда я все приберу-дену? Куда?

— Ходи, сядь тут,— сказал мне Момич и так же глухо и смирно спросил Настю:— Не знаешь, там пришел кто... к покойнице... из подруг-ровесниц?

Настя смахнула с губ шелуху семечек и промолчала. Момич прошел в угол, где лежала мерка, и слабым пинком ноги загнал ее по лавку.

— Побудь тут, я зараз приду,— сказал он мне и ушел,— в расстегнутом полушубке, без шапки. Потом я узнал, что он ходил на соседний куток просить бабку Звукариху, чтоб она обмыла и обрядила в смертное тетку.

В нашей хате всю ночь чуть-чуть светилось окно, где стояли шары, и всю ночь выл Момичев кобель — волка, должно, чуял...

Мы не дождались дня, и нам никто не повстречался ни на проулке, ни на выгоне. Я до сих пор не понял, почему Момич заставил меня нести тяжелый длинный лом, а сам шел с лопатой, почему он, когда я спотыкался и падал, упрасивал меня как о милости:

— Неси за-ради Христа... Неси его сам!

Когда до погоста оставалось с полверсты, Момич свернул с дороги и пошел к нему напрямик, полем, минуя сельсовет и церковную площадь. Он шел, не сгибая ног, прокладывая мне сплошную снежную борозду, и по ней я волочил лом.

Крестов совсем не было видно — замело, и снег над могилами слежался плотней, чем на выгоне, — даже Момич не проваливался. Мы выбрали место сразу — на всем погосте, прямо у края канавы от поля, росло одно-единственное, какое-то безымянное дерево — колючее, шатристое, с черным комом давнего сорочиного гнезда на макушке. В рассветной мути дерево казалось маленькой церковью с куполом без креста, и мы подошли к нему с восточной стороны.

— Тут, — сказал Момич и забрал у меня лом...

Возвращались мы в полдень по своей прежней белой борозде, и лом опять нес я. Возле клуни Момич приостановился и, не оборачиваясь, сказал не то самому себе, не то мне:

— Оттуда ж солнце видать на востоде... ежели головой к дереву.

...Ножки у скамейки были неровные и вихлючие, и я сходил в клуню и набрал щепок. Момич поставил скамейку на середину хаты, и, когда хотел подложить щепки, Царь подступил к нему и протянул руку:

— Дай суды!

Момич выпрямился и непонимающе-тупо уставился в макушку Царя.

— Дай, говорю! Ну? — повторил Царь.

Желтые когтистые пальцы воздето протянутой руки его шевелились и подрагивали, и я потянул Момича за полу полушубка и сказал, чтобы он отдал щепки.

— Это... зачем они ему? — силясь что-то осмыслить, спросил Момич, пряча щепки за спину.

— Он сам хочет! Пускай он сам! — сказал я, и Царь ошалело подтвердил:

— Я сам! Сам!

Гроб от дверей до скамейки мы несли вдвоем — Момич и я, а устанавливал его Царь в одиночку. Мы еще в клуне, когда вернулись с погоста, умостили в нем длинный, перебитый повиликой и засохшей синелью сноп старновки, обернув его колосками к ногам, а огузком к изголовью. Он был глубоким и просторным, и мы положили туда беремя лесного сена. Царь ненужно долго кружил и суетился возле скамейки, взрыхлял и уминал в гробу старновку и все покашливал озабоченно и строго — в первый раз почувял себя сильным. Момич стоял лицом к дверям и качал себя влево и вправо, влево и вправо, и перед моими глазами то возникал, то пропадал конец лавки и косо вздыбившийся на нем бугорок замашной простыни — тетчины ноги...

— Ну все, а то смеркнется. Все! — по-своему властно сказал Момич и обернулся к лавке, и я впервые, пока был в хате, заглянул дальше, в угол, под боженят...

Звукариха по-живому покрыла тетку платком — с кулем над лбом. Лоб у тетки по-вчерашнему светился и выпячивался, и только нос был острый, прозрачно-бумажный, не ее. Из уголка некрепко сжатого теткинoго рта под шею сбегала бурая ветвистая струйка, будто тетка закусила стебель какого-то диковинного цветка...

Мы с дядей Иваном сидели в задке саней, спиной друг к другу, разделенные гробом, а Момич до самого погоста шел пешком. Уже смеркалось. Сырой, колюче-рьяный ветер дул нам встречь. Пустые ржаные колоски, выбившиеся из-под крышки гроба, трепыхались и жужжали прерывисто и туго, как словленные шмели. Всю дорогу жеребец всхрапывал и косил назад, и Момич каждый раз охал и осаживал его, заваливаясь на вожжах.

Похоронили мы тетку головой к дереву.

6

Я спрятал в сундук тулуп, онучи, лапти, шары, боженят и все, что бралось в руки, а остальное — хата, двор, коммуна, церква, небо, день и ночь — осталось...

Мне казалось, что если очутиться возле ветряков или

в лозняке на речке, то тогда сразу позабудется все и станет как при живой тетке, но оттуда меня тянуло в другое место, а от него опять на новое...

По утрам Царь гнал меня за водой, а мне не хотелось встречаться с чужими бабами, — они заходя, шагов за десять, сворачивали на обочину проулка и оттуда, клонясь под коромыслами, глядели на меня затаенно испуганно и враждебно, будто я собирался поджечь их дворы...

В школу мне не хотелось, да и в чем бы я понес тетрадки и учебники? Сумку-то я спрятал в сундук, на самое дно...

Наша хата нужела и паршивела: мы не подметали пол, не выносили помои, и я ждал и хотел, чтобы Царь подпалил ее нечаянно, — он разорял сарай и докрасна накаливал печку сухими жердями. Но хата не загоралась. На пятую ночь без тетки объявились сверчки — может, духоту и угар почуяли, а может, им пришло время возвращаться домой...

Под окном своей хаты Момич повесил рушник, а возле него на завалинке поставил блюдо с водой — теткина душа, сказал, целых шесть недель будет летать тут, и надо, чтоб ей было чем умываться и утираться... Почти каждый день он куда-то уезжал то верхом, то в санях, а возвращался поздно, замерзший, хмельной и смиренный. Я поджидал его возле клуни или на выгоне, и он всякий раз говорил мне одно и то же, непонятное:

— Ох, Александр, не дай бог сук-кину сыну молоньей владеть. Ох, не дай!..

Потом я узнал, что Момич мотался тогда в Лугань, — искал там управы на Голуба. Может, он и нашел бы ее, да в это время, по второй неделе поста, Зюзя сделался председателем нашего сельсовета, и...

В ту, последнюю, поездку Момича мы разминулись с ним: я ждал его на выгоне, а он подался низом, мимо кооперации, — не хватило, вишь, выпитого в Лугани. С выгона я прошел к клуне и уже в темноте посшибал

с ее повети все до одной сосульки — кому они теперь были нужны, хоть и желтые!

Под слепо-черным окном Момичевой хаты пугающе белел и шевелился рушник. Сани стояли возле крыльца, а упряжь и пихтерь с сеном валялись у плетня. На улице за воротами дробно гукал бубен и вызванивали балалайки. В расступившемся кругу ребят и девок не в лад переборам «барыни» Момич грузно топтал сапогами свою шапку и, на потеху всем, рычал-присказывал:

Хоть пой, хоть плачь!
Хоть вплавь, хоть вскачь!
Ух-ух-ух-ух!

Я пролез в круг, поднял шапку и вытряхнул из нее снег. Момич надел ее задом наперед и ныряюще пошел к воротам. Под их навесом в гулком и темном затишьи он обнял вереву и заплакал, как тогда на проулке.

— Видят же все, пойдем домой,— сказал я, и он пошел, ухватившись за мое плечо.

Он шел и косился на нашу хату, и от него пахло пихтерем с сеном и цветущей гречихой — медовку, видно, пил...

Утром в приречный раakitник прилетели грачи. Я оставил ведро у колодца и пошел к ним. Они как куры пешком лазили по снегу и все были с раскрытыми ртами — заморились. На вербах уже подпухали почки, а вокруг пней и раakitовых стволов узкой каемкой проклеывалась земля. Из-под бугра далеко виднелись желтые, одинаково витые столбы дымов над трубами хат — соломой топились, и только из нашей трубы дым выбивался сизовато-чадным буруном — Царь жег пересохшие стропила сарая. По очереди, то лицом, то спиной к селу, я посидел на всех новых, гладко спиленных пнях, потом наломал пучок верб и пошел за ведром к колодцу. Было уже не рано, и на проулке потел и рыхлился снег. Ни Голуб, ни пустые рукава спрятанного теткиного тулупа, ни цепенящая неприкаянность углов нашей хаты,— ничто не заглушало во мне неотвратимо вселившегося чувства ожидания чего-то огромного и светлого,— я встречал весну. Мне было совсем легко нести полное ведро, и лапоть сам нацеливался в лошадиный катыш, и губы — без меня — складывались в дудку-пужатку, чтоб подсвистнуть тенькавшей синице.

Я ни о чем не забыл, ни о чем, но мне не хотелось, чтобы мы встретились тут с Момичем, и не хотелось глядеть на рушник под окном его хаты.

Царь ждал меня, измазанный сажей и всклокоченный. Он спросил, куда меня носили черти, взял ведро и скрылся в чулан.

— Ты б хоть умылся,— сказал я.

— Чего? — натужно, под чуркующий слив воды в чугунок, отозвался Царь.— Дуже чистых теперь кулачут и за Мамай гоняют... с утра прямо. Ай не видал? Ты, гляди, не лазь туда, а то к вечеру самих потурят!

Я глянул в окно на Момичев двор и увидел там чужую подводу...

Кроме нашего — да, может, еще Зюзиного — в Камышинке не было двора, чтоб там не стоял хлебный амбарпунька. Их рубили из дубовых бревен, покрывали старновкой под белую глину, а основу пола подпирали камнями-валунами, чтоб не сырел и хватило навечно. Момичев амбар сидел на огороде впритык к омшанику, пониже клуни. Мне давно хотелось заглянуть туда, но Момич ни разу не отпирал при мне амбарную дверь, обитую зеленой жостью. Мимо него он всегда проходил какой-то веско-замедленной походкой, и я подозревал там многое такое, что пугало и притягивало,— как церква. И посиди я тогда еще немного в раakitнике, тайна Момичева амбара так и осела бы во мне щемящей утратой неразгаданного, но я успел. Под самый конец... Я не знаю, что погнало меня сразу на огород, к амбару. Еще на крыльце своей хаты передо мной возник голубовский конь — в подбрыке, с округло-раздвоенным крупом, и я заученно и легче, чем тогда, на выгоне, завыл на одной ноте. Я бежал и выл, и от угла своего полуразоренного сарая увидел Момича. Он был жив. Он стоял на коленях возле лаза в омшаник и сгребал в подол рубахи комья снега. Мимозыром, вскользь, я увидел растворенную дверь амбара, каких-то незнакомых людей, загруженные чем-то сани и Момичева жеребца в упряжи, а подле омшаника — что-то кряжистое, серое, неподвижно-убитое. Я не хотел и боялся знать, почему Момич стоит на коленях, зачем понадобился ему снег, и видел только его набрякшие руки и больше ничего.

— Дядь Мось! Дядь Мось!

Я прокричал это ему в лицо, и Момич сонно взглянул на меня и сказал недоуменно и неверяще:

— Живые...

В снегу копошились и елозили пчелы,— это их сгребал он в подол рубахи.

— Зачем они нам, вставай! — сказал я, но он захватил пригоршню снега, поднес его к лицу и трижды дыхнул в ладонь.

— Вставай, дядь Мось! Неш их отогреешь теперы! — сказал я.

— Живые ж! — повторил Момич.— Сходил бы за ведром али за меркой, а?

Он сказал это равнодушно и тупо, и я никуда не пошел. Я уже разглядел на снегу подле омшаника поваленные колоды ульев, почуял, что было в широкой кадке, грузно сидевшей в передке саней,— в нее обломали соты, узнал Сибилька, Андрияна Крюкова и тех трех некамышинских мужиков, что приходили к нам в хату с учительницей. Ни Голуба, ни уполномоченного тут не было. Я стоял возле Момича и ждал, когда кто-нибудь из ударников вынесет из амбара не мешок с мукой или рожью и не кошель с салом, а что-нибудь другое, не виданное еще ими самими и мной,— мало ли чем оно могло оказаться! Мешки носили к саням те трое и Митяра, а Сибелёк караулил жеребца. Он держал его не за узду, а за ноздри двумя пальцами, и жеребец стоял понуро и смирно. Кострец у жеребца обозначился угловато и плоско, а живот подобрался и усох — наверно, Момич не поил и не кормил его со вчерашнего дня. Где ж там было поить, раз упряжь и ту бросил возле плетня! Весь с ног до головы белый — обмучился — Андриян высунулся из сумрака амбара и весело,— весна ж на воле,— спросил у Сибилька:

— Игнатъич, а жмыхи забирать? Ну прямо как колеса от хохлацкой арбы! Вот же куркуль!

Сибелёк кивнул — забирать, мол. Андриян пропал в темноте амбара, а Момич поднялся, вытряхнул из подола рубахи белых пчел и неразличающе, как спросонок, оглядел сначала меня, потом свои руки. Я подумал, куда им — Сибильку, Андрияну и тем троим — нужно сейчас бечь: на проулок через наш огород или на выгон мимо клуни? Лучше на проулок — ближе потому что, да и Сибильку тут знакомей, но Момич заморённо оперся на мое плечо, и мы пошли мимо амбара и нагруженных саней к воротам на двор. Там под поветями закут и сарая ныли

голуби, бульбулькала капель и густым сине-розовым паром курилась большая кругловерхая куча навоза. Еще от варка, где на мутовязи бился и ярился кобель, я увидел на крыльце Момичевой хаты Зюзю, а возле подводы Митяру Певнева и учительницу. Пятясь и приседая, Зюзя тянул из сеней вздувшуюся кумачную перину, а на ее втором конце полулежала между притолок дверей Настя. Она заметила нас с Момичем и, обжав перину оголенными руками, рванула ее к себе. Зюзя ткнулся вперед и упал, поскользнувшись, — не обвыкся, видно, в хромовых сапогах. Мне не нужно было тогда смеяться — какой же тут смех и над кем, но с собой не всегда легче справиться, чем с другими, отчего у людей и бывает лишнее горе. Я засмеялся негромко, не с радости и не с озорства, а просто так, из-за своих двенадцати годов, — девка одолела малого, а Зюзя глянул в нашу сторону, перекосясь в лице и на крике, себе самому жалуясь, спросил невидимую в сенцах Настю:

— Это ты мне, коммунара, свалила, кулацкая стерва?!

Сидя, он вылутил из кармана кожанки белёсый обтерханный наган и обеими руками поднял его у себя над головой. Наверно, он стрелял в первый раз, потому что при хлопке зажмурился и пригнулся. Я тоже пригнулся и схватился за Момича, и, когда Зюзя опять стал жмурить глаза и хилиться набок, Момич шагнул к крыльцу и в трудном борении с чем-то в себе сказал:

— Слышь, ты... Спрячь пугач! Ну?!

Неизвестно, как и зачем я оказался тогда между Момичем и крыльцом. Я стоял спиной к Зюзе, ждал выстрела и выл; но Зюзя не стрелял, а Момич качал себя вправо и влево и глядел куда-то через крыльцо, — на рушник, видно. Я тихонько выл и слышал, как за моей спиной учительница смятенно-торжественно сказала Зюзе:

— Сергей Федорович, на вас ведь было прямое покушение! Надо немедленно составить акт!

Переливчато и чисто — будто она «страдала» под Романову гармошку — заголосила в хате Настя. Момич округло, словно обходил яму, повернулся от крыльца и пошел к варку. Я стоял и ждал, пока он зайдет за угол конюшни, и учительница несколько раз спросила меня издали, чего я тут жду. К варку я пошел Момичевым шагом и когда оглянулся, то увидел, как Зюзя немощно вволок перину в сани, сразу погасив там лучистое сияние не то Настинной швейной машины, не то иконы Николы Чудотворца...

Теперь трудно решить, что было причиной крушения Момича в моем мире за те последующие полтора дня, что я провел тогда с ним по соседству. Может, сейчас мне не нужно говорить-признаваться, как дважды за ночь — первую после раскулачивания — я подбирался к клуне с коробкой спичек, а подпалить ее так и не смог, — сами ж сделали: он, Момич, и я. Мне казалось, что ничего больше, кроме пожара, не вернет — самому Момичу и мне — его прежнего, того, что когда-то крикнул «горю» и помчался на бочке под гору. Я лишь под утро вспомнил, что мчатся ему не на чем, — жеребца забрали днем еще, и тогда во мне что-то пошатнулось и сдвинулось, обнажив живую и горькую обиду к Момичу и крах моих тайных и смутных ожиданий проявления его всесильности... Мне не шлось без зова в хату к Момичу, и все утро я прокараулил его на своем крыльце. Сарай, закуты и весь Момичев двор вызывали во мне чувство протеста, недетской тоски и жалости своим ненужно прибитым, молчаливо-пустым видом. Под окном хаты не было рушника и блюда с водой, и мне хотелось сказать Момичу что-нибудь гневное, почти мстительное, — каким-то смутно-нечетким подсказом сердца я вдруг обвинил его в теткиной смерти и в том, что самого его раскулачили...

Мы встретились днем, — он разорял зачем-то плетень палисадника в огороде. Я подошел и спросил, что он делает, впервые не назвав его «дядей Мосей». Он неузнаваемо посмотрел на меня и ответил:

— Воды хочу нагреть. Вошь напала...

Длинной замашной рубахой без подпояски, обмякло серыми руками и спутанной бородой с застрявшими там хлебными крошками Момич был похож на дядю Ивана, и я сказал:

— Ты б сарай начинал...

Наверно, он не понял, о чем я, потому что опять проговорил равнодушно и бессмысленно:

— Воду буду греть...

Ночью его забрали. Вместе с Настей.

Голуб и Зюзя будто забрали. Вдвоем только...

Вёсны всегда приходили к нам со стороны Брянщины, и эту я ждал оттуда. Она обозначалась там в небе извивно бугристым хребтом темного леса и сизым, низко залеглым туманом. В полдни он уже дрожал и переливался,

как вода, а к вечеру даль по-зимнему меркла, и надо было всю ночь стеречь завтрашний день. Хату мы не подметали. Царь по-прежнему докрасна нажаривал печь. Я уже не заставлял его умываться и не умывался сам — откладывал на весну, обещая себе в ней все, что было у нас с теткой раньше. Мы с Царем скудели с каждым днем, и нельзя было понять, отчего камышане сторонились нас как приبلудных цыган-таборников, — боялись, видно, что мы попросим у них чего-нибудь или своруюем. Весна запаздывалась. Мне все трудней и трудней становилось ждать то, что она сулила, и я стал готовиться в дорогу на Брянщину. Я достал из сундука свою сумку с гарусным петухом и положил туда теткнины лапти — на случай, если свои протрутся. Я б все равно вернулся — с травой, с одуванами и со всем, что было нужно, чтоб жить в Камышинке, но колхозу приспело время перевозить на новое место Момичеву клуню, потом амбар, и я остался: мне все еще верилось в темную тайну амбара, но там ничего не было, кроме пустых закровов и изнурительного запаха хлеба.

Половодье хлынуло тогда внезапно, и вскорости в Камышинку пришла весна. Сама.

В нашем «саду» по-прежнему стояли три сливины, одна неродящая яблоня и две ракиты. Ножик я унес из хаты в такую же самую пору, как и тогда. Я залез на ту самую ракиту. Она была теплой, вся в желтых сережках, и я срезал черенок толщиной в палец и длиной в пядь. Как и тогда, я потюкал по нему ручкой ножика. Кора податливо снялась, и получилась дудка-пужатка. Такая же, как тогда. Я сидел, слушал и ждал. В иссохшем ручье на проулке блестели склянки и копошились раскрылатившиеся воробьи. Я сам себе сказал: «Кше», — и съехал по стволу ракиты на разогретую землю. После я «перепробовал» и припомнил все то ручное и мысленное, что было утешного и радостного в прежних вёснах, но оно не переселялось ко мне оттуда, потому что не было одним только моим, — в нем и с ним жили тетка и Момич. Нас всех теперь стало у меня по двое. Был Момич, с которым я строил клуню, метал парину и уезжал из коммуны, и был еще второй, чужой, тот, что сгребал в подол рубахи снег, перемешанный с полудохлыми пчелами... Жила и пропадала где-то на лугу за речкой моя тетка в красной косынке, с беремем мохнатух, и

была вторая, чужая, обряженная Звукарихой... Был и кликался то Санькой, то Александром я сам, прежний, и был я второй, которому в весну не забывалась зима,— я не знал, что с нею кончилось тогда мое детство...

В нашем погребе под обвалившимися песчаными стенками попадались картохи, опутанные длинными белыми проростами, и мы трижды на день ели похлебку. Дяде Ивану я сказал, что картох хватит надолго, но сам не отлучался дальше «сада» и речки — Царь мог подхватиться просить куски. Он редко слезал с печки — хворал, а где болело — не говорил. Я накладывал ему всю гущу от похлебки, а себе оставлял жижку, но Царь все равно ругался:

— Опять надуганил одной воды! Себя небось не обделил!

Я приносил на показ ему свою порцию, и Царь проверял ее своей ложкой, но меняться не хотел.

— Той змеюке хорошо. Лежит себе в холодке, а тут...

Это он поминал погостинское дерево с сорочиным гнездом, а кому ж под ним и лежать, если не тетке!.. По ночам Царь не спал и маялся; из чуланного окна на печку к нему проникал дымный месячный столб и больше ничего, а он чего-то пугался и будил меня криком через боровок:

— Чего разлегся там! Не чуешь, что ль, как скребтит под загнеткой!

Я говорил, что это чурюканы выводятся, но он не верил.

— А кобель чего воет? Иди уйми его, проклятого! Чего он закликает ее? Она сама найдет, кого ей надо!..

Я уже давно отвязал Момичева кобеля — думал, прокормится, но он целыми днями лежал под крыльцом пустой хаты, а по ночам садился посередине двора, задира морду к месяцу и скулил. А что ему было дать? Очистки от проросших картох? Мог бы научиться мышей ловить или земляных зайцев на выгоне... Ему можно и курицу чью-нибудь... Собаке это легче, чем кому-нибудь... На дворе под месяцем все было таинственным и неразгаданным, как в церкви. Кобель подходил к плетню, ожидающе-повинно глядел на меня зелеными глазами. Под бугром в речке протяжно и грустно курлыкали лягушки. Стеклянная марь луга и заречных полей манила уйти одному или с кобелем вместе — идти и идти все прямо и прямо: мало ли кого можно там встретить — на самом лугу или дальше, на Брянщине...

По чистым фартукам на чужих бабах я узнавал про праздники, и они всегда были труднее и длиннее будней. Тогда тоже был какой-то праздник. Картохи у нас кончились, и Царь все утро охал и просил пить. Я несколько раз подавал ему кружку, но он выплескивал воду на стену, а меня ругал змеем,— гнал из хаты, чтоб самому пойти побираться. Я отыскал пральник и сел на лавку. Она временами поднималась и опускалась подо мной, как качели-самоделки. В полдень Царь покликнул меня жалостным голосом — притворился. Я захватил пральник и пошел в чулан. Царь сидел на краю печки и подвертывал портки. От щиколоток до колен ноги у него распухли и светились как говеенские сосульки.

— Видишь али нет, змей?

В том месте, где он лапал ногу, оставались ямки-вмятины. У него разбрыкло и стало каким-то серо-тестяным лицо, а глаза заплыли и умалились.

— Ты б сходил к кому-нибудь да пожаловался: дядя, мол, родной захворал...— Он глядел на пральник, а сам все метил и метил ямками свои сизые ноги.— Заодно и тулуп прихвати. Скажи: с гарусом, почитай новый. Пускай дают две ковриги... Ну, чего вылупился?

Потом я никогда не испытывал такой люто-взрывной, мутящей разум ярости, как тогда. Я ничего не успел — ни подумать о чем-нибудь, ни прицелиться, и пральник ударился в потолок, потому что кидал я его в Царя обеими руками. Мы закричали разом — Царь подголосно тонко, призывающе на помощь, а я задушенно и ослепше, чтоб он опустил портки. Я опять схватил и занес для броска пральник, и Царь оправил портки, повалился навзнич и заголосил.

Весь этот день-праздник я просидел с пральником на лавке. Она взлетала и проваливалась, и за нее надо было крепко держаться...

К нам никто не заходил, и по утрам я подпирал из сеней дверь хаты и шел на выгон. В такую пору в Камышинке доились коровы и затапливались печи, и я видел, в какой хате что пеклось и варилось. Чтоб проулок не качался, надо было глядеть повыше земли, на небо, а щавель я рвал сидя. Его лучше было есть пучками, а не по одному листику,— быстрее наедалось. Цареву норму я прятал за пазуху под рубаху: мне не хотелось, чтоб кто-нибудь видел и знал, что мы едим...

Словить пескарей было трудно, потому что все уплывало — раKITник, и речка, и берег, и я сам...

Двух голубят, что я взял из гнезда на матице в Момичевом сарае, не нужно было ни резать, ни опаливать, и я сварил их в кипятке и отдал Царю. Он не спросил, что это, и не сказал, сладкие они или какие...

Чем больше мне хотелось есть, тем дальше я обходил встречных — чужих и знакомых...

Тогда наступила жара. Ветра совсем не было, а на проулке и на нашем да Момичевом непаханых огородах то и дело карусельно завихривалась и поднималась к небу горячая пыль — ведьмы жировали. В хате у нас тошно пахло прелыми дынями, и я редко заходил туда — Царь не вставал, ничего не хотел и не просил, а ведро с водой я занес к нему на печку. По ночам в хате сильнее думалось про еду, чем на воле, и я подолгу сидел на дворе. Над речкой и раKITником белой горой поднимался туман. От него то и дело табунками отделялись большие круглые шматки и, вытягиваясь в столбы, наплывали на Камышинку — стоймя. Момич так и побластился мне — меж двух столбов на проулке, тоже весь белый, только с черной головой и с длинной горящей палкой в руках. Я не отвернулся и не зажмурился — пускай плывет, все равно сомнется и растает на улице, но он сместился с проулка в наш «сад», помешкал под сумраком яблони и вышел под месяц — как живой. Я не зажмурился и не отвернулся, когда он пересек улицу, пропал под навесом ворот, а потом объявился на своем дворе. Кобель кинулся к нему и взвился, и Момич занес горящую палку за спину и обеими руками обхватил кобеля... Мне не надо было ни глядеть, ни зажмуриваться — я знал, что утром, когда проснусь, Момич пропадет сам. С теткой я тоже теперь часто встречаюсь и вижу. Мы с нею знаем и помним, что она убита, но говорить об этом нам нельзя, чтоб ей не пропасть от меня совсем. От таких встреч страшно бывает только утром, а во сне хорошо. Во сне не надо ни зажмуриваться, ни отворачиваться...

— Александр! Ты?

Момич — сам — стоял у плетня и глядел на наш двор. Из-за спины у него высовывался и переливчато сверкал

конец палки. Кобель взвизгивал и прыгал к нему на грудь.

— Слышь, што ль?!

Я поднялся с калачника и пошел к плетню.

— Лезь сюда! — сказал Момич.

Я полез на плетень и, когда Момич подхватил меня, чтоб ссадить, разглядел за его спиной винтовку, а на ней штык. Момич держал меня на весу и не опускал на землю. Я заплакал не в голос, а тайком, и он шепотом, прежде-властно крикнул на меня: «Цыц!» — и понес к крыльцу хаты. Там я сполз с него и запоздало и тоже шепотом сказал:

— Ну, здорово, дядь Мось!

Он присел на крыльцо, прислонил к столбу винтовку и спросил:

— Ты чего это... ночуешь на дворе?

У него ничего не было — ни узла, ни сумки, ни карманов у дерюжных порток. Кобель лизал ему босые ступни — серые и задубелые как лошадиные копыта, и Момич подставлял их ему по очереди.

— На жеребце теперь Зюзя ездит. В седле, — сказал я.

Момич чему-то усмехнулся и проговорил не то удивясь, не то поощряя меня:

— Ну?

— А клуню и амбар перевезли в колхоз.

— Ну?

— Больше ничего, — сказал я.

Он сидел расслабленно, отдыхая, и глаза его светились грозным умом и добром ко мне.

— Питаетесь-то чем? — неожиданно спросил он и ощупал мое плечо.

— Щавель вырос, — сказал я и испугался, вспомнив про голубят.

— А к властям ты... не торкался? Может, выдали б чего?

Я погладил крылечный столб, чтоб незаметно пощупать штык. Я уже знал, что не спрошу у Момича, откуда он пришел и где взял винтовку — зачем? Я думал только об одном — куда он уйдет. На Брянщину? И с кем? Один? Он глядел на меня так, будто тоже гадал, куда и с кем идти ему, и вдруг сказал-посоветовал:

— Ты б лук крал. Не опухнуть чтоб... И крапива помогает. Ты нарви ее, былки откинь, а листья задугань в чугунок и свари.

Я мысленно проговорил, чтобы он сам задуганивал ее, но сказал другое, тоже, как мне казалось, обидное для него:

— Соли ж нету!

Мы долго сидели молча, потом Момич взял винтовку и влез на крыльцо. Я думал, что он оторвет доски, крест-накрест прибитые к притолокам дверей, но он только потрогал их и больше ничего. К сараю мы пошли гуськом — Момич впереди, я в середине, а кобель сзади. На затравевшем кругу варка Момич приостановился, не то здороваясь со всем тут, не то прощаясь, а я сказал, что голуби пока не выводились... Он наклонился ко мне, чтоб вблизи видеть глаза, и попросил-наказал — все вместе:

— Ты меня не встревал ни днем, ни ночью. Уразумел?

Я кивнул.

— И попрдержжи пса, а то увяжется...

— Ему и тут хорошо,— сказал я.

Мы глядели в глаза друг другу. Кобель скулил и ластился у наших ног. Месяц уже свалил к западу, и от закут на нас падала прохладная предутренняя тень. Я поморгал, когда Момич сказал, что мне надо подаваться в какой-нибудь город. Может, там уцелею.

— Только бумагу выправь. Чей ты и откуда. Как-никак, а отец твой на гражданской сгиб,— наставил он.

Я снова, как тогда в говеены, ощутил неосознанную до конца обиду к Момичу. Мне хотелось зачем-то сказать ему, что тетка Татьяна Егоровна тоже сгибла, но Момич уже пошел от меня прочь.

За луком на тот конец Камышинки надо было ходить на закате месяца, перед утром. Тогда все не стоит на месте, все шевелится и расплывается — и тени, и блики, а в руслах канав и меж скопляется теплый воздух и запах полыни. Лук надо б было есть с солью, чтоб макать прямо, тогда, может, не палило б живот и не ломило скулы. Его уже накопилось в чулане целое беремя, но я все крал и крал — про запас...

Оказывается, нельзя долго обижаться на человека, если он скрылся неизвестно куда,— тогда не веришь, что он ушел далеко и надолго. Тогда о нем думаешь одно

хорошее и ждешь его не только по ночам, но и днем...

Я больше не подпирал дверь — Царю трудно было дышать, не то что побираться, а в то утро я еще с крыльца услышал оцепенелую тишину в хате. Моя веревочная петля-запорка на сундуке была целой. Каменная немота непустой печки пригнула меня к полу, и я как по чужой меже прошмыгнул в чулан, чтоб выложить из-за пазухи лук, а на двор выбежал во весь рост. Тут реяла предрассветная мгла — уже потухали звезды. На проулке пахло овечками и молоком. Я вышел на выгон и в канаве, заросшей теплой глухой крапивой, подождал солнце. Оно взошло впереди меня из-за погоста, а Камышинка была сзади. Там позади, на западе, в сизом пару мрела Брянщина. Момич явился тогда ночью оттуда, из-за речки, а ушел он совсем в другую сторону — на выгон. По выгону можно идти на восток — мимо сельсовета и церкви, но можно и на север — мимо ветряков и околка. От него до Кашары останется версты три или четыре, не больше. Я не стал ждать, когда пастухи пригонят коров, и пошел на север. Перед глазами у меня плыли голубые и красные шары.

Момичев загон, где мы метали парину, я узнал издали и пошел по нему к Кашаре. Рожь уже выметывалась в колос. Роса нагрелась, и мои ноги отмылись и стали желтые, как свечи. На опушку леса я ступил как в притвор церкви — у меня озябла спина, а рот высох. Тут никто не трогал щавель, он пробивался красными стеблями, но рвать его я не стал. Внизу, в дремучем спаде Кашары, скрипели коростели и по-бычиному взревывала выпь. Я скричал Зюзину частушку про девок с нашего конца и боком, чтобы помнить, в какой стороне поле, пошел в кусты. Их ветки сплелись и перепутались, и то, за чем я шел сюда, страшило и гнало меня на поляны. Там я подолгу сидел, кричал частушку, а потом слушал и ждал. В Кашаре гремела тишина. Кусты и деревья то запрокидывались, то неслись к небу, и я несся вместе со всем, и перед глазами у меня плыли и плыли разноцветные шары и кольца...

Момича я увидел с поляны. Он стоял под аркой густых ореховых кустов с винтовкой в руках. На обращенном ко мне штыке сиял большой лохматый шар. Я поздоровался тем же голосом, каким кричал частушку, — не сладил с

собой. Момич молчал, не опускал винтовку и глядел куда-то через меня. Я оглянулся, но кроме Кашары ничего не увидел.

— Ты один? — грозно спросил он.

— А с кем мне больше! — сказал я.

— Развел колготню до неба... Ну иди ближе, чего стоишь там!

Под кустами на завялом береме папоротника лежали клетчатая попонка и зипун, а рядом, прислоненная горлом к рагулине ветки, стояла литровая бутылка с недопитым молоком.

— Ты... как попал-то сюда? — испытующе спросил Момич.

Он был в суконных башмаках на толстую пеструю портянку — от попонки, видно, оторвал, и портки на нем были другие, не те, что тогда ночью.

— Как, говорю, очутился тут? — повторил он и снова оглядел лес.

— Тебя искал, — сказал я.

— Зачем?

— Дядя Иван помер, — сообщил я.

Момич повесил на орешину винтовку и сел. От его ног шел пар — башмаки и портянки были мокрые. Он сидел и разглядывал их — то левую, то правую ногу, а я стоял и видел одну только бутылку. За моей спиной в низине Кашары мяукали иволги и ухаля выпь. Через листовяной шатер на логово Момича пробивались прямые и тонкие лучи.

— К босому по лапти пришел ты, Александр! — вечность сгодя, угрюмо сказал Момич, не поднимая на меня глаз. — На, допей вот...

Он нашарил рукой бутылку и протянул ее мне,

— Я не хочу, — сказал я.

— И давно?

Он спрашивал насмешливо, а глядел на меня виновато, и я отогнал глаза от бутылки и сказал:

— Неш я за тем?

— Не дури, — укорил Момич. Он встал, вложил мне в руки бутылку и крепко полапал мое плечо. — Ты б, говорю, лук у людей дергал, не опухнуть чтоб. Слышь?

— Соли ж все равно нету, — напомнил я.

— Я дам немного, — сказал он, наклоняясь над зипуном, а я засунул горло бутылки в рот и стал пить молоко.

Я пил и сквозь ресницы видел голубые и красные шары, а за ними, на краю той поляны, откуда я пришел сам,— Зюзя и Голуба. Они пропали одни, без шаров, когда я зажмурился, и объявились опять, как только я открыл глаза. Зюзя был в кожанке, а Голуб в зеленой гимнастерке и в переплечных ремнях. Они крались мимо нас в низину Кашары, где ухала выпь, и наганы зачем-то держали возле подбородков. Я не мог отнять ото рта бутылку и не мог крикнуть что-нибудь Момичу,— он стоял на коленях и возился с зипуном и попонкой. Может, мне надо было присесть и ничего больше не делать,— Зюзя с Голубом почти миновали наши кусты, но я подскочил к Момичу и пнул его в бок ногой. Он вскинул голову, увидел то, что я хотел, и на четвереньках рванулся к винтовке. Зюзя в это время глянул в нашу сторону и молча шарахнулся в кусты прочь от Голуба. Я услышал, как Момич негромко и приветливо сказал: «А-а»,— будто встречал гостей, которых долго ждал, и тут же Кашара взорвалась обвальным грохотом и гулом. Я тогда падал, но все же успел увидеть и услышать, как высоко подсигнул и по-бабски тонко вскрикнул Голуб, нырнув головой в куст...

Я сидел затылком к поляне и всем телом ощущал там уже знакомую мне оцепенело-непустую тишину — она всюду одинаковая, где лежит мертвый — в лесу или в хате. Момич трудно и медленно подвигался ко мне на коленях, опираясь правой рукой на винтовку, а левой загребая воздух, как воду. Я не двигался и не моргал — ждал его и слушал тишину на поляне. Он издали обхватил мою шею левой рукой, приблизил свое лицо к моему и прохрипел, глядя мне в глаза:

— Што делать теперь, а? С тобой што мне делаты! Ты ж молоденец, грех мне будет... Ну?!

Видно, он хотел услышать, что я отвечу, потому что разжал пальцы на моей шее, и я крикнул:

— А ему не грех за тетку Егоровну? Пускай теперь знает!

— Да ты как же? Стало быть, ты понарошке навел их? — страшно спросил Момич и откачнулся от меня назад.

— Ничего я не наводил! — опять прокричал я и подвинулся к нему сам.— Я чуть нашел тебя... А они сами! Пускай теперь знают!..

Далеко от нас, в стороне поля, три раза подряд чуть различимо татахнули выстрелы — Зюзя убежал и смелел. Мы сидели друг перед другом — я спиной, а Момич лицом к поляне, и я слышал, как на ней гудели шмели. Момич долго вглядывался туда, как глядят в сутемень колодеза, когда упустят ведро, и вдруг отложил в сторону винтовку, а мне сказал, будто мы были в его хате:

— Ты б докончил молоко-то.

Бутылку я зажимал коленями; на дне там оставалось еще глотка два. Момич проследил, пока я допил молоко, и опять заглянул через меня на поляну.

— Вот оно и вышло — белый к обеду, а черный под обух! — проговорил он непонятное мне и встал. — Этот-то... Зюзя видел нас?

— А то нет! — сказал я и тоже встал.

Момич оглядел Кашару, небо, потом свои ноги. Наверно, он что-то забыл и хотел вспомнить, потому что дважды хлопнул себя ладонью по лбу и дважды охнул как от боли.

— Ты про что, дядь Мось? Может, я знаю? — спросил я.

Он потрянул головой и поднял зипун и винтовку.

— Пошли! Жива!

Я подбежал к кустам и схватил попонку. До Брянщины было не десять и не двадцать верст, и надо, чтоб каждый из нас нес поровну, — он зипун и винтовку, а я попонку и бутылку...

Поляну, где лежал Голуб, мы обошли стороной. Момич все время оттеснял-загораживал меня — не хотел, видно, чтоб я оглядывался на нее. Мы забирали все вниз и вниз, к болоту. Зипун Момич нес на плече, а винтовку в руках. Я тоже уместил попонку на плечи, а бутылку обернул горлом вперед. Край болота зарос багульником, ольхой и аиром, и Момич пошел тут впереди, а я сзади. Он шел, пригнувшись, раздвигая заросли штыком, и я тоже пригинался как он, не ниже и не выше.

— Ну все! — неожиданно сказал Момич и остановился. — Тут мы должны расчалиться. Мне, вишь, влево надо, — показал он на болото. Там шелестел камыш, скрипели коростели и ухала выпь. Я выше колен подвернул портки и взглянул на Момича.

— Тебе со мной не сутерпь будет, Александр! — глу-

хо сказал он и стал ко мне боком.— Моей бедой ты сыт не будешь... Уходи один. Зараз прямо. В город какой-нибудь подавайся...

Я стоял, молчал и плакал, потом передал ему попонку, а бутылку оставил зачем-то себе.

— Ну... прощевай,— клекотным шепотом сказал Момич.— Не помни лиха. Быль-небыль, а след наш тут все одно когда-нибудь заглохнет...

Я не скоро выбрался из Кашары и пошел на север. Рожь выметывалась в колос и была выше меня, потому что я шел пригнувшись. Солнце било мне в спину. Оно сияло с той стороны, где осталась Камышинка — черное горе мое, светлая радость моя!..

ЭПИЛОГ

Наш батальон отступал из-под Белостока на Минск. Когда небо очищалось от «юнкерсов» и мы вылезали из кустов и ложинок, капитан Благоев шел в хвост роты к моему взводу и кричал-спрашивал, чтоб слышали все:

— Как они, дела, лейтенант, так-перетак-разэтак их!

У нас были винтовки и гранаты наступательного действия, оттого заключительные слова ротного ложились на душу как неожиданная артподдержка резерва главного командования. Я докладывал капитану тоже с надеждой и верой, но после этого командир батальона подзывал меня к себе для разноса за «упущения тыла колонны на марше». С майором Папсуй-Шапко у нас с самого начала наметились какие-то стыковые и горестные для меня взаимоотношения. Я прибыл в батальон за месяц до войны — в мае, и когда представлялся, майор почему-то обернулся ко мне боком и недоверчиво и как-то осконно-брезгливо разглядывал мои аттестационные документы. С тех пор при встречах и за глаза он называл меня Цидулкиным, хотя по росту мне больше подходила фамилия Письменов. Майор, по-моему, не кончал ни штатских, ни военных училищ, и все же ремень он мог бы носить по-военному, чтоб пряжка приходилась над пупком, а не ниже. Мне казалось, что «Шапко» в майорской фамилии лишнее, и про себя я величал его Папсуем...

Батальон обогнул стороной Белые Столбцы, и там нас

на исходе дня встретили немецкие танки и автоматчики. Мы ссыпались в неширокую болотистую балку и залегли тесным пластом — места было немного, а тяга к локтю соседа — велика. Танки в болото не пошли. Они установились вблизи его на склонах и оттуда, кренясь башнями вниз, ударили из пулеметов и пушек. Пешие немцы с засученными по локоть рукавами заняли проходы между танками. Им незачем было целиться, и они стреляли, свистели и улюлюкали, уперев рукоятки автоматов в животы. Может, нам с самого начала следовало лежать и не шевелиться — не всех же нас до единого надо было убить им, з а с у ч е н н ы м! А может, наоборот — нам нужно было встать и кинуться всем разом на танки и автоматчиков, — мало ли что могло тогда получиться! Но мы не вставали и не лежали смиренно. Мы елозили по болоту, сбиваясь в кучи, и раненые вцеплялись в здоровых смертными хватками, и нельзя было забыть о том, что у немцев рукава засучены по локоть... Теперь трудно сказать, когда я завыл на одной, тоскливо-зверущей ноте — до того, как увидел капитана Благова, или после. Он лежал на кочке лицом в небо, и левый глаз его — буро-голубой и большой как грецкий орех — висел на белой жилке и качался у виска над ухом. Я подполз к кочке и без осязательного усилия одним рывком втащил капитана к себе на спину. Он привалился на меня животом, и я взрывно-радостно подумал о защите под его телом, но не шевелиться и оставаться на месте не смог, — тот, кто не двигался, был мертв. О том, что капитана добились на мне, я догадался по тому, как он резко дернулся и отяжелел. Я удерживал его одной рукой, а второй отталкивался и полз в центр балки, потому что туда устремлялись другие. Это были бойцы из моего взвода, не бросившие винтовки, скатки и противогазные сумки, мешавшие им ползти, но я никого из них не узнавал и не хотел, чтобы они узнали меня. Может, оттого, что мне надо было выть, ползти и удерживать на себе капитана, я не слышал ни криков, ни просьб раненых, но я ощущал каждый невысоко миновавший снаряд, — горячим ударным валом он вдавливал нас с капитаном в грязь и тут же освобождал и резинно подкидывал в воздух недалеким глухозахлебным взрывом. Частый, разломно-отрывистый грохот танковых пушек перевивался тягучим звоном пуль. Я лез вперед, не бросал капитана и выл, и передо мной несколько раз возникало видение Кашары — на свете весна, а лук надо макать в соль, и я

ищу кого-то, и в орешнике поют птицы... Мне смутно запомнился путь до той дегтярно-черной канавы, куда я ввалился с мертвым капитаном, и где за береговой рогозой и осокой от меня скрылись склоны балки и немцы. Канавка была в сажень ширины. Вода в ней доходила мне до пояса, казалась теплой и пахла жилой закутой. Какая-то сила заставляла меня не бросать убитого — я не отрывался от него даже в те минуты, когда нырял при взрыве недалекого снаряда. Я не заметил, когда и как очутился под навалом бревен, переброшенных через канаву. Это была гать из ольховых орясин. Под их утолщенными концами лежали два человека. Ноги их свисали в воду, а головы скрывались под нависшим козырьком торфянистого берега. Один из них был в натальной рубахе, заляпанной илом, — в сумраке укрытия она рябила как шкура телят. Я прибил в свободный конец гати и сначала положил мертвого капитана, а затем лег сам. Наши ноги оказались в воде, а головы на суше, — как у тех двоих. Какое-то время я слышал стрельбу, стук своего сердца и ноющей гуд комаров, залетавших в уши, потом звуки разом оборвались, будто я нырнул в черную теплую канаву глубоко и надолго...

— Слышите, аль нет? Товарищ майор вызывают! Обоих!

Под настилком гати было темно, как в яме, но я различил скорченную фигуру красноармейца. Он толкал меня ногой, и я сел и оправил под ремнем грязные складки гимнастерки. Как и днем под тяжестью раненого капитана, я испытал взметнувшуюся во мне надежду на что-то благополучное — командир батальона был цел! Боец повторил приказание и пополз через канаву к толстым концам ольшин. Вода в канаве была теплей, чем воздух, и на середине я немного помедлил, чтоб унялась дрожь. Оттуда мне виднелась рябая тень в конце гати, и я приложил правую руку к виску. Высота настила не позволяла рапортовать по всем правилам, поэтому я доложил о себе, стоя на коленях у кромки берега. Белесая тень надвинулась на меня вплотную, и майор Папсуй-Шапка спросил хриплым полусшепотом:

— Кто второй с тобой?

Я опустил правую руку и сообщил:

— Капитан Благов. Он убит... Что ж теперь поделаешь, товарищ майор!..

Это вышло у меня не по-военному, а так, словно он, майор Папсуй-Шапко, доводился капитану родственником и опоздал на похороны.

— Где твой взвод? — задыхаясь спросил майор.

Я машинально вскинул руку к пилотке и доложил, что взвод находится в расположении батальона. В свой ответ я не вкладывал никакого другого смысла, кроме убежденности в знании обстановки и готовности выполнить первый боевой приказ. Я не различал лица майора, хотя был от него в нескольких пядях. Может, эта теснота и помешала ему размахнуться и ударить меня кулаком, и он лишь торкнул мне в лицо мокрую осклизлую ладонь.

— Трус! Предатель! — все тем же сдавленным шепотом крикнул Папсуй-Шапко и опять пнул меня пустой ладонью.

Боец в это время не то потерял равновесие, не то захотел переменить положение и звучно взбултыхнул воду. Майор яростно цыкнул на него, а я опустился на четвереньки и полез из-под гати на берег...

Болото застилал парной туман. Он казался бурым, потому что на горизонте тускло светил красный месяц,— не то всходил, не то садился. Я пополз по склону балки вверх. Позади меня в болоте раздавались какие-то протяжно-глухие стоны, и я мысленно закричал себе, что это выпь. Птица такая, вроде цапли! Она засовывает клюв в воду и мычит! В Кашаре выпь тоже водилась!..

На гребне балки туман обрывался четкой округлой линией. Я высунул из-за него голову и прислушался. Тишина с каждой секундой перерастала в гремющий гул, и я с трудом, будто сроду не ходил, встал на ноги. Я пошел на восток, больно ощущая затылком незримую точку гати, и при каждом шаге из моих раскисших сапог вырывался отвратительный свистяще-хлюпающий звук. Луна, оказывается, всходила, а не садилась, и в полях реял разреженно-таинственный мрак. В низинах было теплей и безопасней, чем на пригорках, засеянных люпином и рожью, но тут по-камышински били перепела, и меня бессознательно влекло к ним...

Теперь трудно сказать, как поступил бы я, если б бойцы не заметили меня первыми. Их было семеро и у каждого с левого плеча на правый бок свисал хомут

шинельной скатки, а винтовки они держали в руках, как палки. До того как наткнуться на эту семерку, я долго пробыл на берегу ручья, заросшего ольхой и айром. Там я переобулся, очистил пистолет и кобуру от заклёклого ила и подсушил на ветру свой разбухший комсомольский билет. Уже наступал рассвет,— оком вокруг месяца побледнел, а сам он умалился и померк. Я бегом преодолел голый взгорок, изрезанный белыми трещинами, и на перевале из кустов подлеска меня окликнули коротким призывным свистом. Наверно, снизу хорошо было видно, что я свой, потому что в следующий миг, когда я пригнулся, от кустов позвали: «Давай сюда»,— и я различил семерых с винтовками и скатками. Они стояли в прогале кустов тесной цепочкой лицом ко мне, и у всех были винтовки, скатки и противогазные сумки, заляпанные подсохшим илом. Нас разделяло шагов двадцать или тридцать, и я не прошел, а будто проплыл их на прибойной волне стыда, страха и безгласной мольбы о пощаде. Они, наверно, не слышали, что я сказал шагах в пяти,— я сказал: «Братцы»,— не слышали потому, что слово это я произнес шепотом. Быть бы и второму и третьему праведному слову тогда, если б я не узнал среди семерых своего помкомвзвода сержанта Тягунца и не метнулся памятью к гати, к ее толстым концам, к рябой нательной рубахе, похожей на шкуру теленка. Тягунец — щупленький веснушчатый недокормыш с осиненными глазами — стоял на правом фланге семерки,— вел на восток! — и глядел на меня испуганно и ожидающе. Я шагнул к нему, чувствуя, как гневно-уверенно подпрыгнуло у меня сердце, и спросил папсуйским голосом, сам дивясь своей искренней ярости:

— Где взвод?!

До этого я держал пистолет стволом вниз, но теперь рука самостоятельно, без моего усилия, поднялась до уровня правого плеча Тягунца, незащищенного скаткой. Я помню, как Тягунец привстал на носках сапог и помертвело сказал: «Товарищ лейтенант», застыло глядя мне в зрачки, и как остальные шестеро одновременно подобрали винтовки по команде «смирно». Вот тогда-то я и понял, почему слабые и несправедливые люди, незаконно или по ошибке поставленные у власти над другими, неизменно и в первую очередь стремятся обвинить в чем-нибудь самого сильного и правого — этим они устраняют из жизни опасность примера и сравнения и утверждают себя в праве на произвол. Я отвел пистолет и глаза от Тягунца и все еще

на полукрике спросил, почему он идет без боевого охранения. Вопрос был глуп и никчем, но ничего другого не придумывалось.

— Мы ж все вместе шли! — с угрюмой обидой напомнил кто-то из бойцов.

Мне нужно было что-то сказать или сделать, что поставило бы меня в цепочку семерых не только равным им, но и своим, и я стал ругаться длинным, бессмысленным и безадресным матом. Бойцы молчали, но стояли уже «вольно».

— Может, закурить найдется? — спросил я у всей семерки.

Мне ответили, что курево есть, но только мокрое. Я сказал, что в дороге подсушим и встал рядом с Тягунцом — время было двигаться вперед.

На заре к нам прибились четверо с одной гранатой наступательного действия, и тот, у кого она была, шел передним. По грязному обмундированию было видно, что бойцы — из нашего батальона, и я определил их на левый фланг. Мы двигались на восток, обходя селения и забирая правее предполагаемой черты Минска, — тут погуще был лес. С восходом солнца над нами то и дело стали проплывать косяки самолетов с красными растопыренными лапами. Бойцы тогда ныряли в кусты, как в воду, а я выбирал сосну потолще и обхватывал ее с такой благодарной преданностью, что сдирал на руках кожу. Я думал, что этим — не падаю под пролетающими самолетами — хоть в какой-то мере вызову к себе воинское доверие бойцов, но наше сближение началось с другого. Мы перебежали поляну, и я впервые за то лето услышал кукушку. Она благовестила где-то справа, и я загадал, сколько мне осталось. Кукушка поперхнулась на третьем разе. Мне этого хватало — с отсчитанными будет двадцать пять, и я оглянулся на бойцов, мысленно посулив им все благополучное в нашем походе. Все семеро — безоружные тоже — бежали, ожидающе склонив головы к правому плечу, — накукованного каждому из них было мало. Я сказал Тягунцу, что белорусские кукушки отсчитывают года десятками. Он серьезно взглянул на меня и тут же обернулся и сообщил мои слова остальным. На опушке поляны бойцы о чем-то посоветовались и кто-то из них попросил Тягунца, чтобы он попытал, можно ли пособирать пазабник.

Попытать, наверно, нужно было у меня, но я не знал, что такое пазабник, и обернулся к Тягунцу, готовый на любое согласие.

— Земляника тут попадается,— пояснил он, глядя мне в ноги.

Лямка противогазной сумки косо оттянула воротник его гимнастерки, оголив тонкую шею, и на ней трепетными толчками билась выпуклая голубая вена. Я сказал, что нужно выставить дозор, и оглядел поляну. Бойцы уже разбрелись вдоль опушки, а Тягунец все стоял и смотрел на мои сапоги. Вид у него был усталый и замкнутый.

— Иди рви пазабник! — сказал я.— Чего ждешь?

— Я ж в дозоре,— чему-то усмехнулся он и поправил скатку.

— А я что, не угляжу, да? — спросил я.— Иди рви пазабник!

Тягунец понуро пошел от меня, придавленный амуницией, и тогда я решился на первое приказание всем — передать скатки троим безоружным. Я видел, как заодно со скатками сымались с плеч громоздкие противогазные сумки, но уточнять распоряжение не стал. Как только оно было выполнено, я отошел в сторону и перевел стрелки на своих, в болоте еще остановившихся, комсоставских часах, с восьми на двенадцать,— до этого я только один раз, утром, взглянул на часы и с тех пор держал левую руку на отлете. Я еще не управился с часами и мыслями о гати, когда лес и небо затопил пронзительно-железный вой «мессершмиттов». Они летели бреющим, тройками на малых дистанциях, прямо над нашей поляной. Бойцы бросились в лес, и тот, кого настигала стреловидная тень самолета, падал вниз лицом как подкошенный. Истребители скрылись так же внезапно, как и появились. Бойцы торопливо и самостоятельно выстроились позади меня, и я испытал тогда какую-то тайную признательность и сочувствие к тем из них, кто упал под самолетной тенью. Тягунец первый предложил мне землянику. Он не передал свою скатку безоружным и стоял маленький, виновато-грустный, протянув мне на ладони несколько ягодин.

— Я не хочу, Василь,— отказался я.— Ешь сам.

— Они ж спелые,— промолвил Тягунец и не убрал руку.

Я взял у него две ягоды, и тогда к нам подошли остальные, и безоружные тоже. У некоторых ягоды были

смяты и раздавлены, и я знал, отчего они такие,— когда падаешь и ждешь удара в темя, то о мелочах не заботишься...

Часа через два мы набрали на небольшое лесное озеро, и там из зарослей болиголова и крушинника к нам вышли пятеро безоружных бойцов и замполитрука нашей роты Абалкин с большой кирзовой сумкой на боку. Мы соединились молча и не останавливаясь; Абалкин со своей группой пристроился на левый фланг.

Обвально-ссыпной грохот бомбежки прослушивался то впереди, то слева, то сзади, и мы невольно забирали правее.

В середине дня мы перешли вброд речку и на ее восточном берегу в прогале верболозной дремучи наткнулись на ефрейтора Чернобая — командира второго отделения моего взвода. Чернобай сидел нагишом и стирал обмундирование. Рядом с ним на рогульках висели зевом к солнцу копытообразные растоптанные ботинки, а возле них на черной тесьме обмоток лежали винтовки и две гранаты ручками к реке. Когда мы подошли, Чернобай медленно встал и загородился мокрой, распяленной в руках гимнастеркой,— наверно, он заметил нас раньше, до перехода нами реки. Я не знал, что сказать Чернобаю,— не здравствуй же! — и он тоже молчал и все ниже и ниже опускал гимнастерку, оголяя белый запалый живот. Дальше молчать было невозможно, и я спросил у него, как дела. Чернобай взглянул на меня темными нелегкими глазами и сказал тихо и просто:

— Как видите...

Я стоял и неотрывно глядел на его поджарый ребячий живот, и тогда Чернобай добавил прежним голосом:

— ...товарищ лейтенант!

Нам нужно было еще что-то сказать друг другу, потому что за спиной у меня стояла трудная тишина.

— Ничего, брат... Спасибо тебе за службу! — неожиданно для себя проговорил я.

— Служу... С-служу...

Чернобай заплакал и присел возле винтовки. Бойцы

стояли позади меня молча и ожидающе. Я сломал неизвестно зачем хворостину и сначала оборвал с нее истомно пахучие млелые листья, а после того скомандовал привал...

Главное было — не думать о вчерашнем, о засученных рукавах у немцев, о себе под убитым капитаном; не помнить гати, нательной рубахи майора и его удавного хрипа — иначе мы не дойдем к своим, на восток. Я не знал твердо, в чем заключалась правда этого подсознательного желания — не думать и не помнить! — но в нем и за ним таилась и обещалась вера в себя и надежда на тех, кто шел с тобой. Это пришло ко мне на привале, в лозняке, метрах в десяти от бойцов, куда я забился после того как объявил благодарность ефрейтору Чернобаю. Я лежал там вниз лицом и слышал, как кто-то из бойцов зло и горько сказал:

— Все! Отгулялась розка, бобик сдох!

Я ждал продолжения, но бойцы молчали, — было слышно лишь, как плескуче чулюлюкала в речке вода: стирали обмундирование. О бобике сказал, конечно, безоружный, и тут ничего нельзя было поделать, потому что солдату разгромленной роты трудно верится, будто осталась еще армия. Тут ничего нельзя было поделать, и я подумал, что главное для нас — не помнить о вчерашнем, забыть про болото!..

Я не заметил, когда пошли мои часы, — просохли. Я завел их и поставил стрелки на пятнадцать ноль-ноль, чтоб через час сняться с привала. Немного сгодя, Тягунец принес мне раскисший сухарь, серую глудку рафинада, обломок спичечной коробки и щепотку махорки на волгллом лоскутке газеты. Он посоветовал потереть спичку об голову, а то не загорится, и хотел уходить.

— Возьми себе сахар, — сказал я.

— Да я не хочу, — отказался Тягунец и отступил в сторону.

— И давно? — спросил я.

— Так то ж вам дали...

— Ты не знаешь, кто из нас старший? — показал я на свои петлицы, и Тягунец взял сахар, но есть не стал, зажав его в кулаке.

— Кто это там рассказывал тебе про бобика? — спросил я.

— Про какого? — невинно удивился Тягунец.

— Что сдох, — сказал я.

— Не знаю, товарищ лейтенант... Не слышал.

— И про розку тоже не слышал?

— Тоже.

— Ладно,— сказал я.— Сколько у нас патронов?

— С полсотни... А может, и больше.

— Съешь сахар, а после уточни, сколько во взводе патронов.

— Ясно, товарищ лейтенант.

— Пошли ко мне Абалкина,— сказал я.

Тягунец побежал через заросли и на ходу позвал невнятно и задущенно — сахар ел:

— Замполит! Командир взвода вызывает!

Абалкин подтвердил мою догадку — о бобике говорил безоружный.

— Меры к нему будем принимать какие-нибудь? — басом, как обиженный, спросил он и зачем-то потрогал свою сумку.

Я промолчал, свернул сигарку и закурил. Кирзовая сумка Абалкина топорщилась, оттягивая ему плечо, и мне хотелось заглянуть в нее и узнать, что там лежало...

Перед заходом солнца мы повстречали в лесу стадо коров и телят, беспризорно бредших с востока на запад,— возвращались, видно, из угона в тыл. Завидя нас, коровы остановились и замычали,— доиться хотели, а может, пить. Я оглянулся на Тягунца, и он понимающе сказал:

— Если б котелки были!

— Тогда отлучим телят,— сказал я.

— Одного или двух?

— Двух,— решил я.

Телята дались в руки покорно и доверчиво; двое безоружных повели их на своих ремнях. Я по себе заметил, как нелегко стало идти,— до изнурения захотелось есть, и все мы с какой-то свирепой ревностью то и дело оглядывались назад — следили, целы ли телята. У меня не было ни карты, ни компаса, и никто из нас не знал, сколько километров мы прошли и где находятся немцы и наши. За весь день нам никто не повстречался из местных жителей, потому что деревни мы обходили издали, оставляя их по левую руку,— почему-то казалось, что в правой стороне для нас нет опасности. Ведя с собой телят, мы еще круче забирали вправо. Лес постепенно редел, сменяясь глухими полянами с нехозяйскими, высоко торчащими черными пнями,— наверно, тут когда-то прошел низовой пожар, и поди узнай, каким лихом-полымем занес-

ло на одну из таких прогалин человечесье жильё. Оно топилось — в небо тянулся витой столб опрятного сизого дыма из высокой берестяной трубы, востреленной в толстую земляную крышу над серым приземистым срубом об одном окне. Окно горело чистым жаром заката, а пустая дыра дверей была темной, как берложий лаз. Почти у самых дверей и вровень с земляным гребнем сруба, заросшего какой-то розовоцветущей травой, вздымалась косая орясина колодезного журавля, а перед окном стояла ухитка из белых березовых слег — не то клеть, не то закута. За ней, возле штабеля черных обуглившихся бревен, забранных по концам в березовые стояки, сидел на чурбаке большой лохматый старик с топором в руках. Он заметил нас сразу, но не переменял позу и не перестал размеренно и крепко тюкать топором — ладил, видно, так, чтоб до очередного удара эхо успело долететь к нему от леса. Мы пошли во двор не гуськом, а на всякий случай россыпью, как при атаке. В дверях сруба показалась высокая босая старуха в белом чистом платке с острым кулем над лбом, как покрывалась когда-то тетка Егориха. Я издали, из-за колодезя, поздоровался с нею и спросил, сколько до Минска. Она помедлила, запахнула полы большого мужского пиджака и степенно сказала, что, надо почитать, пятьдесят верст с лишним. Мы шли правильно — Минск остался у нас в северной стороне. Впереди же, верстах будто бы в двенадцати, была большая деревня Веркалы, а в семи или восьми справа — Мрочки. Старуха умолкла и не вышла из проема дверей. Я спросил, нельзя ли нам купить где-н и б у д ь немного хлеба, и достал из кармана гимнастерки две слипшихся радужных тридцатки.

— Может, в Мрочках разживетесь, — раздумно сказала старуха. — У нас так утресь вышел. Пятеро тут ваших заходили. Ну и вышел...

— Они с оружием были? — несмело спросил Тягунец.

— Да вот как и вы...

Мое грязное обмундирование, безоружные бойцы, придерживающие забеспокоившихся телят, и осуждающая безучастность хозяина скита, продолжавшего сидеть поодаль и работать, вогнали меня в колючий стыд и обиду за наше тут появление. Я кивнул Тягунцу: пошли, мол, но в это время старуха отделилась от дверей и, клонясь вперед, будто готовилась словить на пощуп курицу, направилась к плененным нами телятам. Она с ходу погладила одного, а возле второго присела на корточки и унижен-

но-радостно спросила Абалкина, глядя на его нарукавные звезды:

— Начальничик, чи ни оставишь ты мне телушечку, а? Вам ить бычка вдосталь, а у ей, глянь-ка, и титиньки проклюнулись, и рожки!

Абалкин что-то буркнул и потрогал сумку, а старуха обеими руками обняла теленка, и он замычал и ткнулся ей в колени.

— Ивановна! Ты чего там буровишь? Слышь, что ль? — укоряюще-охранно знакомо властным голосом позвал старик со своего места, и прежде чем обернуться к нему лицом, я успел спрятать деньги, распорядиться, чтоб отдали теленка, смертно чему-то испугаться-обрадоваться и вытянуть руки по швам. Я так и шагнул к штабелю — руки по швам. Старик вонзил в колоду топор, встал на ноги, приложил ковш ладони к глазам. Я остановился от него шагах в трех и тоже поднес руку к глазам. Это был Момич. Живой. Прежний. Только борода у него была не черная, а гнедая. И космы волос на голове казались цвета земли в засушь. Это был Момич! Живой! Мы разом опустили руки, и я проговорил в один выдох:

— Максим Евграфович, это я, Александр! Здравствуй, Максим Евграфович!

Момич шатнулся ко мне, вскинув над коленями руки, но тут же взглянул в сторону бойцов и ответил ровно, спокойно:

— Ты обмишурился, служивый. Не за того посчитал. Меня по пачпорту Петром Васильевым звать. Бобровым... Лесник я здешний.

Мне надо было сесть, но Момич стоял, непреклонно глядя на меня настойно-темными глазами. Я вынес его взгляд, как чужой, и сказал, что мне пора идти.

— И далеко? — прежним, камышинским тоном спросил Момич.— Неуж на самую Москву? Или дальше?

Я промолчал и стал разглядывать крошечную белую клеть. Она была раз в десять меньше памятного мне амбара. Что могло в ней спрятаться? Сам Момич?

— Ладно, чего уж тут! — веским полусшепотом сказал вдруг Момич.— Хоть она и не круговая была порука, а отвечать теперь придется всем. Садись, побалакать надо...

Мы опустились на колоду. Нас разделял врубленный в нее топор, и мы не стали его рушить. Я не хотел, чтобы Момич поминал прошлое,— этого сейчас не нужно было! — и спросил первым:

— Ну как ты живешь, дядь Мось?

Он щелчком сбил с моей гимнастерки присохшую грязь и ответил как ударил:

— Да вот так, брат. Тишком, где низко, ползком, где склизко. И по бумагам я Бобров... А ты?

— Я — сам,— сказал я.

— Стало быть, никакого шороху под тобой не было?

— Нет,— сказал я.

— Как же ты... пробился? Сперва-то?

— То лето в Карачеве на базаре прожил, а потом в Брянск попал... в детдом,— сказал я.

— Та-ак. Ну, а зараз, значит, поперек своих ног бегишь? Как говорится, ни козырей, ни мастей не оказалось? А куда ж они делись у вас? Хвалились же, будто полны руки! Минск-то, слышать, ажно вчерась отдали! Без стуку и грюку!

Момич в насмешливый прищур смотрел в сторону колодезя,— на безоружных бойцов, конечно,— и я поправил на себе кобуру пистолета и спросил:

— Все носишь обиду?

— Надо б, да не на кого,— повернулся он ко мне.— Кабы оно не на наших дрожжах то тесто взошло! Ить не германец же с туркой грёб нас?

Я заплакал внезапно и несуразно. Момич подождал — дивился, видно, потом сказал, как когда-то в коммуне:

— Ну во-от! Ты чего это!

— А ты не знаешь, да? Не знаешь? — спросил я его обо всем сразу — о тетке Егорихе, о нем самом, о Кашаре, о моем вчерашнем болоте, о Минске, но Момич понял все по-своему, короче.

— Ну-к и что? — спросил он в свой черед.— Под ножку на момент и лошадь валят... А на Расеи яства много, коли гостям брюха не жаль? Чего ж кваситься-то? Одним, вишь, днем лето не бывает опознано!

— А я и не квашусь,— сказал я.

Он опять счистил с моей гимнастерки присохшую кляксу ила и хмуро признался, что поприветить нас нечем, хлеб в обрез вышел.

— Нам бы посуду какую под телятину,— неловко попросил я.— И соли нету...

Момич длинно и невидяще посмотрел куда-то сквозь меня и устало сказал:

— Вот как она перекрутилась, жизнь наша с тобой! Насмерть переплелась!..

Он дал нам старое мятое ведро и пригоршню крупной желтой соли-бузы. Уже смеркалось. Момич нас не задерживал, а я его не манил с собой. О своей Ивановне он не сказал мне ни слова — и зря: разве мы не вместе схоронили тетку Егорику одиннадцать лет тому назад!..

На третий день пути мы соединились с остатками какой-то артиллерийской части при трех гаубицах и ночью вышли в расположение своих войск. До самого конца нашего отступления я попеременно командовал то взводом, то ротой, то самим собой, потому что бывало всякое — и болота с госпиталями тоже. Войну я закончил майором. Батальон мой стоял в Кенигсберге, когда мне дали отпуск. Два дня я блуждал по лесам юго-восточнее Минска, пока не нашел знакомую поляну. Скита не было. Сгорел... В Мрочках мне сказали, что «бобра» — так звали там Момича — немцы казнили за связь с партизанами аж в сорок третьем. Я вернулся на поляну, но пробыл там недолго, — ну сколько нужно солдату, чтобы проститься с заброшенной могилой? Пять минут? Десять?..

1965

ПОЧЕМ В РАКИТНОМ РАДОСТИ

Машину я оставил на улице под липами — они сильно выросли, — а сам зашел под каменный свод ворот и оглядел двор. Все тут было прежним, как двадцать пять лет назад. Справа — красного кирпича стена потребсоюзовского склада, слева — пыльная трущобка индивидуальных сараев, а в глубине двора — уборная, помойка и длинная приземистая арка глухих ворот. Там в углу в благословенном полумраке, навеки пропахшем карболкой и крысоединной, я и поймал двадцать пять лет тому назад чьего-то петуха — оранжевого, смиренного и теплого. Я спрятал его под полу зипуна, и всю ночь мы просидели с ним в городском парке недалеко от базара. Через ровные промежутки времени я пересаживал петуха на другое место — то под левую, то под правую мышку, — это было в марте, и каждый раз, повозясь и успокоясь под зипуном, петух порывался запеть. Утром я продал его за шесть рублей. Этого мне вполне хватило, чтобы отправиться дальше, в Москву...

Да, все в этом дворе было мне памятно, все оказалось непреложно сущим, нужным моей жизни. Стоило ли его стыдиться и вычеркивать из памяти? Я не стал долго раздумывать над тем, что скажу незнакомым людям, и вошел в пахучий коридор знакомого серого дома. Жили тут густо. Я насчитал пять дверей направо и шесть налево, и все они были обиты по-разному и разным. Я выбрал дверь под войлоком, — тут должны обитать люди пожилые, — и постучал, прислушиваясь к тому, что выделывало мое сердце; оно билось так же трепетно и гулко, как и тогда, с петухом.

Открыла мне маленькая ладная старушка в белом фартуке и белом платке.

— А он только что уехал на речку, — хлопотливо сказала она. — Нешто вы не встретились?

Она обозналась — в коридоре был сумрак и чад.

— Я не к нему. Я к вам,— сказал я.

— Ах ты господи прости, а я подумала — Виктор...

Женщина кругло поклонилась мне, приглашая, и попятилась в комнату. Я вошел, встал у дверей и стащил берет,— в углу под потолком висела икона, а перед нею на цепочке из канцелярских скрепок покачивалась стогривая рюмка, и в ней, накрываясь к иконе, стояла и горела толстая стеариновая свечка.

Икона, цепочка из скрепок и эта наша парафиновая советская свеча подействовали на меня ободряюще,— тут умели ладить со многим и разным, и я сказал:

— В тридцать седьмом году в вашем дворе я... украл петуха. Красный такой... Случайно не знаете, чей он был?

Я только потом понял, что так нельзя было говорить,— можно же напугать человека, но женщина, окинув меня взглядом, спокойно, хотя и не сразу, сказала:

— Да это небось дядин Васин... Дворника. Теперь он померши давно, царство ему небесное... А вы что ж, с нужды али так на что... взяли-то?

Я объяснил.

— А кочеток ничего себе был? Справный?

— По-моему, ничего... Веселый такой,— сказал я.

— Дядин Васин. Один он держал тут... А вы по тем временам прогадали. Четвертной надо было просить, раз уж...

Она замолчала, скорбно глядя на меня, и было непонятно, за что меня осуждали: за то ли, что продешевил петуха, или же за то, что украл его у дяди Васи.

— Я думал... может, заплатить кому-нибудь... или вообще как-то уладить все,— сказал я.

— Бог знает, что вы буровите! — суеверно прошептала старушка, но лицо ее вдруг стало таким, будто она только что умылась колодезной водой.— Это кто ж от вас примет деньги... заместо мертвого-то! Да и зачем нужно? Ну взяли когдась кочетка и взяли! Ить небось на пользу вышло? Что ж теперь вспоминать всякое!..

Она смотрела на меня как-то соучастно-родственно. Я шел по коридору, а она семенила рядом в своем белом платке и фартуке, беспокойная, раскрасневшаяся, и опасно — как бы нас не услышали — советовала мне шепотом, чтобы я больше никому и не говорил о петухе.

У ворот я встал спиной к липам и произнес горячую, бестолково благодарную речь старушке и всему двору. Я хотел проститься с нею именно здесь: нельзя же,

чтобы она увидела мою «Волгу» — новую, роскошно небесную, черт бы ее взял! — Но она, выслушав и приняв все, как свое законное, повлекла меня на улицу и там, не взглянув в сторону лип, сказала:

— Не стыдись. Мы люди свои... Садись и поезжай куда тебе надо!..

Я ехал в Ракитное — большое полустепное село, затонувшее во ржи и сливовых садах. Мне не помнится, чтобы там стояли зимы: я унес оттуда никогда не потухающее солнце, речку, тугой перегуд шмелей в цветущей акации, запах повилики и мяты в чужих садах и огородах. И еще я унес песни. В Ракитном они не пелись, а «кричались». Их кричали гуртом на свадьбах и в хороводах, кричали в одиночку на дворах и в поле. Они были трех сортов — величальные, протяжные и страдательные. Эти выводились парнями и девками под гармошку как караул, но в моей памяти они улеглись навеки рядом со стихами Пушкина и Есенина.

Среди них осталась и частушка о козе и старике. Ею дразнили меня ровесники, и больше всех Милочка-лесовичка. Увидит на выгоне километра за полтора и затаит изнурительно тоненьким речитативом:

Ах, дед Кузьма!
Не дери козла!
Дери козочку!
Белоножечку!
Привяжи к кусту...

Дальше шло такое, что уши вяли, но Милочка не выбрасывала слов из песни, а мне тогда исполнилось четырнадцать, и я уже любил эту Милочку, и мое имя было Кузьма. Того запаса мистического проклятия и насмешки, что было заложено в этом ненавистном «Кузьме», хватило мне потом на долгие годы: мои рассказы, рассылаемые во все редакции тонких и толстых журналов, неизменно возвращались назад.

Сейчас на заднем сиденье машины лежат две книги. Их автор я, Константин Останков. Я везу книги в Ракитное, хотя не знаю, как объяснить сельчанам, что Константин — это я, Кузьма. В Ракитное я еду как на суд. Но, может, там и не читали моих книг?.. В этом случае я не покажу их там. Я привезу туда — потом, когда напи-

шу — свою третью, единственную, книгу. Она начинается так: «Он ударил его в подскуля, а когда тот упал, хрюкнув, как поросенок, он пнул его ногой и, обессиленный гневом, брезгливостью и обидой, сказал упоенно, тихо, почти нежно:

— Вставай и защищайся, гад! Бить буду!»

Это все, что я написал за целую зиму. Тот, что хрюкал, — лежал и не шевелился, а этот, ударивший, стоял над ним и не уходил, и дело не подвигалось, повесть оставалась не написанной. Я видел ее — плотно-тугую, тяжело-маленькую, как бульжник, как этот удар, нанесенный неизвестным неизвестному, и сколько бы я ни бился, пробуя изменить начало, рука самостоятельно выводила на листе бумаги: «Он ударил его в подскуля, а когда тот упал, хрюкнув, как поросенок, он пнул его ногой...»

Все лучшее в этой моей ненаписанной книге — радостные, печальные, гневные глаза обыкновенных людей, в полную силу души высказанные ими мысли — пришло ко мне на рассветах, в задумчиво-звучной тишине. Я тогда постоянно удивлялся прошедшему дню, не находя в нем того, с чем хотелось бы жить: правды жестов и искренности поступков тех, с кем я общался. Об этом — прошлом, темном и нелюбимом — и о том, что незримо еще проступало в новом дне: радостные, печальные, гневные глаза обыкновенных людей, в полную силу души высказанные ими мысли, — я и писал свою новую книгу. Я писал ее в уме легко и скоро, пока не садился за стол. Тогда кто-то другой во мне рассеивал обаяние утренних грез, тушил решимость дерзания на подвиг, уводил во вчерашнее, привычное и нелюбимое. Я каменел за столом, потом писал все ту же фразу: «Он ударил его в подскуля...» В восьмом часу из своей комнаты приходил Костик — мой шестилетний сын. Любя в нем все потерянное и ненажитое собой, я называл его дедом Кузьмой, Кузякой, Кузилицем. Он приходил всегда одинаково — одной рукой поддерживая труссы, а другую ладонь вверх протягивал мне. Я поворачивался к нему вместе со стулом и будто невзначай лягал стол правой ногой. Удар каждый раз приходился щиколоткой об острый угол. Щиколотка ныла потом часа три, и на все это время был предлог не подходить к столу, за которым я написал свои книги.

— Ну? Когда теперь получишь?

Сын спрашивал это каждое утро, и каждый раз голос его басел и басел, — Кузилице терял веру в меня.

— Теперь уже скоро,— обещал я.

— А какую? Красненькую?

Вслед за этим наступала минута немомго ликования Кузяки. Он пригибался, работая руками у воображаемого руля, и под майкой у него круто выпячивался позвоночник — гибкий и вибрирующий, как пила.

В девять без четверти Костик отправлялся в детсад. На прощанье он говорил мне почти дружески:

— Ну гляди не свисти! Чтоб получил!..

Речь шла о машине напрокат,— мы второй месяц стояли с Костиком на очереди в автотранспортной конторе. Но где он научился этому «не свисти»? В садике? Во дворе? Я на всякий случай занес «не свисти» в свою записную книжку — емкое слово, но после этого письменный стол показался мне еще враждебнее...

«Волгу» нам дали небесного цвета. Надломленный непомерным для его силенок восторгом, Кузяка два дня не появлялся в садике. Следя за ним и за собой, я окончательно понял, что детство — посох, с которым человек входит в жизнь. Свой — сучковатый, законный, на всю жизнь хвативший бы — я потерял вместе с именем «Кузьма»...

На третий день я поехал в Ракитное.

...Все, что я видел и о чем думал, оставив позади город и старушку в белом платке, не годилось для записной книжки,— это не принял бы ни один редактор: день мне казался крашеным яйцом — давним весенним подарком малолетнему сироте. То, настоящее яйцо, было окрашено в золотой цвет луковой шелухой. Меня одарил им тогда на пасху наш раkitянский дед Мишуня — перед тем я целую неделю стерег его трех овечек. Под бременем той ноши — первый в моей жизни подарок! — я оцепенел сначала от изумления и благодарности, а потом от горя, когда яйцо разбилось. И теперь я узнал, что не все внезапные радости под силу человеку, не каждый подарок можно увезти в «Волге». Старушкина кладь не умещалась ни в моем сердце, ни в машине, она вытесняла меня в необъятную ширь этого апрельского дня, похожего на крашеное яйцо, и я съехал на обочину дороги, отошел от машины и лег в кювете. Надо мной в сторону Ракитного плыло большое облако. Оно было похоже на собаку, и я хотел записать это, но не стал шевелиться.

Человеку нужно временами побыть наедине с небом.

Тогда он обязательно задумается над тем, куда исчезает — и исчезает ли? — из мира то, что потрясло когда-то все корешки его души: колокольный звон в росистом утре, слово привета, радость открытия, скуловоротное ощущение вкуса незрелого яблока, впервые увиденная, стыдливо-сокровенная завязь ореха, теплая бархатная пыль на руке от крыльев упорхнувшей бабочки... Куда может деться тот бесконечно огромный серый мартовский день? Идти почти было невозможно, потому что ветер дул в лицо, а шоссе обледенело и ноги разъезжались в стороны. Вот тут, где стоит «Волга», лежала большая, льдисто сверкавшая свекловица, и ты увидел ее и побежал к ней, а сзади на тебя наезжала высокая бричка на резиновых шинах. Лошади были белые, кованые на передок, — это ты увидел, когда схватил свекловину и сбежал в кювет, на то самое место, где лежишь сейчас и смотришь в небо. В бричке сидел и зачарованно глядел на твои босые ноги Косьянкин. Он узнал тебя, и ты узнал его...

Нет, это не исчезает из мира. Оно навсегда остается в своем первоначальном виде, с началом, продолжением и концом, и хранится в кладовке вселенной где-нибудь там в космосе, как суть и основание жизни...

Я давно слышал нарастающий гул — со стороны города на большой скорости шла тяжелая машина. Она проскочила мимо меня, и я задержал дыхание, пережидая, когда развеется вонь солярки. Я смотрел на облако-собаку, а указательный палец правой руки держал на запястье левой, — в детстве я мог не дышать до пятидесяти ударов сердца. Я слышал скрип тормозов грузовика где-то рядом с «Волгой», слышал ладный, исправный звук захлопнувшейся дверцы и шаркающий топот сапог по асфальту. Кто-то бежал ко мне, а я был всего лишь на двадцать втором ударе.

— Эй! Ты чего?

Я выдохнул воздух и сел. У кювета стоял маленький сердитый и как огонь рыжий паренек в стильной клетчатой рубашке и разбитых кирзовых сапогах.

— Ничего, — сказал я. — А что?

— Да ни хрена! Лежишь как убитый. Нашел тоже место! Я думал, случилось что. Перебрал, что ли!

— Да нет, — сказал я.

— А чего ж?

— Извини, — попросил я.

— Сперва напугал, а потом извини... Ну, пока!

Медведовку — наш райцентр — я увидел издалека с горки. Ни за что доброе не цеплялась тут моя память, но я должен был остановить машину, опустить боковое стекло и немного посидеть так, пока сердцу не стало легче от неожиданно радостной встречи со своим детством. Я так и не докопался тогда в себе, почему не хочу попасть в Ракитное днем. Наверное, дело было в машине — сияла она непомерно ярко. Я остановился в Медведовке, решив дождаться вечера. Здесь мало что сохранилось от прежнего. Иссох, превратясь в грязную лужу, большой медведовский пруд, исчезли, словно их сроду не существовало, тополя, заборы и палисадники. На площади не было тюрьмы, коновязи и базарных стеллажей. Теперь на этом месте стояло широкое, со всех сторон оголенное двухэтажное здание райкома партии. Чернозем вокруг него так плотно был утоптан, что казался асфальтом.

Я помнил все медведовские вывески — метровые листы красной жести с большими желтыми буквами. Теперь вывески были умеренные, черного стекла, но я долго искал ту, «свою» вывеску, водворенную на крышу низенького деревянного дома. Без нее я не представлял себе редакцию медведовской райгазеты. Мне хотелось найти тот домик, остановиться под окнами и просигналить. Да-да, обязательно погудеть, а потом выйти из машины, поднять капот и будто нечаянно взглянуть на окна редакции, — вдруг там покажется Косьянкин? Ему ни за что не узнать меня, я ведь постарел на двадцать пять лет...

Косьянкин... Ему тогда было под тридцать, а мне четырнадцать. Стихотворение, которое я послал в редакцию, начиналось так:

Фураж колхозники воруют,
Останков смотрит — наплевать
Ему ведь что! Пускай таскают,
Весна идет, хотится спать.

Это я написал о председателе своего колхоза, — у нас в Ракитном почти все Останковы, и стишок напечатали, исправив «колхозники» на «воры» и «хотится» на «хочется». Мое ликование за себя, поэта, граничило тогда с болезнью, и на второй день после опубликования стишка я сочинил поэму о плохом ремонте сельхозинвентаря. Поэму редакция переделала в подвальныйю статью, и с этого времени я стал бичом родного колхоза, — на муки и горе его становления газета то и дело призывала через меня десницу прокурора и меч райотдела милиции...

— Ох и трудным же оказался для Ракитного тот, тридцать седьмой год! Главное — хлеба не было ни у кого, и его пекли... из чего только не пекли! Мы с матерью тоже голодали, но я все не унимался и «критиковал», потому что о «положительном» писать еще не умел. То несчастье, которое выбило меня из Ракитного, случилось в метельный день конца февраля. Я брел по выгону из школы, и у обрыва Черного лога на меня напоролся мирошник колхозного ветряка Мирон Останков — мой родной дядя по отцу. Это он сам так сказал «напоролся», сгибаясь под тяжестью мешка. Мы долго стояли молча, — от непонятого страха я не мог сдвинуться с места, и тогда дядя сказал:

— Жмыхи несучи... У свата Сергеича разжился...

Мешок лежал поперек дядиных плеч, налезая на голову, и дядина шапка съехала набок, закрыв правый глаз. Весь залепленный снегом, бородатый, с оголенными малиновыми руками, вцепившимися в концы мешка, дядя глядел на меня одним глазом, и глаз был неправдоподобно велик и белый-белый, как смерть.

Я побежал к селу вдоль обрыва, а дядя крикнул мне вдогон со слезой и злобой в голосе:

— Не губи! Свой я тебе!..

Зря он это крикнул — я не думал о чем-нибудь худом, я только испугался его глаза, и больше ничего. Дома мать подала мне мякинную лепешку, похожую на засушенный коровьяк, и письмо из редакции. То был «вопросник селькору», отпечатанный в типографии. Я стал читать его и есть лепешку, и мать всхлипнула и сказала:

— Ходила к Миронихе, думала добыть хоть махотку мучицы...

— Проживем и так, — сказал я, поняв, что тетка ничего не дала.

— Да глядеть-то на тебя мочи нету. Аж позеленел весь...

— Ну и пускай, — сказал я. — А ты больше не лазь туда!

— И Мирониха теми же словами проводила меня... А сами гречишные чибрики пополам с тертыми картохами пекут. Окунают в конопляное масло и трескают... Нешто ж ты им чужой!

«Вопросник селькору» призывал разоблачать двурушников, лодырей, рвачей, расхитителей, подпевал, летунов, оппортунистов. Вечером я отнес к сельсовету и бросил

в почтовый ящик самодельный конверт. А через неделю в Ракитное пришла газета с моей заметкой «Мирошник поймался» и карикатурой на дядю Мирона. Он не был там похож, и мешок тащил раза в четыре больше себя. Мать долго и не без тайной гордости разглядывала подпись под заметкой — «К. Останков», — потом заголосила как по покойнику:

— Сиротинушка ты моя несча-астная, что же ты натворил-наде-елал!..

На том месте, где когда-то стоял редакционный домишко, плотники возводили стропила на новом срубе, и мне не пришлось сигналить и вылезать из машины. Тот домишко сгорел, видать, недавно, — в венцах сруба кое-где виднелись обгорелые кряжи-вставки, и к весенне-чистому духу оголенных осин примешивалась угарная горечь остывшего пепла. «Плохо горел, — подумал я, — надо бы до конца...» В восковом свечении сруба я старался не замечать отвратительные черные заплаты, — в конце концов они ведь закрасятся и не будут видны, но все же на кой черт понадобилось это старье плотникам? Из-за нехватки новых бревен? Вон же их сколько в неразобранном штабеле!

Плотников было двое. Они сидели наверху сруба и мерно, безостановочно тюкали там топорами, прорубая пазы для крокв. Как говорят у нас в Ракитном, работали они «спрохвала», будто зачарованные: тюкнут — и подождут какую-то секунду, пока эхо не ударится в стенку соседнего сарая и не отскочит мячиком назад, к срубам. Глядеть со стороны на такую неторопливо-согласную работу хорошо и одновременно трудно: вас начинает обволакивать какое-то покойное и вместе с тем обезволивающее оцепенение. Я сидел в машине и смотрел на плотников, прислушиваясь к тому, как в левой стороне груди впервые за многие годы у меня без валидола затихает «зубная боль». Особенно замечателен был старый плотник. На его большой лысой голове против всяких законов естества держалась маленькая, василькового цвета, энкэвэдэвская фуражка — и каким только чудом-лихом занесло ее к нему на голову! Когда старик ударял топором, фуражка подпрыгивала и повисала то на правом, то на левом ухе, и каждый раз он водворял ее на макушку привычным и каким-то незаметно спорым под-

девом ручки топора. Гладкое, до бубличного глянца отполированное топориче сверкало тогда зеркальным блеском, и старик успевал переложить на нем руки и тюкнуть топором вовремя, когда это и нужно было, чтобы не спутать лада ударов обоих топоров. На той же стороне венца, лицом к старику, сидел молодой плотник в теплой солдатской венгерке и кортовой кепке с матерчатой пуговкой на макушке. От обуха до седловины новая ручка его топора была окрашена фиолетовыми чернилами, — сам постарался, а топориче выстрогал, конечно, старик. Он тюкал и все время стерегуше заглядывал вниз, и вдруг с силой вонзил в бревно топор, ударил руками по коленям и сообщил старику с восхищенной завистью:

— Семую, дядь Саш! Ну, что ты скажешь, а?!

У подножия сруба, разгребая щепу, бродили куры — разомлевшие, круглые, красномордые, и на одной из них яро трепетал и бился огнисто-вороной петух.

— Эть, дурак головастый, — сказал старик, не прекращая работу, — у тебя только одно на уме...

— Так семую же за каких-нибудь полчаса, чуешь? И хоть бы хны ему!.. Ты давай погляди, погляди, что он выкаблучивает!

— Ай позавидовал? — усмехнулся старик. — Вроде бы не вовремя...

Искося он все же заглянул вниз и сразу же переместил себя на другую сторону венца, а топор прижал к животу.

— Опять приперлись? — сказал он кому-то внутрь сруба. — А ежели, храни бог, топор сорвется вам на головы? Что тогда?

Я различил глуховатый мальчишеский голос, но не слышал слов, а старик выпрямился и сказал напарнику осерженно и недоуменно:

— Нет, ты погляди-ка! «Брешет, — говорит, — топор не вырвется». Вот же согрешение!..

Напарник прилег на бревно и гулко, как в колодец, крикнул:

— Вот я зараз слезу, найду вашу мамку и...

Он произнес лохматое и веселое слово, произнес душевно и искренне, как обещание подарка матери не видимых мною детишек, и в тот же миг они — мальчик и девочка лет по шести — показались на гривке придорожной канавы. Они бежали молча — девочка впереди, а мальчик сзади, потому что он то и дело оглядывался на сруб и спотыкался. Старый плотник, все еще придер-

живая топор у живота, беззвучно смеялся, а молодой озабоченно и виновато смотрел вслед детям...

Было хорошо от всего виденного и слышанного, от того, что сгорел редакционный дом и на его месте строился новый, что день по-прежнему был как крашеное яйцо, что на прогретой гривке, по которой убегали дети, пробивались пяточки лопушника и над ним с чуть различимым стеклянным звоном толклись комариные столбы.

И мне показалось странным, что всего лишь полчаса тому назад я решил приехать в Ракитное в сумерках...

Ветряк был цел, я увидел его, не въезжая еще с левой дороги на выгон, не видя села. Оно рассеялось лицом на юг по склону, сбегаящему к Ракитянке — изумительной по бесподобной красоте речонке, неглубокой, по пупок только, с отлогими берегами, заросшими ивняком и красноталом. Ветряк одряхлел, позеленел. Он был раскрыт и только о двух крыльях вместо четырех. На нем, видать, лет десять или пятнадцать как не мололи. Его давно надо было растащить на топливо. Он мог и так сгореть... от грозы, например. Или во время войны... Могли же на нем немцы оборудовать НП или установить пулеметы. А наши бы всего лишь одним снарядом... Он же как на ладони тут!..

Ну да, это был тот самый ветряк. Дядю Мирона отлучили от мирошничества в этот же день, когда по мне голосила мать. Я не доел тогда мякинную лепешку и пошел на Ракитянку смотреть ледоход. Речка выперла из берегов, и в лозняке застревали громадные синие льдины. Их у нас называют крыгами. Я залез на такую крыгу и стал вылавливать сучковатым шестом проплывающие мимо снопы конопляной тресты,— в кооперации в обмен на пеньку давали соль и керосин. За этим делом и застиг меня дядя Мирон. Он держал в одной руке самодельный ножик, а в другой беремя лозы — кошель, видно, собирался плести. Не спрячься я тогда за снопы тресты — может, дядя Мирон прошел бы мимо. Но я поставил снопы стоймя и присел за ними на краю льдины, спиной к речке. В щель между снопами я видел, как дядя остановился у льдины, там, где можно было залезть на нее, и негромко сказал:

— Голову за пазуху не сховаешь!

Я пригнулся пониже, а дядя Мирон, подождав чего-то,

шагнул на льдину и пошел ко мне — худой, большой и чужой. Он остановился от меня шагах в двух, поставив перед собой комлями вниз вязку лозы, уже покрытую серыми мохнатыми пуплышками.

— Ну? Схозячился? Давай побалакаем!..

Он меня видел, но я боялся и не хотел этого и поэтому молчал и не двигался.

— Платят они, что ли, тебе за брехню? — спросил дядя и выругался в закон и веру. Вот тогда-то я и оглянулся зачем-то назад. Я увидел неровную, сизо-темную муть реки и бегущие навстречу ее течению кусты ивняка того берега, оказавшиеся теперь в середине разлива. Я видел это и падал на спину, потому что на меня заваливались снопы тресты, — я тащил их на себя обеими руками. Я был уже в реке, но успел схватить глазами стоявшего на прежнем месте дядю Мирона. Я запомнил его раскрытый рот, белые глаза и вязку лозы у ног.

Из реки меня выловили под Черным логом бабы — белье там полоскали. Я так и не выпустил из рук снопы тресты. Они зацепились за прибрежный раkitник, и с ними застрял я. На шее у меня оказалась продолговатая царापина — проплывающей льдиной или корягой чикнуло. И захворал я не от этого. Просто простудился, а дядя Мирон... Зачем ему надо было прятаться в лозняке? Ну зачем? Он просидел там до вечера, — видел член сельсовета Яшка Кочанок, — и ножик потерял... Я не знаю, кто и как сообщил обо всем в Медведовку, но на второй день в Раkitное прибыли редактор газеты, прокурор и секретарь райкома комсомола. К нам в хату они не заходили, и о том, что приезжали, я узнал от председателя колхоза Останкова, того самого, которому в моем стишке хотелось спать. Почему-то он сам вез меня в больницу. Я лежал в задке саней, закутанный в казенный тулуп, а он все время шел пешком, нещадно бил лошадь и ругался: дорогу развезло, и на проталинах земля курилась теплым туманом. Уже недалеко от Медведовки лошадь выбилась из сил и встала. Председатель снял с себя шубейку, накинул ее на спину кобылы и, взглянув на меня отчужденно, спросил:

— Чем он тебя колупнул? Ножиком, говоришь?

Память о стишке, заморенная дымящаяся лошадь, несчастный вид председателя и его откровенная, беспомощная ярость ко мне не допускали «благополучного» отве-

та, потому что тогда не было бы никакого оправдания этой нашей поездке с ним, и я заревел и подтвердил:

— Нож... Ножиком!

— Ну, будет, будет! — сказал председатель. — Там и ножик-то был, видно, с гулькин нос! Присохло бы — и все. А теперь вот...

Больше он ничего не сказал. В больницу мы приехали поздно вечером...

Со стороны Медведовки к Ракитному кто-то ехал на телеге, а я стоял на самой дороге, и посторониться мне было некуда: справа и слева к ее колеям подступали зелены. Можно было проехать только вперед, к ветряку на выгон, и там пропустить подводу, но я решил стоять там, где стоял: мне хватало ветряка издали. Я сидел в машине и в отражательное зеркало следил за приближающейся подводой. Она ведь не забуксует, если и объедет. Я видел только лошадь — муругую, статную и сытую. Телега была не видна, и тот, кто сидел в ней, не думал объезжать «Волгу». Лошадь шла мелким танцующим шагом и остановилась рядом с машиной. В зеркало я видел ее большие фиолетовые глаза с белым ободком и темные чистые ноздри с розовым жаром в глубине. Такие глаза и ноздри бывают только у жеребца. Потом, когда его охолостят, глаза полиняют и ноздри потухнут. Это я подглядел в детстве и запомнил в обиде на коновалов. Танцуя на месте, жеребец все тянулся губами к стеклу машины — пить хотел, но вдруг голова его круто откинулась вбок — сильно рванули, видать, за вожжину, и мимо «Волги», в каких-нибудь двух сантиметрах проскочили дрожки. Я не разглядел того, кто в них сидел. Архаровец! Не мог забрать круче! Дрожки остановились недалеко, и ко мне, заваливаясь вперед, как ходят только с намерением бить, не спеша пошел лобастый приземистый человек. На нем была новая молескиновая спецовка с широкой латкой нагрудного кармана, откуда высовывались штук пять остро отточенных карандашей. «Местное начальство», — подумал я и вылез из машины, но раkitянин встал боком ко мне и остервенело, сухо и громко плюнул за дорогу, на то место, где в зеленях глубоко и остро пролег след колес дрожек. На меня он не взглянул и, вернувшись к жеребцу, ударил его ногой под пах. Дрожки выкатились уже на выгон, а я все слышал еканье жеребьячьей селезенки...

Крылья ветряка надо было остановить вертикально или горизонтально, а не так, как они простерлись теперь: наискось по срубам. В этом их положении скрывалось что-то беспокойное и ненужное людям, будто они нет-нет да и «оживают» и вертятся одни, без мирошника.

Ненужное людям... Если бы на свете существовало только то, что им нужно. Кому нужно было то, что случилось тогда? Советской власти? Дяде Миرونу? Мне? А вот случилось же!..

Первую ночь в больнице я просидел в коридоре. «Доктора нетути и местов тоже»,— сказал сторож. Он лежал на двух составленных скамейках, и на его ногах, протянутых к открытому жерлу печки, вонюче испарялись мокрые валенки. Меня бил озноб и чох, а сторож каждый раз протяжно и блаженно приговаривал:

— Будь здоро-ов, Иван Петро-ов!

А в следующий раз:

— Корову веде-ешь!

И потом:

— Здорово живе-ешь!

Утром коридор до отказа заполнился больным людом из деревень района. Мне хотелось есть и спать, и я дремал в углу, сидя на корточках. Там и нашел меня перепуганный чем-то старичок доктор, закутанный в халат из суровой холстины.

— Ты, случайно, не Кузьма Останков?— свистящим шепотом спросил он, наклонясь ко мне.

— Кузьма,— так же шепотом ответил я.

— Из Ракитного? Что ж ты, голубчик! Тебя ищут, а ты...

Он взял меня за руку, и я ощутил дрожь и липкую влажность его холодных пальцев. Через расступившуюся толпу больных мы прошли в приемную комнату. У окна спиной к нам стоял кто-то в длинном кожаном пальто, а за столом сидел маленький румяно-красивый человек в волчьей дохе и фуражке.

— Так что ж вы морочите нам голову?! — тоненько крикнул он, мученически глядя под ноги доктору.— Я же сам распорядился отправить его сюда! Вчера днем распорядился!

— Видите ли, товарищ Косьянкин,— жалующе заговорил доктор, все еще не выпуская моей руки,— я, как изволите знать, один тут...

— Ничего мы не изволим знать! Давайте быстрее заключение!

Это сказал не Косьянкин, а тот, который стоял у окна. Доктор приказал мне раздеться и холодными пальцами начал крепко и гулко постукивать по моим ребрам.

— Это вы после,— капризно сказал Косьянкин.— Исследуйте сначала рану.

— Рану?— спросил доктор.— Где?

— На шее,— сказал тот, что был в кожанке.

— Ах, вот это?— доктор погладил ладонью мою царапину, и она зачесалась, но больно мне не было.— Это не опасно. До свадьбы заживет,— сказал он мне и улыбнулся.

— Как называется такая рана по-медицински?— нетерпеливо-обиженно спросил Косьянкин.

— Ну... линейная, если хотите... резаная,— пробормотал доктор. Тогда тот, который был в кожаном пальто, сказал: «Яс-сно», а Косьянкин страдальческим голосом, будто это не меня, а его оцарапало льдиной, распорядился «обеспечить» за мной в больнице «большевистский уход». Ни Косьянкин, ни человек в кожанке ни разу не взглянули мне в лицо, и я чувствовал себя виноватым перед ними.

Потом недели две я жил как во сне. Я все-таки подхватил в речке воспаление легких, и все, что в бреду и наяву виделось мне, походило на длинный немой кинофильм, героем которого был я, Кузьма Останков. Я словно сидел на огромном возу сена. Я не знал, кто им правит и куда мы едем, но ехать хотелось, потому что мне было отрадно и гордо, как никогда не бывало до этого: почти каждый день меня в больнице навещали медведовские комсомольцы и пионеры с барабанами и горнами. Они выстраивались в коридоре и через открытую дверь салютовали мне молча и завистливо. Конечно же я догадывался, за что они меня полюбили,— за дядю Мирона, за то, что я написал, как он поймался с мешком муки. И еще то, что я чуть не утонул...

Выздоровел я сразу, в один день. Это было в воскресенье. Доктор тогда пришел позже обычного.

— Ну? Как дела?— спросил он, присаживаясь ко мне на койку.

— Ничего,— сказал я.

— Язык!

Я высунул язык.

— Хоро-ош!..— басом сказал доктор.— И тут ты хорош. Не видел еще?

Он вынул из кармана халата вчетверо сложенную несвежую газету, развернул ее и протянул мне. То была наша медведовская «Колхозная жизнь». Я увидел в ней свой снимок, и во рту у меня стало прохладно и сладко, как от мятной конфеты. Под снимком через весь газетный лист тянулась черная строчка из огромных букв, и я никак не мог прочесть ее, потому что буквы плясали, пропадали и вновь возникали перед моими ликующими глазами.

Доктор встал и почему-то на цыпочках вышел из палаты. Я вскочил, уселся на подоконник и, минуя заголовок, оставляя его себе в подарок под конец всего этого длинного праздника, стал читать статью. Она начиналась с описания половодья на нашей речке. Дальше в статье рассказывалось о том, как Мирон Останков накинуся с ножом на селькора, а после сбросил его в весеннюю пучину. Но убийца просчитался! Юный герой, преодолевая мучительную боль раны, спасся и сейчас находится в райбольнице, где советские врачи самоотверженно борются за его жизнь...

Первое, что я ощутил, прочитав статью,— это испуг и несчастье потери — статья была не про меня! Я кувырком падал с воза, на котором ехал все эти дни, а на мое место залезал тот, о ком писал под моим снимком В. Косьянкин, залезал какой-то Кузьма, кого резали ножом и кидали в пучину...

Заголовок статьи я так и не прочитал: ко мне пришла мать.

— Что ж ты тут сидишь, окаянный! — западающим шепотом крикнула она от дверей палаты, и я спрыгнул с подоконника и зачем-то спрятал газету за спину. Мать шла ко мне медленно, держа на отлете руку с каким-то большим темным узлом, и я подумал, что у нас сгорела хата,— мать всю жизнь боялась пожара. Я был так уверен в этом, что спросил всего лишь два слова:

— Когда, мам?

— Вчерась... к расстрелу его. О, господи!..

...В Ракитное мы шли не по дороге, а по полю — так захотела мать. Снега уже не было, и земля успела обветриться и затвердеть. Я шел впереди, а мать сзади. Узел она несла в руках, и я не знал, что в нем лежало.

— Погоди. Может, не надо нам днем туда? — то и дело

окликала она меня, и мы садились на землю, и мать вглядывалась в меня, как сквозь окно хаты на пустынный двор. В больнице я сказал ей, что «он» — так мы называли теперь с нею дядю Мирона — не пырлял меня ножиком и не пихал в речку. Мать ударом ладони закрыла мне рот и, оглядываясь на дверь, пригнулась зачем-то к полу.

— Не брещи, а то пропадем! Только не брещи теперь! — суеверно зашептала она, и со мной случилось то, что было однажды за год до этого, когда я сорвался с дуба, куда лазил за грачиными яйцами. Очнувшись, я полдня искал тогда в Ракитном свою хату — я забыл, какая она и где стоит, забыл, чей я и как меня зовут. Все, за что удерживалась моя память, был картуз с оторванным козырьком, измазанный сукровицей желтка и серо-голубой скорлупой раздавленных яичек. Я помнил, что он мой, мой, а все остальное, видимое — чужое, и все время, пока искал хату, держал его в протянутой вперед руке.

И теперь, идя полем, я думал лишь об узле, который несла мать. Речка, больница, пионеры с горнами, статья в газете под моим снимком, дядя Мирон и его расстрел — все это отринулось от меня в сторону, вдаль, все было неразлично, неправдоподобно устрашающе, как смутная память о давным-давно выслушанной в ночи сказке-угрозе о «свету-конце», которого никогда не будет. Я шел и думал только об узле, что несла мать в протянутых руках. Он был с нами, наш, и в нем должно лежать то, нужное мне и матери...

— Ну чего глядишь так?! — теребила она меня и отодвигала, прятала узел. — Ну? Куда вылупился?!

Я молчал.

— Скажи правду. Мать я родная тебе! — просила она и сама пугалась чего-то. — Скажи, что «он» сманивал тебя на речку... Бил... Все равно уж теперь. Ну? О, господи!..

Первым с земли поднимался я. Мать подхватывала узел и брела за мной. Она поминутно сморкалась, всхлипывала и шептала исступленно, но неверующе, будто молилась тому, что не должно сбыться:

— Видели его там... Яшка Кочанок свидетелем выступал... И ножик нашли... Нешто задаром казнят? Нет, видели его! Видели!..

В село мы вошли поздно вечером — так захотела мать. Ночью ко мне постепенно вернулось то, что было в туманном отдалении днем: все, что случилось со мной и дя-

дей Мироном. Оно отыскивало меня, как отыскал я когда-то свою хату. Я закричал и перелез с лежанки к матери, но она не проснулась. Тогда я начал думать об узле. Чтобы только о нем и ни о чем больше. Чтобы было со мной как днем. Узел темнел на лавке, и я должен был забыть, что в нем лежало. Там были мой зипун, лапти и картофельные чибрики. Я взял зипун и не стал обуваться. Поэтому Косьянкин и встретил меня босого. Он ехал на бричке. Лошади были белые, кованые на передок. Это я увидел, когда схватил на шоссе обледенелую свекловину и сбежал в кювет.

Косьянкин узнал меня, и я узнал его...

Мне пора было ехать. Сюда или туда. Оказывается, одновременно с воспоминанием того, прошлого, я все время подсознательно думал: не повернуть ли назад? Нужно ли мне показываться в Ракитном? Решить это предстояло на выгоне, где в случае надобности можно было развернуть машину. На нем пробивалась трава и четко метились следы тракторных гусениц. Я проехал мимо разрушенной церкви и увидел приземистую поросль калиника, окаймлявшего Ракитянский погост. За двадцать пять лет искривленные колючие деревья не прибавились в росте. Они сплелись верхушками, а между стволов пролегли глубокие канавки, пробитые телятами и овцами: на колючих ветках, начинающих зеленеть, висели клочья красной, белой и черной шерсти. Я не стал заходить на погост, все равно мне не найти было могилу матери: тут надо кланяться одним поклоном всем покойникам со времен основания села. Я поклонился погосту трижды, ощутив знобящий восторг благодарности к самому себе за то, что могу это сделать, что мне оказалось нужным такое здесь, в Ракитном.

Я еще не поднялся с колен, когда рядом с собой за кустами калины услышал прерывистый, хлюпающе-задушенный смех и мягкий топот ног. Прыгая по холмикам могил, как по болотным кочкам, по погосту убегали ребята — трое мальчишек и одна девочка. Они бежали и оглядывались, прыскавая, и девочка держала в руках черный резиновый мячик, а один из мальчишек — короткую белую палку: наверное, играли тут в лапту, «мечики» по-здешнему.

— Ну куда вы! Идите сюда! — позвал я.

Они сели на могилу и притихли, потом девочка сказала:

— Побеги к нему ты, Кубарь.

Я сразу догадался, кто из них Кубарь,— тот, что держал било, и это в самом деле оказалось так. Ко мне подошел он смело, вперевалку. Он весь был набит смехом, весь, и оттого шел и глядел на меня вперекось. Все у него косилось от затаенного смеха — плечи, голова, рот, глаза. Ему было лет десять или одиннадцать. На его ногах крепко сидели рыжие юхтовые ботинки. Вельветовые штаны и бобриковый пиджак топорщились ново,— впервые надел, видно.

— Ну чего ты?— спросил я.

— А так...

— Кубарь! — сказал я.

— И пускай... А ты молился тут! — сказал он и засмеялся.

— Ну и что? Молился,— сказал я.— Церкву-то ты разорил? Разорил... И ветряк вон тоже разорил!

— Неш я его разорял?— серьезно сказал Кубарь.— Он сам. От ветру.

— Как же, от ветру... Я лучше тебя знаю, кто его разорил! — сказал я.— Теперь небось рожь в ступах мелете!

— В сту-упах! А лектричка на что?

— Какая лектричка?

— А мельница.

— Где же это она у вас?

— А в восьмой.

— Что в восьмой?

— В бригаде. На Покровском дворе...

Я поглядел на крылья ветряка и спросил Кубаря неизвестно зачем:

— Кто ж там... заведует ею?

— Мирошником, что ль? А дед Мирон,— сказал он и цыкнул себе под ноги длинную синюю струю слюны.— Сроду туда не пустит!

— Дед? Чей?— спросил я.

— Останков... Мирон Петрович.

Я посмотрел в лупастые синие глаза Кубаря. Там были смех, любопытство и чистое, ровное донышко ребячьей души.

— Погоди,— сказал я.— Давай сперва посидим... В машине давай посидим. Ладно?

— Ладно,— шепотом сказал Кубарь. Он оглянулся на погост и умело сам открыл дверцу «Волги». Мы посидели минуты две молча, и я спросил последнее, главное:

- Ты давно его видел? Какой он... дед Мирон?
- А лысый.
- Лысый? А где он живет? В каком месте хата его?
- У Черного лога... Новую теперь делает. Под черепицу...

...Их надо было взять — двух мальчиков и девочку, обязательно взять, потому что они стояли рядом с машиной и чуть не плакали, а Кубарь из-за стекла дверцы строил им рожи. Их надо было взять, но я не мог это сделать, потому что «Волга» уже присела на задние колеса и прыгнула вперед, и выгон понесся под нее, и на ухабах и промоинах она отрывалась от земли и летела по воздуху, — я это чувствовал по рулю: его можно было свалить тогда в любую сторону и не изменить направления.

Уцепившись за мое плечо, Кубарь сжался на сиденье, и в его растопыренных глазах я видел восхищение, испуг и просьбу. Сиди, Кубарь! Сиди! С тобой ничего не случится, я хороший шофер. Я научился ездить давно, еще во время войны в тылу у немцев в Прибалтике, когда командовал партизанским отрядом. В нем находились одни военнопленные, бежавшие из немецких лагерей. У каждого из них, когда он набредал на отряд, в глазах было почти то же самое, что сейчас у тебя, — восхищение, мольба и страх, но я принимал этих людей без анкет и допросов, потому что сам был таким, и глаза их успокаивались. У нас хватало оружия, еды и злости, но я понимал, что рано или поздно страх вернется в глаза каждого. Мы все это знали, и поэтому комиссар отряда — тоже бывший военнопленный — политически неуязвимо обосновал нашу задачу: как можно дольше держаться в тылу отступающих немцев и бить их. И мы держались до самой Пруссии: Там нам уже некуда было «стратегически отходить», и канун великой своей Победы мы встретили с восхищением, мольбой и страхом в глазах... Ты сиди спокойно, Кубарь! С тобой ничего не случится, я хороший шофер: после войны я два года водил в тундре трактор — это тоже что-нибудь да значит! Но я не об этом. Я о человеческих глазах, Кубарь! Ты знаешь, с каким полуночным вниманием ящеров глядели на нас «смершовцы», когда задавали вопрос, почему мы остались живы? Что им можно было ответить? Но им отвечали, да еще как! Ведь

мы-то верили в правду, в Ленина, в добро, в день. И чтобы вынести побои, оскорбления и унижения, обязательно нужна была такая вера. Иначе нельзя было выжить и одного дня, я хорошо знаю это по немецкому лагерю. Ты понимаешь, о чем я, Кубарь? О том, что в «своем» лагере я не имел права на такую веру. Только я один, потому что это право у меня украл Косьянкин, когда я был еще ребенком. Вот тогда-то, Кубарь, я и почувствовал себя виновным. Виноватым перед Ракитным, перед дядей Мироном. Мертвый, давно расстрелянный, он встал передо мной как искупление и возмездие. Тут, в «своем» лагере, я приблизился к тому водовороту несправедливости, надругательства и лжи, в который был ввергнут дядя Мирон, и сознание своей невинной вины заменило мне то, что когда-то украл у меня Косьянкин. Я почти легко перенес свой лагерь, потому что когда сдавал, дядя Мирон — он днем и ночью незримо стоял в двух шагах от меня — спрашивал:

— Ну как, селькор? Не удалось схомячиться?

— Ничего, — отвечал я. — Ты не беспокойся. Я вынесу. Все вынесу. И даже то, что вынес ты, — расстрел. Ты не беспокойся!..

— Ну-ну! — говорил мне незримый дядя Мирон.

Так я зарабатывал себе его прощение.

Но дело не в том, Кубарь. Сейчас главное — твои глаза. На своем веку я много повидал человеческих глаз. Я знаю, какими зрачками, когда и кто нацеливался в чужое сердце и убивал его бесшумно, наповал. Такие глаза были только у бериевских молодчиков... Да, я хорошо знаю человечесьи глаза! Твои проглядываются до самого доньщика, потому что ты ракитянский Кубарь, Кузяка, Кузилище, и ты, стало быть, сказал правду — дядя Мирон жив. Жив! Его никогда не расстреливали за меня, он строит новую хату под черепицу... Ты понимаешь, Кубарь, что произошло? Тогда в тундре дядя Мирон — тот дядя Мирон, расстрелянный — простил меня, и мы помирились с ним. Мы стали с ним там друзьями. Но сейчас я не знаю, как быть с живым дядей Мироном, с лысым мирошником, строящим новую хату... Я не знаю, Кубарь, чего во мне больше — безотчетной, нужной мне радости тому, что дядя Мирон жив, или горькой обиды к нему за тот свой ночной уход из Ракитного, за то, что с тех пор я пропал для матери без вести. Лишь в сорок седьмом году, когда мы уже помирились с мертвым дядей Мироном, я

решил объявиться и послал ей письмо из лагеря. Через два месяца я получил из Ракитянского сельсовета «Справку, выданную в том, что Останкова Пелагея Афанасьевна скончалась в одна тысяча девятьсот тридцать восьмом году и похоронена на погосте в селе Ракитное Медведовского района К...й области». Справка была со штампом и круглой гербовой печатью. Подписали ее председатель Ракитянского сельсовета Д. Останков и секретарь М. Останкова... И вот я не знаю, Кубарь, что мне сейчас делать, как быть с живым дядей Мироном, с лысым мирошником, строящим новую хату под черепицу!..

— Вон туда,— сказал Кубарь, и я сбавил скорость, потому что нужно было сворачивать на Покровский двор. Раньше, при мне, к нему вела с выгона широкая аллея. Это тут я когда-то сверзился с дуба, куда лазил за грачиными яйцами. Теперь дубов не было, но прогон аллеи остался. Он шел под уклон, и я ехал тихо-тихо, потому что стали показываться верхушки хат села. Оно медленно воскресало передо мной, и сердце у меня поднималось вверх, к гортани, как будто я опять бежал в ту последнюю свою атаку под Великими Луками или сызнава выслушивал слова начальника лагеря о своем освобождении и о том, что теперь я имею право обращаться к нему по имени «товарищ».

Покровский двор... Вот они, бывшие барские конюшни под зеленой жестью! За ними сейчас покажется сад, обнесенный каменным валом. Если залезать в пролом вала от речки, то «патошые» яблоки будут с правой стороны, а дули с левой. Я миновал конюшни и выехал на пологий, голо зеленеющий склон. От сада и помину не было. Я увидел внизу речку — голенькую, как холст, и увидел село — справа и слева. Оно проглядывалось насквозь — хаты, хаты и хаты, побеленные, под соломенными крышами, наши, прежние, свои. Все тут было моим родным, ракитянским, все стежки-дорожки, все холмики и овражки. И ни единого деревца, ни одного кустика — нигде!

— А вон лектричка,— сказал Кубарь.— Работает. На ферму все не намелется...

Но я видел ее и сам — белесый, будто заиндевевший сарай на берегу речки. Из села к нему сбегали столбы с обвисшими проводами. В закатном солнце провода сияли накаленно золотисто, и так же сияла солома, раскиданная вокруг мельницы. Я ехал на нейтральной, катился прямо в мельницу, в сумеречный квадрат открытых две-

рей. Там стояла подвода с мешками, и я затормозил рядом с нею.

— Пойдем вместе,— сказал я Кубарю. Я хотел, чтобы он шел впереди, но ему нравилось идти сбоку, и тогда я взял его за руку. Мельницу наполняли три сказочные стихии — широкий и мягкий гул жернова, сытно-хмельной и теплый запах свежей муки и мерклый свет электрической лампочки, запорошенной мучной пылью. «Отчего же это «он» облысел?— с обидой подумал я о дяде Мироне.— Тут можно до ста лет прожить... и построить не одну хату...»

Жернов возвышался в глубине сарая маленьким лобным местом. Вокруг него беспорядочно валялись мешки. Четверо незнакомых мне ракият сидели в уголке, занятые не то картами, не то выпивкой,— я не успел разглядеть это, потому что увидел дядю Мирона. Он выглянул из-за жернова, махнул рукой тем четверым и, будто не замечая меня, как не замечают нехстати нагрывшее начальство, наклонился над неполным мешком. Дядя Мирон... Старый. Живой! Я выпустил руку Кубаря, набрал в грудь воздуха и пошел к жернову. Дядя Мирон стоял ко мне боком и впустую, для виду, теребил огузок мешка. Я видел его безбородое обветренное лицо, кончик хитро прищуренного глаза, старчески лоснящийся нос. «И пусть живет хоть до ста! Хоть до двухсот! И что хату новую строит — тоже хорошо. Хоть две!» — думал я, а он все теребил и теребил мешок, и тогда я остановился и сказал:

— Здравствуйте, дядя Мирон!

Нас разделяли шага два, как и тогда на льдине. Дядя Мирон поднял лицо и выпрямился. Я стоял, прижав руки к бокам, а он свои пошлепал об полу кожуха и спрятал за спину.

— Не признаю чтой-то,— смущенно сказал он, клоня голову то вправо, то влево. К нам подошли те четверо и заинтересованно встали у жернова.

— Я Кузьма,— сказал я.

— Ага. Так-так,— сказал дядя Мирон, глядя на меня с напряженным любопытством. Я видел, что он не узнает меня, и ничем не мог помочь себе: язык мой онемел.— Так-так, помню, как же... Только вот хвамилие вылетело из головы. Вроде бы тот и вроде бы нет...

— Я Кузьма Останков. Гришакин сын,— сказал я.

Мало ли каких слов я ждал в ту минуту, но из этого

ничего не сбылось,— дядя Мирон не сразу, молча и дробненько пошел ко мне, глядя куда-то в угол мельницы, и лицо его было белым, как мука. Я не знал, с чем он шел, и поэтому не двигался с места. Он подступил ко мне вплотную и не то сказал что-то, не то охнул, и голова его очутилась у меня под мышкой,— до такой степени, оказывается, дядя Мирон был мал ростом. Я обнял его за плечи и зажмурился...

Потом мы стояли друг против друга, и дядя Мирон водил по моему лицу шершавой, как брезентовая варежка, ладонью и спрашивал:

— Да ты чего это? Слышь?

— Это так,— сказал я.— Сейчас пройдет...

— Племяш, сгрёб его маты! — плачуще сказал дядя Мирон всем, кто был на мельнице.— Я сразу признал, как только увидел. Он, думаю! Так оно и вышло... Племяш!..

Они, оказывается, выпивали и не кончили,— в бутылке, спрятанной за мешками, оставалась еще добрая половина сизовато-золотистой мути.

— Первачок! — ласково сказал дядя Мирон.— Давайте-ка на радостях...

Он примостился на поваленный мешок и откинул полу кожуха, чтобы на нее сел я.

— А то обмучнишься.

Дядя Мирон, конечно, видел, что моим заношенным спортивным брюкам и черт не сват, но дело было не в муке, и я сел на его кожух и благодарно ощутил локтем тугой и крепкий дядин бок. Те четверо сели напротив нас. Они были моложе меня, и я никого из них не знал. От их фуфаек и кепочек попахивало запчастями — наверно, парни работали шоферами или трактористами.

— Наши ракирянские все,— сказал дядя Мирон, хотя я ни о чем не спрашивал.— Это вот Шурка, младший свата Сергеича, это Андрюха Захарочкин, а это внуки Петички Останкова. Что бурдастым дражнили. Не помнишь?

Все засмеялись, и внуки Петички бурдастого тоже.

— Ну, побудем живы! — серьезно и строго сказал дядя Мирон. Правой рукой он подносил ко рту разлатую, голубого стекла странную рюмку с выступами по бокам,— я

только потом догадался, что это лампадка, — а левой стаскивал с головы картуз. Ему хором сказали: «На доброе здоровье», все, кроме меня, потому что я смотрел на его голову — совершенно лысую, чистую и блестящую. Когда-то у него были не волосы, а грива. За это и дразнили его кудлатым...

Вторую лампадку выпил я, третью Шурка, потом Андрюха, а остатки прикончили внуки Петички бурдастого. Каждый, перед тем как выпить, говорил: «Побудем живы», а я сказал это дважды — первый раз дяде Миرونу, а во второй самому себе и всем. Закусывали мы хлебом и салом. Хлеб был как хлеб: черствый, ржаной, а сало... другого такого на свете нету! Это то, что в Ракитном называют «любовчинкой». Это когда оно не толстое и не тонкое, но обязательно с мясной прослойкой и со шкуркой воскового свечения, опаленной ржаной соломой и омытой колодезной водой на рождество. Оно непременно хранится в ивовом кошеле, в таком, что хотел сплести тогда дядя Мирон...

— Ну, как вы тут поживаете, а? — спросил я всех. Я спросил это негромко и доверительно, как спрашивает свой у своих о давней тайне, в которой все замешаны и заинтересованы поровну. Я спросил и напрягся, готовясь услышать некую горькую правду, скрытую под чешуей ракитянских афоризмов, как луковица под кожурой, но внуки Петички бурдастого охотно и беззаботно сказали слаженно:

— Ничего живем...

— Жизнь, брат, наклюнулась правильная! — раздумчиво сказал вслед за ними дядя Мирон и неожиданно отшатнулся от меня и крикнул: — А ты чего прилез сюда? Ну чего? А?

Я положил на место недоеденный хлеб и начал медленно вставать, чтобы освободить полу дядиного кожуха. Я уже встал и только тогда взглянул на дядю Мирона. Он смотрел в сторону жернова. Там стоял Кубарь.

— Он со мной, — невнятно сказал я и сел. — Дорогу показал...

— Это дело другое, — извиняюще сказал дядя. — Тогда пускай побудет...

Надо было выпить, и я встал, чтобы пойти к машине за коньяком, но дядя Мирон поднялся со мною разом и сказал:

— А я ить писал тебе. Два письма писал и одну телеграмму отбивал!

— Куда?— удивился я.

— Да туда. На Север... Мне тогда из сельсовета письмо твое передали. Насчет матери ты справлялся... Служил там, что ли, при лагерях?

— Н-нет,— не сразу ответил я.

— А хоть бы и служил. Какая ж оказия! Не один ты там служил,— сказал он.

Кубарь, наверно, не помешал бы нам, но дядя Мирон захлопнул перед ним дверку машины и приказал мне ехать.

— Выгоном давай, низом завязнем.

— Я знаю,— сказал я.

— Не забыл?

— Нет. Ничего не забыл...

Он сидел прямо, оценивающе и по-стариковски суетно следя за моими руками, за рычажками и указателями распределительного щита,— а умеешь ли ты, дескать, справляться,— и от этого и я не вовремя переключал скорости и ехал рывками. На выгоне стрелка спидометра плавно всползла на «80», и дядя Мирон, успокоенный, откинулся на сиденье.

— Значит, не забыл? А я, грешным делом, насилу угадал село, когда пришел,— сказал он.— Вроде и все тут было на месте, а все ж не то... Сады свели без меня, вот в чем загвоздка сидела!

— Как без тебя?— спросил я и сбавил скорость.— А где же ты был?

— Далеко, брат! — почти весело сказал дядя, но засмеялся деланно и на меня не взглянул.

— Сидел? За то самое сидел? Да?

Я спросил это резко, с неосознанным гневом к нему, и таким же тоном ответил мне дядя Мирон:

— А за что же!

— Сколько?

— Все десять. Под обрез!

— Заменяли расстрел?

— Я не жалился...— нехотя сказал дядя.— Ну хватит об этом. Что было, то прошло. Ты-то как? Машинка своя или казенная?

Нам пора было сворачивать к селу, к дядиной хате, но я взогнал стрелку спидометра на «100» и проскочил мимо Черного лога.

— Куда ж ты? А говорит — помню! — забеспокоился дядя Мирон.— Заворачивай!

— Нет, я помню,— сказал я.— Только сперва давай

побудем одни. Давай выпьем немного... Чтоб одни. Ладно?

— Да выпить нам не грех,— согласился дядя.— Тут чуть подальше можно того самого бурашного самогончику достичь у Лесовички. Недорогой.

— У Милочки?— спросил я.

— Ага. Ты должен помнить ее. Ровесница твоя. Вдовухой давно...

— У меня есть с собой,— сказал я.— Коньяк. Три бутылки. И закуска есть.

— Ну-ну! — поощрил дядя.— А где мы пристанем?

Я не ответил и не сбавил скорость. Верстах в четырех от Ракитного прямо по выгону был Кобылий лог — широкое зеленое приволье, где я стерег когда-то трех овец деда Мишуни. Там мы остановимся и будем совсем одни...

Солнце уже село, и небо в том месте догорало теплым шафранным пламенем. Я включил подфарники. Машину наполнил ровный уютный полусвет. Как на мельнице. И мотор гудит, как жернов. Хорошо, если бы дядя Мирон ни о чем не спрашивал меня до Кобыльского лога. Особенно о Севере. Сейчас ему нельзя говорить, что я тоже сидел,— не поверит, подумает, подлаживаюсь... Может, совсем не говорить? А что же тогда я делал там? В охранниках служил? Ну, нет! Пошли они к чертовой матери!..

Дядя Мирон будто понял мои мысли и сидел покойный и какой-то печально-светлый. Лишь возле самого Кобыльского лога он снова спросил меня:

— Говорю, машинка своя или казенная?

— Напрокат взял,— сказал я.

— Как это понимать?

Я объяснил.

— Что ж так! — почти обиженно сказал дядя.— Служишь-то кем?

— Я... видишь ли, писатель,— неуверенно сказал я.

— Вот оно как! — негромко произнес дядя и повернулся ко мне всем корпусом.— Ну, а пишешь об чем?

Многое было в этом вопросе, в глазах и в голосе дяди Мирона: и удивление, и разочарование, и насмешка, и досада пополам с сожалением. Тут нужен был ответ, равный вопросу по краткости и ясности, и я не стал отвечать, затормозил машину и включил фары. Мы стояли на Долгом мысу — первом из семи тут бугров, полого сбегающих к болоту. Два мощных световых столба протянулись по нему и широкой золотой гатью перекинулись через болота.

Там засвиристело и запищало,— потревожили птиц; в за- тихшем моторе что-то стрекотало и пощелкивало, и я вышел из машины и трижды прокричал Кобыльему логу: «Эге-ге-ей!» Он мне ответил тем же, и я достал из багаж- ника ящик из-под сливочного масла и вынул из него коньяк, консервы, корейку и хлеб. Все это я сложил на сиденье, и когда взглянул на дядю Мирона, то увидел его в прежней позе, с прежним вопросом в глазах.

— Не надо, дядь Мирон,— сказал я.— У меня все в порядке. Понял?

— Что ж, ладно... Это дело такое,— проговорил он и провел рукой по лицу, будто смахивал мучную пыль.

— Я хороший писатель,— сказал я.

— Ладно,— улыбнулся дядя Мирон.

У нас не было рюмки, и я отвинтил с термоса колпачок, потом откупорили бутылку, нарезал корейку и открыл кон- сервы.

— Может, свет побольше зажечь?

— А зачем,— сказал дядя Мирон,— нам же не читать тут...

Я передал ему колпачок и бутылку. Он опять проде- лал все, как на мельнице: сперва наполнил посудинку, а затем отставил бутылку, снял свободной рукой картуз и сказал: «Побудем живы!»

Я выпил два колпачка подряд — мне это нужно бы- ло — и дважды сказал: «Побудем живы». Дядя Мирон вкусно и бережно закусывал консервами, то и дело накло- няясь над банкой, и я близко видел тогда его шею — сплошь в сетчатке морщин и морщинок. «Каждая у него обругана матерщиной, каждая!» — подумал я и спросил:

— Где ты отбывал, дядь Мирон?

— Далеко, брат! — с прежней неискренней веселостью ответил он.

— А все же?

— Подписку дал не разглашать...

— Теперь на это начхать! — заявил я.

— Это верно,— сказал дядя,— да только видишь ли какое дело: говорить не хочется... Ну было и было... А зачем его вспоминать?

— А можешь не вспоминать? Все чтобы не вспоминать?

Я не только спрашивал, но и просил, и дядя Мирон все понял, что я хотел. Он положил рядом с колпачком кусок батона, подобрал с колен крошки, кинул их в рот, проже- вал, выпрямился и, строго глядя на меня, сказал:

— Дурак ты! Ну что ты означал тогда в моей беде? Ты ж был... ховрашок, вот кто!.. Кто ж из нас с тобой был виноват?!

Я нарочно уронил на пол машины колпачок и стал искать его там, чтобы подождать, пока остынут глаза, но дядя Мирон тоже наклонился и начал шарить руками около педалей... После этого мы немного посидели смирно, затем выпили, и дядя Мирон сказал о коньяке:

— А все ж верно говорят, приванивает он!

— Клопами?— спросил я.

— Клопами, будь они неладны!

— У вас в лагере много было?

— Заедали!— зажмурился дядя.

— Нас тоже,— сказал я.

— Да неужели ты в самом деле сидел?— пораженно спросил дядя Мирон.

— В самом,— просто и легко сказал я.

— За что, господи?

— В плену был...

— Ах, вот оно что-о! И сколько отдул? Ну тогда мне понятно! Тогда все... Ах же ж курвецы! Ах же ж...

И мы начали с дядей Мироном ругаться беззлобно и с удовольствием, оба дивясь молитвенной складности страш-ной лагерной матерщины, какой мы обкладывали карауль-ных, надзирателей, клопов, голод, стужу, тоску... Мы раз-говаривали, ругались и выпивали, и это было впервые, когда я испытывал чуть ли не благодарность судьбе за то, что сидел в «своем» лагере. Потом мы спели лагер-ную песню, и мне стало не очень весело, а дядя Мирон положил руку на мое плечо и как по секрету, который он доверяет мне первому, принялся расхваливать наступив-шие времена,— «жизнь наклюнулась законная»,— а Хру-щева называл, как своего свата,— «Сергеич»!

— Виссарионовича в родню уже не хочешь?— засме-ялся я.

Дядя Мирон не уловил в вопросе шутки и сказал отчужденно:

— Этот в моей родне не ходил!

— Ну как же! А кому ж он доводился великим отцом?

— Не знаю,— сказал дядя Мирон.

Он замолчал, засунул руки в рукава кожуха, как при холоде, и сидел ершистый, враз постаревший. Черт меня дернул вспомнить «отца»!

— Ты что, дядь Мирон, шуток не признаешь? — осторожно спросил я.

— Индюк, милоч, тоже однава пошутил, — сказал дядя Мирон и разнял руки, будто готовясь к чему-то. — Он пошутил, а курица снеслась... Ты лучше скажи мне, об чем пишешь?

Черт меня дернул вспомнить «отца»!

— Я хороший писатель, Мирон Петрович, — сказал я.

— Ты уже хвалился раз. А вот пишешь об чем? — с прежней настойчивостью повторил дядя. Я протянул назад руку, нащупал на сиденье свои книги и кинул их на колени дяде Мирону. Он взял по одной в каждую руку, приблизил к глазам, потом отдалил, и я засветил кабинную лампочку.

— Тут же... Константин какой-то, — нерешительно проговорил он.

— Это псевдоним, — сказал я.

— Чего-чего? — подозрительно спросил дядя Мирон. Тогда я объяснил, что такое псевдоним, о чем мои книги, когда и как я их написал...

...Тот, «чужой», лагерь размещался в Литве, и мы с младшим лейтенантом Вороновым убежали ночью, когда военнопленных погрузили в товарные вагоны и повезли в Германию. Воронов был доходягой, и я тащил его на себе. На рассвете мы набрали на одинокий хутор, — они все там были одинокие, и в деревянной кадке с водой, стоявшей возле колодца, я обнаружил отстойник с молоком литров на пять. Мы прихватили его с собой и еще захватили сноп сухого мака, зашли за сарай, — он стоял метрах в ста от дома, и там выпили молоко и охолостили все головки мака. Воронову стало плохо сразу же. Он извивался, грыз маковые стебли и почти кричал. Я сделал для него все, что мог: мям живот, зажимал рот ладонью, но он кусался, кричал, а ночь кончалась. Тогда я оглядел недалекий лес и светлеющее небо, и Воронов перестал кричать и сказал:

— Я сейчас умру, уходи один...

Он правильно разгадал мою мысль, но я ударил его по щеке и побежал к воротам сарая. Они оказались запертыми на внутренний засов, а под ними был проем, загороженный сосновой плахой, и я вышиб ее ногой. Через этот проем я втащил Воронова в сарай, заваленный не-

молоченым овсом и горохом. В горохе я проделал туннель, и мы затиснулись туда, и все время Воронов молчал. Хутор просыпался, и я вспомнил про отстойник, забытый наруже. Его надо было спрятать и приставить к подворотне плаху, но Воронов опять стал корчиться и стонать. Он норовил выпростаться из-под гороха, а я не пускал его и совал ему в рот пилотку...

Я был убежден, что выдал нас не стон Воронова, а горох: сухой и ломкий, он громыхал, как кровельное железо, но Марите потом сказала, что виноват был отстойник. Она нашла его у сарая, увидела пустой зев подворотни и потом уже услышала стон Воронова. Она вошла в сарай и позвала:

— Э-эй... пленчик... не бойсь!

Я обеими руками сдавил горло Воронова, он хрипел и бился, и горох громыхал, как кровельное железо.

— Не бойсь, пленчик!

Голос звучал искренне и напуганно, — однажды в детстве я так уговаривал собаку, которая накинулась на меня в Кобыльем логу, — и я отпустил Воронова и полез из укрытия. Белоголовая маленькая девушка стояла у раскрытых ворот сарая. Увидев меня, она попятилась и загородилась отстойником, и я понял ее страх и не встал с колен: вместо гимнастерки на мне был немецкий мешок с черным орлом и надписью «фельдпост», а кожу с лица я облупил, когда падал из вагона.

— Мы только что зашли! Мы уйдем вечером! Не бойтесь, пожалуйста! Мы только так! — сказал я ей.

Она потом говорила, что я держал руки у подбородка и кланялся как в костеле, и если это было так, то в костелах молятся не зря...

Воронов умер в полдень. Я проделал в горохе дыру и на матице под крышей сарая увидел живых, воркующих голубей. Они улетали и тут же возвращались... В сумерках пришла Марите. На этот раз она не произнесла «эй», а сказала только «пленчик». Она принесла продолговатую ковригу хлеба, два куска сала и пачку листового табаку.

— Надо еще бумагу, спички и лопату, — сказал я.

— Лопат у нас только один, — сказала Марите.

Я объяснил, для чего нужна лопата. Марите прошептала: «Езус-Мария!» — и побежала к дому. Я смотрел на нее в щель ворот и думал, что она забудет о спичках и бумаге. Она вернулась с лопатой. Мы пошли на восток, к лесу — туда мне было по пути. Марите несла хлеб,

сало, табак и лопату. Я нес мертвого Воронова и думал, как быть без бумаги и спичек. Хотя бы только спички. Табак ведь листовой, и его можно будет скрутить так, без всего...

Могилу я вырыл в глубине лесной опушки под густой елью. Копать пришлось недолго,— на четвертом «штыке» показалась вода. Я утопил в нее тело Воронова, заровнял яму и разбросал по кустам излишнюю землю,— Марите сказала, что возводить холмик нельзя: о мертвецце может узнать полиция и в хутор «придет плохо». Мне оставалось вытереть руки и взять у Марите хлеб, сало и табак. Я знал, что отойду недалеко, сяду и буду есть хлеб с салом. Я полночи буду есть, а полночи идти на восток, и никакого заворота кишок у меня не будет! Марите долго объясняла, где мне перейти вброд речку, которая впереди, но я плохо понимал смысл ее слов, потому что хлеб тяжко-любовно прильнул к моему телу, и оно молчаливо вопило, что он тут, наш!

— До свидания,— сказал я Марите.— Спасибо тебе за все!

— Свиданья,— ответила она.— А какая твоя имя?

— Кузьма,— сказал я.— А твое?

Она назвала. Мне хотелось сказать ей благодарное слово побольше, чем «спасибо», и я спросил:

— Как же ты узнала, что молоко... взяли пленные?

— А кто ж украсть?— спросила она.

— До свидания,— сказал я.— Большое тебе спасибо за все!

— Тебя скоро будут посадить лагерь,— сказала она.— Литва люди не ходит мешок. Ночью я буду взять рубашку отец и буду дать для тебя.

— Хорошо,— сказал я,— большое тебе спасибо за все!

В гороховой скирде я проделал новый туннель и полночи ел хлеб с салом, а полночи ждал Марите, но она пришла только утром и принесла голубую ситцевую рубашку и домотканые шерстяные штаны. Спички и бумагу опять забыла. Я переоделся в своем логове, и, когда вылез на свет, Марите оглядела меня и чему-то засмеялась... Перед вечером она принесла лепеху домашнего сыра, спички, хлеб и ножницы.

— Надо будешь немножко стригать тебя,— сказала она.

Позже, с годами, я заметил, что в лагере волосы отрастают быстрее, чем на воле. За четыре месяца плена

у меня образовались косы, они спадали на плечи и на концах закручивались кольцами. С боков, возле ушей, я подстригся сам, а с затылка помогла Марите. Я стоял на коленях в проходе между овсом и горохом. Через щели ворот в глаза били узкие лучи закатного солнца, и то ли от них, то ли от безопасного прикосновения чужих рук я зажмурился и мог простоять так ночь и еще день. Марите сказала, что, наверное, я сердитый человек, потому что волосы у меня как «желез», что поэтому я и не заплакал вчера там, в лесу. Я сказал, что над мертвыми не могу плакать, я видел их очень много.

— Над свои друзья надо плакать! — сказала она.

— У меня нету слез,— сказал я. Тогда она заплакала сама и ушла из сарая, а минут через двадцать принесла бутылку молока, старенький брезентовый плащ и опять хлеб и сало. Это ее деяние было для меня как сама Родина, куда я стремился, и я не ушел этой ночью. Я не ушел на вторую и на третью ночь. Каждый вечер Марите приносила мне еду и окликала шепотом:

— Кузма-а, ты жива-ая?

Я не поправлял ее и не объяснял, почему мне надо говорить «жив»: так было лучше и нужнее сердцу...

Ушел я на шестые сутки. Стоял сентябрь, но было тепло, как в середине лета. Марите проводила меня до леса и объяснила, как перейти вброд речку.

— Свиданья! — сказала она и не стала ждать, что я отвечу.

Потом я не раз приходил на хутор Пабальве. Я не мог задерживаться в нем больше суток, потому что меня ждали в партизанском отряде. Там все знали, куда я хожу, и я знал, что все полтора ста бывших военнопленных хотели тогда быть в охране хутора.

За два года Марите прислала мне на Север сто два письма и четыре посылки — две новогодние и две майские. В них был знакомый продолговатый хлеб, знакомое сало, знакомые лепехи домашнего сыра и еще мак, сухой, в головках. Почти в каждом письме она спрашивала, куда я поеду, если меня «отпускают». Я не отвечал ей на это, потому что не знал, когда меня освободят и куда мне можно будет ехать. Наша переписка временно прекратилась после того, как начальник лагеря разрешил мне обращаться к нему со словом «товарищ», а не «гражданин»: мне хотелось жить у себя на родине, и чтобы это «у себя» оказалось неожиданным и родным домом Марите.

За два месяца я побывал у сорока кадровиков. Большинство из них были в стареньких кителях без погон и в новых фуражках. Это были смелые люди, разгромившие фашизм на Земле, но меня, своего, они боялись...

И я написал Марите, что мне некуда деваться. Ответ до востребования я ждал в северном портовом городе. «Надо поезжать скорей Литва», — написала Марите, и через неделю, летним вечером сорок седьмого года, я был на знакомом хуторе.

— Кузма-а, милая! — прошептала Марите, оглядев мою ватинку, котомку и валенки. В ее глазах ничего не было радостного, и она спохватилась и сказала:

— Тебе тюрьма как гусак вода!

Хорошо, что она сказала это. Я ей поверил, и прилипший было к моему сердцу лагерный страх перед жизнью развеялся к чертовой матери, — мне было легко и отрадно, хотя я не знал, как жить и что делать на хуторе.

Мы выпили с отцом Марите пол-литра самогона, после чего он сообщил, что бункер для меня готов.

— Можно искать сто лет хоть своя, хоть чужая милиция!

Старый лесник говорил по-русски не лучше дочери. Я показал ему справку об освобождении, но он, видно, не поверил сразу гулаговской бумажке, потому что дважды еще за вечер напоминал о бункере...

Если человек захочет вторично родиться на свет божий, то пусть сходит после лагеря в крошечную деревенскую баню, пахнущую березовым листом, жаркую, как ад. У этой бани должна быть дырявая крыша, тогда в ушате с водой будут отражаться звезды; и чтобы вокруг бани осторожно-стерегуще ступали легкие девичьи ноги; и чтобы бывшего каторжника то и дело окликали протяжно и застенчиво:

— Ты жива-ая?..

Спал я на сеновале в сарае: подо мной была чистая новая простыня, а в головах — подушка, большая, мягкая, одна. Ворота Марите заперла на щеколду и сама осталась там, наруже.

— Ну иди на минуточку ко мне! Ну, пожалуйста! — просил я.

— Не-е, ты моя хитрая Кузма... Без свадьбы сарай ночью страшна! — пела она и смеялась.

Утром она повела меня в контору лесничества наниматься на работу. Идти надо было далеко и все лесом

и лесом. Я не верил в благополучный исход Маритиной затеи, но это не мешало мне видеть первозданную красоту вольного летнего мира, и «чужие» и «свои» лагеря в нем казались мне собственной выдумкой.

Лесничему — маленькому чистому старичку-литовцу — Марите сказала обо мне по-русски:

— Это моя муж Кузма... Невинно тюрьма сидела.

Лесничий встал и поздоровался со мной за руку. Я отдал ему гулаговскую справку — единственный свой документ, и часа полтора отвечал на вопросы о Севере.

На хутор мы вернулись поздно вечером. Марите была в венке из ромашки и кукушкина льна. Я его сплел перед тем, как она стала в дороге моей женой...

По работе я подчинялся тестю. Я ходил по его участку и оголял от коры комли сухостойных и больных деревьев. После мы их валили и складывали в штабеля. Платили за это немного, но аппетит на хлеб и сало нагуливался порядочный.

Тут я и написал свою первую повесть. Нет, не эту и не эту. Та была меньше. Та была о плене, и в ней не величался Сталин. Ни разу. В рукописи было пять ученических тетрадей. Марите сшила их суровыми нитками — одна к одной. Стояла уже глубокая осень, и для того чтобы все было ладно, чтобы все сошлось у нас на одном хорошем, мы послали повесть в московский журнал с мягким осенним названием. Ответ пришел зимой. На девяти страницах рецензент с надзирательской фамилией Матов злобно глумился над тем, о чем я писал. Пленных он называл предателями, а меня Кузьмой: видно, корень моей фамилии пугал его и ярил.

— Она что — дурак? — спросила Марите о рецензенте. Тогда я разъяснил ей, что мужчине надо говорить «он», что я не Кузма, а Кузьма, и это пора ей знать!

— А может, он совсем не муштин! — заплакала Марите, а мне впервые стало стыдно за свое ракирянское имя. Я сжег рецензию и к весне написал партизанскую былинку. Я опять рассказал о том, что знал, видел и помнил, и мне нечем было заменить пленных. Мы сшили пять тетрадок и снова надолго покинули в мечтах хутор, поселясь в каком-то голубом веселом городе, в маленькой голубой комнатушке, но с отдельной кухней — так хотела Марите. Я работал в этом городе шофером на «Побед», а она училась в русской вечерней школе — этого хотел я.

Тетрадки вернули нам в середине лета. Рецензент был

другой. Героев моей повести он назвал «беспаспортным сбродом, которым нельзя восхищаться». Я все понял и стал хлопотать о собственном паспорте. Помог мне лесничий. При заполнении трудовой книжки он посоветовал скрыть плен, а лагерь оставить, но я сделал наоборот — мы не могли придумать вину, за которую я «отбывал». Большой нарядной печатью с изображением дубовых листьев вокруг герба лесничий закрепил в моей прошлой судьбе четыре месяца плена, полтора года партизанки и три года работы мастером лесонасаждения. По его мнению, я вполне мог быть хорошим мастером лесонасаждения, поскольку война не дала мне закончить Московский пединститут.

Тем же летом мы перебрались с Марите в Вильнюс. Там я написал за зиму пять рассказов, послал их в разные журналы, и в разное время рассказы вернулись назад. Тогда Марите сказала — она училась в русской вечерней школе, а я возил на «Победе» замминистра лесного хозяйства, — что я не тем методом пишу. В этом все дело. И через год я написал вот эту книгу, а потом эту...

Мы с дядей Мироном выпили по колпачку без «побудем живы». В бутылке еще кое-что оставалось, но дядя Мирон заткнул пробку и распорядился ехать домой. Я развернул машину и поехал в Ракитное так, как ездят шоферы в автоинспекцию после аварии — покорно, медленно и молча, — и дядя Мирон сидел как автоинспектор, у которого просить права бесполезно. Но на полдороге он сказал:

— Ну, ладно. Что было, то было. Что ж теперича делать! Как говорили в старину, нужда придет — стала не стала цена, а продавай!.. Другое теперь скажи: жена-то как? Ничего себе?

— Ничего, — сказал я.

— Марите — это Манечка по-нашему?

— Маша.

— Ну-ну. А чего же не привез поглядеть? И детишки есть?

— Сын, — сказал я.

— Ишь ты! Как звать?

— Костиком.

— Молодчина! — сказал дядя Мирон. — Сколько ж ему?

— Седьмой год.

— Молодчина! Так им и надо!

— Кому?— спросил я.

— Ну... мало ли!

Я не понял, кого он имел в виду — надзирателей, кадровиков или рецензентов, но спросить об этом не удалось, потому что впереди справа показались огни Ракитного, и дядя Мирон сказал:

— Видал? Третий год уже. А ежели с бугра из-за речки глянуть, то прямо как город!

Реденькая цепочка столбовых лампочек ломано убежала в конец невидимого села, разоряя в моем воображении привычный и давний облик Ракитного. Я не хотел, чтобы оно было похоже не на себя, и сказал:

— Керосиновые лампы лучше. Поэтичнее...

— Да провались они пропадом! — по-бабьи тоненько воскликнул дядя Мирон.— Слепня одна, а тут... Говорю ж тебе: ежели глянуть ночью с бугра, то город — и все!

Ему явно хотелось глянуть со мной на Ракитное из-за речки — село сидит окнами туда.

— Давай переедем и глянем,— предложил я.— Гать цела?

— Полагалось бы теперь глянуть! — вожделенно сказал дядя Мирон.— Да придется, видно, отложить на другой раз. Дома, поди, нас ждут... Нет, в другой раз!

Возле Черного лога мы свернули на еле приметную узенькую дорожку. Я бы ее не заметил: раньше тут пролегал широкий проулок, а теперь он был взрыт под огородные сотки, наверно. Я ехал и ждал — вот-вот фары нащупают мироновский сад, акациевый тын и скотные воротца на проулок, но дорожка все тянулась и тянулась посреди рыхлого, хорошо разработанного чернозема, пока мы не оказались на улице села.

— Налево давай и во двор! — скомандовал дядя Мирон, но я и сам уже знал, куда давать, потому что увидел белую знакомую хату, а рядом с нею — незнакомую, новую, до половины накрытую розовой черепицей. Прямо во дворе, между старой и новой хатами, был разбит квадратик палисадника, огороженный железной сеткой. В квадратике сидели кусты крыжовника и несколько штук крошечных побеленных яблонек. В глубине двора стоял прежний, вросший в землю сарай, и под светом фар, ударившим в его плетеные воротца, там захлопал крыльями и запел петух.

— Обмишурился дуралей! — засмеялся дядя Мирон. Об

изгороди палисадника он сказал: — Не то что скотина, а даже пискленок не пролезет...

Новая хата была еще не готова, там не жили, а мне бы легче ступилось в нее, там бы я смелее и лучше встретился с теткой. На крыльце старой хаты я остановился и прислонился к косяку дверей. Я хотел скрыть от дяди Мирона свое тревожно-нелегкое чувство и стал оглядывать улицу, но он все понял и закричал на меня шепотом:

— Ну вот что: не дури! Домой ить приехал!..

Нас и в самом деле ждали, — в хате было полно народу, и я сразу же узнал тетку Миронику, постаревшую, тоже умалившуюся, но с прежними колюче-черными глазами. Она чинно подошла ко мне, остановилась в шаге и сказала:

— Ну здорово ж тебе!

Тетка поклонилась и не вынула рук из-под фартука, и я так же, как и она, поклонился ей поясным поклоном... Всем остальным я жал руки и что-то говорил, и лишь после этого опознал Андрюху Захарочкина, сватова Шурку и принаряженных внуков Петечки бурдастого. Один из них был с гармошкой. Он дольше всех задержал мою руку, здороваясь. Были еще двое или трое парней, и на этом кончился мужской состав гостей. Зато баб и девок набилось десятка полтора. Они жались в одном месте возле дверей. Я никого из них не помнил и не знал. Дядя Мирон, успевший в чулане надеть новые кирзовые сапоги и голубую сатиновую рубаху навывпуск, повел ко мне застыдившуюся немолодую женщину в шелковом цветастом платье.

— Это ж Надичка, — сказал он. — Не признаешь? — У нее были теткыны, черные глаза.

— Ну как же! — вспомнил я и обеими руками пожал круглую и потную ладонь своей двоюродной сестры. Надичке было лет девять, когда я ушел из Ракитного.

— За Кирюшкой Останковым была, что на том конце жил, — пояснил дядя Мирон. — Может, помнишь? Не вернулся с позиций, а она вот с дочкой у нас...

Тут нужны были гостинцы. Или хотя бы приличные брюки на мне, потому что тетка Мирониха, хлопотавшая у стола, раза два окинула меня пытливо-настороженным взглядом. Я вышел к машине, переделся и захватил бутылки с коньяком, консервы и корейку.

— Ну вот что, — проговорила тетка, как только я вошел в хату, — милости просим кого за стол, а кого и за ворота.

Она сказала это полушутя и только бабам, но, видно,

каждая из них знала, что ей тут причиталось, и вышли почти все.

— Люди к тебе пешком, а ты к ним все на карачках,— ядовито, шепотом сказал дядя Мирон тетке и не стал ждать, что она ответит, повернувшись ко мне. Но тетка обернулась ко всем нам, оставшимся в хате, и расчетливо-певуче сказала:

— Гость, Петрович, невольный человек, на чем посадят, на том и сядет.

Внуки Петечки бурдастого слаженно засмеялись и ободряюще подмигнули мне,— дескать, ни хрена то не значит, все равно зараз врежем! Кроме коньяка, врезать было что: каждый из парней поставил на стол по бутылке первача. Как икону — на протянутых вперед руках,— тетка вынесла из чулана цельную ковригу хлеба и бережно посадила ее меж бутылок. Дядя Мирон принес тарелку толсто нарезанного сала. Надичка — блюдо студня, и снова тетка — глиняный горшок неизвестно с чем. Там могло быть молоко или розовая простокваша-топлюшка. Но мог быть и квас для студня. Такие небольшие горшки в Ракитном спокон называют махотками.

Ими же отмеряют муку, когда дают друг другу займы...

Тогда я оглядел хату, как оглядывала меня до этого тетка Мирониха.

Ракитянское тут перемешалось с городским: земляной пол и ковровая дорожка; косоногие скамейки и широкий дерматиновый диван; загородивший окно радиоприемник и деревянная солонка времен доколхозных веселых ярмарок. Абажур над электрической лампочкой был самодельный: на обечайку решета тетка — конечно, тетка! — натянула полинялую розовую ветошу, наверно, старую кофту свою, чтоб не выбрасывать. Ложе дивана горбилось туго и выпукло, к нему, видно, не прикасались, и я сел на скамейку. Меня начал обволакивать «лагерный спрут» — цепенящее окаменение. Тогда я могу только молчать и ничего не хотеть и не видеть, и людям лучше не видеть меня.

Дядя Мирон налил восемь полустаканов самогонки и пять рюмок коньяку — по числу мужчин и женщин — и, подойдя ко мне, шепотом сказал: «Не дури!», а в голос: «С приездом!»

Выпили все, кроме тетки. Выпили степенно, бережно и чего-то ожидаючи,— наверно, в старину причащались так, и сразу же стали закусывать жесткой и кислой городской корейкой, а не салом. Оно лежало в синей тарелке, и

я бы умолил его в одиночку, если б тетка отняла руку от своих скорбных усохших губ. И тут дядя Мирон стал торопиться. Под его «не дури!» для одного меня и «побудем живы!» для всех мы выпили еще и еще. Я привстал и обеими руками захватил махотку. Там оказалось холодное как лед топленое молоко с пенкой. При одобрительных и уже пьяненьких напутствиях я выпил молоко через край, а махотку поставил на угол стола возле своего локтя. Я установил ее правильно — она непременно должна была упасть при малейшем колебании стола. Но стол дрожал и колыхался, а махотка не падала, и тогда я спихнул ее локтем на виду у всех. Она была еще в воздухе, когда дядя Мирон поднялся со скамейки и под хрясь черепков приказал внуку Петечки бурдастого:

— А ну, вжарь комаря!

Тот тоже встал — сидя нельзя было в тесноте развернуть мехи гармошки — и сначала вывел какую-то замысловатую руладину, чтоб размять и разогнать пальцы. Дядя Мирон стоял на середине хаты, выжидая и шевеля носками сапог, и как только гармошка сыпанула «камаринского», он пригнулся, выбил ладонями на голенищах чечетку и, раскинув руки будто для обнима всех, четко и в лад коленам плясовой не пропел, а проскакал, глядя на одного меня:

Ай да дедушка лысенький,
Запасал муку-высевки!
А за что ж его высекли?
За муку да за высевки!

Присказка была с «бородой», я знал ее с детства, но дядя Мирон подмигивал мне плутовски, намекающе-откровенно и весело. Наверно, он увидел, что я все понял и принял так, как ему хотелось — «не дури», и, подплыв в плясе к тетке, тоненько проголосил ей почти на ухо:

Не по-старому закон повела!
Полну хату женихов навела!

У тетки отаяли глаза, и она засмеялась со всеми вместе. Застолье нарушилось. На середину хаты выбежали Надичка и Андрюха Захарочкин. Оттиснутый ими к дверям чулана дядя Мирон снова хитровато подмигнул мне, и я кликнул, чтобы он скорей шел ко мне.

— Чего ты? — тревожно спросил он и взглянул в сторону тетки.

— Я люблю тебя! — сказал я. — Я всю жизнь любил тебя! Давай поцелуемся!

— Это давай, это сколько хочешь, — сказал дядя Мирон, и мы стали целоваться истово и горячо.

— Ну будет, будет вам миловаться! Ишь, дорвались, — ревниво, без осуждения сказала тетка. Я подошел к ней, обнял и поцеловал в глаза. Она всхлипнула и села на диван, а я стал перед нею на колени и заплакал, и дядя Мирон заплакал тоже.

Гармошка унялась. За столом насупились и замолчали.

Потом мы еще пили, плясали и целовались. Спать я улегся на диване с дядей Мироном — так захотел он сам...

Может, только в Ракитном звенят потемки в хатах, когда засиневаются окна, когда все, кроме слушающего, спят. Звон похож на ветровое касание балалаечной струны, если знать, что такое балалайка. Но, может, это не во всех хатах так. Может, певучих тут только две — наша да вот дядина... Дядя Мирон спал на спине, умиротворенно покоя руки на груди, и я тихонько перелез через него, благолепного, лысого и чистого, как младенец. Дверь я открыл неслышно и в сенцах на лавке нашел то, что мне было нужно, — ведра. Колодезь был внизу, под горкой. Оттуда я должен увидеть свою хату, если она цела.

Простор, в который я вышел, был устрашающе широк. Раньше от улицы к речке — справа и слева, в оба конца села — сбегали огороженные сады и конопляники. Теперь тут была целина, степь. В рассветной просини утра степь чуть-чуть розовела — пробивалась молодая трава. Под бугром залегал еще ночной полумрак, и голая речка блестела там сизо и холодно. За речкой, сходясь где-то с небом, полового возвышались черные поля. Это оттуда дядя Мирон хотел вчера взглянуть на Ракитное.

Колодезь вековал на прежнем месте — тот же дубовый, позеленевший от времени сруб, то же дубовое корыто для водопоя лошадей, та же окостеневшая орясина журавля. И ни следа от купы темных вязов. При мне их ветки шатром нависали над колодцем, и летом невозможно было пройти мимо, чтобы не «ухнуть» и не плюнуть в студеную преисподню. Плюнешь и ждешь, когда прилетит к тебе стеклянное «чуль», и не услышишь и не увидишь, а только почувствуешь задницей обжигающий шлепок чьего-нибудь коромысла...

Мне надо было припомнить тут многое — важное и неважное, — потом достать воду, поставить ведра на козырек сруба и снова что-либо припомнить. Любое. Мне надо было стоять спиной к селу и оглянуться на него в самый последний момент, когда уже нельзя будет не оглянуться и не увидеть свою хату. Но может, ее давным-давно нет и я зря тут ворожу с собой? И что лучше: чтобы она была цела или чтобы ее не было?

Этого я не знал...

А хата стояла. Как нарисованная. Как тогда. Как постоянно в моей памяти. Хаты всегда похожи на хозяина. Как носит хозяин шапку — прямо, криво, мелко или глубоко, так сидит на хате соломенная крыша; как смотрит хозяин — робко, насмешливо, весело или грустно, так глядится окнами его хата. Наша всю жизнь была похожа на маму. Мать носила платок, сдвинутый на лоб, и поветь хаты нависала над коником. Мать всегда смотрела на людей с виноватым прищуром, и в окнах хаты было это выражение...

Она топилась — единственная в такую рань на всем кутке.

В дядином палисаднике зацветали яблоньки, и на них в просвет между сараем и штабелем черепицы косым лучом било встающее солнце. Огромный лилово-вороной кочетище стоял на «Волге» и пел. Клавка — Надичкина дочь — издали шугала петуха, но он не хотел покидать этот нечаянно очутившийся тут кусок неба, гремел по нему шпорами и пел, и из его разверзтого клюва живым цветком вытекал радужный пар.

— Не надо, — сказал я Клавке, — пусть покрасуется.

— Так он же, дядь Кузь, видите, чего наделал, дурак такой!

— У меня есть тряпки, — сказал я, — пусть покрасуется.

Клавке надо было купить подарок. Платье, например. Под цвет ракирянского неба, потому что глаза у девки невообразимые — янтарные. И Надичке надо подарок. И тетке тоже. И дяде Мирону.

И тому, кто живет в нашей хате...

Мы слегка опохмелились, и я повез дядю Мирона на мельницу.

— Припаздываю, — сказал он. Я поднажал и на выгоне,

недалеко от Черного лога, настиг вчерашние дрожки. Муругий жеребец шел боком, жируючи, норовя все забрать влево, и я стал обгонять его справа. В дрожках, уперев ноги в грядку, напряженно прямо сидел тот лобастый, что плевался вчера на побитые зеленя. Он искоса взглянул на машину и вытянул жеребца вожжиной. Я отстал — впереди на обочине завиднелась тракторная колея — и, вырулив на дорогу, во второй раз начал обходить дрожки. Лобастый оглянулся и пустил жеребца галопом. Дядя Мирон азартно раздул ноздри:

— А ну, кто кого!

На всякий случай я забрал покруче от дороги и, когда дрожки оказались сбоку, сбавил газ. С полкилометра мы ехали вровень, как спаренные, — было невозможно оторвать глаза от красоты и мощи летящего жеребца, крохотной колесницы, от седока. Он стоял теперь на коленях в передке дрожек и размеренно крутил над головой петлей ременных вожжей. Я бы уступил ему, обязательно сдался; я даже ждал: вот-вот поперек выгона протянется борозда или канава, — нельзя же дать этой прокатно-бессердной коробке попать вольный дух живых, — но дядя Мирон, тоже привстав на сиденье, все время выкрикивал:

— А ну, кто кого! А ну, сгреб вашу...

Я вырвался вперед, и через минуту мы оказались у голенькой аллеи, что вела на Покровский двор.

— Давай подождем его тут, — сказал дядя Мирон. Вид у него был довольный и вместе с тем смущенно виноватый.

— А кто это? Председатель? — спросил я.

— Не, тот на «Победе» фугует. Это Михаил Иваныч. Бригадир нашей восьмой. Да ты должен знать его. Егораку помнишь? Ну что в пуньке возле речки жил?

Дед Егорака и Михан... Еще бы я не помнил их! Деду, наверно, шел тогда девяностый, а Михан был моим ровесником и круглым сиротой. Пунька — это амбар. Она стояла на возвышенном мыске, поросшем ракитником, у самой речки. Нигде — ни в чьей-нибудь хате, ни в кооперации — не пахло так хорошо и отрадно, как в Егоракиной пуньке: зимой и летом ее стены и потолок были увешаны пучками засушенной травы, ветками дубов и вязов. В половодье пуньку отрезало от села и от всего мира. Тогда было страшно глядеть с бугра на мысок, — он стремительно несся вместе с пунькой и ракитником навстречу течению реки. Несся и оставался на месте. Я первым навещал пуньку после спада воды. Первым. Наверно, кроме меня, од-

ному богу было ведомо, чем питались дед Егорака и Михан, и тут нельзя было ничего поделывать — один стар, другой мал, а кругом голодуха. И я был им свой...

Каждый год по веснам дед Егорака распухал — отекали и стекленели ноги, руки и лицо. Мы с Миханом кормили его тогда вареными печерицами — так называли у нас шампиньоны, их никто, кроме нас, не ел, потому что росли они черт-те где — вьюнами, гольцами и будто бы съедобной травой свербейкой. К середине лета дед Егорака оживал, а к осени совсем поправлялся: он делал нам с Миханом луки из подсушенной акации и стрелы из краснотала. Для наконецников я крал у матери большие «цыганские» иголки. Забредшему в конопляники пискленку надо было угождать в голову или шею. В другое место стрела не брала, и пискленок уносил иголку...

Еще бы я не помнил деда Егораку и Михана! В тридцать шестом году под спад лета в Ракитное прибилося кино. Ставили его под открытым небом, прямо на стене чьей-то хаты. На второй день кино перебралось в соседнее село Соломыково, и дед Егорака, Михан и я подались туда. После мы были в Рожновке, в Спасском и еще в трех селах. Показывали «Чапаева», и мы все ждали: не выплывет ли он на этот раз из реки Урала?

Не выплыл...

Мы вышли с дядей Мироном из машины и закурили. Михан подъехал шагом, сидя на дрожках в прежней позе, как ни в чем не бывало.

— Ну как, Михал Иванч? — издали окликнул его дядя МIRON.

— Восемь, — хмуро ответил Михан и натянул вожжи.

— Чего «восемь»? — обеспокоился дядя МIRON.

— А чего «ну как»? — без улыбки спросил Михан, искоса поглядывая на меня. Я подошел к нему, протянул руку, и мы разом сказали одно и то же:

— Не узнал тебя вчера...

— А я сразу признал, — торопливо сказал дядя МIRON. — Чего ж не заглянул вечерком?

— А ты покликнул? — расстановочно спросил Михан.

— Да тех чертей тоже никто не заманивал. Пришли — и все!

— Вы ж до этого на мельнице пили! Мне Кубарь доложил! — укоряюще сказал Михан.

— Там всего-навсего по одной лампадке пришлось, — махнул рукой дядя МIRON. — А вот вечером дома выпили.

Это верно. Зря ты не заглянул... На-кась вот докури. Хорошие сигаретки. Из самой аж Литвы...

Что-то с дядей Мироном было неладно. Что-то он излишне мельтешился и семенил около дрожек, растопыривал локти, оттирая меня от Михана, не давая нам поговорить. Михан плохо слушал его. Оглядев машину и мой костюм, он не очень весело сказал мне через голову дяди Мирона:

— Ну и вымахал ты! А был меньше меня...

— В отца пошел,— суетно подхватил дядя Мирон.— Брата Гришаку всю жизнь сажнем дражнили. Бывало, сидит верхом, а ноги под пузом у лошади волокутся... А однава едет, понимаешь, в кобеднешних портках и едет, а мерин возьми и...

Что-то с ним было неладно. Он все больше и больше колготился, беспокойно перехватывал наши с Миханом взгляды и без умолку говорил и говорил о моем отце. Я подумал, что это у него от сознания виноватости перед начальством за выпивку в рабочее время,— Михан, видать, крутоват был характером, если принять в расчет нашу с ним вчерашнюю встречу в поле.

— Вот что, Михаил Иванович,— решил я выручить старика,— сейчас мне надо проскочить в Медведовку, а вечером давай встретимся. Добре? Ты где живешь?

— Как где? Да в твоей хате! — сказал Михан с осиплой обиженностью в голосе, будто уличил меня в чем-то немужском и нечестном, когда надо сказать «эх ты, а я-то думал...» Он нагнулся, и я увидел, как побурело у него широкое плоское лицо. Эту его внезапную растерянность я мгновенно связал с образом тетки и непонятным мне поведением дяди Мирона и сам покраснел до испарины: я подумал, что у них какая-то тяжба с Миханом из-за моей хаты. Я настолько был уверен в этом своем предположении, что боялся взглянуть на дядю Мирона, но он исподтишка толкнул меня в бок и вполусшепот сказал Михану:

— Взаправду не знает, а я позабыл сказать. Так что... никакой тут оказии нетути. Живешь и живи... А вечерком давайте встретимся. Ты зараз подвези-ка меня на Покровский. Я только вот захвачу в машинке кое-что...

Он буквально подталкивал меня к «Волге», и я не стал оглядываться на Михана. Я ждал трудного и ненужного объяснения с дядей Мироном,— ведь в машине он ничего не забыл. Я сел на свое место, а дядя Мирон зашел справа, просунул голову в полуоткрытую дверцу и, одергивая на мне пиджак, сказал:

— Сгорел со стыда человек!

— А чего это он? — спросил я.

— Ну как же. Жил-жил вроде бы в казенной хате, а тут хлоп тебе — хозяин явился... Ты, гляди, не обидь его чем-нибудь. Мужик он хороший, достатку большого нетути, а детишек настругал как грах Покровский.

Дядя Мирон залился тихим и озорным смехом, как маленький, и я тоже засмеялся, но не этому его сравнению Михана с графом, а другому — своей внезапной и беспричинной радости.

— Чудаки вы! — сказал я.

— Это верно. Все мы люди... А ты зачем в Медведовку-то?

— Заправиться. Через час вернусь.

— Ага. Ну поезжай... — Он пошлепал ладонью руль и попятился было от машины, но тут же притиснулся ко мне и проговорил на ухо: — Ты вот чего... Ты не признавайся тут, будто служишь писателем, слышь? Коли кто спросит, скажи, что по ученой линии насчет леса, дескать. И машинка, мол, своя... Ладно?

Я молча кивнул.

...Косьянкин мог ехать как и тогда, и мы бы встретились и узнали друг друга. Нет, не на выгоне, а чуть подальше от Ракитного, там, где объехал меня вчера Михан. Интересно, как агрономы называют след колеса в зеленях? Линейной резаной раной?.. Косьянкин должен ехать в той же бричке, на белых лошадях. Тогда я загорожу ему дорогу, выйду из машины и, может, после этой встречи закончу свою повесть...

За ночь след колес михановских дрожжек помелел и затянулся встающими зеленями. След заживал. Я остановился возле него, вышел из машины и ощутил, увидел и услышал все сразу: текучую прохладу утра; искристо лучащийся солнечный диск над невидимой Медведовкой; серебряную нитку жавороночной песни, спиралями вьющейся в поднебесной шири; радужное сияние окропленных росой зеленей; диво живой могучей тишины, в которой зарождался огромный новый день; созревание в сердце бессловесного гимна в благодарность кому-то за то, что все это есть и все это мое!.. Мысленно, чтобы ничего тут не осквернить и не нарушить, я сказал тени Косьянкина всего лишь одно слово — наше, ракитянское, — и до самой Медведовки пел в машине

наши же, ракирянские, частушки про деда Кузьму и козу, горку и черемуху, валенки и завалинку...

Если б только кто послушал эти частушки!..

Вывеска на Медведовском сельмаге была новая, не та, что я помнил. Вот тут, метрах в ста от него, тогда уже колобродил, туманил голову запах хлеба. Тот хлеб назывался коммерческим, и я до сих пор не знаю, что это значит. Вот тут, возле угла пожарного сарая, где я сейчас сижу в машине, тогда оканчивалась хоропроводная очередь.

— Хвиль, а Хвиль! Ну дай же ради Христа, а?

— Хвиль!

— Хвиль!!

Это все вразнобой, в костоломной давке, в ненависти, любви и вере к кому-то, и я, тоненький, как балалаечный гриф, кричал, пожалуй, пронзительнее всех и тоже: «Хвиль!», потому что все величали его так в надежде получить клеклую кирпичину хлеба за деньги, без сдачи. А он, завмаг Филипп Женеев, был сыто невозмутим и сонно припухл, и глаза у него были круглые, серые и бессмысленные, как шляпки новых гвоздей.

Теперь в сельмаге пахло разным и сложным — сыромятной кожей, скобяным товаром, камсой, ситцем, ванилью. Черный и белый хлеб лежал на своем месте — в левой части магазина, и я не ощутил его запаха. Постаревшего, обмякшего Филиппа Женеева я узнал с порога — те же глаза, та же сонливость и безответная сытость. Он стоял за прилавком в бакалейном отделе, поближе к свету и хлебу, а я прошел в промтоварный затененный угол. В магазин изредка заходили покупатели и знакомо здоровались с Женеевым. Он молча кивал им. Он кивал почти незаметно, и не вперед головой, а вбок, как это делают, когда не соглашаются на просьбу.

И я понял, что Женеев не забыл тот коммерческий хлеб и в лицо помнит всех, кто стоял за ним в очереди, и что у меня не прошли к нему, к Женееву, тот детский трепет, смятение и удивление его всеильностью; в моем сердце все еще жила ненавистная готовность крикнуть ему: «Хвиль!» Я закурил, зная, что в магазине курить нельзя, и, когда Женеев заметил это, повернулся к нему спиной. «Ну давай, давай! Скажи мне что-нибудь», — втайне просил я Женеева, но он молчал и не двигался с места. Тогда и я увидел эти повешенные комплекты. Их было двенадцать,

и висели они спинками ко мне на крючьях, вбитых в невысокий потолок, — фуражка, телогрейка, свисающие из-под нее молескиновые штаны, оттянутые книзу юхтовыми ботинками на резиновой подошве, и нельзя было понять, чем они крепились к штанам и почему штаны пузырились в коленках. Я вторично пересчитал комплекты — их было двенадцать — и обернулся к Женееву. Он стоял, курил и подозрительно смотрел на меня.

— Подите сюда, товарищ Женеев! — сказал я. Я сказал это неожиданно для себя и для него, и он пошел по-за прилавком, торопясь и чего-то пугаясь, гася пальцами папиросу.

— Слушаю вас, — сказал он.

— Уберите это! — показал я на комплекты.

— А что такое? Маркировка неправильная?

— Снимите и разложите все отдельно. На полках, — сказал я, и он молча и нелегко полез на прилавок.

После, когда он управился, я купил телогрейку, большой коричневый полушалок, модные остроносые туфли сорокового размера и четыре метра штапельного полотна цвета моей прокатной «Волги». Михану я купил металлический портсигар, украшенный орлом. Еще я купил три бутылки «Ерофеича» и две буханки хлеба.

— Это не коммерческий? — спросил я у Женеева.

— Обнаковенный, — буркнул он.

Сдачу за хлеб я пересчитал дважды, и когда уходил, Женеев дважды сказал мне: «До свиданьица».

Плотников на срубе не было, но я остановился на вчерашнем месте и стал ждать: мне не хотелось везти в Ракитное муторное настроение от встречи с Женеевым.

За ночь на гривке канавы подросли лопушки. В их морщинистых зеленых ладошках, обернутых к солнцу, скопились лучащиеся монисты росы. На восковом стропиле сруба сидел скворец, сверкавший, как кусок антрацита. Он пушил хвост и крылышки, разбойно верещал и пружинисто скакал — пять скачков вправо, пять влево. Он проделывал это до тех пор, пока рядом, на отбитое им у невидимого соперника место, не села маленькая, крапивно-серенькая скворчиха, и, упоенно свистнув и непостижимо кувыркнувшись в воздухе, скворец коротко, на секундный миг слился с нею прямо на виду целого мира.

— Жулик! — сказал я ему и стал разворачивать машину, — ждать плотников было уже не обязательно...

Какая бы ни была радость — маленькая или большая,

тайная или открытая, — но она, как жених невесту, обнимает сердце человека, и сердце сперва замирает, а затем торопится сообщить телу о наступлении в нем праздника, и тут не каждый справляется со своими руками: им сообщаются юная порывистость и резвость.

Это, может, и было причиной тому, что моя «Волга» прочно засела в канаве. Там под слежавшимся пластом выветренного мусора оказался сизый крупитчатый снег, и задние колеса машины, пробуксовав, зарылись в него и провисли, — деффер улегся на кромку дороги. Я промерил палкой глубину канавы, влез на гривку к лопушнику и сел: надо было ждать той неведомой минуты, когда я выберусь отсюда с помощью грузовика. В неминуемость этого сокровенного момента верует каждый порядочный шофер, застрявший в канаве, и дело лишь в спокойном ожидании, а бесконечным оно никогда не бывает. Я сидел и смотрел на «Волгу» — беспомощно сияющую безножку, смешно задравшую нос из канавы; она была похожа на смарагдового жука, когда его чуть-чуть щелкнешь пальцем. Тогда он замирает, оседая задом на землю, и может сидеть так, притаясь, минут двадцать. Попробуй не щелкнуть его еще и еще раз! Я сидел и смотрел на «Волгу», а по проулку к центру Медведовки и ко мне шел и по-девичьи заливисто пел «страдание» паренек в расстегнутой засаленной телогрейке:

Мой миленочек не глуп,
Завернул меня в тулуп.
К стеночке приваливал,
Замуж уговаривал.

В правой руке у него болталась авоська с разноцветными пустыми бутылками. Они позвякивали и сверкали на солнце, как драгоценные камни. Поравнявшись со мной, он снова пропел тот же куплет и оглянулся. Позади него, не нагоняя и не отставая, шел другой, пожилой, медведовец в длинном синем плаще и кожаной фуражке, надетой глубоко и прямо, как каска. Она и отсвечивала по-железному.

— Посидим-подымим? — окликнул его передний на высокой песенной ноте, не переставая размахивать авоськой, и я решил, что он — «дядька» на чьей-нибудь свадьбе и телогрейка тут ни при чем. Он остановился и весело ждал, а тот в плаще шагал прямо на него и, сойдясь, скрипуче сказал:

— Продулся? На закурку нету?

Такие коростельные голоса и прокисшие лица бывают у больных язвой прямой кишки,— я давно это заметил: почему-то им нехорошо бывает в ясные весенние дни и в праздники. Язвенник сказал и пошел, и в утренней тишине, перевитой петушиными запевками, я отчетливо слышал сухой скрип его крепких хромовых сапог. На моего свадебного «дядьку» жалко было смотреть,— он стоял и смущенно разглядывал авоську и вдруг ловко перебросил ее в левую руку, а правую сунул в карман телогрейки и достал пачку «Севера». Папиросу он забрал из пачки зубами и пошел мимо «Волги» ко мне на гривку.

— Привет! — сказал он, будто мы вчера только расстались.— Завяз, говоришь, по самую ступицу?

— По самую,— сказал я.

Он сел рядом и закурил, запрокидывая голову после каждой затяжки,— так птицы пьют воду,— сладко щурясь и собирая пучочки резвых морщинок в уголках глаз. Морщинки эти он нажил, видать, не годами, а смехом, хотя и не мог определить, сколько ему лет — двадцать четыре или тридцать.

— Грибановская? — спросил он, кивнув на «Волгу».

— Нет, прокатная,— сказал я, а он восторженно посмотрел на меня и захохотал, ткнув рукой в сторону ушедшего человека в плаще:

— А Самойленка подумал — ха-ха-ха,— что это бывшая его... Точно такая же! Грибанов теперь ездит. А у этого запор от зависти!

Я все понял и хохотал вместе: Самойленко — бывший райначальник.

— Что он теперь делает? — спросил я.

— Самойленка? Пенсию получает и обижается...

В канаву под провисшие задние колеса «Волги» мы принесли от сруба щепы и слег, потом подрыли кромку дороги и освободили диффер. В центре Медведовки, перед тем как выйти из машины, веселый парень посигналил призывно, озорно — для невидимого Самойленки, конечно...

Конец апреля в наших местах похож на бабье лето. Ласковой прохладой воздуха похож, лоснящимися дорогами, мотками паутины в полях и на выгонах, розовым светом утренних и вечерних зорь. В апреле и в августе у нас далеко проглядывается мир, километров на пятнадцать проглядывается, а дальше — там начинается тогда слепяще-

синяя зыбь марева — таинственная, зубчато текучая и манящая, как океан.

Вправо и влево от дороги в полях бесшумно елозили крошечные тракторы, а следом за ними рассыпным строем, то и дело кланяясь, ходили маленькие бабы, повязанные белыми платками, в белых чулках и передниках, и это делало их похожими на чибисок.

Я ехал предельно медленно и почти не управлял машиной, а впереди посередине дороги шел высокий старик с желтым, как бублик, отполированным посошком. Он шел степенно, прямо, не глядя по сторонам. На нем была зимняя шапка, рыжий поярковый пиджак с широким хлястиком, усаженным четырьмя золотыми офицерскими пуговицами, белые шерстяные чулки по самые колени и новые калоши. Они трепетно посверкивали, будто из-под ног старика все время вспархивали и никак не могли улететь два грача. Я не мог объехать его — слева и справа росли зеленя, и ему нельзя было посигналить — он о чем-то думал, а может, просто шел и радовался новой весне. Сигналить тут было нельзя, и я притормозил и отпустил его метров на пятьдесят, потом хлопнул дверкой. Старик оглянулся, сошел с дороги и переложил посошок из левой в правую руку. Он стоял и ждал, пока я проеду.

— Садись, отец, подвезу, — предложил я.

— Да я и сам докултыхаю, — сказал он, залезая в машину, — ветряк-то наш вон уже завиднелся...

Ракитянин не может без этого. Пригласи его за стол, и он тут же сядет, но непременно скажет, что пообедал дома. Любят у нас деликатности!

— Из Медведовки иду, — сразу же объяснил он, — дочка у меня тут за аптекарем. Ну я и гостевал у ней три денька. А на пасху вот домой взгребтилось.

— А когда пасха? — спросил я.

— Послезавтра. Нынче страстная.

— Празднуете?

— Пасху? А как же!..

У него были легонькая белая бородка и чистые цепкие глаза. Я не знал его, но мне хотелось, чтобы он оказался — что ж тут странного! — Петичкой бурдастым или сватом Сергеичем: и тот и другой доводились мне со вчерашнего дня вроде бы как и родней.

— На мельницу к вам еду, — издали начал я.

— Ну-к и ладно! А я на выселках живу. Перейду гать — и дома! — сказал старик и чему-то улыбнулся, — видимо, на

выселках ждали его, и он знал об этом. Выселки — это двенадцать дворов за речкой, в полукилометре левее Покровского двора. На выселках жил Яшка Кочанок, тот самый мой свидетель «по делу» дяди Мирона. Мне с ним обязательно надо встретиться и поговорить. Его хатенку я узнал бы сразу — она была похожа на Кочаниху, Яшкину мать-побирушку. Хата никогда не белилась снаружи. Вместо трубы на ней торчал перевернутый чугунок с выбитым дном. И покрыта она была абы чем — подсолнечными будылями, кукурузными лучовками, чернобылом... Нет, с Яшкой я поговорю по-хорошему. Я просто узнаю, зачем он сказал тогда на суде неправду. Ну зачем?

— Не расслушал вас, — встрепенулся старик.

— Говорю, знакомый у меня живет на выселках, — сказал я.

— Кто ж там такой?

— Яков Кочанок.

— А его ж убили, — сказал старик тоном, каким говорят о чем-нибудь благополучном. — Давно убили!

— Немцы? — спросил я.

— Нет, свои. Сразу же, как только война началась. Когда отступали мы. Нашли в погребе, да там и... Не хотел вылазить. Там и остался, негодник. Дезертиром был...

Я посадил старика на выгоне у голенькой аллеи, что вела на Покровский двор, а сам поехал в Кобылий лог. Мне надо было остаться одному и до конца разделаться с выплывшей тенью Косьянкина; мне надо было понять: почему Яшка не поверил в свою силу?

На самом темечке Долгого мыса лежали туго набитые чем-то узкие и длинные холщовые сумки, а возле них сидели на корточках две простоволосые девочки лет десяти, распялив в руках большие белые платки. Они держали их над собой и, затаясь в ожидании какого-то немислимого и неминуемого чуда, смотрели в землю, готовые вот-вот до смерти испугаться, вскрикнуть и убежать. Они покосились на «Волгу», но не шелохнулись, и я, подойдя, ни о чем не спросил их, потому что увидел в земле отвесную, голубовато-сумрачную сусличью нору. Ховрашок! Я бросился к машине, чтобы взять ведро, а затем — под бугор, к болоту. Я бежал так, как бегал тут в детстве, и мною полностью владело давно забытое чувство ребяческого азарта и ожидания того увлекательно таинственного, что должно сейчас

произойти. Мои ракитянки сидели в прежних заклинающих позах, и как только я подрос, приказали мне шепотом:

— Лей, дяденька! Только, гляди, помалу давай...

Вода бравцом входила в нору,— я лил медленной и острой струей, и девочки подались назад, и глаза у одной из них скосились к переносью. Вода лилась и лилась в узенькую голубоватую прорву, и когда в ведре остался только ил, мы все трое наклонились к норе и прислушались.

— Хлюптит! — трепетно прошептала та, у которой косились глаза.— Зараз полезет...

Но это ей только казалось,— я-то хорошо знал повадки ракитянских сусликов! Он теперь сидит в верхнем ярусе своих подземных хором на сухом «балконе», где у него хранится запас прошлогодней пшеницы. Он сидит и готовится заткнуть собой — задом — коридор, через который подступает к нему вода снизу. Тут нужно было еще одно ведро воды, и я прикрыл на всякий случай нору своим беретом и побежал к болоту.

— Ой, дяденька! Ой, скорейча догоняй чепец свой! Ой же окаянный!..

Девочки причитали испуганно-радостными голосами, а с бугра в лощину коричневой птицей летел над землей мой берет,— суслик уносил его на себе. В лощине он перекувыркнулся, опростался от ноши и маленькой пестрой торпедой понесся дальше. Преследовать его было бесполезно, и я поднял испачканный грязью и слизью берет и пошел на Долгий мыс. Девочки, обессилев от смеха, катались по траве.

— Ой, дяденька! Ой, смехота-то какая!..

Я спросил, как их звать.

— Меня Танечкой,— сказала та самая, у которой недавно азартно косились глаза,— а ее Олечкой.

— Сестры, что ли?

— Мы? Не-е. Мы только суседки!

Девочки были похожи, обе курнопятые и беловолосые. То, что они называли себя уменьшительными именами, привычно воспринималось слухом: в Ракитном до глубокой старости Дарьи ходят в Дарочках, Марьи в Манечках, а Петры в Петечках. Это тут полагается так. Танечка хотела побыть еще в Кобыльем логу и хоть втайне, да досмеяться надо мной и моим беретом, но Олечка манила ее домой и показывала подбородком на таинственные сумки, тоже схожие между собой.

— Я подвезу вас,— сказал я.— Что в сумках-то?

Подруги застыдились чего-то, переглянулись, и Олечка негромко сказала:

— Да это так...

— Секрет?

— Да не-е... Это коровьи пряженцы.

— Прошлогодние. Сухие-пресухие! — пояснила Танечка. Она, видно, боялась, что я раздумаю брать их в машину.

— Печки топить?

— А то ж зачем!

Мы поехали тихонько и плавно. В зеркало мне были видны раскрасневшиеся лукавые рожицы и блестящие глаза девочек; я слышал их перебитый смехом шепот, и мне хотелось остановиться и спросить у них: отчего мы, русские, несмотря ни на что, сохранили открытое лицо, живой ум и чистый смех?

— Дяденька, а дяденька! Прокати подюжей, чтоб нам аж страшно стало! Прокати, дяденька...

Кто ж в Ракитном не любит быстрой езды!

Я промчал их до Черного лога, и они пошли по выгону с сумками на плечах — маленькие пошли, живые, сполна одаренные трудами и радостью этого огромного весеннего дня, похожего на крашеное яйцо, а я был голоден, уморен и свободен от всего, что привело меня нынче в Кобылий лог, и мне хотелось писать повесть, но не ту, дракой начатую, а другую. Совсем другую...

Подарки были нужны именно те, что я купил,— это виделось по глазам тетки. Все и всем пришлось тут впору и по размеру, и только дядя Мирон, ощупав ватинку, сказал мне, как бы между прочим:

— А те были жиже. У вас тоже небось?

Я поздно понял, что зря купил ему это поминанье о Севере. Совсем зря.

К Михану мы могли проскочить и по улице, но дядя Мирон хотел почему-то ехать кружным путем, выгоном. Опять, как вчера, мягким шафранным пламенем горело на западе небо, обещая долгую и крепкую погоду, опять было сумрачно и уютно в машине, и дядя Мирон по-вчерашнему покойно сидел рядом со мной.

— Пожалуй, рановато едем,— сказал он, как только мы выбрались на выгон.— Надо бы подождать, пока там управятся с детвой...

Я подумал, что ему хочется покататься немного, и предложил проехать до Кобыльского лога.

— Туда далеко,— возразил дядя Мирон.— Погодим тут. Отверни вон в сторонку — и шабаш.

Я свернул с дороги и заглушил мотор, а дядя Мирон перегнулся и достал с заднего сиденья мои книги. Вчерашним приемом он отнес их от глаз, осматривая, потом похлопал одна о другую и под эти шлепки спросил, не глядя на меня:

— Ну а об чем они все-таки?

— О литовских колхозах,— сказал я.

— Та-ак. Ну, а сколько, к примеру, платят за это?

— По-разному,— сказал я.— Начинаящим очень мало.

— А какой же ты начинающий! Ты ить когда еще...—

Он осекся, посмотрел на меня жалующимися глазами и, привстав на колени, понес книги на место. Мне надо было сказать что-нибудь, потому что он не садился и все шуршал и шуршал ладонями по дерматину.

— Я не плохой писатель, дядь Мирон! — сказал я.

— А то либо нет! — поспешно согласился он.— А вот в плену ты где ж находился? В самой Германии?

— В Восточной Пруссии,— сказал я.— Хочешь, прочитаю тебе свой неопубликованный рассказ об этом? На память прочитаю...

— Ну что ж, давай.

Он сел, и мы сначала закурили, и оба курили с преувеличенным старанием, то и дело раздувая огоньки сигарет. Затянемся — и раздуем. То он, то я, то оба разом.

— Слушай,— сказал я.— Вместо гимнастерки на нем был мешок...

— Нет, ты давай все по порядку,— перебил дядя Мирон.— Где попал и как.

— Это долго,— сказал я.— Тут нужно начинать с сути, понимаешь? Ну вот... Вместо гимнастерки на нем был мешок. В нем он проделал три дырки — одну для головы и две для рук. Брюки еле-еле доходили ему до щиколоток. Зато волосы — белые, с зеленоватым отливом тины — спадали на плечи и закручивались на концах в большие роскошные кольца. Рядом со мной на нарах умер полковник. На нем были синие диагональные галифе и суконный китель. По праву соседа умершего — это в плену все равно что родственник — я предложил их Светлоголовому. Он долго и брезгливо рассматривал мой лоб, потом сказал за два приема:

— Пшел... вон!

Это была моя последняя попытка завязать с ним дружбу. Он, как и я, считался полудоходягой, а все остальные в бараке — доходягами, и с наступлением ночи мы с ним одновременно сползали с нар, и я занимал место у печки на квадратике жести, а он принужден был ходить вдоль нар и не останавливаться, потому что клопы — мелкие как просо и злые как собаки — кусали за ноги.

По ночам барак особенно ощутимо пахнул отхожим местом, грозил какой-то глухонемой пустотой и гибелью, — зимой нас было тут двести, а к лету осталось сорок шесть человек. Обычно доходяги умирали по ночам. Это очень трудно — умереть не в бою, а с голоду, в полной памяти, при открытых глазах: тут видится смерть издалека, и при ее подходе каждый доходяга непременно кликал мать. Лежит в темноте и зовет. Бородатый. Сорокалетний. На воле командовавший батальоном или полком. Слушать это было страшно, — в мозгу начинало завязываться сумасшествие, и тогда Светлоголовый, не останавливаясь, потому что клопы кусали за ноги, кричал каким-то исступленно-гневым и чистым голосом:

— Послушайте, бывший командир! Ведите себя прилично!

Умиравший затихал, но в противоположном конце нар рождался шелестящий шепот:

— По какому он праву, а? Житья от него нету... сволочь!

— Мол-чаты! — звенел Светлоголовый, и в бараке становилось невыносимо тихо.

Мы ничего не знали о фронте — наш лагерь был штрафной, офицерский, и размещался он в чужой стране. Мы работали на сооружении железнодорожной насыпи на берегу моря. Дорога к каторге проходила через поселок. Домики в нем были серые, прочные, с большими радостными окнами. На тротуарах было много цветов и белокурых детей. Дважды в день — утром и вечером — мальчишки осыпали нас камнями. При каждом броске они выкрикивали отрывистое и веское слово, произнося его с акцентом и злобой, потому что слово это было не их, а наше, советское. Это было имя, и не оно, а удары камней вызывали в нашей памяти образ того человека, кому оно принадлежало. В колонне раздавались робкие стоны и жалобы, а конвоиры смеялись. Тогда Светлоголовый — он ходил в первой четверке — оборачивался к колонне и приказывал:

— Мол-чаты!

Сразу же каменный град обрушивался на него одного, и он обхватывал голову руками — тонкими, голыми, обсыпанными золотыми веснушками, и молчал.

Я давно уже ходил позади колонны. Она оставляла за собой невыразимый словами запах увялой черемухи, иссохшего тела и еще чего-то неживого, обреченно-грустного и нездешнего. Я ходил позади колонны потому, что так приказал Светлоголовый. Он хотел, чтобы я подбадривал отстающих. Он так и сказал — «подбадривал», но это у меня не получалось: я был всего-навсего лейтенантом, самым младшим чином среди пленных командиров, и поэтому думал, что мне нельзя учить достоинству тех, кто «больше» меня. Я просто ходил сзади, и мне больше всех выпадало пинков от замыкающих конвойных.

Однажды вечером, уже на подходе к лагерю, нам повстречалась сухопарая молодая женщина с продовольственной корзинкой в руках. Там лежал хлеб. Женщина стояла на обочине дороги, пропуская нас, прикрыв нижнюю часть лица носовым платком и отвернувшись, — откуда ей было знать, чем пахнут незажившие раны и мощи святых! А в ее корзинке лежал хлеб. Он был круглый, с ярко сверкавшей желтой коркой, и мы смотрели на него как на немислимое в свете диво, и у нас слезились глаза как от солнца, и шедший впереди меня пленный крикнул вдруг слабо и тонко:

— Тетенька! Дай крошечку, а?!

Женщина не знала русского языка. Но она поняла, о чем ее просили, и, отняв от лица платок, сузив глаза, проговорила какую-то длинную фразу. Мы не знали языка той страны, где размещался наш лагерь. Но женщина дважды произнесла с акцентом и ненавистью знакомое нам слово, и мы поняли, что нас должен накормить тот самый человек, именем которого вместе с камнями швыряли в нас белокурые мальчики из поселка. Мы поняли все, что нам следовало. Светлоголовый, обернувшись к женщине, почти вежливо сказал ей что-то о матери, а мне крикнул:

— Вы за чем там смотрите?

Он крикнул и машинально прикрыл голову руками, хотя поселок был уже давно позади. Я отыскал глазами пленного, который просил милостыню.

— Съели, товарищ майор? — спросил я его.

— Ах, да идите же вы все... — слезно ответил он, и тогда я подбодрил его слабо сжатым кулаком между острых лопаток. Я хотел повторить это, чтобы вызвать у него хоть

небольшое впечатление от совершенного им позора, но Светлоголовый крикнул «хватит», и мы пошли своей дорогой.

На следующий день у нас сменились конвойные. До этого колонну долгое время сопровождали одни и те же солдаты — молодые, сытые и рослые. Мы хорошо знали лицо и руку каждого из них. Мы знали, когда и за что может застрелить Вилли Броде и когда Ганс Бенк. Теперь нас должны были охранять старики-фольксштурмовцы. Вид у них был немногим лучше, чем у нас. Они не улыбались, не разговаривали друг с другом и явно нуждались в подбадривании, как и мы. Как только колонна вышла из ворот лагеря и взяла предписанный прежними конвоирами темп шага, старший фольксштурмовской охраны скомандовал «лянгзам», и мы потянулись как похоронная процессия.

В тот день доходяги укладывали рельсы, а мы со Светлоголовым забивали костыли. Молот водил меня из стороны в сторону, и было трудно попасть им в темя костыля: он двоился перед глазами, и невозможно было угадать, какой из них настоящий, а какой миражный. От неверных ударов они часто гнулись. Я сказал Светлоголовому, что из пленных получились бы костыли крепче этих. Он с тоской посмотрел на меня и ответил:

— Тюрьмы и страдания не укрепляют человека. Гвозди из него не получатся... Это выдумал какой-то подлый раб в угоду кающимся тюремщикам! И вообще знайте: несчастные люди эгоистичны, злы и несправедливы. Они менее, чем глупцы, способны понимать друг друга... Поняли?

Я не стал возражать, рассуждал ведь замученный человек. В его положении заговоришь и не такое.

— Это сказал Чехов,— пояснил Светлоголовый.— Ну, давайте работать. Конвоир смотрит...

Мы разошлись. Я поднял и опустил на костыль молот и оглянулся — фольксштурмовец сидел недалеко у штабеля шпал. Он разглядывал Светлоголового и что-то ворчал. Автомат готовно лежал у него на коленях. Мы знали, что могло быть, если пленный не нравится конвоиру.

— Он что-то замышляет,— сказал я Светлоголовому.

— Я вижу,— ответил он.— Станьте к нему спиной.

— Он смотрит на вас,— сказал я.

— Все равно... Повернитесь спиной!

Я стал, как он приказал, поднял и опустил на костыль молот и из-под руки увидел фольксштурмовца. Он медленно шел к Светлоголовому, не спуская с него глаз. Тот выпря-

мился и сам ступил к нему, вскинув голову и обхватив ее руками. Немец перекинул автомат в левую руку, а правую протянул к Светлоголовому и пощупал его волосы и мешок.

— Шайзе!¹ — сказал он, остервенело плюнул и решительно пошел в сторону поселка. Светлоголовый отнял от головы руки и обморочно покачнулся.

— Вы бы отдохнули немного,— сказал я и сам присел на шпалу.

— Нет,— сказал он.— Не надо им показывать, что мы... ослабели. Встаньте!

Больше мы ничего не сказали друг другу. Шляпки костылей теперь уже троились, и было не одно, а много солнц, и земля то и дело вставала дыбом, и на нее можно было стоя опереться плечом, если бы не Светлоголовый...

Того знакомого конвоира я увидел еще издали. Он тоже двоился и как бы плыл над насыпью, и в его руке пламенело что-то продолговатое, конусно-заостренное, как раскаленный костыль. Фольксштурмовец возвращался к нам. Светлоголовый стоял к нему спиной, но я не стал предупреждать его,— он ведь сам приказал мне в тот раз «обернуться спиной, чтобы было легче».

Я пошел к конвоиру полузажмурясь, втайне желая, чтобы Светлоголовый увидел меня в эту минуту. Но он по-прежнему стоял к нам спиной. Немец плыл мне навстречу бесплотным сизым видением, как дым, и когда мы почти столкнулись с ним, я не выдержал и оглянулся на Светлоголового,— видит ли он меня, ведь больше я никогда и ничего уже не сделаю! Тогда немец что-то крикнул и несильно толкнул меня в плечо. Падая, я увидел Светлоголового. В каком-то нелепом ныряющем наклоне и с руками на голове он бежал к нам, а конвоир стоял, протягивая к нему что-то продолговатое, малиново-рдяное... Я сидел и всем телом ждал чего-то сверхъестественного и страшного. Того же самого ожидал, наверное, и Светлоголовый, потому что он остановился перед конвоиром и медленно-медленно выпрямился. Стало очень тихо — пленные прекратили работу, и я услышал, как немец произнес коротко и негромко:

— Немен зи!²

Когда он проплыл мимо меня, я взглянул на Светлоголового и увидел в его руке толстую морковку. Он стоял и брезгливо смотрел мне в лоб. Он не понял, зачем я бежал

¹ Дерьмо! (Нем.)

² Возьмите! (Нем.)

к конвоиру, как не понял этого и немец. Я поднялся и отошел в сторонку, где валялся мой молот. Светлоголовый повернулся ко мне спиной и осипло сказал пленным:

— Подходите!

Они двинулись к нему разом, скопом, на ходу доставая из тайников своих рубищ клинки перочинных ножей, обломки бритвенных лезвий, отточенные гвозди. Я отвернулся и стал глядеть в море. Позади меня наступила вселенная тишина — Светлоголовый делил морковку. Это продолжалось невероятно долго, может, минуты три или четыре, и все время я изо всех сил боролся с желанием оглянуться. Когда я это сделал, то увидел пристыженно-угрюмых пленных, рассеянной толпой бредших по насыпи прочь от Светлоголового. Сам он стоял спиной ко мне, отведя руку с оранжево-зеленоватой морковной головкой. Против него окаменел тот, «мой» майор. Он стоял, натужно вытянув голову по направлению руки Светлоголового. Тот не шевелился, молчал и смотрел на свои босые ноги.

— Всем дал, а мне? — тонким, злым и недоуменным голосом прокричал майор, и Светлоголовый рывком выбросил к нему руку из-за спины. Майор поймал ее, как скворец пчелу — с лету — и хотел повернуться, чтобы уйти, но не успел: они встретились глазами со Светлоголовым и оба застыли, не разнимая рук, не двигаясь с места. Потом я услышал, как сказал майор, будто спросонок:

— Возьми... Мне не надо.

Я смотрел в море, не видя его, и не слышал, как подошел Светлоголовый.

— Вы чего? — спросил он.

— Так, — сказал я.

— Ну ладно! — примиряюще произнес он и стал обрывать ботву с головками. Он немного подумал, что оставить себе, и протянул мне головку.

— Не возьму! — крикнул я.

— Не валяйте дурака! — шепотом приказал Светлоголовый. — И перестаньте плакать! Немцы ведь смотрят... Отвернитесь сейчас же! Смотрите вот туда! Ну!

Я отвернулся и съел головку...

Умер Светлоголовый за месяц до нашего освобождения. На внутренней стороне мешка, у самого отверстия для левой руки, я обнаружил крепко пришитую латку. Под нею была спрятана красноармейская книжка. Я потом переслал ее в Шелковку — на родину Светлоголового. Это село с таким песенным названием. И стоит оно в глубине России...

— Вот и все,— сказал я и включил мотор. Дядя Мирон сидел полуотвернувшись, глядя на потухающий закат. Теперь там светилась лишь узкая рдяная полоса, а над нею стояло невесть откуда приплывшее круглое облако, похожее на подоженную соломенную скирду. Еще выше, где небо было уже зеленовато-прохладным, мигала большая звезда. Мы ехали медленно и тряско, и бутылки звонко булькали на заднем сиденье.

— Этот-то, белоголовый... в самом деле помер?— спросил вдруг дядя Мирон.

— Нет,— поспешно сказал я.

— Ну вот! Так я и думал... А чего ж ты на живого человека смерть покликнул? Мало ему без того довелось?

— Так нужно. Это литературный прием,— объяснил я.

— Да какой же то, к черту, прием, коли человек жив остался! Теперь-то он где ж находится? Там, что ли? В Литве?

— Там.

— Ну?

— Больше ничего.

— А домой чего не едет? В Шелковку свою?

Впереди показалась наша с матерью хата, и мне уже трудно было что-либо ответить...

Тут тоже был крошечный палисадник. Он притаился посередине двора на том самом месте, где тогда рос калачник — незаказанная утеха для всех, с кем я водился. Только на нашем дворе — кто ж его потопчет! — он и вымахивал такой: зерна-коржички с пуговку. Две горсти съешь, а третью и не захочешь... Наш всегда пустовавший сараишко Михан переделал. Теперь он стал длиннее, просторнее, и соломенная крыша сидела на нем круто, по-чужому. Я прошел к нему и незаметно для дяди Мирона погладил притолоку ворот,— она, окостеневшая, потрескавшаяся, была прежней, к ней прикасались когда-то материны руки... В сарае шумно вздыхала корова и стонал боров.

— Ну пошли, пошли! Тут все на месте,— позвал меня дядя Мирон. Он стоял возле машины и, как котят, держал на руках бутылки «Ерофеича».

Хата... через приделанное Миханом крыльцо и наши сени я ступал впереди дяди Мирона и, кроме тревоги, переходившей в испуг, не испытывал других чувств. Эта тревога росла с каждым моим шагом, и когда я взялся за ручку

двери — нашу ручку, латунную, широкую и холодную, — то хотел повернуть назад.

— Ну чего стоишь? Отчиняй, — сказал дядя Мирон, и я потянул на себя дверь...

Нет, в хате ничего не было, с чем я боялся встретиться, в хате все переменилось, все было незнакомым, начиная с красного дощатого пола и кончая синькой окрашенных стен. Тут жили чужие предметы, запахи и краски, и только печка, белая, ладная и вечная, оставалась нашей, «своей». Она стояла в том же, северном углу, а от нее, разделяя хату, тянулась новая фанерная перегородка, оклеенная картинками из «Огонька». Пятеро русских ребятишек, один одного меньше, юркнули мимо меня в чулан, оставив на свежевывытом полу четкие отметины пяток и растопыренных пальцев. Михан сидел за столом, щурясь на меня под сильной незащищенной электролампочкой. На лавке возле него стояло блюдо голубых и красных яичек, а на столе второе блюдо — с белыми яичками и две чашки с разведенной краской.

— Возишься? — весело спросил дядя Мирон, ставя на подоконник бутылки. — А мы только завтра собираемся красить.

— Это я детишкам, — хмуро сказал Михан, не трогаясь с места. Было похоже, что он не рад нашему появлению. С полными ведрами воды в хату вошла и скрылась в чулане жена Михана, обронив: «Здорово ж вам». Михан проводил ее длинным и виноватым взглядом, забрал со стола некрашенные яички и тоже пошел в чулан.

— Кажется, мы не вовремя набились в гости, — сказал я дяде Мирону.

— Да мы ж со своим! — кивнул он на бутылки. Вид у него был уверенный и бодрый. Он сел у окна подле бутылок. Я сел с ним рядом и снова оглядел печку. Она так и запечатлелась в моей памяти — во всеми выступами и неровностями, с четырьмя печурками для сушки лаптей и портянок, с широким кирпичным лоном, никогда не остывавшем зимой. Там мы с матерью спали. Там на стенках под тринадцатым или двадцать пятым слоем белой глины — это зависит от того, сколько раз белилась с тех пор хата, — живут мои, нарисованные углем, огромные петухи. Хвосты у них завиваются как дым — через всю стену до самого потолка...

Михан вернулся к столу с пустыми руками, сел на прежнее место и, не взглянув на меня, спросил:

— Сколько кладешь?

— Чего кладу? — не понял я.

— Ну чего! Не черепков же! Сколько хочешь за хату?

Дядя Мирон смотрел на меня, как тогда на льдине в ожидании ответа на свой вопрос — платят ли мне за брехню. Я вынул из кармана портсигар, перевернул его орлом кверху и протянул Михану.

— Вот тебе в придачу к хате. В Медведовке купил, — сказал я.

Портсигар Михан выбрал из моей ладони щепоткой, как выбирают уголь из костра, а дядя Мирон крикнул фальцетом:

— Во! Так тебе и надо! Нашелся тут купец Иголкин на недвижимое имущество!..

Он по-ребячьи залиvisto засмеялся, схватил бутылку и ударом ладони в донышко вышиб пробку.

— Давай рюмки и что надо. Смочим подарки. Давай-давай! — приказал он Михану.

Михан и его жена Нюшечка были здорово похожи, похожи всем — ростом, круглыми движениями, друг от друга перенятыми интонациями речи; и глаза у них были цвета спелой синели, и лбы одинаково широкие; и было видно, что днем им хорошо вдвоем можется, а ночью спится. Они все носили и носили из чулана тарелки и миски с «чем надо», и я подозревал, что там, без чужих, у них ведется какой-то тайный и праздничный разговор о самих себе.

— Ну все, что ли? — не вытерпел дядя Мирон. Он весь сиял — глазами, лысиной, крепкими зубами.

— Зараз стюдень только принесу из погреба, — сказала Нюшечка. Она вышла, и я спросил Михана:

— В каждой хате это есть?

— Что?

Я показал на стол.

— У всех поголовно! — заверил дядя Мирон. Михан помолчал и сказал не мне, а дяде Мирону:

— До всех еще далеко, Петрович.

— А у кого нетути? — прижмурился дядя Мирон.

— Смотря чего, — сказал Михан.

— Хлеба, к примеру!

— Кузьма про сало с мясом спрашивает.

— И про хлеб. Мне лучше знать, об чем он спрашивает. А сало тоже, почитай, у всех! — стоял на своем дядя Мирон, и было трудно понять, чем он вдохновлен — убеждением, что так это и есть, или желанием, чтобы у всех в Ракитном

было сало. Мне не хотелось, чтобы Михан возражал, и я спросил его о другом:

— А что с садами?

— Повырубили к чертовой матери,— с тихим остервенением сказал он.

— На топку?

— От налога. Обкладывали ж каждый живой дрючок, рожает он что или так стоит...

— А чего о другом молчишь?— вкрадчиво спросил дядя Мирон.— Разводим же опять! В любом дворе загородка!

— Это верно,— сказал Михан,— сады будут.

— Второй год как твует, а «не будут»,— заявил дядя Мирон. Михан растерянно посмотрел на него, а мне сказал:

— Ох и поперечный же человек! Ты ему с начала, а он всегда с конца... Ну у кого это они цветут?— обернулся он к дяде Миرونу.— Третий год только, как разводить люди начали!

— У тебя ж у самого цветет! — сукором сказал дядя Мирон.— И у меня тоже. И у свата Сергеича, и у Матюшной Доньки...

— Ну ладно, забирай, твое! — махнул рукой Михан и засмеялся.

— Если б я не сидел,— тенорком сказал дядя Мирон и закашлялся, загоротившись ладонью.

— Что тогда было бы?— насторожился Михан, но дядя Мирон не отвечал, и, учуяв, видно, какой-то скрытый упрек себе, Михан спросил с обидой: — Я что, по-твоему, не сидел?

— Ну сколько ты там! Две недели,— смущенно сказал дядя Мирон.

— Хрен съели! Как-нибудь восемь месяцев оттерпужил!

Впору было бы выпить и помолчать,— мне не хотелось отсюда, из нашей с Миханом хаты, возвращаться мыслями на Север, но Михан смотрел на меня и ждал вопроса, а спрашивать надо было дважды — когда сидел и за что.

— В пятьдесят первом,— сказал он.— Да меня дальше Медведовки не увозили. В КПЗ там продержали...

— А за что сидел?

— За Милочку-лесовиху, за что ж больше! — сказала Нюшечка, входя в хату с глазурованным горшком в руках.

— Да брось ты молоть,— как о надоевшем сказал ей Михан.— При чем тут лесовиха!

— А ты расскажи, не стыдись. Ну какая тут оказия! Дело ж прошлое...

На печке, в соседстве, наверно, с моими петухами, давно уж чурюкал сверчок. У меня не было сил и желания противиться тому печально-отрадному наплыву воспоминаний, которые будил этот мохнатолапый запечный музыкант, поверенный моих первых тут снов, и все, о чем я вспоминал, мне хотелось пережить снова. Я сидел и как начало радостного стиха мысленно твердил: «Жизнь благо, и бремя ее легко». Я не знаю, кто и когда изрек эти слова, но это сказано о живой жизни на земле, обо всех, кто на ней живет, радуется и страдает... Да, жизнь в этой старой русской хате — благо, и Михану нельзя тут рассказывать то, о чем просил его дядя Мирон,— я все равно не услышал бы этого рассказа.

И Михан не стал рассказывать. Мы закусывали «стюднем», салом, гусиными потрохами и сметаной. Я пил больше всех, но не пьянел, а лишь ощущал в теле нарастание крепкой и радостной силы. Когда «Ерофеич» иссяк, Михан выбрал для меня остроносое малиновое яйцо, а себе круглое, тупое, и сказал, как тогда, в пуньке, когда я приходил к нему на пасху:

— Слышь, Кузы! Давай на битки, а?

Я расколотил его биток, и он дважды еще выбирал себе из тарелки тупые яйца, и я побил их и положил себе в карман вместе со своим остроносом...

Во дворе, не сев еще в машину, дядя Мирон запел: «Хорош город, хорош город Лебедин, где я мальчик, где я мальчик, д-эх, долго был». Мы возвращались выгоном, и я не свернул к селу у Черного лога, а поехал в сторону Покровского двора, к гати, и дядя Мирон, прервав песню, сказал:

— Верно! Надо нынче глянуть! Говорю тебе — как город, и все!..

На бугру за речкой мы с трудом развернулись на узкой проселочной дороге, и когда утих вой мотора и потухли фары, нас окружила тихая тьма, пахнущая землей и зелеными. Дядя Мирон взял меня за руку и повел от машины навстречу Ракитному — далекому и как бы поднебесному пунктиру зыбучих огней в два этажа.

— Ну? Видишь теперича? Видишь?

Он стоял у меня под мышкой, стоял без картуза, и на его голове светился крошечный звездный блик.

— Ты гляди сюда, прямо по моей руке... Видишь аль нет?

— Я все вижу,— сказал я.

— Да не-е. Ты не туда глядишь! Нашу новую хату ищи! Она ж будет как нарисованная! Под черепицу, три комнаты... К спасовкам закончу, вот тебе и... Сколько ж ты будешь про чужих писать-то?

Я смотрел в пугающую глубину звездного неба — мне надо было смотреть туда некоторое время, — потом сказал:

— Давай, дядь Мирон... съедим по яичку, а? Ну давай, пожалуйста!

Мне хотелось рассыпать тут на черной пахучей дороге крашеную скорлупу, — ничего не будет радостнее этой находки для завтрашнего пешехода, ничего! Увидит и обязательно подумает, что это дети насорили. И куда это они только шли? В гости, что ли? Или из гостей?..

СОДЕРЖАНИЕ

<i>Евгений Носов. Он любил эту землю</i>	5
Сказание о моем ровеснике	10
Крик	95
Убиты под Москвой	147
Это мы, Господи!..	201
Друг мой Момич	291
Почем в Ракитном радости	413

Литературно-художественное издание

Воробьев Константин Дмитриевич

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ В ТРЕХ ТОМАХ

ТОМ ПЕРВЫЙ

Повести

Составитель Воробьева Вера Викторовна

Редактор М. И. Вострышев

Художник В. С. Комаров

Художественный редактор А. Ю. Никулин

Технический редактор В. М. Котова

Корректоры Г. В. Селецкая, И. С. Рудакова

ИБ № 6008

**Сдано в набор 25.05.90. Подписано к печати 04.02.91. Формат 84x108¹/₃₂.
Гарнитура Таймс. Печать высокая. Бумага тип. № 2. Усл. краск.-отт. 25,25.
Усл. печ. л. 25,2. Уч.-изд. л. 27,75. Тираж 100 000 экз. Заказ 266. Цена 5 руб.**

**Издательство «Современник» Министерства печати и массовой информации
РСФСР и Союза писателей РСФСР
123007, Москва, Хорошевское шоссе, 62**

**Полиграфическое предприятие «Современник» Министерства печати и мас-
совой информации РСФСР
445043, г. Тольятти, Южное шоссе, 30**

